ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

На правах рукописи

Серебрякова Елена Геннадьевна

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ СОВЕТСКИХ НОНКОНФОРМИСТОВ 1960-70-х ГОДОВ

24.00.01 – Теория и история культуры

Диссертация на соискание ученой степени доктора культурологии

Научный консультант –

доктор исторических наук, профессор

Зверева Г. И.

ВОРОНЕЖ – 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА I. СПЕЦИФИКА САМОСОЗНАНИЯ СОВЕТСКИХ НОНКОНФОРМИСТОВ 1960-70-х ГОДОВ 55

1.1. «Шестидесятники» как метафора поколения 55

1.2. Этика в самосознании членов сообщества 89

1.3. Историческое сознание нонконформистов 134

ГЛАВА II. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ НОНКОНФОРМИСТОВ 180

2.1. «Поступок» в аксиологии, самосознании и поведении членов сообщества.. 180

2.2. Поведенческие образцы в социальной практике 222

2.3. Нормативное поведение в социальной практике и внутригрупповой коммуникации 283

ГЛАВА III. ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ 334

3.1. Спецификдиссидентского дискурса. Наследие диссидентов как интертекст 334

3.2. Конкурентная стратегия в мемуарах и автобиографиях 381

3.3. Стратегия защиты в книгах-отчётах о судах над диссидентами 413

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 457

ЛИТЕРАТУРА 466

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования советского нонконформизма 1960-70-х годов обусловлена несколькими причинами: разрушением советской ценностной иерархии, вызвавшей в постсоветский период переоценку значимости для социокультурного развития адаптивных и оппозиционных поведенческих практик личности и сообществ; неоднозначностью идентификационных процессов современности, свидетельствующих о разрушении границ и диффузии конформизма и нонконформизма как моделей социального поведения.

Рассмотрим их подробнее.

Ценностно-нормативная иерархия, свойственная советской модели культуры, сменилась в современном обществе множеством аксиологических систем, каждая из которых предлагает человеку свою систему координат. В этих условиях адаптивные или протестные формы поведения личности или сообщества не всегда имеют однозначные внутренние основания. Нонконформизм может носить симулятивный характер, являться закамуфлированной формой конформизма. Например, современным лидерам внесистемной оппозиции свойственна апелляция к оппозиционным практикам 1960-70-х годов. В протестных выступлениях «борцов с режимом Путина» зачастую используются не только практические приёмы, но и риторика советских нонконформистов. Так, митинги на Болотной площади в Москве в 2011-12 годах проходили под лозунгом «За вашу и нашу свободу», что должно было напомнить собравшимся о демонстрации правозащитников на Красной площади в 1968 году и сконструировать образ современных оппозиционеров как духовных наследников советских диссидентов. Участники митингов, согласно статистическим данным преимущественно люди с высшим образованием[1], вероятно, должны были ощутить связь поколений и произвести самоидентификацию в традициях свободолюбия. Прагматичные мотивы

[1]Боде В. Социологи о коллективном портрете современной российской интеллигенции. Радио Свобода. 19 апреля 2012. URL: https://www.svoboda.org/a/24554470.html (дата обращения 02.07.2019)

обращения политтехнологов к символам прошлой эпохи выявляют их расчёт на устойчивость в аксиологии современников ценности нонконформизма, но выдают спекулятивность использования протестной риторики и заставляют усомниться в оппозиционном характере акций.

Выявить сущность идентичности помогло бы сопоставление не только приёмов самопрезентации, но и аксиологии, мировоззренческих оснований разных вариантов нонконформизма – советского и современного. Исследование идентичности нонконформистов 1960-70-х годов способно уточнить семантику культурного феномена, дать адекватную систему оценок для выявления типа идентичности участников протестных акций как прошлого, так и настоящего.

Неоднозначные тенденции современной культуры, разнообразие форм проявления конформизма и нонконформизма требуют пристального изучения механизмов самоидентификации личности или группы, занявшей адаптивную или оппозиционную социальную позицию, предполагают осмысление социокультурных причин формирования той или иной модели поведения.

Социокультурная тенденция современности – размывание границ оппозиционных категорий – выявляет дискуссионность концепта «нонконформизм» и требует конкретизации понятия. Осмысление сущности феномена возможно на примере одного исторического типа нонконформизма – советского варианта 1960-70-х годов, что позволит внести необходимые уточнения в семантику понятия.

Современные социокультурные тенденции актуализируют обращение к недавней отечественной истории. Институт социологии РАН в 2018 году зафиксировал запрос россиян на социальные перемены (56%)[1]. Однако жители страны возлагают надежды на правительство и президента и в подавляющем большинстве не считают для себя значимым расширение пространства свободы во всех сферах жизни. Таким образом, социологи отмечают довольно высокий

[1] Российское общество после президентских выборов-2018. Информационно-аналитический доклад // Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН. М. 2018. С. 30. URL: http://www.isras.ru/files/File/publ/Ros_obschestvo_posle_prezident_vyborov_2018.pdf (дата обращения 2.07.2019)

уровень конформизма в обществе. Советский опыт взаимодействия власти и общества показывает, что преобладание конформистских настроений и стремление руководства страны уйти от диалога с оппозиционным меньшинством не только не гарантируют стабильности, но и ускоряют деструктивные процессы, имеющие драматичные последствия для государства. Анализ советского нонконформизма как типа активного гражданского поведения позволит осмыслить логику и закономерности идентификационных процессов, определяющих индивидуальный или коллективный выбор в пользу социальной ответственности или инертности, спрогнозировать перспективы и возможные риски современного российского социокультурного развития.

Степень научной разработанности темы.

Феномен советского нонконформизма привлёк внимание отечественных и зарубежных исследователей во второй половине XX века.

При этом западные ученые обратились к изучению советского инакомыслия значительно раньше российских коллег. Парадигму осмысления в 1960-70-е годы задавали преимущественно политологи и советологи, сосредоточенные главным образом на исследованиях социально-политических процессов, определивших возникновение оппозиции в советском обществе, и характеристике её сущностных особенностей. Учёные оценивали жизнеспособность оппозиционных общественных движений в условиях советской политической системы и перспективы политических трансформаций в СССР (А. Брумберг, Р. Л. Тёкеш, Н. Х. Уэсселл, П. Реддвей, В. Хейнс и др.)[1], осмысливали различия основных направлений советского инакомыслия (Р.

[1]Brumberg A. In quest of justice: protest and dissent in the Soviet Union today. New York: Praeger, 1970. 477 p.; Tökés R. L. Dissent: The Politics for Change in the USSR // Soviet politics and society in the 1970's / ed. H. W. Morton, R. L. Tökés and J. N. Hazard. New York: The Free Press, 1974. P. 3-59; Haynes V. Workers against the Gulag: the new opposition in the Soviet Union. London: Pluto Press, 1979. 129 p.; Wessell N. H. The political and international implications of soviet dissent // Orbis. 1973. Vol. 17, Is. 3. P. 793-802; Reddaway P. The Development of Dissent and Opposition // The Soviet Union since the Fall of Khrushchev / ed. M. Kaser, A. Brown. London: Palgrave Macmillan, 1978. P. 121-156.

Гауэр, Л. Джонс, С. Якобсон и др.)[1]. Исследователи производили идентификацию нонконформистских сообществ по степени их радикальности – критерию, значимому для политических прогнозов, и воспринимали движение протеста в СССР в середине 1970-х годов как вполне оформившееся и структурированное.

Зарубежные филологи в те же годы осваивали не подлежащий советскому научному анализу массив самиздата. Благодаря их усилиям западные читатели познакомились не только с художественными текстами и публицистикой, запрещёнными на родине, но и с общественной позицией нонконформистов[2]. Личностная и гражданская позиция А. И. Солженицына, Ю. Т. Галанскова, А. Д. Синявского, Ю. М. Даниэля и др. идентифицировалась как исключительная в советской писательской среде, литературное и социальное поведение трактовалось как борьба за свободу слова, одно из проявлений движения протеста в СССР.[3] Позиция филологов и историков совпадала в подходах к феномену: самиздат изучался как явление, противостоящее официальной эстетике и идеологии, в целом нетипичное для характеристики советского типа

---

[1] Gauer R. C. Soviet dissent: its sources and significance. // Air University Review. 1973. Vol. 25, Is. 1. P. 45-48; Jones L. Dissent in Ukraine: an underground journal from Soviet Ukraine. Baltimore: Smoloskyp Publishers, 1977. 215 p.; Yakobson S. Aspects of intellectual ferment and dissent in the Soviet Union. Washington: U.S. Government Printing Office, 1968. 81 p.; Liber G. Nonconformity and dissent in the Ukrainian SSR, 1955-1975: an annotated bibliography. Cambridge, Mass.: Harvard Ukrainian Research Institute, 1978. 245 p.

[2] Bowlt J. E. Russian samizdat art: essays. New York: Willis Locker & Owens Pub, 1986. 210 p.; Dewhirst M. Soviet Russian Literature and Literary Policy // The Soviet Union since the Fall of Khrushchev / ed. M. Kaser, A. Brown. London: Palgrave Macmillan, 1978. P. 181-195; Reddaway P. Uncensored Russia: protest and dissent in the Soviet Union; the unofficial Moscow journal, a Chronicle of current events/ edited, translated and with a commentary by Peter Reddaway. Foreword by Julius Telesin. New York: American Heritage Press, 1972. 499 p.; Scammell M. Russia's other writers; selections from Samizdat literature l. New York: Praeger, 1971. 216 p.

[3] Burg D. Solzhenitsyn: A Biography. London: Hodder & Stoughton, 1972. 444 p.; Galanskov Y. Poet and man: in memory of Yuri Galanskov. Oslo: Bryne, 1973. 81 p.; Grzybowski K. Freedom of expression and dissent in the Soviet Union; an essay. Chicago: American Bar Association Standing Committee on Education About Communism and Its Contrast With Liberty Under Law, 1972. 40 p.; Fiene Donald M. Alexander Solzhenitsyn: an International Bibliography of Writings by and about Him, 1962-1973. Ann Arbor: Ardis, 1973. 148 p.; Kovaly P. Problems of anti-humanism and humanism in the life and work of Alexander Solzhenitsyn // Studies in Soviet thought. 1971. Vol. 11, Is. 1. P. 1-18; Rothberg A. Aleksandr Solzhenitsyn: The Major Novels. Ithaca: New York: Cornell University Press, 1971. 215 p.; Understanding the Solzhenitsyn affair: dissent and its control in the USSR / edited by Ray S. Cline. Washington: Center for Strategic and International Studies Georgetown University, 1974. 44 p.

личности, но показательное для оценки общественных тенденций – становления оппозиционных настроений в социуме.

К. Б. Уль[1] на примере англоязычных работ периода холодной войны охарактеризовала философскую основу трактовки советского человека, определявшую научный дискурс тех лет. Работы представителей «тоталитарной школы» (Э. и Г. Альта, Х. Арендт, З. Бжезинского, Б. Вольфа и др.), пишет исследовательница, базировались на утверждении, что каждый человек представляет собой морально независимую, автономную личность, угнетённую властью при тоталитарных режимах[2]. Нонконформистское поведение осмысливалось как проявление «истинной» природы человека, взбунтовавшейся против государственного давления.

В этой парадигме, представляющей трансформацию просветительских идей, осмысливали себя и сами нонконформисты, высланные на Запад[3]. Их способ самооценки учитывался зарубежными исследователями. Учёные[4] солидаризировались с морально оправданной социальной практикой оппозиционеров и избирали адекватный дискурс: аналитика зачастую сочеталась с апологетикой, «советскость» как свойство идентичности оставалась вне сферы научного внимания.

Иной подход к изучению тоталитарного общества предложили представители ревизионистской школы (С. Коэн, Ш. Фитцпатрик, Дж. А. Гетти,

---

[1] Уль К. Б. Сравнительный анализ концепций советской личности в англоязычных исследованиях периода холодной войны и современности // Российские и славянские исследования : науч. сб. Вып. 6. Минск. БГУ, 2011. С. 394-395.

[2] Там же.

[3] Medvedev Z. A. 10 years after Ivan Denisovich. London: Macmillan, 1973. 202 p.; Medvedev R. A. On Soviet dissent. New York: Columbia University Press, 1980. 158 p.; Parchomenko W. Soviet images of dissidents and nonconformists. New York: Praeger, 1986. 251 p.; Svirskii G. I. A history of post-war Soviet writing: the literature of moral. Ann Arbor: Ardis, 1981. 196 p.; Alekseeva L. Soviet dissent: contemporary movements for national, religious, and human rights. Middletown, Conn.: Wesleyan University Press, 1985. 521 p.

[4] Boobbyer P. Conscience, dissent and reform in Soviet Russia. London; New York: Routledge, 2009. 282 p.; Вессье С. За вашу и нашу свободу! Диссидентское движение в России. М. : Новое литературное обозрение, 2015. 576 с. (книга на французском языке издана в 1999 г. – Е. С.); Shatz M. Soviet dissent in historical perspective. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1980. 214 p.; Smith Gordon B. Dissent: Political, Ethnic, and Religious // Soviet Politics: Continuity and Contradiction. London: Palgrave, 1988. P. 294-320.

Л. Виола и др.). Сместив фокус внимания с политической на социальную историю, ревизионисты наметили новое направление – анализ советского общества через повседневные практики граждан. Учёные доказали гетерогенность советского общества, неоднозначную реакцию разных групп населения к идеологическим установкам и требованиям государства. По мнению учёных, личность в тоталитарном государстве сохраняла автономность и реализовывала её в поведенческих практиках, избираемых адекватно различным социальным обстоятельствам: например, «двоемыслие», как свойство сознания, практикуемое советскими людьми в официальной и частной сферах, было одним из способов адаптации к политическому режиму[1].

Хронологические рамки, выбранные исследователями – 1930-е годы, исключали научный анализ нонконформизма, поскольку в качестве общественного явления он проявил себя в послесталинский период. Но некоторые наблюдения учёных имели методологическое значение. В частности, Дж. Гетти высказал сомнения в объективности информации, почерпнутой из мемуаров эмигрантов из Советского Союза[2], таким образом, указал вектор научной рефлексии – анализ дискурсивных практик как средство реконструкции самосознания определённой группы населения. Это научное направление продуктивно разрабатывается современными исследователями.

Изучение нонконформизма в нашей стране началось со второй половины 1980-90-х годов. В историографии тех лет появился ряд основательных трудов, подробно осветивших характер противостояния инакомыслящей интеллигенции и власти (Л. М. Алексеева, А. Б. Безбородов, А. А. Данилов, Ю. Ф. Лукин и др.)[3].

---

[1] Fitzpatrick Sh. Everyday Stalinism Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s New York, Oxford: O Oxford University Press, 1999. 276 p.

[2] Всемогущий Сталин. Советолог Арч Гетти о личности вождя и историческом ревизионизме // Lenta. ru. 2016. 17 января. URL: https://lenta.ru/articles/2016/01/17/stalin/2016 (дата обращения 19.07.2019)

[3] Алексеева Л. М. История инакомыслия в СССР: Новейший период. М. : РИЦ «Зацепа». 2001. 382 с.; Безбородов А. Б. Материалы по истории диссидентского и правозащитного движения в СССР 50-х-80-х годов: учебное пособие для студентов по курсу отечественной истории новейшего времени. Москва: Историко-архивный институт; Giottingen: Max-Planck-Institutfiur Geschichte, 1984. 151 с.; Данилов А. А. История инакомыслия в России: советский период.

Одним из центров исследований нонконформизма стало общество «Мемориал», собравшее значительный материал о политических репрессиях, включая послесталинский период. Работы учёных стимулировались изданием эго-текстов участников диссидентского движения, представивших в мемуарах, публицистике, письменных и устных свидетельствах свою историю борьбы с режимом[1]. Открытие архивных материалов значительно обогатило представление о характере взаимоотношений власти и общества. Обширный эмпирический материал интенсивно осмысливался научным сообществом.

Однако научный дискурс 1990-х годов был, по меткому определению В. А. Козлова «диссидентоцентричным» и представлял собой парафраз советской историографии революционного движения в России[2]. Историки оценивали характер взаимодействия власти и оппозиции в одном ключе: как репрессивный и оборонительный, представляли инакомыслящих как передовой отряд советской интеллигенции, самиздат как общественно ценную «вторую культуру». Исходная позиция суживала исследовательские задачи. Идентификация сознания и поведенческих практик диссидентов по советскому культурно-антропологическому типу не производилась.

Филологи и культурологи в те же годы искали свои подходы к феномену нонконформизма. Усилия филологов, главным образом, были сосредоточены на решении проблемы адекватной оценки советского литературного процесса во всём объёме, с учётом прежде изъятых фигур и текстов. Задача воссоединить и отрефлексировать отечественный и зарубежный литературные процессы как единое целое предполагала изучение сам- и тамиздата как их неотъемлемой

1917-1991: учебное пособие. Уфа : Изд-во Восточный университет, 1995. 102 с.; Лукин Ю. Ф. Из истории сопротивления тоталитаризму в СССР (20-80-е гг.). М. : Изд-во МГУ, 1992. 203 с.;

[1] Богораз Л. И. Из воспоминаний // Минувшее: Исторический альманах. Вып. 2. М. : Прогресс; Феникс, 1990. С. 81-140; Гордин Я. А. Дело Бродского // Нева. 1989. № 2. С. 134-166; Григоренко П. Г. В подполье можно встретить только крыс… М. : Звенья, 1997. 638 с.; Заступница: Адвокат С. В. Каллистратова: (1907-1989) / сост. Е. Печуро. М. : Звенья, 1997. 351 с.; Ильина Н. И. Печальные страницы // Октябрь 1990. № 10. С. 129-142; Орлова Р. Д., Копелев Л. З. Мы жили в Москве: 1956-1980. М. : Книга, 1990. 447 с. и др.

[2] Козлов В. А. Крамола: инакомыслие в СССР при Хрущёве и Брежневе. 1953-1982 годы. По рассекреченным документам Верховного Суда и Прокуратуры СССР // Отечественная история. 2003. № 4. С. 98.

части. Однако по сей день систематизация и каталогизация[1] преобладают над монографическим осмыслением феномена[2].

Интерес культурологов рубежа 1990-2000-х годов вызывал преимущественно художественный андеграунд, запрещённое, но значительное явление культурной жизни[3]. В настоящее время история неофициального искусства в СССР представлена серьёзными исследованиями, научный интерес к тематике не ослабевает[4].

---

[1] Самиздат века : сборник / сост. А. И. Стреляный и др. М. ; Минск : Полифакт, 1998. 1052 с.; Без цензуры: периодика «Самиздата» до и после распада СССР в фондах Российской национальной библиотеки: Каталог / сост.: А. С. Асватуров, М. А. Семенова. СПб.. : Изд-во Российской национальной библиотеки, 1999. 59 с.; Самиздат Ленинграда, 1950-е-1980-е: литературная энциклопедия / под общ. ред. Д. Я. Северюхина. М. : Новое литературное обозрение, 2003. 624 с.; Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950-е-1980-е: в 3 т. / под общ. ред. В. В. Игрунова; сост. М. Ш. Барбакадзе. М. : Международный институт гуманитарно-политических исследований, 2005; Чупринин С. И. Оттепель: События. Март 1953 - август 1968 года. М. : Новое литературное обозрение, 2020. 1192 с.

[2] Савенко Е. Н. На пути к свободе слова: очерки истории самиздата Сибири. Новосибирск : Изд-во ГПНТБ СО РАН, 2008. 201 с.; Русина Ю. А. Самиздат в СССР: тексты и судьбы. СПб. : Алетейя; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. 204 с.

[3] «Семидесятые» как предмет истории русской культуры / сост. К. Ю. Рогов. М. : ОГИ, 1998. 304 с.; Художественная жизнь России 1970-х годов как системное целое / редкол. : Н. М. Зоркая и др. СПб. : Алетейя, 2001. 350 с.

[4] Андреева Е. Ю. Угол несоответствия. Школы нонконформизма, Москва – Ленинград. 1946-1991. М. : Искусство – XXI век, 2012. 461 с.; Асеева Е. Е. Послевоенное абстрактное искусство в России (1950–80 гг.) : дис. … канд. искусств. наук. СПб., 2002. 170 с.; Бабикова Т. В. «Неофициальное» советское искусство Сибири // Эрнст Неизвестный и нонконформизм в искусстве СССР : Круглый стол к 90-летию со дня рождения Э. И. Неизвестного. Екатеринбург, 2015. С. 137-144; Гильбо К. Искусство нонконформизма. Минск : Попурри, 2012. 208 с.; Ильин М. К. Нонконформизм в советском искусстве 1960-х годов // Традиции художественной школы и педагогика искусства : сб. науч. тр. Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. СПб., 2011. № 3. С. 141-149; Кошкина О. Ю. «Знакомое неведомое». Творческое наследие художников группы «Эрмитаж» в контексте ленинградского нонконформизма // Новое искусствознание. История, теория и философия искусства. 2019. № 1. С. 95-100; Скиперских А. В. Неофициальное искусство в СССР: политическая история концептуализации // PolitBook. 2019. № 1. С. 62-77; Его же. Официальное и неофициальное искусство в «молчащей» культуре: взгляд нонконформистов // Международный журнал исследований культуры. 2018. № 1 (30). С. 189-197; Его же. Художник между властью и сопротивлением: проблемы идентификации // Вестник Пермского университета. Сер. Политология. 2017. № 2. С. 47-59; Тарасова С. И. Русская авангардная поэзия 1960-70-х годов в оценке литературной критики : дис. … канд. филол. наук. М., 2007. 295 с.; Шаманькова А. И. Духовное в беспредметном: к истории нонконформизма в отечественном искусстве второй половины XX в. // Научные труды. Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. 2011. № 19. С. 146-159; Шендарев Н. А. Интерпретация христианских сюжетов в неофициальном искусстве СССР // Молодежный вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2016. № 1 (5). С. 119-122.

На рубеже 1990-2000-х годов вышел в свет ряд переводов зарубежных монографий, посвящённых истории культуры советского периода[1]. Работы характеризуются высоким уровнем научной проработанности исследуемой темы и взвешенностью оценок.

Сегодня в научном сознании сформировано глубокое понимание эпохи 1960-70-х годов как общественно-исторического явления: выявлены механизмы взаимодействия руководства страны и общества, осмыслена логика функционирования политической цензуры, прослежено становление нонконформизма как общественного феномена, охарактеризованы взаимоотношения интеллигенции и власти, не только дана подробная классификация движения протеста, но и указаны мировоззренческие основания различных оппозиционных течений[2], составлены мемориальные сборники, посвящённые знаковым фигурам оппозиционного движения[3].

---

[1] Аймермахер К. От единства к многообразию. Разыскания в области «другого» искусства 1950-1980-х годов: сборник статей. М. : РГГУ, 2004. 374 с.; Кречмар Д. Политика и культура при Брежневе, Андропове и Черненко. 1970-1985 гг. М. : АИРО-XX, 1997. 316 с.; Эггелинг В. Политика и культура при Хрущеве и Брежневе. 1953-1970 гг. М. : АИРО-XX, 1999. 310 с.

[2] Аксютин Ю.В. Хрущевская оттепель и общественные настроения в СССР в 1953-1964 гг. М. : РОССПЭН; Фонд "Президентский центр Б. Н. Ельцина", 2010. 622 с.; Аппарат ЦК КПСС и культура. 1965-1972: Документы / сост. Н. Томилина и др. М. : РОССПЭН, 2009. 1247 с.; Беглов А. Л. В поисках «безгрешных катакомб». Церковное подполье в СССР. М. : АРЕФА, 2008. 349 с.; Блюм А. В. Как это делалось в Ленинграде. Цензура в годы оттепели, застоя и перестройки. 1953-1991. СПб. : Академический проект, 2005. 296 с.; Ванюков Д. А. Хрущевская оттепель. М. : Мир книги, 2007. 239 с.; Власть и диссиденты: из документов КГБ и ЦК КПСС / публ.: А. А. Макаров. М. : Московская Хельсинская группа, 2006. 282 с.; Горяева Т. М. Политическая цензура в СССР. 1917-1991 гг. М. : РОССПЭН, 2009. 407 с.; Зезина М. Р. Советская художественная интеллигенция и власть в 1950-60-е годы. М.: Диалог-МГУ, 1999. 398 с.; Королёва Л. А., Королёв А. А. Диссидентство в СССР: историко-правовые аспекты (1950-1980-е гг.): учебное пособие. М. : ИНФРА-М, 2017. 276 с.; Митрохин Н. А. Русская партия: Движение русских националистов в СССР. 1953-1985 годы. М. : Новое литературное обозрение, 2003. 624 с.; Пыжиков А. В. Хрущевская «оттепель». М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2002.734 с.; Шлихта Н. В. «православный» и «советский»: к вопросу об идентичности верующих советских граждан (1940-е - начало 1970-х гг.) // Антропологический форум. 2014. № 23. С. 82-107;

[3] Александр Гинзбург: русский роман / авт.-сост. В. И. Орлов. М. : Русский путь, 2017. 792 с.; Berglund K. The Vexing Case of Igor Shafarevich, a Russian Political Thinker. Basel: Birkhäuser, 2012. 539 p.; Вигдорова Ф. А. Право записывать / сост. Е. И. Вигдорова, А. А. Раскина. М.: АСТ, 2017. 416 с.; Поэтка. Книга о памяти: Наталья Горбаневская / авт.-сост. Л. Е. Улицкая. М. : АСТ, 2014. 414 с.

При этом гуманитарии продолжают искать новые парадигмы исследований. Одну из них обозначил коллектив авторов сборника «Крамола. Инакомыслие в СССР при Хрущёве и Брежневе. 1953-1982 гг.»[1]. Составители предложили анализ «простонародной оппозиции», существенно влиявшей, по их мнению, на определение внутренней политики руководства страны. Данный подход позволяет скорректировать наше представление о логике и характере принимаемых властью внутриполитических решений, расширяет социальный контекст анализа нонконформизма.

Другой вектор исследований – изучение культурно-антропологического типа советского человека, его способов самооценок, социальных и культурных практик, поведенческих реакций, вариантов нарратива. Это направление разрабатывается как зарубежными, так и отечественными гуманитариями.

С конца 1980-х годов Левада-центр проводит исследование советского человека[2]. Эмпирическая основательность, свойственная работам социологов, не преодолевает некоторой концептуальной ограниченности. Выводы, сделанные на основании анализа только массового сознания, создают представление о гомогенности советского общества, единообразии типологии личности и нуждаются в корректировке.

В новейшей западной историографии внимание к советскому человеку реализовалось в концепции советской субъективности (Й. Хелльбек, И. Халфин, Дж. Фюст и др.). Субъективность трактуется Й. Хельбеком как способность личности «мыслить и действовать, вытекающая из согласованного и целостного ощущения себя»[3]. Её предложено анализировать через языковые практики

---

[1] Крамола. Инакомыслие в СССР при Хрущёве и Брежневе, 1953-1982 гг. Рассекреченные документы Верховного суда и Прокуратуры СССР / под ред. В. А. Козлова и С. В. Мироненко. М. : Материк, 2005. 429 с.

[2] Гудков Л. Д. «Советский человек» в социологии Юрия Левады // Общественные науки и современность. 2007. № 6. С. 16-30; Его же. Свой путь: статья Юрия Левады о феномене «советского человека» // Теории и практики. 22 сентября 2016. URL: https://theoryandpractice.ru/ posts/14608-svoy-put-statya-yuriya-levady-o-fenomene-sovetskogo-cheloveka (дата обращения 28. 07.2019)

[3] Hellbeck J. Working, Struggling, Becoming: Stalin-Era Autobiographical Texts // Russian Review. July 2001. P. 340; Хелльбек Й. Революция от первого лица. Дневники сталинской эпохи М. : Новое литературное обозрение. 2017. 424 с.

власти, по мнению историков массово усвоенные советскими людьми и определившие их способы самооценок и созидания собственной личности. Язык назван основным средством формирования личности в рамках государственного дискурса, человек видится субъектом и объектом власти.

Предложенная методика была поддержана молодым поколением российских исследователей, представители которого зачастую попадали в западные вузы на сравнительно раннем этапе профессиональной подготовки и воспроизводили господствовавшие там новейшие направления и идеи. Так, некоторые постулаты и понятия М. Фуко («технологии себя», «технологии власти»), принятые за основу концепции «советской субъективности», получили дальнейшую разработку в трудах О. В. Хархордина и А. В. Юрчака. О. В. Хархордин, изучив дискурсивные практики власти, пришёл к выводу, что идентичность советского человека формировалась в процессе взаимодействия внешнего давления и способности человека к саморегуляции. Общество разоблачало пороки гражданина, а индивид соотносил себя с требованиями социума и корректировал личностные недостатки[1]. А. В. Юрчак декларировал необходимость отойти в изучении советской субъективности от бинарного принципа «подавление-сопротивление». По мнению учёного, «нормальный» советский человек не поддерживал систему и не был к ней оппозиционен, а воспроизводил только форму идеологических высказываний системы, изменяя их смысл, и таким образом сохранял автономию от государства[2].

Исследователи «советской субъективности» дали методологию анализа языка и семантики советского общества, сделали значительные наблюдения о механизмах формирования личности, применимые к представителям различных социальных групп и профессиональных сообществ, но в целом не искали возможной ориентации советского человека на иные, помимо официальных,

---

[1] Kharkhordin O. The Collective and the Individual in Russia. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1999. 407 p. Его же. Обличать и лицемерить: генеалогия российской личности. СПб; М. : ЕУСПб, Летний Сад, 2002. 507 с.

[2] Юрчак А. В. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М. : Новое литературное обозрение, 2016. 664 с.

дискурсивные практики и культурные традиции, вероятно считая оппозиционный способ самоидентификации непоказательным для выявления типологии сознания. Непрояснённость культурных альтернатив «советскости» предполагает дополнительные исследования, в частности, требует выявления специфики самосознания и поведенческих практик нонконформистов.

Методологические приёмы постмодернизма, основанные на восприятии человека как лингвистической конструкции, неотличимой от сформировавшей его политической системы, вызывали возражения как зарубежных, так и российских учёных (С. Бойм, К. Б. Уль, А. М. Эткинд и др.)[1]. Например, С. Бойм солидаризировалась с Х. Аренд в характеристике профессионального мышления западных интеллектуалов-профессионалов и их российских последователей как теоретически обоснованных, но исторически неточных. Теория, по наблюдениям исследовательниц, зачастую используется в новейших трудах историков и советологов «не для расширения границ познания, а, скорее, в чисто утилитарных целях: теория становится своего рода "прибавочной стоимостью" академического продукта, делая его более привлекательным»[2]. Исследовательницы призывали коллег к большей исторической ответственности перед материалом анализа и «одновременно включённости в мир за пределами дисциплинарных рамок»[3]. Однако следует признать, что методика идентификации определённого сообщества через дискурсивные практики не отторгается учёными и продолжает продуктивно использоваться как за рубежом, так и в нашей стране[4].

---

[1] Бойм С. Как сделана «советская субъективность»? // Ab Imperio. 2002. № 3. С. 285-296. URL: https://muse.jhu.edu/issue/30932 (дата обращения: 10.12.2018) ; Уль К. Б. Сравнительный анализ концепций советской личности в англоязычных исследованиях периода холодной войны и современности // Российские и славянские исследования : науч. сб. Вып. 6. Минск : БГУ, 2011. С. 395-396. URL: elib.bsu.by (дата обращения: 10.12.2018) ; Эткинд А. М. «Одно время я колебался, не антихрист ли я»: субъективность, автобиография и горячая память революции // Новое литературное обозрение. 2005. № 73. URL: http://www.zh-zal.ru/nlo/2005/73 (дата обращения: 10.12.2018).

[2] Бойм С. Указ. соч.

[3] Бойм С. Там же.

[4] Козлова Н. Н. Советские люди. Сцены из истории. М. : Изд-во Европа, 2005. 544 с.

В отечественной науке существовала своя традиция понимания культуры как совокупности языковых кодов. Представители Тартусско-московской семиотической школы (Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский и др.) и их современные последователи[1] не ограничивались анализом дискурсивных и поведенческих практик, реконструировали типологию личности во взаимосвязи с социокультурными тенденциями эпохи, умели избегать схематизации при толковании человека и культуры, не преодолённой сторонниками школы «советской субъективности».

Желание учёных расширить представление о спектре стратегий и тактик поведения «советского человека» стимулирует в последние годы анализ конформизма как социокультурного феномена[2]. Исследователи доказывают

---

[1] Паперно И. А. Семиотика поведения: Николай Чернышевский – человек эпохи реализма. М. : Новое литературное обозрение, 1996. 207 с.; Её же. Советский опыт, автобиографическое письмо и историческое сознание : Гинзбург, Герцен, Гегель // Новое литературное обозрение. 2004. № 68. С. 102-128.

[2] Андрамонов Д. К. Аксиологические аспекты подходов к анализу конформизма и нонконформизма как социокультурных моделей // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2016. № 4/1 (66). С. 13-15; Васильев И. Е. От авангарда к классике: кризис левого искусства и проблема творческой эволюции советских поэтов //// Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований. 2013. № 6. С. 67-77; Воробьева М В. Образы конформистов в текстах культуры советского общества 1960-1980-х гг. // Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований. 2013. № 6. С. 78-86; Зорин А. Л. Лидия Гинзбург: опыт «примирения с действительностью» // Новое литературное обозрение. 2010. № 101. С. 32-52; Ильченко М. С. Советские архитекторы и институты власти в 1930-1950-х гг.: стратегии взаимодействия // Вестник Пермского университета. Сер.: История. 2013. Вып. 2 (22). С. 87-96; Ким В. В. Конформизм и нонконформизм как механизмы производства и воспроизводства фанатизма в обществе // Вестник Московского университета. Сер. 7. Философия. 2014. № 4. С. 73-99; Круглова Т. А. «Левая идея в искусстве»: сопротивление или конформизм? // Вестник Пермского университета. Сер. : История. 2013. Вып. 2 (22). С. 63-69; Её же «Искреннее приношение свободного художника на алтарь брачного союза с трудовым государством»: случай Сергея Прокофьева // Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований. 2013. № 1. С. 67-76; Круглова Т. А., Литовская М. А. Советский мир: конформизм и конформисты // Вестник Пермского университета. Серия: История. 2015. Вып.3(30). С. 67-73; Литовская М. А. Творческие возможности демонстративного конформизма советского писателя // Неприкосновенный запас. 2014. № 4(96). С. 161-173; Её же. «Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен»: случай Валентина Катаева // Вестник Пермского университета. Сер. : История. 2013. Вып. 2 (22). С. 70-76; Матутите К. П. Феномен конформизма // Знание. Понимание. Умение. 2006. № 3. С. 185-188; Раскатова Е. М. Конформизм как стратегия культуротворчества художественной интеллигенции поздней советской эпохи // Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований. 2013. № 1. С. 57-66; Савкина И.Л. «Для таких, как он, людей, убеждения не нужны» (левое/правое, идеология и культура в дневниках Корнея Чуковского 1920-х гг.) // Вестник Пермского университета. Сер. : История. 2013. Вып.

зависимость биографии от социально-идеологических воздействий, характеризуют неоднозначность жизненных позиций и поведенческих моделей советских людей, подвижность границ между адаптацией и интериоризацией. Например, Т. А. Круглова на примере биографии С. С. Прокофьева выявила социальную ангажированность творческой личности, при которой «художник предстаёт активным участником обмена ресурсами, используя множество стратегий для увеличения своего символического капитала»[1]. Работы данного направления обогащают научное понимание культурно-антропологического типа «советский человек», помогают преодолеть узко тенденциозные оценки таких сложных и неоднозначных явлений, как конформизм и нонконформизм.

Внимание к разнообразным культурным практикам советских людей, включая адаптивные, совпадает с изменением научного дискурса в культурологии последних лет – от академических исследований к прикладным. Это выразилось в смещении приоритетов: учёные, стремясь осмыслить будничную реальность, создававшую не только фон, но и культурную среду, обратились к изучению повседневно-бытовых практик советских людей[2]. У данного направления были предшественники – П. Л. Вайль и А. А. Генис, наметившие парадигму научных работ такого типа в книге «60-е. Мир советского человека» (1988 г.)[3]. Хотя авторы разных поколений анализировали представителей различных социальных групп (Вайль и Генис описывали культурные практики советской интеллигенции, современные культурологи –

---

2 (22). С. 77-86; Неменко Е. П. Французская социология искусства о конформизме: от критики к прагматике // Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований. 2013. № 1. С. 87-93; Тоддес Е. А. Б. М. Эйхенбаум в 20-50-е годы: (К истории советского литературоведения и советской гуманитарной интеллигенции) // Тыняновский сборник. Вып. 11: Девятые Тыняновские чтения. Исследования, материалы. М.: ОГИ, 2002. С. 563-691.

[1] Круглова Т. А. Соблазны соцреализма, попытки «зависти», упоение причастностью: о советском художественном конформизме // Неприкосновенный запас. 2014. № 4(96). С. 182.

[2] Лебина Н. Б., Чистиков А. Н. Обыватель и реформы: картины повседневной жизни горожан в годы нэпа и хрущёвского десятилетия. СПб. : Дмитрий Буланин, 2003. 339 с.; Лебина Н. Б. Повседневность эпохи космоса и кукурузы. Деструкция большого стиля. СПб. : Книга : Победа, 2015. 484 с.

[3] Вайль П. Л., Генис А. А. 60-е. Мир советского человека. Изд. 3-е. М. : Новое литературное обозрение, 2001. 368 с. Как видим, книга пережила уже три издания и по-прежнему остается востребованной читателями.

массового человека), работы сближает трактовка повседневности как пространства формирования социокультурной идентичности.

Повседневная культура «оттепели» даёт основания выявлять скрытый протестный пафос, иногда не вполне отрефлексированный, в поведении и образе жизни различных сообществ: стиляг, хиппи, членов туристических клубов, КСП и прочее[1]. Однако, произведя замену субъектов культурных трансформаций – от

[1] Абросимова Е. А. Семиотика бардовской песни : дис. … канд. филол. наук. Омск, 2006. 228 с.; Беленький Л. П. Авторская песня в отечественной песенной культуре второй половины XX века : дис. ... канд. культурол. наук. М., 2015. . 194 с.; Бокова Я. М. «Носил он брюки узкие, читал Хемингуэя…». Феномен стиляг во второй половине 1940-1950-е гг. // Kant. 2015. 4(17). С. 11-14; Брусиловская Л. Б. Культура повседневности эпохи «оттепели»: метаморфозы стиля : дис. … канд. культурол. наук. М., 2000. 193 с.; Габур В. С. Влияние моды на культурное сознание молодёжи: феномен стиляг в СССР в 1940-1960-е гг. // Вестник Вятского государственного университета. 2011. № 4. С. 148-152; Гайфуллин И.А. Социально-политическая активность молодежи эпохи Хрущева: отдельные аспекты изучения в отечественной историографии // Вестник Башкирского университета. 2015. Т. 20. № 3. С. 1138-1140; Грицай В. В. Развитие альтернативных форм молодежного движения в СССР (1945–1960-е гг.) : дис. ... канд. ист. наук. М., 2005. 202 с.; Давыдов С. Г. Становление и развитие неформального молодежного движения в СССР, 1945–1985 гг. : дис. ... д-ра ист. наук. М. 440 с.; Исаченко С. В. Альтернативная культура в позднесоветском социуме: региональное измерение : дис. ... канд. ист. наук. Волгоград, 2014. 197 с.; Киласония Э. Н. Музыкальная культура 60-х годов XX века в России: от традиций к инверсиям : дис. … канд. искусств. наук. Саранск, 2005. 159 с.; Клявина И. И. Авторская песня как феномен молодежной субкультуры в России 1950–1960-х годов : дис. ... канд. культурол. наук. Кемерово, 2002. 187 с.; Ковальчук С. Ю. Социальная политика советского государства и неформальные молодежные объединения (1945-1953 годы) // Символ науки. 2016. № 11-3. С. 209-212; Козлов Д. Социализация советской молодежи периода «Оттепели»: варианты альтернативных идентичностей (на примере Архангельской области) // Laboratorium. 2012. № 2. С. 115-129; Конева А. В. Модные нарративы социализма // Международный журнал исследований культуры. 2012. № 4(9). С. 122-125; Левина Л. А. Авторская песня как явление русской поэзии второй половины XX века: эстетика, поэтика, жанры : дис. … д-ра филол. наук. М., 2006. 564 с.; Мазурова А. И. Развитие, структура и сущность хиппизма. URL: http://friends.pomorsu.ru/Alest/library/hippie/hip_i.htm (дата обращения: 28.10.2019); Михайловская А. Г. Российская авторская (бардовская) песня: историко-этнологическое исследование : дис. … канд. ист. наук. М., 2006. 365 с.; Музалевская Ю. Е. Стиляги как феномен отечественной послевоенной моды //Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2007. № 2. С. 247-265; Никифоров А. Л. Зарождение оппозиционных настроений среди советской молодежи в послевоенное «Сталинское» десятилетие // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2010. № 4. С. 178-186; Ничипоров И. Б. Авторская песня 1950–1970-х гг. в русской поэтической традиции: творческие индивидуальности, жанрово-стилевые поиски, литературные связи : дис. … д-ра филол. наук. Екатеринбург, 2008. 410 с.; Потапова И. С. Авторская песня в контексте лингвокультурной ситуации 1960–1970-х годов: на материале поэтического творчества Б. Окуджавы, А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого : дис. … канд. филол. наук. Иваново, 2009. 196 с.; Самушенок Д. В. Роль неофициальной музыкально-песенной культуры в формировании социально-политических ориентаций советской молодежи 1960-1980-х годов

общественных деятелей к «частному человеку», погружённому в приватную сферу, аналитики, на наш взгляд, преувеличили степень оппозиционности, растворённой в повседневно-бытовых практиках. Стиляги, хиппи, барды и другие молодые бунтари не претендовали на статус борцов с системой и вполне довольствовались отвоёванными «островками свободы». В свою очередь идентичность «частный человек» не была типична для нонконформистов, производивших самоидентификацию, как будет показано в нашей работе, в иных категориях. Следует признать, что не всякое явление исчерпывается повседневно-бытовым осмыслением. Для адекватной оценки феномена необходима соответствующая система координат.

Ориентация на новаторские методы исследований, явственно заявившая о себе в отечественной академической науке последних лет, стимулирует индустрию новых подходов к истории. С. Бойм отмечает, что «новаторские теоретические и философские подходы открывают новые ракурсы, ведут к необходимой историографической рефлексии, помогают отстранить клише и снять табу на определённые типы исследования»[1], однако таят в себе опасность беспрерывного конструирования всё новых теоретических схем и моделей, находящихся «в очень опосредованных отношениях с личным или историческим опытом»[2]. Риск отступить от исторической точности ради оригинальных концепций в таком случае весьма велик. Одним из негативных результатов может оказаться научная непроработанность проблем, ошибочно кажущихся разрешёнными, как, например, проблема культурно-антропологической типологии советских диссидентов. В 1970-е годы С. Д. Довлатов в

: дис. ... канд. филос. наук. Тверь, 2004. 194 с.; У Цзя-цин. Бардовское движение в контексте культуры повседневности в период «оттепели» дис. … канд. культурол. наук. М., 2010. 149 с.; Ципурский Г. «Комсомолу приходится объявить беспощадную и решительную войну против всех типов стиляг». Политика в отношении «Вестернизированной» молодёжи в советском Союзе при Н. С. Хрущёве // Новейшая история России. 2013. № 3. С. 55-79; Хомутова Е. Н. Феномен авторской песни в отечественной культуре середины XX века : дис. ... канд. культурол. наук. Нижневартовск, 2002. 137 с.; Янковская О. В. Генезис авторской песни как социокультурного феномена 50-70-х годов XX века : дис. ... канд. культурол. наук. Шуя, 2011. 193 с.

[1] Бойм С. Как сделана «советская субъективность»?

[2] Там же.

художественной прозе иронизировал над неразличимостью советского и антисоветского типа личности[1]. В 1980-е это суждение поддержали П. Л. Вайль и А. А. Генис в книге «60-е. Мир советского человека». Характеристика оппозиционеров по советскому культурно-антропологическому типу, данная «шестидесятниками» всякий раз со значительной долей самокритики, проникла в современное научное сознание и прозвучала как аксиома в книге А. В. Юрчака[2]. К сожалению, представив партийных активистов и диссидентов зеркальным отражением друг друга, автор создал, по оценке К. Платта и Б. Натанса, «такое впечатление о диссидентстве, которое граничит с карикатурой»[3].

Следует признать, что без научного ответа до сих пор остаётся ряд принципиальных вопросов: в чем сущность «советского» компонента в сознании и самосознании диссидентов, на каких культурных основаниях он базировался, имел ли альтернативы, каковы формы его проявления, подвергался ли трансформации и в какой степени. Ответы на эти вопросы позволят выявить специфику коллективной и личностной идентичности членов сообщества и осмыслить в полной мере столь неоднозначный культурный феномена, как советское диссидентство 1960-70-х годов.

Таким образом, продолжение исследований данной темы вызвано необходимостью произвести корректировку сложившихся научных подходов к феномену советского нонконформизма, выявить типологию и уникальность индивидуально-личной и коллективной идентичности нонконформистов, проследить трансформацию феномена к диссидентству и осмыслить своеобразие социокультурной идентичности диссидентов.

---

[1] Довлатов С. Д. Ремесло // Собр. соч. : в 4 т. СПб. : Азбука-классика, 2003. Т. 3. С. 20.

[2] Юрчак А. В. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М. . Новое литературное обозрение, 2014. С. 212-223.

[3] Платт К. М. Ф., Натанс Б. Социалистическая по форме, неопределенная по содержанию: позднесоветская культура и книга Алексея Юрчака «Все было навечно, пока не кончилось» // Новое литературное обозрение. 2010. № 1. С. 167-184.

Основные направления советского диссидентства указывались историками неоднократно[1]:

– политические («марксисты-ленинцы», еврокоммунисты, социалисты, представители «русской правой», идеологи политического и экономического либерализма западного образца);

– национальные, среди которых наиболее сильными были прибалтийские, закавказские, украинское, крымско-татарское, месхетинское, немецкое;

– религиозные (православные диссиденты, адвентисты, баптисты, пятидесятники, кришнаиты и многие другие);

– эмиграционные (так называемые «отказники»: евреи, немцы, стремившиеся уехать в ФРГ, часть пятидесятников);

– «независимые профсоюзы», точнее люди и группы, пытавшиеся их создать;

– художественный андеграунд, сосредоточенный преимущественно на эстетическом противостоянии, но солидаризирующийся с другими «несогласными».

Из направлений советского диссидентства наиболее показательным для выявления типологии социокультурной идентичности видится нам правозащитное движение. В этой среде наиболее мобильно вырабатывались новые стратегии гражданского поведения и способы самовыражения всего сообщества, определялись парадигмы движения диссидентской мысли. Вне зависимости от «фракционной» принадлежности участников оппозиционных акций правозащитные методы, поведенческие стратегии и тактики, риторические приёмы тиражировались и приобрели в среде диссидентов характер универсальных. Однако, несмотря на обилие научной литературы о диссидентстве и обязательном упоминании в данных работах правозащиты,

---

[1] Алексеева Л. М. История инакомыслия в СССР: Новейший период. М. : РИЦ «Зацепа». 2001. 382 с.; Безбородов А. Б. Материалы по истории диссидентского и правозащитного движения в СССР 50-х-80-х годов: учебное пособие для студентов по курсу отечественной истории новейшего времени. М.: Историко-архивный институт; Giottingen: Max-Planck-Institutfiur Geschichte, 1984. 151 с.; Данилов А. А. История инакомыслия в России: советский период. 1917-1991: учебное пособие. Уфа : Изд-во Восточный университет, 1995. 102 с.; Лукин Ю. Ф. Из истории сопротивления тоталитаризму в СССР (20-80-е гг.). М. : Изд-во МГУ, 1992. 203 с.; Шубин А. В. Диссиденты, неформалы и свобода в СССР. М. : Вече, 2008. 382 с.

специального монографического исследования социокультурной идентичности правозащитников не было представлено. В основу нашего исследования положен анализ именно правозащитного самосознания и моделей поведения.

Период 1960-70-х годов выбран в качестве хронологических рамок работы по нескольким причинам. В эти годы:

– нонконформизм как модель группового и индивидуального поведения активно проявил себя в разных странах и определил в них дальнейшие социокультурные трансформации;
– в Советском Союзе сформировалось поколение «шестидесятников»;
– советский нонконформизм приобрел характер социокультурного феномена;
– в СССР возникло и структурировалось диссидентское движение;

Осознавая социокультурную неоднородность 1960-х и 1970-х годов, мы объединяем десятилетия с целью выявления общих тенденций и различий. Кроме того, анализ идентичности советских нонконформистов в динамике предполагает хронологическую последовательность и цельность.

Постановка проблемы социокультурной идентичности советских нонконформистов в диссертационном исследовании связана с необходимостью осмыслить идентичность либеральной советской интеллигенции – «шестидесятников», представить на примере этого поколения динамику самосознания к диссидентству – радикальному варианту нонконформизма.

Одним из способов оценки процесса структурирования субъектности, то есть устойчивых и осознанных свойств идентичности, является характеристика найденных членами сообщества самонаименований. Анализ понятий, использованных нонконформистами для самоопределения, выявляет сложность и неоднозначность процесса самоидентификации, что имеет ряд объективных причин.

Во-первых, наименования традиционно носят ретроспективный характер и отстают во времени. В «шестидесятники», названные таким образом в начале 1960-х годов, попало поколение, активно заявившее о себе за десятилетие до

этого. «Правозащитники», появившись в конце 1960-х, нашли для себя имя во второй половине 1970-х.

Во-вторых, самоопределение предполагает сопоставление с другими общностями и группами, выявление не только различий, но и сходства. Это влечёт приём аналогий, что сказывается на заимствовании существующего названия или прямом переводе с другого языка, когда феномен номинируется по принципу узнавания. Понятие «шестидесятники» пришло из XIX века, имело свою семантическую нагрузку и было принято поколением. Термин «нонконформизм», к середине XX века активно использованный в научной литературе, преимущественно философской и психологической, проник в повседневное словоупотребление «шестидесятников» главным образом с работами экзистенциалистов и не вошёл в активную практику самоопределений[1]. Русский перевод – «инакомыслие» – использовался для самоидентификации чаще, поскольку был синонимичен понятиям, фиксировавшим в аксиологии интеллигенции значимость независимой личностной позиции: «свободомыслие», «свободолюбие», «вольнодумство», «духовная свобода» и прочее[2].

В-третьих, поиск адекватного наименования для самохарактеристики зачастую ведётся сообществом среди широкого поля семантически близких понятий, некоторое время фигурирующих на равных. «Инакомыслящие», «нонконформисты» и «диссиденты» употреблялись как синонимы в исторической ретроспективе: два последних термина использовались в протестантской Европе с XVI века и не различались при обозначении религиозных меньшинств. В словоупотребление «шестидесятников»

---

[1] По замечанию Ю. Л. Фрейдина в частной переписке с автором, называние себя нонконформистом звучало «пижонски», то есть имело налёт театральности и самолюбования.

[2] Способность индивида ощутить себя «другим», отличным от массы соотечественников, зафиксирована в некоторых названиях автобиографий философов-«шестидесятников», например Г. С. Померанца «Записки гадкого утёнка» и А. А. Зиновьева «Исповедь отщепенца». Написанные авторами в зрелые годы, книги отражают общий самоидентифицирующий признак – ощущение собственной «инаковости», возникший в юности и определивший поведенческую стратегию нонконформиста, или в русском варианте – инакомыслящего.

«диссидент» пришло извне, от западных журналистов и советологов, применявших английское «dissent» (– разногласие) для характеристики советских вольнодумцев[1]. Определение прижилось, но получило ироничные коннотации. По воспоминаниям А. И. Гинзбурга и А. Ю. Даниэля, в таком, сниженном, звучании его использовал, например, Л. Е. Пинский[2]. Иронию в наименовании ощущал Ю. Л. Фрейдин, приводя в качестве примера расхожее в среде московской интеллигенции приветствие 1970-х годов «Ну что, диссидентствуешь понемногу?»[3].

Двойственное отношение к определению «диссидент» стимулировало дальнейший поиск. Старшим поколением интеллигенции для характеристики молодых инакомыслящих использовались «либералы», «либералисты», «прогроссисты». П. И. Якир предлагал единомышленникам именоваться «демократическим движением», звучало также «протестанты»[4]. Названия не отторгались, но и не прижились. Из потребности молодого поколения оппозиционеров найти более точное наименование возникло «правозащитники», используемое для одного из вариантов инакомыслия. В итоге «инакомыслящий» осталось как номинация целого, синоним научного термина «нонконформизм», «правозащитники» – для обозначения частного.

Как видим, поиск названия внутри сообщества шёл интенсивно и отражал потребность найти главный идентифицирующий признак, по которому можно производить самоопределение и узнавать «своих».

Использование в работе определения «нонконформизм» для обозначения мировоззренческой позиции, аксиологии, поведенческих и дискурсивных практик инакомыслящих объясняется несколькими причинами:

1. Самоидентификация членов сообщества производилась по нонконформистскому типу личности: базовыми ценностями, определяющими

---

[1] Степанов Ю. С. Константы: словарь русской культуры. М. : Академический проект, 2004. С. 693.
[2] Даниэль А. Ю. Диссидентство: культура, ускользающая от определений? // Россия/Russia. Вып. 1 [9]: «Семидесятые» как предмет истории русской культуры. М. : О.Г.И, 1998. С. 122.
[3] Фрейдин Ю. Л. из переписки с автором.
[4] Там же.

субъектность, выступали интеллектуальная, нравственная и творческая свобода, право на самовыражение социальной и гражданской позиции, возможность самостоятельного и независимого выбора ценностно-нормативных ориентиров, аналитизм и критицизм в адрес власти;

2. Советский нонконформизм был отражением тенденций мировой культуры – активизации во второй половине 1960-х годов протестных выступлений молодёжи и становления феномена контркультуры в странах Европы и Америки. Их причины А. В. Шубин объясняет кризисом европейского общества, при котором «устойчивое экономическое развитие индустриальной системы выявило её социально-психологические изъяны. Рост самостоятельности интеллектуальных слоёв, будущих проводников информационной трансформации общества, вступил в конфликт с жёсткими рамками системы, развитие гражданского и демократического самосознания поставило всестороннее самоуправление в повестку дня»[1]. Выработка мировоззрения нового поколения интеллектуалов проходила на основе отторжения не только всей системы государственного порядка, но и социальных ценностей лояльности, адаптации, приспособленчества. Молодые оппозиционеры производили самоидентификацию по бинарной модели «конформизм – нонконформизм». Не используя для самооценки в повседневной речи понятия «нонконформист», советские инакомыслящие, как и европейские бунтари, выстраивали схожую ценностную иерархию, отторгали любые формы конформизма.

3. Использование научного термина адекватно характеру данной работы.

Объектом исследования является советский нонконформизм 1960-70-х годов как социально-культурный феномен.

Предмет исследования составляет социокультурная идентичность советских нонконформистов 1960-70-х годов, выявленная при анализе базовых ценностно-мировоззренческих оснований, поведенческих моделей и дискурсивных практик либеральной советской интеллигенции, именуемой «шестидесятниками».

[1] Шубин А. В. «Красный май»: что это было? // Новое прошлое. 2018. № 4. С. 42.

Основное внимание будет уделено процессу формирования субъектности нонконформистов, активной и деятельной рефлексии индивида в поиске общих оснований с другими членами сообщества, позволяющей личности идентифицировать себя как части единого целого.

Цель диссертационного исследования состоит в анализе социально-культурной идентичности советских нонконформистов 1960-70-х годов как типа индивидуального и группового самоопределения.

Она определила следующие исследовательские **задачи**:

– охарактеризовать аксиологические и мировоззренческие основания самоидентификации советских нонконформистов;

– выявить место этики в аксиологии сообщества;

– определить специфику исторического сознания и его роль в самоидентификации сообщества;

– проследить динамику самосознания – от «шестидесятничества» к диссидентству;

– осмыслить типологию социального поведения членов сообщества;

– проанализировать становление поведенческих образцов и трансформацию их в норму;

– охарактеризовать дискурсивные практики «шестидесятников» и специфику диссидентского дискурса как способа самопрезентации сообщества;

– представить авторскую стратегию в литературно-публицистических текстах диссидентов как элемент самопрезентации сообщества;

– оценить личную и коллективную идентичность на материале наиболее показательных в этом отношении жанров самиздата – автобиографии диссидента и отчёта о суде над диссидентами.

Цель и задачи исследования соответствуют Паспорту научной специальности 24.00.01 – «Теория и история культуры. Культурология».

В области теории культуры: исследуется историческая специфика и идеологические аспекты советской культуры, социокультурные измерения «оттепели», определившие дальнейшую динамику культурных процессов

поздней советской и постсоветской поры, анализируются поведенческие практики значимой для культурной жизни эпохи социальной группы – советской интеллигенции.

В области истории культуры: анализируется культурный феномен советского нонконформизма, его мировоззренческие, ценностные основания и поведенческие практики. При анализе литературно-публицистического наследия диссидентов выявлены социальные функции самиздата. Тексты диссидентов изучены с культурологических позиций как дискурсивные практики, отражающие аксиологию, самосознание, социальные стратегии и поведенческие модели сообщества[1].

Решение задач диссертационной работы позволяет осмыслить механизмы становления и тенденции социокультурного развития советского нонконформизма 1960-70-х годов как феномена культуры, выявить историческую преемственность в сохранении и трансляции культурных ценностей свободомыслия и духовно-нравственной автономии личности в аксиологии либеральной советской интеллигенции, обнаружить механизмы взаимодействия ценностей и норм в отечественной культуре, осмыслить процесс культурного наследования как определяющий для самоидентификации сообщества советской либеральной интеллигенции.

Гипотеза исследования. Культурная идентичность является сложной многоуровневой системой. Выявление её компонентов, специфики, типологии и форм проявления позволяет осмыслить социокультурный феномен как целостное явление. Способы самоидентификации советских нонконформистов показательны при оценке культурно-антропологического типа «советский человек» в его универсальных и вариативных свойствах. В самоидентификации нонконформистов происходили изменения, отражавшие и во многом определявшие культурные процессы поздней советской и постсоветской поры.

---

[1] О специфике культурологического анализа литературных текстов см. Тищенко Н. В. Литературный текст как предмет культурологического анализа // Цивилизация – Общество – Человек. 2015. Т. 1. № 1-1 (1). С. 53-58.

Источниковедческой базой диссертационного исследования послужили материалы, позволяющие осмыслить характер идентичности нонконформистов в различных аспектах – с официальной и неофициальной позиций.

Официальные документы дают возможность реконструировать значимое звено в системе детерминант оппозиционной идентичности. Записки КГБ при Совете Министров СССР в ЦК КПСС, Отдела культуры ЦК КПСС, справки Государственного комитета по печати при Совете Министров СССР представляют позицию государства в отношении творческой и гуманитарной интеллигенции, идеологические запросы, определяющие тип управления культурой. Материалы отражают тревогу властей в связи с возможным ослаблением роли художественной культуры как стабилизирующего фактора социальной системы. Документы Отдела культуры и Госкомитета по печати демонстрируют реакцию на распространение нонконформистских настроений в среде художественной интеллигенции, принципы взаимодействия творческих союзов и государственных структур, причины возникновения конфликтных ситуаций и способы их разрешения. Записки КГБ, одного из надзорных органов Совета Министров, – формы воздействия на инакомыслящих, логику выбора репрессивных мер. Их анализ позволяет понять, что в основе репрессивной идеологии и политики в отношении культуры лежало отношение к продукту творчества как к социальной акции. Поведение нонконформистов в свете представленных документов получает дополнительное обоснование.

Восстановить культурную среду, питавшую оппозиционные настроения, и ощутить атмосферу внутри профессиональных сообществ, «заражённых» инакомыслием, позволяет анализ стенограмм партсобраний различных трудовых коллективов – московского Института русского языка АН СССР и различных институтов новосибирского Академгородка. Реакция сотрудников и коммунистов первичных парторганизаций на участие коллег в защите осуждённых по двум знаковым судебным процессам – «делу Синявского и Даниэля» и «процессу четырёх» – показывает живую реакцию людей на действия оппозиционера, пробивающуюся сквозь соблюдаемый коллегами

поведенческий канон, обязательный для партийно-административных мероприятий. Документы воссоздают атмосферу профессиональных сообществ, в которой на повседневном уровне формировалась личная идентичность нонконформистов, и позволяют обнаружить в коллективной идентичности оппозиционеров отдалённых друг от друга регионов Москвы и Новосибирска типологически общие свойства.

Документы государственных и региональных руководящих органов представляют дискурсы власти, реализованные на макро и микроуровнях, дают возможность осмыслить общие принципы руководства культурой и реализацию партийного курса на местах, во многом обусловившие формирование оппозиционного поведения граждан.

Критерием отбора неофициальных документов служила их показательность для типологии самосознания, поведенческих и дискурсивных практик «шестидесятников». Их позицию представляют тексты различных жанров: открытые письма, отчёты о судах над инакомыслящими, дневники, автобиографии, воспоминания, интервью, литературно-публицистические работы. Они раскрывают систему личностных детерминант, определявших выбор человека в пользу нонконформистского поведения, дают представление о культурных и поведенческих ориентирах, ценностных и мировоззренческих основаниях, формирующих коллективные сценарии общественных выступлений.

Тексты писем петиционных кампаний по «делам» И. А. Бродского, А. Д. Синявского и Ю. М. Даниэля, «процессу четырёх» позволяют выявить спектр общественного мнения интеллигенции, показывают интенсивный поиск единомышленниками осуждённых эффективных способов из защиты. Сопоставление документов позволяет осмыслить, как от одного судебного процесса к другому менялись коммуникативные техники, риторика, характер посланий, выдвигалась дополнительная аргументация и ширилась география адресантов. Значимым фактом является региональная отдалённость друг от друга «очагов инакомыслия», снижающая вероятность взаимовлияния. При этом участники петиционных кампаний в разных городах страны, действуя

независимо друг от друга, эмпирическим путём находили однотипные тактические приёмы, демонстрировали схожее коммуникативное поведение, что свидетельствует о единстве нормативно-ценностной системы сообщества.

Коммуникативным событием изученных петиционных кампаний являлись суды над нонконформистами. В работе представлены отчёты инакомыслящих о самых резонансных процессах, воспринятых «шестидесятниками» в качестве знаковых для общественной ситуации, обнаживших противоречия не только между властью и нонконформистами, но и среди советской интеллигенции: запись суда над И. А. Бродским Ф. А. Вигдоровой, «Белая книга по делу Синявского и Даниэля» (составитель А. И. Гинзбург), «Процесс четырёх» П. М. Литвинова, «"Полдень": Дело о демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 года» Н. Е. Горбаневской. Анализ текстов позволяет охарактеризовать стратегию авторов, не просто фиксирующих судебные процессы, но интерпретирующих их в соответствии с позицией единомышленников осуждённых. Каждый из авторов находил свои приёмы воздействия на предполагаемого читателя, но всякий раз выступал от имени сообщества. Материалы судов значимы для выявления одного из показательных качеств идентичности нонконформистов – согласованности индивидуально-личностных и коллективных устремлений.

Наиболее представительный корпус источников – эго-тексты. Воспоминания, автобиографии и дневники литераторов (Н. А. Воронель, А. И. Кондратовича, З. Л. Копелева, В. Я. Лакшина, Н. Я. Мандельштам, Р. Д. Орловой, Г. Ц. Свирского, А. И. Солженицына, А. Т. Твардовского, К. И. Чуковского, Л. К. Чуковской, Е. Л. Шварца) передают атмосферу внутри творческого союза, выявляют спектр личностных позиций и поведенческих сценариев советских литераторов, демонстрируют индивидуальный выбор писателя в пользу нонконформистского или адаптивного поведения. Мы видим, что этот выбор зачастую определялся не мировоззренческими разногласиями, а представлением о допустимых способах поведения в профессии, социуме и характере взаимоотношений с властными структурами.

В воспоминаниях философов и историков (А. Я. Гуревича, А. А. Зиновьева, А. М. Некрича, Г. С. Померанца, В. И. Толстых, В. Н. Садовского, Ю. А. Шрейдера, Дж. П. Скэнлана и др.) дана характеристика научной среды 1960-70-х годов, описаны попытки преодоления идеологического диктата в гуманитарных науках, варианты сохранения исследовательской независимости и профессиональной ответственности советских учёных. Наряду с эго-текстами литераторов они расширяют наше представление об интеллектуально-нравственных поисках «шестидесятников», причинах формирования нонконформистских настроений советской интеллигенции.

Эго-тексты участников правозащитного движения, составившего основу диссидентства, дают материал для выявления типологии идентичности диссидентов. Воспоминания и автобиографии Л. И. Богораз, В. К. Буковского, Н. Е. Горбаневской, П. Г. Григоренко, А. Т. Марченко, Ю. Ф. Орлова показательны для характеристики специфики диссидентского дискурса, типичных для сообщества способов интерпретации общественно-политических событий и фактов собственной биографии, выявления общности и различий коллективной идентичности «шестидесятников» и диссидентов. Анализ литературно-публицистических приёмов создания биографии диссидента и истории правозащитного движения помогает обнаружить типовые способы презентации и стереотипы сознания членов сообщества.

Источником информации о самосознании нонконформистов послужило литературно-публицистическое наследие «шестидесятников», диссидентов и официальная пресса. Статьи из официальной печати: «Литературная газета», «Литература и жизнь», «Литературная Россия» и журналов «Новый мир», «Октябрь», «Юность», «Молодая гвардия», «Знамя» и др. показательны для осмысления идейных противоречий в среде художественной интеллигенции 1960-70-х годов, характеристики ценностных доминант, определяющих тип профессионального и социального поведения. Публицистика «шестидесятников» свидетельствует о попытках либеральной интеллигенции отыскать способы выражения нонконформистских идей, оставаясь в поле официальной культуры.

В работе использованы работы Р. А. Зерновой, Ст. Рассадина, Ф. А. Вигдоровой, А. Т. Твардовского, В. М. Померанцева, К. Г. Паустовского, О. Ф. Берггольц, К. М. Симонова и др.

Основные темы и проблемы, обсуждаемые в сам- и тамиздате, обозначают «болевые точки» сообщества диссидентов, отражают конфронтационную позицию авторов. Анализ поэтики текстов В. К. Буковского, Н. Е. Горбаневской, С. Ф. Глузмана, А. С. Есенина-Вольпина, А. Д. Сахарова, А. И. Солженицына, Г. И. Померанца, В. Я. Тарсиса, Л. К. Чуковской и др. позволяет реконструировать авторские стратегии, найденные для актуализации общественно-политических, эстетических, морально-нравственных вопросов, волнующих сообщество.

Интервью начала XXI века с участниками диссидентского движения (Л. М. Алексеевой, Н. Е. Горбаневской, А. С. Есениным-Вольпиным, Ю. Ч. Кимом, С. А. Ковалёвым, И. П. Якир и др.) дают возможность сравнить типы нарративов – последних лет и 1970-х годов, делают наиболее очевидными приёмы самопрезентации сообщества советской поры.

Телевизионная документалистика последних десятилетий представила зрителям воспоминания творческой интеллигенции о художественном процессе 1960-70-х годов. По ним можно воссоздать социально-психологические аспекты взаимоотношений «шестидесятников» и власти, обнаружить личностные и коллективные основания поведенческой позиции поколения, не деформированные с течением времени.

Комплекс изученных источников позволяет осмыслить характер идентичности «шестидесятников» и диссидентов, понять систему внешних и внутренних детерминант оппозиционного поведения, выявить аксиологические и мировоззренческие доминанты, определившие личностный выбор в пользу нонконформизма, обнаружить эмоционально-психологические закономерности «дрейфа» части «шестидесятников» к диссидентству, проследить процесс отчуждения в самосознании инакомыслящих.

В совокупности использованная база источников дала возможность решить поставленные в работе исследовательские задачи.

В работе с источниками используются методы семиотики, междисциплинарного, сравнительного, дискурсивного и семантического анализа, а также социокультурной интерпретации и понимания.

Теоретико-методологическую основу исследования составил комплекс трудов, составленный из концептуальных подходов и методик социальной философии, этики, социологии, социальной психологии, антропологии, культурологии, во-первых, о нонконформизме как социокультурном феномене и модели поведения личности и, во-вторых, о теории идентичности. Междисциплинарный и интегральный характер исследования объясняется спецификой изучаемого феномена и конкретными задачами данной работы. Многообразие подходов к нонконформизму диктует потребность произвести селекцию теорий и научных идей, выделить базовые концепции и методики. Критерием отбора служила степень адекватности научного дискурса социокультурному типу нонконформизма 1960-70-х годов. Мы исходим из представления о динамике социокультурного феномена нонконформизма, его способности к трансформациям и мутациям.

В работе используются теоретические разработки семиотической школы об оппозиции ценностно-нормативных оснований доминирующей и периферийной культур, определяющей динамическое развитие культуры и в то же время чреватой «взрывом» – переформатированием структурных позиций, при котором периферия занимает место центра, формирует ядро культуры и вырабатывает новую систему ценностей[1]. Выводы семиотиков (Ю. М. Лотмана, Б. А. Успенского, И. А. Паперно и др.) позволяют осмыслить закономерности возникновения социокультурных явлений, оппозиционных доминирующей культуре, стратегии поведения личности или сообщества, стремящихся

[1] Лотман Ю. М. Культура и взрыв // Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб. : Искусство-СПБ, 2000. С. 14-132.

преодолеть маргинальный статус, механизмы взаимодействия периферийной и доминирующей культур.

Философские основания нонконформистской идентичности и социальной модели поведения раскрыты в трудах мыслителей «Франкфурдской школы». Для анализа феномена учёные оперировали понятиями «ложное сознание», «отчуждение», «массовая культура», «массовое общество» и проч. Реконструкция нонконформистской идентичности производилась в оппозиции к конформизму. Истоки формирования конформистской идентичности и поведенческой модели философы (Т. Адорно, М. Хоркхаймера, Г. Маркузе)[1] видели в специфике буржуазного производства, провоцирующего «самоотчуждение» человека, вынужденного формировать себя в соответствии с требованиями общества. Не менее разрушительными тенденциями обладает, по мнению учёных, массовая культура (идеи мыслителей перекликались с её трактовкой О. Шпенглером, Х. Ортега-и-Гассететом, К. Ясперсом и др.). Она не предполагает опоры человека на персонализированный опыт, стандартизирует систему ценностно-нормативных ориентаций, формирует «одномерного» человека (Г. Маркузе). Потеря личностной целостности, деформация осознанной и устойчивой идентичности осмысливалась как основа конформизма. Истоки нонконформизма как социокультурного феномена и модели поведения учёные видели в потребности личности преодолеть психологическое состояние отчуждения и «одномерность» сознания, вырваться из-под тотального контроля массового общества. Э. Фром[2] считал психологическим источником господства конформных настроений в европейском обществе бегство человека от свободы, видел социальную альтернативу в индивидуальном стремлении личности к развитию в себе таких качеств, как автономия и независимость.

---

[1] Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика Просвещения. М. : Медиум, 1997. 312 с.; Маркузе Г. Одномерный человек. М. : REFL-book, 1994. 368 с.

[2] Фромм Э. Бегство от свободы. М. : Аст: Астрель, 2012. 284 с.; Его же. Иметь или быть? Ради любви к жизни. М. : Айрис-пресс, 2004. 384 с.

Воззрения Э. Фрома перекликались с суждениями экзистенциалистов (А. Камю, Г. Марселя, Ж.-П. Сартра, М. Хайдеггера, К. Ясперса[1]), определявших нонконформизм как экзистенциальное состояние личности, жизненную позицию и тип социального поведения. Концепция нонконформизма разрабатывалась мыслителями в контексте таких категорий, как «свобода», «подлинность существования», «выбор себя».

Ж.-П. Сартр утверждал, что человек сам распоряжается собственной свободой и определяет смысл своей деятельности. Если он находит смысл в подчинении внешней идеи, политической силе, закону, чужой воле и прочее, то это позиция осмысленного конформизма, психологически комфортная, но лишающая личность подлинности существования. М. Хайдеггер считал, что общественное мнение осуществляет диктатуру над человеком. «Общественность» диктует категорический императив: веди себя как все. Подчинившись ему, личность нивелирует, теряет самобытность. К. Ясперс отмечал, что становление себя начинается с противопоставления другим, при котором происходит распад общности на отдельные и независимые «я». По мнению экзистенциалистов, человек сам творит свою сущность и делает нравственный выбор. Он может принять свободное решение, наполняющее жизнь личностным смыслом. Свобода даёт возможность человеку оставаться собой и сохранять творческую самостоятельность, не растворяясь в аморфном вещном мире и не подчиняясь общественному мнению. Стремление к свободе полностью раскрывает потенциал личности, хотя и определяет поступки с неоднозначным нравственным содержанием – от борьбы патриота с захватчиками до террористических актов боевиков. При этом безрассудный протест в любом проявлении не теряет экзистенциальной ценности, поскольку свобода – абсолютная ценность. Экзистенциализм героизировал

---

[1] Камю А. Человек бунтующий // А. Камю А. Сочинения : в 5 т. Харьков: Фолио, 1998. Т. 3. С. 61-407; Марсель Г. Проблематичный человек // Философия и культура. 2009. № 12. С. 32-50; Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм. URL: http://scepsis.net/library/id_545/html (дата обращения: 9.12.2018); Хайдеггер М. Время и бытие : статьи и вступления. М. : Республика, 1993. 445 с.; Ясперс К. Призрак толпы. М. : Алгоритм, 2008. 269 с.

нонконформизм, провозгласив в качестве идеала человека, «полностью свободного, независимого в своей деятельности ни от внешнего мира, ни от общественно-исторической среды и развивающегося по своим собственным внутренним стремлениям»[1].

Можно сделать вывод, что идентичность в целом трактовалась философами как многоаспектный феномен, который формируется, поддерживается и трансформируется в зависимости от социокультурных условий и нравственного выбора личности. Нонконформистская идентичность осмысливалась как индивидуально-личностная задача сохранения духовно-нравственной автономии, самотождественности, способности к самостоятельному выбору ценностно-нормативных ориентиров.

Социально-философские идеи мыслителей «Франкфурдской школы» созвучны самоидентификации советских нонконформистов в ценностно-аксиологических основаниях: неприятии унифицированного сознания и стандартизированного образа жизни, значимости ценности свободы и личностной автономии. Работы западных философов задают аксиологическую парадигму осмысления социокультурной идентичности советских нонконформистов.

Ограниченные рамками идеологии, советские философы чаще всего пробивались к осмыслению нонконформизма через анализ западного общества, характеризуя его как враждебное человеку, провоцирующее отчуждение личности (о предпринятом Э. В. Ильенковым, А. А. Зиновьевым и Г. П. Щедровицким анализе механизма отчуждения в советском строе речь пойдет в 1 и 2 главах). Марксизм как основание исследовательской аксиологии определил восприятие европейского нонконформизма как закономерного результата давления буржуазного общества на человека, попытку личности преодолеть отчуждение не только от производства, общественной жизни и проч., но и от себя. Способность индивида реализовать социальную стратегию эмансипации от

---

[1] Сахарова Т. А. Проблема человека в концепциях французских экзистенциалистов // Современный экзистенциализм. Критические очерки. М. : Мысль, 1966. С. 282.

диктата общества оценивалась как показатель личностной зрелости и ответственности. Конформизм, как социальная мимикрия, наделялся отрицательными коннотациями.

Суждения о характере конформистской и нонконформистской идентичности, высказанные советскими философами-«шестидесятниками» (Г. П. Щедровицким, Э. В. Ильенковым, А. А. Зиновьевым, З. К. Мамардашвили, Н. В. Мотрошиловой и др.) и психологами (Г. М. Андреевой, Л. И. Божович, И. С. Коном, А. В. Петровским, В. Э. Чудновским и др.)[1], дают основания, сопоставив воззрения западных и отечественных учёных, выявить общие критерии оценок и реконструировать социокультурный контекст, в котором происходило становление идентичности советских нонконформистов.

Трактовка советскими гуманитариями категории идентичности в целом вписывалась в парадигму классической философии: акцент был сделан на идее сохранения субъектности как осознанной и устойчивой идентичности.

Из многообразных психологических концепций идентичности и её нонконформистского варианта (психоаналитический, бихевиористический и др.) для нашей работы особенно значимы когнитивный и деятельностный подходы, раскрывающие процессы самоидентификации и взаимодействия личностной и коллективной идентичностей, дополняющие представления о механизмах социокультурной идентификации и влиянии социальных отношений на личностную идентичность.

В трудах С. Л. Рубинштейна, Л. И. Божович, А. Н. Леонтьева и др. представителей деятельностного направления[2] акцентировалась способность

---

[1] Андреева Г. М. Социальная психология. М. : Аспект Пресс, 1999. 375 с.; Божович Л. И. Проблемы формирования личности: Избр. психол. тр. / под ред. Д. И. Фельдштейна; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. М. : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2001. 349 с.; Кон И. С. В поисках себя: личность и се самосознание. М. : Политиздат, 1984. 335 с.; Петровский А. В. Личность. Деятельность. Коллектив. М : Политиздат, 1982. 255 с.; Чудновский В. Э. О некоторых исследованиях конформизма в зарубежной психологии // Вопросы психологии. 1971. № 4. С. 164-173.

[2] Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир. СПб. : Питер, 2003. 512 с.; Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М. : Политиздат, 1975. 304 с.; Божович Л. И. Проблемы

личности сопротивляться давлению группы, сохранить целостность, устойчивость, эмансипированность во взглядах, суждениях и поступках от окружающей их общественной среды. Анализ внешних и внутренних стимулов становления самостоятельной и независимой поведенческой модели, произведённый учёными, важен для понимания психологических механизмов возникновения и развития социокультурного феномена нонконформизма.

Анализ функционирования идентичности, произведённый в рамках когнитивного подхода А. Тэшфелом, Л. Фестингером, М. Хоггом[1], позволил осмыслить идентичность в качестве когнитивной системы, которая выступает регуляцией поведения человека. Л. Фестингер предположил, что люди оценивают себя и свои качества на основе некоторых объективных и осознаваемых критериев, сформированных в определённой культуре доминирующей ценностно-нормативной системой. Социокультурная идентификация производится через сравнение и отождествление, рефлексию своей личностной уникальности и схожести. При этом конформистская и нонконформистская идентичности уравнены как несбалансированные. В первом случае индивид подпадает под влияние группы, общества, теряет способность критически оценивать информацию, принимать самостоятельные решения и моделирует поведение в зависимости от доминирующей системы ценностей. Во втором полностью её отторгает, что чревато негативными последствиями как для личности, так и для общества.

Е. П. Матузкова, продолжив анализ механизмов формирования личной и коллективной социокультурной идентичностей, пришла к выводу об их нетождественности. В основе личностной самоидентификации лежит механизм отождествления человеком себя с культурой определённой общности и её системой ценностей. Коллективная идентичность предполагает выявление

формирования личности: Избр. психол. тр. / под ред. Д. И. Фельдштейна. М. : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2001. 305 с.

[1] Festinger L. A. Theory of social comparison processes // Human Relations. 1954. № 7. P. 117-140; Hogg, M. The social psychology of group cohesiveness: from attraction to social identity. England: Harvester Wheatsheaf, 1992. 305 p.; Tajfel H., Turner J. The social identity theory of intergroup behaviour // Psychology of intergroup relations. Chicago: Nelson-Hall, 1986. P. 7-24.

различий через «сопоставление, сравнение одной культурной общности с другими. После чего происходит осмысление общностью себя как таковой, как целого, обладающего группоидентифицирующими признаками, и тем самым формируется представление общности о себе как самобытной целостности, с которым идентифицируют себя все её члены»[1].

Выводы психологов когнитивного направления важны для понимания механизма формирования идентичности нонконформистов и ценностных оснований их поведенческих моделей.

В работе учитываются также другие трактовки нонконформизма (психоаналитическая, структурно-функциональная, бихевиористическая, постмодернистская и проч.).

Теоретические положения психологов важны для понимания структуры социокультурной идентичности. При акцентировании субъектности как осознанной и устойчивой идентичности социокультурная идентичность рассматривается как система свойств, благодаря которым человек становится социально-культурным индивидом, членом определённой культуры и общности[2]. При оценке процесса социокультурной идентификации значимой характеристикой выступает осознание личностью своей принадлежности к культуре какой-либо общности, выражаемое в принятии значимых для данной группы ценностей, установок, стереотипов и моделей поведения.

В качестве базовых методологических операций в работе были использованы методы синхронного, диахронного и компаративного анализа, позволившие рассмотреть нонконформизм в статике и динамике, с учётом сложности и противоречивости феномена, сравнить семантику понятия «нонконформизм» в трактовке «шестидесятников» и диссидентов. Историко-логический метод применялся для анализа нонконформизма как сложного исторически развивающегося явления в его конкретном многообразии, особенных и

---

[1] Матузкова Е. П. Культурная идентичность: к определению понятия. Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Филология, педагогика, психология. 2014. Вып. 2. С. 67.

[2] Кон И. С. В поисках себя: личность и ее самосознание. М. : Политиздат, 1984. 151 с.

единичных проявлениях и существенных закономерностях. Метод структурно-функционального анализа обеспечил возможность увидеть механизм становления нонконформистских воззрений, поведенческих моделей и речевых стереотипов «шестидесятников» и диссидентов в структуре общественного порядка. Метод феноменологического анализа позволил осмыслить нонконформизм в его сущностных характеристиках: смыслы и значения, формы, виды и типы проявления и функционирования. Метод моделирования использовался для построения модели нонконформизма как типа социального поведения. Основные логические операции: анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, сравнение и классификация – являлись фундаментом рационально-логического анализа социокультурной идентичности советских нонконформистов.

Культурологический характер исследования определил арсенал **терминологических средств**.

«Советский культурно-антропологический тип» – многомерное понятие, включающее характеристику личности в её отношении к марксистско-ленинской идеологии, патернализму власти в адрес общества и граждан, системе ценностей. В аксиологии советского человека сочетались казалось бы противоречивые ценности: коллективизм и потребность в автономии, социальное равенство и стремление индивида к самореализации, патернализм и значимость личностной свободы, традиционализм и мобильность ценностных оснований[1]. Ценностная система сохраняла амбивалентность в самосознании представителей различных социальных групп – «простых советских граждан» и интеллигенции, входившей с 1950-х годов в культурную элиту страны. При этом типология советского человека не была единой, имела специфические свойства: различия массового сознания и элитарного определяли разнообразие ценностных приоритетов, жизненных стратегий, моделей поведения, дискурсивных практик.

---

[1] Попов М. Е. Антропология советскости (Философский анализ) : Дис. ... канд. филос. наук. Ставрополь, 2004. С. 7.

Сохраняя базовые свойства, культурно-антропологический тип трансформировался во времени. Аксиология и способы самоидентификации человека 1930-х годов не тождественны 1960-м или 1980-м. В работе на примере «шестидесятников» исследован один из вариантов самосознания «советского человека».

«Шестидесятники» – поколение советской интеллигенции, ориентированной на культурные традиции и систему ценностей европейской и демократической русской интеллигенции XIX века. Общая аксиология определяла схожий тип восприятия и объяснения событий отечественной истории XX века, формировала картину мира и человека, задавала модель коллективного поведения и типы нарратива.

В качестве синонима в работе используется понятие «либеральная советская интеллигенция», подразумевающее не политические ориентации «шестидесятников», а либеральную систему ценностей, провозглашающую необходимость паритетных отношений власти и общества, автономию личности от диктата государства, социальную ответственность и потребность общественного служения, активную гражданскую позицию в отношении политических свобод и других демократических целей, право человека на самовыражение[1].

В гуманитарном сознании, как отмечалось выше, предложены разнообразные подходы к концепту «нонконформизм» (от лат. non – «не» и conformare – «устраивать», «образовывать»; от франц. non-conformisme – неприспособленчество), соответствующие научной специализации. Богатая семантика понятия продуцирует дискуссионность толкования. Мы выбираем определение, наиболее согласующееся с концепцией исследования, и исходим в его осмыслении из нескольких позиций:

1. Многозначность понятия – продуктивный инструмент исследования, поскольку позволяет, определив базовые значения, учитывать вариативные

[1] Тищенко Н. В. Либеральный дискурс // Дискурс-Пи. 2016. № 3-4 (24-25). С. 286-291.

признаки, обусловленные сферой функционирования (художественной, научной, общественно-социальной или повседневно-бытовой и т.д.).

Концепт «нонконформизм» имеет протестное содержание, базовые категории – оппозиционность властному дискурсу, неприятие официальной системы норм, ценностей и поведенческих практик, декларация альтернативных парадигм культурного развития.

В зависимости от сферы применения общий концепт получает дополнительные коннотации.

В социально-политическом значении термин «нонконформизм» означает неприятие личностью или сообществом официальной идеологии и дискурса власти, что чревато оппозиционностью и социальным протестом.

В аксиологическом плане в единое семантическое поле входят понятия «инакомыслие», «свободомыслие», «вольнодумство», «духовная свобода», указывающие ориентацию личности на самостоятельность мышления, независимость творческой и интеллектуальной позиции, свободу от доминирующих в обществе нормативов. В лексиконе «шестидесятников» данные понятия выступали как синонимы и наделялись положительной характеристикой. Ориентация на нравственную ценность нонконформизма не определяется профессиональной принадлежностью, но может стать основой объединения в сообщества и группировки.

Художественный нонконформизм находил для себя понятия, близкие по семантике: «неофициальное», «запрещённое», «андеграундное», «подпольное», «другое», «второе» искусство. Эти определения роднит указание на пространство функционирования – вне официальных сфер. Общим свойством нонконформистских художественных явлений исследователи (Е. Ю. Андреева, Ю. Я. Герчук, Т. А. Круглова, А. В. Скиперских, Г. А. Соколов и др.) считают сопротивление «советским культурным стандартам» (Е. Ю. Андреева), независимость творческих исканий авторов, ориентацию на эстетику, отличную от соцреализма, поиск новых парадигм развития. Нонконформизм в искусстве

трактуется как оппозиционность господствующему эстетическому канону, художественная декларация свободы творчества.

В повседневно-бытовой культуре нонконформизм проявляется в нарушении человеком преобладающих стандартов в образе жизни, поведении или одежде.

2. Концепт имеет сложную структуру, в семантику входит система ценностей, характеристика общественно-политической позиции, социального поведения, дискурсивные практики личности или сообщества, идентифицирующих себя по нонконформистскому типу.

Нонконформистский тип личности – характеристика человека, производящего самоидентификацию с опорой на ценности интеллектуальной, нравственной и творческой свободы, самостоятельный выбор ценностно-нормативных ориентиров, независимость от социального давления, критическое отношения к власти, активную гражданскую позицию, осмысленные как фундамент личностной целостности.

Нонконформизм как тип социального поведение предполагает способность индивида к самостоятельности суждений и принимаемых решений, готовность отстаивать собственную позицию, реализуется в гражданском сопротивлении репрессивным институтам и поиске социально-политических альтернатив. Таким образом, нонконформизм является одним из механизмов социокультурного обновления.

Поведенческие стратегии нонконформистов могут быть различными. Например, «шестидесятники» зачастую реализовывали позицию «двоемирия»: имели официальное место службы и в то же время участвовали в запрещённых художественных и общественно-политических акциях. Способность к реализации нонконформистских устремлений в социальной практике задавала линию внутреннего напряжения в среде «шестидесятников»: не каждый, исповедуя ценность нонконформизма, был готов демонстрировать оппозиционность. Разные поведенческие стратегии будут представлены в нашей работе.

3. Нонконформизм как социокультурный феномен динамичен и мобилен. В соответствии с социально-политическим и культурным контекстом в его структуре происходят внутренние трансформации, смена семантических доминант или их деформация. Например, протест, как основное содержание концепта, может иметь широкий спектр реализации и в зависимости от социокультурной ситуации выражаться в бунтарском поведении или самоизоляции от общественной практики – эскапизме, внутренней эмиграции, девиантном поведении и прочее.

4. Анализ концепта допускает различные модальности – изучение семантического ядра, то есть устойчивых признаков, или его динамичных свойств. В первом случае нонконформизм трактуется как явление структурированное, во втором – как находящееся в процессе становления. Мы акцентируем процессуальность нонконформизма, выявляемую при анализе динамики ценностных оснований, поведенческих моделей и дискурсивных практик «шестидесятников». Такой подход видится нам продуктивным, поскольку выявляет градацию вариантов нонконформистского поведения, обнаруживает широкий спектр проявлений оппозиционности – от внешне лояльного поведения при скрытой оппозиционности до открытого сопротивления государственным институциям.

«Диссиденты» – их можно назвать «инакодействующие» – наиболее динамичная и мобильная часть сообщества нонконформистов, перешедшая к активному публичному противодействию власти. В самооценке нонконформистов понятия «инакомыслящие» и «диссиденты» использовались в целом как равнозначные, но содержали указания на различие поведенческих стратегий и степень негативизма в адрес власти. Сравним: «Можно системе сопротивляться, можно с ней бороться, а можно – рядом создавать что-то другое. Этим я и занимался (А. И. Гинзбург)[1] и «… диссидентом я лично называю

[1] Александр Гинзбург: русский роман / авт.-сост. В. И. Орлов. М. : Русский путь, 2017. С. 64.

правозащитника, сознательно шедшего на уголовную статью» (Ю. Ч. Ким)[1]. Первая цитата декларирует не противостояние человека системе, а эмансипацию от её давления, независимую личностную позицию, свойственную инакомыслящему, то есть нонконформисту. Вторая подчёркивает демонстративность гражданского неповиновения, готовность бороться с властью, свойственную диссидентам.

Различия в поведенческих стратегиях и конечных целях – отвоевать сферу независимого личностного существования или перестроить характер отношений государства и общества – проявлялись в обязательных качествах социального поведения. Для диссидентов это были публичность, гласность, общественный резонанс протестных акций внутри страны и за рубежом, герметизация собственного информационного пространства – самиздата, радикализм в способах проявления нонконформизма, высокая степень негативизма в отношении действующей в СССР системы управления страной и модели взаимоотношений государства и общества. Этими критериями для разграничения понятий мы руководствуемся в данной работе.

«Контркультура» – культура, оппозиционная доминирующей, в нашем случае официальной советской. Ядро доминирующей культуры и ядро контркультуры составляют ценностно-нормативную оппозицию. Противостояние напрямую связано с ситуацией кризиса ценностно-нормативной системы общества. В начале возникновения контркультура стремится обособиться и вести самостоятельное существование (тексты, не опубликованные по цензурным соображениям циркулируют в самиздате), по мере структурирования претендует на доминирование. Нонконформизм создает контркультуру и проходит дальнейшее формирование в ее пространстве.

Термин «социокультурная идентичность» соединяет культурную самотождественность, то есть совокупность устойчивых черт (мировоззренческие основания, аксиология, картина мира и человека,

---

[1] «Хронике текущих событий» – 40 лет / подготовка материала Л. Цукановой // Новое время. 2008 г. № 17-18. 28 апреля.

поведенческие практики, специфика дискурса), позволяющих личности или группе отличать себя от представителей других социальных групп (в частности нонконформистам отделять себя от конформистов), и процесс культурного самоопределения через соотношение себя с нормами, ценностями, традициями, образцами поведения и формами выражения определённой социальной группы.

«Поведенческая стратегия» – социальная и писательская. «Социальная стратегия»: речь идёт о программе гражданских акций, направленных на изменение характера взаимоотношений граждан и власти, реализованной «шестидесятниками» и диссидентами. «Писательская стратегия» подразумевает действия автора, предполагающие «присвоение и перераспределение ценностей в поле литературы» (М. Ю. Берг)[1], оценку текста читателями как ценного высказывания о времени и человеке. Цели литературно-публицистического творчества диссидентов выходили за границы эстетики и были направлены на решение конкретных социально-политических задач. Поэтика была элементом писательского поведения, входила в авторскую стратегию. Использование данного инструментария позволит прочесть тексты самиздата адекватно тому социально-политическому эффекту, на который рассчитывали авторы в момент их создания.

Кроме того, значимыми выступают понятия «нарратив» – организация, тип повествования и «нонконформистский/диссидентский дискурс» – легитимированные в сообществе принципы организации системы речи, в соответствии с которыми происходит классификация и репрезентация событий, явлений и людей. Исследование текста с учётом данных характеристик позволит сделать необходимые для данной работы выводы функционально-смыслового характера.

Научная новизна исследования. В диссертации проводится социально-культурный анализ советского нонконформизма, что находит воплощение в совокупности результатов, отличающихся новизной:

---

[1] Берг М. Ю. Литературократия. Проблема присвоения и перераспределения власти в литературе. М. : Новое литературное обозрение, 2000. 352 с.

– предложен новый способ трактовки концепта «нонконформизм»: выявление сущности феномена через динамику ценностных доминант, поведенческих и дискурсивных практик, позволяющий уточнить семантику понятия и осмыслить явление как меняющееся, способное к трансформациям;

– феномен советского нонконформизма осмыслен как целостное социокультурное явление в совокупности мировоззренческих оснований, аксиологии, социального поведения и дискурсивных практик членов сообщества;

– трактовка концепта «нонконформизм» дополнена характеристикой механизмов трансформации феномена;

– в структуре коллективной идентичности выявлены базовые ценностно-мировоззренческие компоненты, определяющие специфику самосознания, социального поведения и дискурсивных практик;

– охарактеризована роль этики в формировании идентичности нонконформистов на индивидуально-личностном и групповом уровнях, представлена трансформации этической позиции нонконформистов, повлиявшая на индивидуально-личную и коллективную самоидентификацию;

– обнаружена динамика исторического сознания «шестидесятников», определившая трансформацию коллективной идентичности от нонконформизма к диссидентству;

– в структуре идентичности «шестидесятников» и диссидентов выявлен «советский» компонент самосознания как культурно-антропологическая модель коллективной идентичности;

– раскрыта логика конструирования индивидуально-личной и групповой идентичности через соотношение себя с культурными образцами, признанными сообществом этически ценными, исторически действенными и социально эффективными;

– представлена трансформация поведенческого образца в норму, его корректировка в процессе коллективного освоения и тиражирования;

– литературно-публицистическая деятельность нонконформистов осмыслена как инвариант общественно-политической практики, наряду с другими формами: демонстрациями, созданием специальных общественных комитетов и проч.;

– литературно-публицистическая деятельность диссидентов представлена как способ коллективной самопрезентации с типичными для сообщества приёмами самооценки, коммуникативными практиками и авторскими стратегиями;

– выявлена полифункциональность литературно-публицистической деятельности, объясняющая специфику нонконформистского дискурса, типов нарратива, авторских стратегий и способов самоидентификации;

– осмыслен кризис идентичности диссидентов как результат процесса отчуждения, захватившего все сферы самосознания, определившего трансформацию социальных моделей поведения, смену адресата коммуникации, герметизацию сообщества и истощение тезауруса.

На защиту выносятся следующие положения:

– Нонконформизм как социокультурный феномен имеет базовые и вариативные свойства. Конституирующий признак – протестное содержание. Вариативные показатели (степень оппозиционности, уровень социальной мобильности, открытость или герметичность сообщества, своеобразие дискурсивных практик, наличие собственного информационного поля и контркультурных институций) – наиболее динамичный компонент в структуре концепта. Специфика конкретного типа нонконформизма выявляется при анализе всех его свойств, осмысленных в процессе трансформаций;

– аксиология советской интеллигенции 1960-70-х годов синтезировала универсальные ценности классической культуры (антропоцентризм, гуманизм, общечеловеческую мораль) и «советский» компонент (марксистскую философию и идеологию в качестве мировоззренческой основы). Официальная идеология не разрушала базисных оснований классической модели мира и человека: идеалом выступала целостная гармоническая личность, самоидентификация производилась с ориентацией на поведенческие образцы классической культуры и литературы, гражданское поведение строилось с

учётом общечеловеческих нравственных принципов, ответственности перед историей, страной, народом. Идентичность нонконформистов формировалась на традициях свободолюбия и интеллектуально-нравственной независимости, воспринятых у культуры Нового времени;

– в структуре идентичности нонконформистов этика и историческое самосознание выступали в качестве базовых ценностно-мировоззренческих компонентов. Производя самоосмысление в парадигме «я» как нравственная единица и «я» как исторический субъект, нонконформисты идентифицировали себя как общественных деятелей, ответственных за судьбу страны и народа, восстанавливающих гуманистическую природу социализма;

– самоидентификация нонконформистского сообщества корректировалась в процессе коммуникации с властью. Рассчитывая в начале «оттепели» на возможность паритетных отношений с руководством страны, нонконформисты осмысливали себя выразителями общественного мнения, способствующими демократизации, либерализации, возвращению социализму его гуманистической сущности. Оппозиционность как главное свойство идентичности нарастала в связи с очевидным нежеланием руководства последовательно проводить реформы в стране. По мере усиления консервативных тенденций в общественной жизни и репрессий в адрес инакомыслящих, нонконформизм трансформировался в диссидентство, в коллективной идентичности возникло кризисное явление – отчуждение, захватившее все сферы самосознания (отношения с государством, страной, народом и проч.);

– идентичность нонконформистов уточнялась в процессе внутригрупповой коммуникации. На уровне бытовой морали и поведенческой практики действовала норма «порядочный человек», регулирующая правила поведения внутри сообщества и в социуме. Это свидетельствует о сохранности иерархии нравственных ценностей в коллективном самосознании. Однако отчуждение от государства повлекло изменения в аксиологии диссидентского сообщества: этика из базовой ценности сместилась в инструментальную, в социальной

практике наряду с ориентацией на общечеловеческие моральные принципы возникли прагматизм, утилитаризм, нигилизм;

– идентичность нонконформистов оформлялась, рационализировалась и утверждалась в социальном поведении. Поведенческие образцы проходили селекцию: модели, осмысленные как нравственно ценные, исторически значимые и социально эффективные, легитимировались сообществом, тиражировались и приобретали статус нормы. Нормативное поведение закреплялось в сознании членов сообщества, продолжало внедряться в социальную практику и систему внутригрупповой коммуникации, определяло основные формы деятельности и взаимодействия нонконформистов;

– по мере обострения конфронтации с властью исходные поведенческие образцы претерпевали трансформацию, однако идентичность нонконформистов сохраняла двойственность: «советский» компонент самосознания дополнялся сознательной ориентацией на культурные традиции Нового времени. В начале «оттепели» поведение инакомыслящих в целом оставалось в пределах советской нормативности, в социальной практике доминировала модель «защитник», соответствующая идентификации себя как субъекта диалога с государством и хранителя вневременных традиций европейской и русской интеллигенции – гуманизма, антропоцентизма, свободолюбия. Советский компонент самосознания не идентифицировался как инородный культурным традициям Нового времени. Однако главным свойством диссидентского выступления стала демонстративная оппозиционность советской власти, утвердились поведенческие модели, отражающие конфронтационную позицию: «правозащитник», «борец с режимом», «демократ западного типа» и проч. При этом, позиционируя себя как индивидуумов, равных истории, нацеленных на пересоздание действительности во имя исторического прогресса, диссиденты воспроизводили антропологические представления, типичные для советской системы координат. Принципы ненасилия, гласности, апелляции к закону, идентифицированные как оппозиционные, как и протестные формы активности, не разрушали советской идентичности. Диссидентскому варианту советской

субъективности свойственна осознанная ориентация на инновацию и социальную мобильность, попытка конструирования идентичности по модерному типу;

– литературно-публицистическая деятельность нонконформистов входила в социальную практику как её инвариант наряду с другими формами самовыражения (демонстрациями, митингами, специальными комитетами и проч.). Самопрезентация автора согласовывалась с коллективной идентичностью: в начале «оттепели» нонконформисты позиционировали себя борцами за свободу творчества и расширение эстетических границ, диссиденты – выразителями протестных настроений. Этим объясняется специфика диссидентского дискурса: высокая степень идеологической заряженности, ограниченность тем, однозначность их трактовок, художественная неоднородность материалов, ориентация на узкий круг читателей;

– специфика дискурса диссидентов определяла полифункциональность самиздатских текстов. Авторские задачи включали критику власти, моделирование альтернативных вариантов развития страны («почвеннического», либерально-демократического и др.), прогноз социально-политических перспектив, контрпропаганду, информирование читателей о целях и задачах оппозиционного движения, мобилизацию оппозиционеров. Задачи рождали авторские стратегии – защиту единомышленников, дискредитацию идейных противников, легитимацию нонконформистской модели писательского и гражданского поведения;

– автобиографии диссидентов и их отчёты о судах над инакомыслящими показательны для оценки самопрезентации сообщества. Автор стремился в эго-текстах подтвердить этическую и общественную значимость жизненного пути оппозиционера, укрепить социальный статус сообщества. В отчётах о судах над инакомыслящими – склонить общественность в пользу осуждённых, выявить нравственную и правовую несостоятельность обвинений в их адрес. Идентифицируя себя как представителя преследуемого сообщества, автор

избирал адекватные поведенческие стратегии – конкуренцию с идейными противниками и защиту единомышленников;

– отчуждение как кризисное состояние сознания диссидентского сообщества вызвало кризис коллективной идентичности. Он выражался комплексно: в историческом сознании диссидентов возникло ощущении бесперспективности попыток реформирования существующей социальной системы, эсхатологические прогнозы развития социализма, мифологические («почвеннические») или утопические («западнические») проекты будущего. Отчуждение от страны и народа сопровождалось герметизацией сообщества, смещением адресата с «рядовых» советских граждан на мировую общественность, истощением тезауруса.

Теоретическая и научно-практическая значимость диссертационного исследования состоит в обосновании социально-культурного анализа советского нонконформизма как целостного явления через призму идентичности. Практический смысл работы заключается в выработке результатов и выводов, способствующих более адекватной оценке механизмов и факторов формирования, функционирования и трансформации нонконформистской идентичности как способа конструирования самооценок советской интеллигенции, моделирования поведенческих и дискурсивных практик.

Выводы, сделанные автором диссертации, могут быть полезными при разработке и чтении курсов по культурологическим проблемам, а также для реализации исследовательских усилий по изучению проблем социальной культуры советского и современного российского общества.

Степень достоверности результатов исследования

Достоверность научных результатов исследования обеспечивается фундаментальной теоретической базой, составленной из культурологических, философских, искусствоведческих, филологических и социологических работ. Подтверждается обоснованной постановкой проблемы, цели и задач, на основе чего определена основная идея диссертации, подбором адекватных методов

исследования, корректным использованием культурологического категориального аппарата.

Апробация работы осуществлялась на разных уровнях и в разной форме. В течение ряда лет главные идеи и основные положения исследования использовались в педагогической практике при чтении курсов «История русской культуры XX века» и «История русской литературы XX века» для студентов-культурологов факультета философии и психологии Воронежского государственного факультета.

Материалы и выводы настоящей работы используются при руководстве курсовыми и дипломными работами.

Выступления с докладами по теме состоялись на Международных научно-практических («Маргиналии в культуре: границы культуры и текста» – Каргополь, 2010; Касимов, 2012; Елец, 2014; Полоцк, 2015; Тверь, 2017; Осташков, 2019; Поленово, 2020; «Романтизм как вектор развития культуры : академический и музейный опыт» – Воронеж, 2016, «Универсалии в русской литературе» – Воронеж, 2015-2019 гг., «Великие имена русской эмиграции» – Ольштын (Польша), 2018 г.) и всероссийских научных конференциях («В краю отеческой привязанности» – Воронеж, 2015 г.), «Проблемы массовой коммуникации» – Воронеж, 2015, 2016 гг.).

Поскольку теоретические идеи формировались и апробировались в ходе педагогической деятельности, некоторые положения были заложены в учебных пособиях: Серебрякова Е. Г. «Художественная культура и власть» : литературно-политические документы 1930-1950-х гг. – Воронеж, 2008; Серебрякова Е. Г. Становление «второй культуры» : литературно-политические документы 1960-1970-х гг. – Воронеж, 2013.

Наиболее полное выражение тема диссертации нашла в монографии Серебрякова Е. Г. От «шестидесятничества» к диссидентству : специфика советской нонконформистской идентичности. – Воронеж, 2018.

Результаты работы отражены в 45 научных статьях, среди них 6 зарубежных публикаций, 18 статей, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.

Опубликованные работы получили положительный отклик, цитировались как в нашей стране, так и за рубежом.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, включающих девять параграфов, заключения и списка литературы.

Во Введении обосновываются выбор проблематики диссертационного исследования, её актуальность, характеризуется степень научной разработанности проблемы диссертации, формулируются цель, задачи, объект и предмет исследования, категориальный аппарат, источниковедческая база, представляются элементы научной новизны и положения, выносимые на защиту, его теоретическая и практическая значимость.

Первая глава посвящена анализу мировоззренческих оснований советского инакомыслия, формированию идентичностей «шестидесятник» и «диссидент». Мы исходим из представления о наличии в идентичности советского интеллигента определённого основания, обеспечивающего личностную целостность. На наш взгляд, это была этика («я» как нравственная единица) и историческое самосознание («я» как исторический субъект). Соответственно, именно эти компоненты самосознания подвергнуты анализу.

Вторая глава посвящена исследованию философских и аксиологических оснований поведенческих практик «шестидесятников» и диссидентов, анализу поведенческих моделей, утвердивших себя в качестве эталонных и ставших в ходе тиражирования нормативными. Указаны социокультурные истоки, механизмы формирования поведенческих образцов и норм, специфика их функционирования в коллективном и индивидуально-личном сознании членов сообщества.

Глава третья посвящена анализу поведенческих стратегий «шестидесятников» и диссидентов, реализованных в литературно-публицистических текстах, предназначенных для сам- и тамиздата. Писательская

деятельность оценена как инвариант социальной активности, наряду с другими формами (демонстрациями протеста, петиционными кампаниями, созданием специальных общественных комитетов и проч.). Анализу подвергнуты своеобразие дискурса, обусловленное авторскими задачами, имеющими социальную ориентацию. Характер индивидуальной идентичности выявляется при анализе автобиографий, воспоминаний, дневников, интервью; коллективная идентичность на примере открытых писем, книг-отчётов о судах над диссидентами. Значимость данных источников сохраняется при выполнении задач во всех главах.

В Заключении подводятся итоги диссертационного исследования, формулируются основные выводы, определяются перспективы исследования советского нонконформизма, требующие культурологического изучения.

ГЛАВА I. СПЕЦИФИКА САМОСОЗНАНИЯ СОВЕТСКИХ НОНКОНФОРМИСТОВ 1960-70-х ГОДОВ

1.1. «Шестидесятники» как метафора поколения

«Нет поколения без конфликта и без сознательного самопровозглашения – что и делает из политики и литературы привилегированные области для пришествия поколения», – утверждал П. Нора[1]. Справедливость наблюдения французского историка подтверждает советская культура. 1960-е годы тяготели к самооценкам: «оттепель» – для эпохи, «шестидесятники» – для поколения. Метафоры, одна из которых означала пробуждение страны, устремлённость в будущее, а другая – её персонифицированное настоящее, оказались созвучны друг другу и родились в сознании сообщества, определившего вектор самоопределения поколения – через литературу. И если первое определение, войдя в широкое речевое употребление, не нуждалось в уточнении семантики, то второе явно имело размытые контуры. А сегодня сам поколенческий статус «шестидесятников», не вызывавший сомнений в момент возникновения, кажется спорным. Вот и родоначальник понятия отрёкся от детища: «…понятие "шестидесятник" заболтано, обессмыслено, да и с самого начала не имело поколенческого смысла, являясь приблизительным псевдонимом времени»[2]. Нигилистическое заявление Ст. Б. Рассадина поддержано Я. М. Бергером, назвавшим «шестидесятничество» не генерацией, а общественным движением[3]. Суть сомнений выражена современным социологом: «Проблематичным <…> и недосказанным является понятие "шестидесятники" как массовое поколение, оказавшее влияние на всю социальную жизнь общества. Не является ли это образование только лишь интеллектуально-политическим движением и потому значимым только для людей интеллектуальной сферы,

---

[1] Нора П. Поколение как место памяти // Новое литературное обозрение. 1998. № 30. С. 61.
[2] Рассадин Ст. Б. Время стихов и время поэтов // Арион. 1996. № 4. С. 19.
[3] Алексеева Л. М. Кто такие шестидесятники? Беседа с Я. М. Бергером и С. А. Ковалёвым // Л. М. Алексеева, П. Голдберг. Поколение оттепели. М. : И. В. Захаров, 2006. С. 335.

пишущих о том времени. <…> Или же это просто "несостоявшееся поколение" в сравнении, например, с шестидесятниками других стран Восточной Европы, которые составили активный компонент социальных революций в своих странах»[1]. Добавим ещё один аргумент: в эпоху перемен общественным сознанием актуализируется понятие поколения для осмысления происходящих процессов и событий. Быть может, эпоха нуждалась в деятелях, способных взять на себя процесс обновления и осуществить рефлексивную функцию, и потому «шестидесятники» были зачислены в самостоятельную генерацию? Вопросы требуют ответов. Необходимо заново осмыслить критерии оценки «шестидесятников» как целостной когорты, проследить источник и способы формирования в этом качестве и выявить динамику самосознания участников генерации.

Действительно, кого следует отнести к «шестидесятникам» и какими критериями руководствоваться? Если биологическими, то мы обнаружим людей различных возрастов в составе генерации. Ст. Б. Рассадин именовал так действующих лиц романа В. П. Аксёнова «Коллеги» – молодых людей в возрасте около 20 лет[2]. М. М. Хуциев, предлагая кинематографический взгляд на героев эпохи, назвал свой фильм «Мне 20 лет» (первоначальный вариант – «Застава Ильича»). Таким образом, возрастной показатель «шестидесятничества» возник вместе с понятием. Современный социолог В. М. Воронков подтвердил, что «основу поколения составили родившиеся с 1931 по 1945 годы»[3]. Однако с полным правом к «шестидесятникам» можно отнести фронтовиков, например М. М. Хуциева, Б. Ш. Окуджаву, Э. И. Неизвестного, их более молодых сверстников Е. А. Евтушенко, А. А. Вознесенского, И. А. Бродского и других, а также литературных мэтров А. Т. Твардовского, Л. К. Чуковскую, И. Г.

---

[1] Семёнова В. В. Социальная динамика поколений: проблема и реальность. М. : РОССПЭН, 2009. С. 27.

[2] Рассадин Ст. Шестидесятники (книги о молодом современнике) // Юность. 1960. № 12. С. 58.

[3] Воронков В. М. Проект «шестидесятников»: движение протеста в СССР // Отцы и дети. Поколенческий анализ современной России. М. : Новое литературное обозрение, 2005. С. 177.

Эренбурга. А их годы рождения: 1910 – Твардовский, 1907 – Чуковская, 1891 – Эренбург. Значит, возрастной критерий не проясняет явления.

Иной способ определения понятия – социокультурное измерение. По этому пути двигалась М. О. Чудакова, обратившая внимание на «родовой признак» генерации: это было «поколение без отцов»[1]. По мнению исследовательницы, «шестидесятников» сформировал травматичный личный опыт, осмысленный как коллективный, общенациональный. Однако верное для многих сверстников той поры, это уточнение не объясняет принадлежности к ним людей, не испытавших семейных потерь в годы террора, как это было, например, с Л. М. Алексеевой. Личная травма, пожалуй, может считаться лишь дополнительным стимулом, ускорившим и эмоционально окрасившим самоопределение. Исследовательница, по сути, солидаризировалась с традиционным в советской науке методом фиксации поколений – по событию, называя в качестве судьбоносного «большой террор».

Советский энциклопедический словарь 1981 года толковал поколение как общность современников, чья жизнь непосредственно связана с каким-либо важным историческим событием[2]. В 1984 году П. Нора заметил, что такой способ идентификации свойственен странам с заторможенной модернизацией, переживавшим «эпоху медленных перемен и чётких ритмов, которые автоматически навязывали себя сознанию участников»[3]. Это объясняет специфику как научной рефлексии советской поры, так и самооценок непосредственных представителей «шестидесятничества»: писатели-фронтовики (Ю. В. Бондарев, В. В. Быков, Д. А. Гранин и другие) именовали себя «поколением лейтенантов», связывая коллективное мужание с Великой войной. Потрясение мирового масштаба вывело тогда на первый план молодых, реально взявших на себя роль взрослых: «… нам судьбу России доверяли, и кажется, что

---

[1] Чудакова М. О. Заметки о поколениях в Советской России // Новое литературное обозрение. 1998. № 30. С. 73.
[2] Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А. Прохоров. М. : Советская энциклопедия, 1981. С. 1036.
[3] Нора П. Поколение как место памяти. С. 56.

мы не подвели» (Н. К. Старшинов)[1]. «Детьми XX съезда» считали себя нонконформисты, задававшие в эпоху «оттепели» динамику социокультурных трансформаций. Август 1968 года констатировал как состоявшееся общественное явление диссидентство, культивировавшее в своей среде навыки сообщества общинного типа, по модели семьи. Общность их была основана на «сознательном акте рационального выбора» (определение, данное такому типу общности К. Мангеймом – Е. С.), интеллектуальной и нравственной близости, личных связях. Единые обстоятельства социального существования определили схожесть судеб, моделей поведения, способов восприятия и объяснения событий.

Постепенно разные возрастные когорты слились в символическое целое по критерию общности концептуального представления о своём времени как социальной парадигме. Современный социолог отмечает, что поколения являются особыми временными общностями и их жизнь «рассматривается как целая локальность во временной протяжённости движения обществ от прошлого к настоящему и будущему. Исходя из этого, складывается специфически узкий фокус отношения к социальной реальности и определённым событиям прошлого, что ведёт к становлению схожих коллективных ориентаций относительно опыта своей жизни и формированию их отношения к своему времени. Это и является первичным основанием внутренней солидарности генераций или к дифференциации взглядов разных поколений»[2]. Таким образом, «шестидесятники» в социокультурном измерении, безусловно, поколение, его основным признаком следует считать не знаковое событие (война, XX съезд, 1968 год), а типологию восприятия этого события, определяющую представление о своей эпохе, задающую модель коллективного поведения и типы нарратива.

Главным свойством поколенческого самосознания является нерасторжимость коллективного жизненного опыта генерации и субъективного времени,

---

[1] Старшинов Н. К. Солдаты мы… // Старшинов Н. К. Избранное : стихотворения и поэмы. М. : Худож. лит, 1980. С. 28.
[2] Семёнова В. В. Социальная динамика поколений. С. 29.

рождающая чувство единства биографии. Это реализуется в риторической конструкции «моё поколение». Я. М. Бергер вспоминал: «Я, например, почувствовал, что не я один, кто разговаривает на запретные темы только с женой и с близкими друзьями, а что нас много, нас много. Мы читаем одни книги, мы думаем одинаково, мы обмениваемся информацией, я почувствовал, что нас много»[1]. Характерно, что даже спустя годы (интервью записано в 1990-е) автор не утратил остроты эмоционального переживания своей персональной судьбы как части общей биографии. Это чувство поколенного единства время не выхолостило из сознания и других «шестидесятников». Для самооценки генерации типично название книги К. М. Симонова «Глазами человека моего поколения» (1979 г.). Осознание единой судьбы сопровождается общностью идей, концепций, дискурсивных тем. Для «шестидесятников» такими генеральными темами в осмыслении эпохи стали недопустимость реставрации сталинизма, антигуманная природа тоталитаризма, либерализация и демократизация общественной жизни, освобождение личности от диктата государства, что в повседневной практике определялось вначале как борьба за свободу слова и мысли, а затем за конституционные права граждан.

Х. Ортега-и-Гассет отмечал, что субъектом исторической деятельности генерация становится в процессе интеграции массы и индивидуумов, сумевших в символической форме или стиле жизни наиболее адекватно передать дух времени[2]. Действительно, А. И. Солженицын, Д. Д. Сахаров и их более молодые последователи (В. К. Буковский, А. И. Гинзбург, Н. Е. Горбаневская и другие) стали знаковыми фигурами для «шестидесятников» не в силу уникальности собственного видения эпохи, а из-за способности выразить надежды своего поколения, реализовать интеллектуально-нравственный, творческий и гражданский потенциал современников. В литературно-публицистической деятельности и социальной практике лидеры поколения ориентировались на

---

[1] Алексеева Л. М. Кто такие шестидесятники? С. 340.

[2] Ортега-и-Гассет Х. Метод поколений в истории // Х. Ортега-и-Гассет. Вокруг Галилея. URL: http://yakov.works/library/15_o/rt/ega_06.htm (дата обращения: 10.08.2018)

поведенческие образцы и способы артикуляции, уже получившие легитимность, и сами формировали новые модели поведения, постепенно меняли не только характер взаимоотношений с властью, но и самосознание сообщества. В результате определялись общие типы социальной и литературно-публицистической реакции на события, дискурсивные практики, способы артикуляции и интерпретации тем, формировался тезаурус, происходила кристаллизация нонконформистского сообщества внутри поколения «шестидесятников».

При этом, как отмечал К. Мангейм, мировоззрение, приписываемое конкретной эпохе, в действительности свойственно только некоторой (не всегда однородной по своему составу) социальной группе: «В определённый момент данная группа выдвигается на передний план, что и позволяет ей оказывать влияние на интеллектуальную жизнь других общностей, в то же время не разрушая и не ассимилируя их»[1]. Замечание учёного объясняет научный способ идентификации поколения – через лидирующие образцы. В эпоху «оттепели» ими были «шестидесятники» – наиболее образованная, социально мобильная и творческая часть общества. Очевидно, что они не представительствовали от имени всей возрастной когорты и тем более всего советского народа. «Шестидесятничество» состояло преимущественно из интеллигенции: 70-80 % – люди с высшим и незаконченным высшим образованием[2]. В советском обществе при декларации равных возможностей для всех граждан сверстники разных социальных групп обладали различным социокультурным потенциалом и возможностями его реализации. Интеллигенция социально была более защищена: художественная – за счёт принадлежности к творческим союзам, дающим определённые льготы, научная благодаря уровню зарплат, превышающий средний по стране (кандидаты и доктора наук получали в 2-2,5 раза больше рабочих). Между интеллигенцией и «простыми советскими людьми» сохранялись неоднозначные взаимоотношения, что умело

---

[1] Мангейм К. Проблема поколений // Новое литературное обозрение. 1998. № 30. С. 37.
[2] Воронков В. М. Проект «шестидесятников». С. 189-190.

использовала власть в идеологических кампаниях против инакомыслящих. В. А. Козлов обратил внимание на принципиально различное отношение разных социальных слоёв к XX съезду партии, отражённое в статистике осуждённых за антисоветскую деятельность в 1957 году. Подавляющее большинство в общем количестве составляли рабочие – 46,8 %, служащих было 18,3 %, колхозников 9,9 % и 25 % прочих. Учёный объяснил этот факт трудностями адаптации значительных групп населения к новой интерпретации недавнего прошлого, раздражением и усталостью от тяжёлых условий жизни и традиционными для России эгалитаристскими и античиновничьими настроениями[1]. В это же время большая часть интеллигенции не только сохраняла политическую лояльность, но выражала надежды на либерализацию и демократизацию внутренней политики, в чём была готова всячески содействовать реформаторам и антисталинистам в партии и правительстве. Консерватизм массового сознания, неразвитость критического мышления у советских тружеников, «простонародный сталинизм» её возмущали. Представления о собственном предназначении: хранить общественные идеалы, просвещать народ, формировать эстетические вкусы и прочее – формировали потребность в продуктивной коммуникации. Советская интеллигенция, зачастую ставшая таковой в первом-втором поколении, производила самоидентификацию в категориях долга перед народом и страной, была убеждена в исторической значимости и продуктивности совместных преобразовательных действий и надеялась на широкую поддержку трудящихся в деле социального обновления. Это объясняет частотность употребления в «шестидесятническом» тезаурусе риторических конструкций «наш народ» и «наша страна». Показательный диалог привёл в своих воспоминаниях один из основателей Московской Хельсинской группы Ю. Ф. Орлов. Случайный знакомый спросил, почему по происхождению рабоче-крестьянская советская интеллигенция всё время «чем-то недовольна», Орлов ответил: «Происхождение неважно. Интеллигенту, раз он стал им, нужна свобода мысли и выражения

[1]Козлов В. А. Крамола: инакомыслие в СССР при Хрущёве и Брежневе. 1953-1982 годы. По рассекреченным документам Верховного Суда и Прокуратуры СССР // Отечественная история. 2003. № 4. С. 98.

мысли. Это способ его жизни, условие его существования. Без этого он не интеллигент»[1]. Мемуарист зафиксировал различие нравственных запросов, социальных ожиданий и коллективной аксиологии представителей разных слоёв советского общества. Современные социологи Л. Д. Гудков и Б. В. Дубин оценили надежды интеллигенции тех лет как иллюзорные: «… смыслы, идеи, суждения, как мы думали, подхватываются со временем другими слоями и распространяются в обществе, которое интегрируется тем самым в некое единое социальное и культурное целое. (Неявно при этом предполагалось, что просветительская по своей роли интеллигенция, пробуждая к самопониманию и гуманности, воспитывая терпимость и уважение к частному и индивидуальному, "подымая" над мёртвой официальной идеологией, вместе с тем постепенно очеловечивает, демократизирует это косное социальное тело). У культурантропологов этот способ интерпретации называется "спуском образца" – от высокостатусных групп в репродуктивную среду, а далее к широкой массе. Такой подход и взгляд на вещи, собственно, и поддерживал надежды на некоторую либерализацию и возможное оцивилизовывание советского общества»[2]. Оценки учёных сегодня звучат как самокритика и объясняют причину глубокого разочарования «шестидесятников», не получавших в поздний советский период массовой поддержки ни реформаторских, ни нонконформистских идей.

Партия, правительство и комсомол контролировали воспитание «строителей коммунизма». И. М. Каспэ изучила в периодике 1960-х годов приёмы создания образа «советской молодости». На примере журнала «Юность», где и возникло понятие «шестидесятники» (первоначально в одном из очерков 1955 года Р. А. Зерновой и только через пять лет в рецензии Ст. Б. Рассадина), она доказала, что «поколение изобреталось» в соответствии с институцией молодёжного издания. Основными коннотациями образа молодости были социальная активность и индивидуальная инициатива. Среди требований,

[1] Орлов Ю. Ф. Опасные мысли. Мемуары из русской жизни. М. : Захаров, 2008. С. 160.
[2] Гудков Л. Д., Дубин Б. В. Интеллигенция: Заметки о литературно-политических иллюзиях. СПб. : Изд-во Ивана Лимбаха, 2009. С. 3-4.

которые предъявлялись юношеству, доминировали деятельность, ответственность, позднее – зрелость. При этом, замечает исследовательница, «"молодое поколение" конструировалось исключительно с позиции внешнего наблюдателя, "старшего товарища", – без участия тех, кому, собственно, предлагалось называть себя "людьми шестидесятых годов"»[1]. К. Б. Уль, исследуя материалы «Комсомольской правды» тех лет, характеризовала молодёжный дискурс как проявление «моральной инженерии» с целью мобилизации и дисциплинирования[2]. Наблюдения исследовательниц позволяют понять характер ожиданий власти от молодёжи. Остановимся подробнее на философской и идеологической базе официальной позиции.

Представления о преемственности поколений в советской стране базировались на позитивизме, наследованном марксизмом у Просвещения, и сводились к нескольким тезисам. История движется поступательно, прогресс имеет один вектор, всякое новое поколение советских людей должно быть более передовым и прогрессивным. На поколении отцов лежит ответственность за юные души и моральные обязательства идейно укрепить детей, «не упустить молодёжь».

Старшие определяли жизненные сценарии и мотивации, заявляли систему ожиданий, которым молодые должны соответствовать. Например, по наблюдению Каспэ, публицисты «Юности» осмысливали формирование личности в терминах целеполагания и смыслонаделения, реализованных в риторической конструкции «смысл жизни», предполагающей самоопределение молодого человека по идеологическому параметру – какое место он должен занять в ряду тружеников. «Этот момент, как правило, знаменует собой пору окончания "беззаботного" детства и наступление нового, пожалуй, самого лучшего этапа в жизни человека – цветущей юности», – внушал читателям

---

[1] Каспэ И. М. Мы живём в эпоху осмысления жизни: конструирование поколения «шестидесятников» в журнале «Юность» // Новое литературное обозрение. 2016. №1(137). С. 131.
[2] Там же. С. 147.

журнала трижды Герой Советского Союза И. Н. Кожедуб[1]. В цитате обращает на себя внимание символическое использование возрастных категорий, вообще свойственное советской риторике. В условиях патерналистских взаимоотношений с обществом власть претендовала на символическую роль «отца». В семантическое поле понятия «молодость» входили «новаторство», «решительность», «смелость». Взрослость ассоциировалась с ответственностью, способностью решать текущие задачи и побеждать трудности. Старость – с мудростью. Инфантилизм трактовался как признак духовно-нравственной несостоятельности, личностная и политическая незрелость. Символика этого нравственно-психологического состояния разрабатывалась в ходе кампаний по борьбе с инакомыслием. Например, А. Д. Синявский и Ю. М. Даниэль характеризовались в центральной прессе как «сорокалетние юнцы». Их поведение было оценено как инфантильное, то есть безответственное.

Единая историческая цель предполагала бесконфликтность сменены поколений в социалистическом обществе. «У нас не было и нет никаких противоречий между молодым и старшим поколением, – заявлял в 1963 году Н. С. Хрущёв. – Молод тот, кто стоит на позициях передовых идей»[2]. Вторил ему А. А. Сурков: «Только реакционные клеветники могли выдумать легенду о противоборстве поколений, чтобы под эту легенду подвести противопоставление современной советской молодёжи поколениям отцов и дедов, то есть поколениям первостроителей социализма»[3].

В воспитательном процессе чрезвычайно важны вертикальные связи между генерациями, преемственность обеспечивается сохранением традиций. Героиня очерка Р. А. Зерновой «По праву друга» переживала свою духовную связь с поколением Н. А. Добролюбова, Н. А. Некрасова, Н. Г. Чернышевского весьма эмоционально: «Мы тоже будем шестидесятниками! Нам в шестидесятом

---

[1] Там же. С. 138.

[2] «…Наша молодёжь совершит ещё много прекрасных дел во имя коммунизма»: Из речи Н. С. Хрущёва на совещании работников промышленности и строительства РСФСР 24 апреля 1963 года // Юность. 1963. № 5. С. 2.

[3] Сурков А. А. За дело! [По итогам июльского Пленума ЦК КПСС] // Юность. 1963. № 7. С. 5.

исполнится 20 лет, мы начнём работать и про нас потом скажут: люди шестидесятых годов. И с нас спросится… очень много спросится…»[1]. Очевидно, что убеждённость в ответственности поколения перед своей эпохой составляла типологическое свойство «шестидесятнического» самосознания. При этом в официальном и нонконформистском лексиконе семантика выражения «ответственная позиция» была разной.

Следующий тезис: время линейно, однонаправленно, духовный опыт не передаётся по наследству, каждое поколение самостоятельно проходит путь нравственного становления. Борьба, травмы, ошибки, потери составляют необходимые этапы взросления, прививают навыки духовного преодоления, формируют жизнестойкость и входят в позитивный жизненный опыт отдельной личности и всей генерации.

В официальной риторике учитывалась и романтическая парадигма, в соответствии с которой время переживается субъективно, в каждом поколении сосуществуют индивидуумы разного психологического возраста: консерватизм, усталость от жизни – свойства старости, но их можно встретить и среди молодёжи. Новаторство, революционность – качества молодости, но могут быть присущи и старикам. М. А. Светлов в стихотворении «Советские старики» (1960 г.) придал этой мысли идеологическое звучание:

Что сказали врачи – не важно!
Пусть здоровье беречь велят...
Старый мир! Берегись отважных
Нестареющих дьяволят![2]

Популярным вариантом образа современного героя романтического толка в «оттепельном» искусстве стал «советский романтик», осваивающий целину, преодолевающий бытовую неустроенность на стройках социализма или в глухой деревне, где он трудится после окончания вуза. Таких персонажей можно было

[1] Зернова Р. А. По праву друга // Юность. 1955. № 6. С. 78.
[2] Светлов М. А. Советские старики // Светлов М. Собрание сочинений: в 3-х т. М. : Худож. лит. Т. 1 : Стихотворения и поэмы; Эпиграммы; Переводы. 1974. С. 598.

встретить не только на страницах «Юности», но и в драматургии (В. С. Розов, А. В. Вампилов), «молодёжной» прозе (В. П. Аксёнов, Ю. П. Казаков, А. Т. Гладилин) и поэзии Р. И. Рождественского, Е. А. Евтушенко и многих других. С помощью романтической образности решалась очередная мобилизационная задача, но она была скорректирована с учётом молодёжной аудитории: акцентировалась не жертвенность, а насыщенность жизни впечатлениями, высокой целью и смыслом. Дж. Фюрст пишет об эпохе «оттепели»: «Молодёжная политика была зажата между противоречивыми требованиями – генерировать энтузиазм и спонтанность и поддерживать контроль и идеологическую чистоту»[1]. С ней солидаризировался М. Я. Рожанский: «Подданнические отношения человека с режимом и в то же время нацеленность человека на социальную инициативу – ключевое противоречие, зафиксированное в формуле "советский человек" и обеспечивавшее жизнеспособность советского строя»[2]. И если официальные власти и творческие работники, стремящиеся жить «заодно с правопорядком», предпочитали этого противоречия не замечать, то нонконформисты переживали его довольно остро. Показательный пример привёл составитель Записки КГБ при Совете Министров СССР Н. С. Хрущёву о настроениях советской интеллигенции: главный режиссёр театра «Современник» О. Н. Ефремов на репетиции пьесы по сказке Е. Л. Шварца «Голый король» говорил актёрам: «Нам говорят: "Дела у нас в стране идут хорошо". А мы со сцены должны нести подтекст "Ой ли?"»[3].

Очевидно, что типаж «шестидесятник» создавался в советской публицистике и литературе совместными, но не всегда согласованными усилиями. Образ, сформированный литераторами и циркулирующий в среде либеральной интеллигенции, выражал иной тип самосознания и был адресован другому

---

[1] Fürst J. The Arrival of Spring? Changes and Continuities in Soviet Youth Culture and Policy between Stalin and Khrushchev // The Dilemmas of De-Stalinization: Negotiating Cultural and Social Change in the Khrushchev Era. London; New York: Routledge, 2006. P. 148.

[2] Рожанский М. Я. Дневник советской девушки // Интер. 2007. № 4. С. 70.

[3] Записка КГБ при Совете Министров СССР Н. С. Хрущёву о настроениях советской интеллигенции // История советской политической цензуры. Документы и комментарии. М. : РОССПЭН, 1997. С. 133.

читателю, нежели персонаж, возникший как элемент официальной воспитательной политики и предназначенный юному потребителю. По мере частотности употребления, расширяющегося разнообразия авторов и адресатов понятие всё более усложнялось и приобретало многозначность.

Определение «шестидесятник» не только фиксировало принадлежность современников своей эпохе, но и указывало на преемственность с разночинной интеллигенцией 1860-х годов. Этот способ самоидентификации поколения – через соотношение себя с генерацией Н. А. Добролюбова, Н. А. Некрасова и Н. Г. Чернышевского, как говорилось выше, указала официальная журналистика. Для подобной ассоциации были причины.

«Шестидесятники» второй половины XIX века, разбавившие дворянскую интеллигенцию, зачастую были выходцами из духовенства и наследовали многие мировоззренческие принципы «отцов»: духовные ценности ставились выше материальных, житейская прагматика считалась вторичной в сравнении с нравственными заповедями. Светское образование, хотя и приобщило «сыновей» к секулярной культуре, не дискредитировало идеи жертвенного служения отечеству и народу. Альтруизм ценился выше предпринимательских навыков. Антропоцентризм европейской культуры связывался «новыми людьми» с гуманистическими целями – защитой слабых и угнетённых, просвещением народных масс, общественной деятельностью во имя научного и исторического прогресса.

В советской официальной риторике параллель двух поколений прочерчивала революционную преемственность, духовную связь с идейными предшественниками и вдохновителями социализма. Акцентируя мотивы самоотверженного служения стране и народу, власть игнорировала важнейшее для самоопределения интеллигенции качество – духовную свободу: независимость суждений и критицизм мысли.

«Шестидесятники», приняв название от официальных изданий, сформировались как поколение, но расставили акценты в предложенной идеологической конструкции по-своему – в соответствии с особенностями

культурной матрицы европейской и российской интеллигенции. Идентичность формировалась на восприятии эпохи как переломной, судьбоносной для страны, коллективной памяти, определяющей сплочённые действия, поведенческой ориентации на культурные образцы, созданные литературной традицией, потребность соотносить профессиональные обязанности с нравственным императивом – быть совестью нации. Соответственно, либеральная интеллигенция брала на себя посредническую функцию между обществом и государством, оставляя за собой право критично судить и трезво оценивать действия власти. Это свойство самосознания было чревато оппозиционностью, которая нарастала по мере усиления консервативных тенденций в общественной жизни, однако открыто и публично демонстрировалась не всем поколением, а наиболее активной в социальном отношении частью. Конструирование социального поведения нонконформистов производилось по образцам, знакомым со школьной скамьи, примеры героической борьбы с самодержавием вдохновляли на противостояние современным консервативным силам во имя оздоровления страны. Французский исследователь замечал в 1984 году: «… у каждой страны – свой собственный способ оспаривать существующий в ней порядок. В России этим способом когда-то был терроризм, в наши дни – диссидентство»[1]. Показательно сравнение несопоставимых, казалось бы, феноменов: диссиденты настойчиво подчёркивали категорическое неприятие методов борьбы, исповедуемых российскими террористами. Однако, если проследить генерацию революционеров-народников, станет ясно, что их родословная восходит к поколению 1860-х годов, давшему советским наследникам не только имя, но и способ самоидентификации, поведенческие образцы и приёмы осмысления событий отечественной истории и артикуляции индивидуальной и коллективной реакции на них. В сознании «шестидесятников» XX века трансформации подвергалась не суть реформаторских устремлений предшественников XIX столетия, а способы достижения этой цели, поведенческие стратегии. Например, Ю. Ф. Орлов отмечал, что правозащитники

[1] Нора П. Поколение как место памяти. С. 67.

хотели продолжать «мирную, открытую работу дореволюционных либералов»[1]. Революционные методы борьбы, терроризм, нелегальные политические организации отвергались как дискредитировавшие себя в истории и неадекватные современности.

Переходной эпохе, какой позиционировала себя «оттепель», свойственно обострённое ощущение связи прошлого и настоящего, спрессованное представление о времени, когда в современности как бы концентрируются черты прошедшего и грядущего. Такие поколения проходят символический жизненный путь с повышенной интенсивностью. Историко-культурный цикл «шестидесятников» можно разделить на фазы: «детство» было недолгим, 1956-65 годы. Взрослеть пришлось быстро, с 1965-го по 1968 годы. «Зрелость» оказалась продолжительной, с 1968-го до середины 80-х, а «старость» принесла неожиданные результаты: «Эпоха оказалась короче жизни» (В. Г. Попов)[2].

Символическое «детство» (1956-65 гг.) прошло с доверием власти, чувством открытости миру и обретения смыслов. Поколенное сознание находило своё слово в поэзии и выражало себя через настойчивое «мы»: Р. Ф. Казакова писала: «Мы молоды. Мы смотрим строго, пристально…»[3]. А. А. Вознесенский провозглашал:

… Мы сброшенные листья,
Мы музыка оков.
Мы – мужество амнистий
и сорванных замков.
Распахнутые двери,
Сметённые посты,
И – ярость
новой

[1] Орлов Ю. Ф. Опасные мысли. С. 223.
[2] Киреев Р. Т. Крупным планом. Валерий Попов // Киреев Р. Т. Пятьдесят лет в раю : роман без масок. М. : Время, 2008. С. 569.
[3]Казакова Р. Ф. Мы молоды. У нас чулки со штопками… // Казакова Р. Ф. Избранные произведения : в 2 т. М. : Худож. лит. Т. 1. 1985. С. 226.

ереси.

И – яркость правоты![1]

Духовно-нравственное взросление и гражданское самоопределение в этот период сопровождалось радостью узнавания «своих», не по возрасту, а по гражданскому и моральному совпадению. В повседневной культуре «оттепели» это сопровождалось возникновением феномена интеллигентских «кухонь» – гибрида литературных салонов и политических клубов. В них находила выход потребность в осмыслении времени и себя. Л. М. Алексеева вспоминала об этом так: «Людей как прорвало, они стали говорить друг с другом, даже со встречными на улице – такой был отложенный спрос на общение. Именно тогда начались эти безумные московские компании: те, кто жил в это время, помнят, мы только и делали, что ходили из компании в компанию»[2]. Аналогичные воспоминания: «Главное, у меня нашлись тогда <…> единомышленники. К первому курсу у меня уже сложилось цельное представление о человеческом мироздании. Я ещё в школе стал подозревать, скорее чувствовать, что режим-то не совсем справедливый и не совсем честный, что коммунизм – это несвобода. Это же было элементарно, я же рос-то на мировой литературе, а там впереди, прежде всего, свобода личности: Мопассан, Золя, Флобер. Уважение к человеку… Гуманистические идеалы…

Но, главное, у меня нашлись единомышленники, когда я стал своими соображениями делиться, конечно, с теми, кому доверял, я чувствовал, что надо быть осторожным. Хорошо, что не нашёлся предатель, что никто не предал, подсадная утка… А кругом были доносчики! И тут я так обрадовался, что есть люди, которые, как и я, к этому подошли, те же рассуждения… мы, в общем, уже при жизни Сталина стали мечтать, что будет, когда он умрёт. А некоторые даже говорили – может, создать какую-то партию? Может, надо что-то делать? Ну, конечно, игра в партию – это бесполезно, сейчас – не стоит. Но приятно было,

---

[1] Вознесенский А. А. Не надо околичностей // Вознесенский А. А. Собр. соч. М. : Вагриус. Т. 6 : Не будь шестёркой. 2005. С. 163.

[2] Алексеева Л. М. Знаешь, почему я пошёл в аспирантуру? Потому что я прокурором был // Шестидесятники: сборник. М. : Либеральная миссия, 2008. С. 20.

что есть люди, которые смотрят на всё честно и понимают, что творится. У нас было нетерпение, желание освободиться»[1]. Дж. Фюрст точно оценила функциональное назначение дружеских кампаний. Это была альтернативная форма общественного пространства: «… у членов компании было строго романтическое представление о том, что они могут достичь какой-то высшей цели. Они хотели внести свой вклад в коллективное благо и верили в существование индивидуального и общественного совершенства. Компания была воплощением этих идей и, таким образом, воплощением их видения публичной сферы»[2]. Исследовательница отметила отсутствие дихотомии «частное – общественное» и оппозиционности к государству в самосознании интеллигентской молодёжи начала «оттепели».

Последний монолог показателен также для характеристики одного из вариантов эволюции общественной позиции «шестидесятника»: рассказчик, как видим настроенный вполне решительно в начале «оттепели», впоследствии не демонстрировал нонконформистских настроений, сохранил видимую лояльность к власти и успешно реализовал себя в научной деятельности. Не отказавшись от идеалов молодости, он смирился с невозможностью их реализации.

В рассказе обозначены принципиальные для интеллигентского сознания позиции: ориентация на европейские литературные ориентиры, эмоционально пережитые, ставшие способом аргументирования в осмыслении реальных социальных явлений. Проверка жизни литературой, сравнение повседневной социально-политической реальности с высокими идеалами книжной культуры, формирование собственной идентичности гуманиста, свободолюбивой личности через текст – качества «шестидесятников», сохранившие значимость на протяжении всего жизненного пути поколения. И эту особенность нельзя считать свойством возраста – неизжитой инфантильности генерации, а следует признать «родовым свойством» интеллигенции.

---

[1] Семёнова В. В. Социальная динамика поколений. С. 252-253.

[2] Fürst J. Friends in Private, Friends in Public: The Phenomenon of the Kompaniia Among Soviet Youth in the 1950s and 1960s // Fürst J. Borders of Socialism: Private Spheres of Soviet Russia / ed. Lewis H. Siegelbaum. New York: Palgrave Macmillan, 2006. P. 243.

Другую форму собирать и воспитывать единомышленников разрабатывали учёные – научные семинары, существовавшие в разных областях знания. Их в разные годы организовывали: в философии – Г. С. Померанц, Г. П. Щедровицкий, А. А. Зиновьев; в биологии – Н. В. Тимофеев-Ресовский, в филологии – Л. Е. Пинский, В. Н. Турбин, Ю. М. Лотман и многие другие. Одни из семинаров возникали на базе существующих научно-исследовательских институтов, другие проходили на дому организатора. Их дальнейшая история складывалась по-разному: они могли разрастись в самостоятельные социальные институции или уйти на полулегальное существование и впоследствии ликвидироваться. Как отмечали Г. В. Зыкова и Е. Н. Пенская, средняя продолжительность жизни домашних семинаров насчитывала 5-7 лет, исключение составлял семинар В. С. Библера, просуществовавший 35 лет[1]. «Семинары менялись с течением времени, складывались как отражение локальных процессов, происходивших в университете, и одновременно становились катализатором новых подходов в академических исследованиях, нового языка в искусстве, эстетике и художественной практике»[2], – отмечают исследователи.

Это были неформальные объединения: кроме близости научных интересов в них складывались личные дружеские связи, сплачивавшие сообщества, наполнявшие отношения «учитель – ученик» не только профессиональным смыслом. Занятия гуманитарными науками давали учёным возможность войти в идеальный мир знаний о мышлении, обществе, истории, культуре, становились эквивалентами свободы и человеческого достоинства. Так, в начале 1960-х методологический социологический семинар на базе Института конкретных социальных исследований АН СССР Ю. А. Левады собирал для обсуждения актуальных проблем социологии, политологии и культуры научную интеллигенцию столицы. Численность доходила порой до 300 человек. По свидетельству ученика Ю. А. Левады Л. Д. Гудкова, для учёного эти занятия

[1] Зыкова Г. В., Пенская Е. Н. Семинар В. Н. Турбина в переписке его участников 1960-х годов // Новый мир. 2019. № 11. С. 167.
[2] Там же. С. 160.

были «попыткой обрести новые возможности понимания реальности, свободные от идеологии и, значит, допускающие контроль исследователем своих иллюзий и массовых предубеждений»[1]. В 1972 году семинар был закрыт, имя социолога изъято из публичного научного контекста, однако интенсивность исследований удалось сохранить не только благодаря его личной работоспособности, но и содействию учеников, создавших под руководством учёного научную школу.

Гуманитарное знание вдохновлялось идеями М. М. Бахтина. Были переизданы написанные несколькими десятилетиями раньше «Проблемы творчества Достоевского» (1929 г.), в 1963 году книга вышла под названием «Проблемы поэтики Достоевского». Работа 1940 года «Франсуа Рабле в истории реализма» напечатана в 1965-ом – «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса». Гуманитарная общественность «оттепели» горячо откликнулась на идеи диалога культур, множественности равноправных моделей мира, сохраняющих автономию и самоценность в процессе культурных коммуникаций. Работы философа были прочитаны в соответствии с собственными ожиданиям качественно нового характера взаимоотношений власти, общества и интеллигенции.

Яркие индивидуальности, появившиеся во всех сферах культуры начала «оттепели», свидетельствуют о богатом творческом потенциале поколения, стремящегося реализоваться в полную меру, способного придать ускорение модернизационным процессам в обществе при условии солидарных с народом и властью усилий.

Биографические фазы «шестидесятников» разделяли события, вносившие новые коннотации в ощущение времени. 1965 год ознаменовался попытками «шестидесятников» найти новые способы взаимодействия с властью. В ходе защитной кампании Синявского и Даниэля взрослеющая генерация осознала как основной конфликт эпохи требование индивидуальной автономии личности при произволе власти. Надежды на диалог общественности с государством,

---

[1] Гудков Л. Д. Социология Юрия Левады // Левада Ю. А. Время перемен. Предмет и позиция исследователя. М. : Новое литературное обозрение, 2016. С. 35.

свойственные «детскому» периоду, сменились ощущением бесперспективности попыток взаимодействовать с властью на паритетных началах. «Молодость» воспитала способность принимать решения и отвечать за их последствия. Суд над писателями, пытавшимися в обход общепринятым в профессиональной среде стандартам поведения реализовать право на свободу творчества, расколол художественную интеллигенцию. Один из 62 литераторов, обратившихся к XXIII съезду партии с просьбой отдать на поруки А. Д. Синявского и Ю. М. Даниэля, так объяснял на партбюро Московской писательской организации мотивы своего поступка: «… шла речь об изменении меры наказания к преступникам. <…> Я буду выполнять то, что требует от меня устав партии, а я в партии не такой уж молодой, я в ней состою 25 лет, и я знаю устав. <…> Вы сами понимаете, что писателю очень трудно наступать на горло своим мыслям, своим убеждениям, своим чувствам. Мы же все всё-таки гуманисты. Гуманное начало в нас сидит очень сильно. Моё поколение началось с того, что в нас воспитывали саму жестокость: убивать людей – это было нашей работой. И всё же я считаю, что за такие вещи ставить к стенке нельзя. И такая возможность в наше время есть»[1]. Н. В. Панченко объясняет причины своего поступка, сопоставляя поколения: в поведенческую норму старших входила вынужденная жестокость, которая теперь должна смениться гуманным отношением к современникам, что соответствует эпохе и характеру литературной деятельности. Категория «дух времени» дополняет представление о поколении как выразителе своей эпохи.

Уголовное преследование за антисоветскую агитацию и пропаганду было впервые применено к писателям. Этот факт был воспринят «шестидесятниками» как подтверждение нежелания власти считаться с мнением общественности. Знаковым событием для самосознания либеральной интеллигенции стал «Митинг гласности», в ходе которого наиболее динамичная и бескомпромиссная часть сообщества, вскоре составившая основу диссидентства, перешла к требованиям соблюдать конституционные права граждан. «Правозащита»,

[1] Зубарев Д. Встречный бой // Новое литературное обозрение. 1998. № 2 (30). С. 156.

впервые заявившая о себе в ходе митинга, положила начало новому для той поры способу позиционирования отношения к власти – категоричные требования, демонстративное выражение протеста. Вот как осмысливали своё становление будущие диссиденты: «Алексеева – Ковалёву: <…> из твоей биографии не получается, что, как ты говоришь, XX съезд был ключевым моментом и изменил твой подход к властям и даже стиль жизни. Но, похоже, для тебя таким ключевым моментом был не XX съезд, а дело Синявского и Даниэля. (Кстати, это я и про себя могу сказать). Конечно, до этого был некий утробный период, в который ты вызрел, чтобы заявить открытый протест»[1]. Вновь событие общественной жизни осмыслено в возрастных категориях: как рождение нового сообщества внутри генерации.

Свободомыслие, родовое свойство сознания интеллигенции, входила в аксиологию «шестидесятников», граница проходила не по критерию лояльности или оппозиционности властям, а по степени демонстративности свободомыслия, которую каждый человек самостоятельно определял для себя в качестве допустимой. Кроме того, стоит учитывать региональную специфику. Очевидно, что интеллигенция Москвы, Ленинграда и других столичных городов обладала большей решимостью и способностью действовать консолидированно, чем провинциальная, была более политизирована. В крупных культурных центрах атмосфера свободомыслия, поощряемая внутри творческих и научных союзов «оттепели», благоприятствовала выражению нонконформизма.

Однако личный выбор каждый делал сам. Вступать ли в открытое противостояние или ограничиться кухонными разговорами, приходилось решать самостоятельно. Да и мера стойкости при весьма вероятных и предсказуемых по характеру ответных действиях властей у всех была разная. Мотивация адаптивной позиции включала широкий спектр. Например, В. С. Токарева, рассуждая сегодня о допустимости литератора присоединиться к официальным гонениям на коллегу-нонконформиста, призналась, что под угрозой запрета спектакля по её пьесе подписала бы официальное письмо с требованием осудить

[1] Алексеева Л. М. Кто такие шестидесятники? С. 339.

инакомыслящего. Подумала бы о режиссёре, актёрах и подписала…[1]. В системе аргументов Токаревой частная жизнь с её обязательствами перед конкретными людьми не равна Истории.

Иное объяснение схожей жизненной позиции давал, по словам Ст. Рассадина, Е. Л. Шварц: «Когда на тебя мчит курьерский поезд, то ты делаешь шаг в сторону из самого нормального благоразумия, твои окровавленные останки никого не научат... <...> для меня сейчас самое главное, чтобы меня оставили в покое, дали мне возможность писать. В своей работе ни в одной строчке не сблужу. А все эти собрания, все эти массовые поднятия рук, почтительные вставания, покорные приветствия, гневные письма, которые всегда, когда нет выхода, <...> подписываю, – всё это труха, и она забудется. Наши потомки отлично поймут, что мы делали искренно, а что по внешнему принуждению. <...> И судить нас будут по тем рукописям, что мы оставим в нашем письменном столе»[2]. Позиция драматурга выявлена рассказчиком: литература, творчество выше политики. Для писателя главное – правдивое слово, высказанное в художественном тексте, а не в идеологических баталиях. Обратим внимание на убеждённость в безусловном оправдании на «суде потомков». Литераторы – и рассказчик, и его персонаж – не сомневаются, что грядущие поколения, как и они сами, станут исповедовать универсальные нравственные ценности, а потому будут мудры и терпимы к вынужденным компромиссам «отцов».

И всё же преобладающим в аксиологии поколения следует признать постулат, данный Е. А. Евтушенко в ироничных строках:

Учёный, сверстник Галилея,

Был Галилея не глупее.

Он знал, что вертится Земля.

---

[1] Она написала себе роль: в 4 ч. Ч. 2: док. фильм / реж. А. Малкин. 2012. URL: http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/34206

[2] Рассадин Ст. Самоубийцы. Повесть о том, как мы жили и что читали. М. : Текст, 2002. С. 387.

Но у него была семья[1].

Поэт убеждён, что частное измерение несопоставимо с историческим, житейский здравый смысл ничтожен перед лицом Истины, требующей самопожертвования.

Сопряжённость частного времени с историческим в повседневной практике «шестидесятников» порой приобретала утрированную форму. Так, З. Б. Богуславская вспоминала, как они вместе с А. А. Вознесенским однажды подвозили на автомобиле А. И. Солженицына. Тот в самой категоричной форме велел ей, сидевшей за рулём, сбросить скорость, мотивируя приказ следующими словами: «Я не для того выжил в лагере, чтобы погибнуть в аварии». Прощаясь, он потребовал от них отвернуться и не следить, куда и по какой улице будет уходить[2]. Досаду от той совместной поездки Вознесенский выразил в строчках:

Я влево уходил, он вправо,
Дороги наши разминулись[3].

Следует признать, что на примере «шестидесятнического» самосознания в полную меру выявляет себя абсолютизация историзма – один из онтологических признаков русской культуры, по мнению А. М. Пятигорского (подробнее об историческом сознании нонконформистов смотри раздел 3 данной главы).

Итак, «шестидесятники» – категория для определения поколения. Единство восприятия эпохи, коллективная память, общая аксиология, способы восприятия, объяснения и артикуляции событий, типология поведения – свойства, определяющие принадлежность к генерации, в состав которой следует включить разные возрастные когорты. Для возрастной конкретизации мы предлагаем

---

[1] Евтушенко Е. А. Карьера // Евтушенко Е. А. Стихи и поэмы : в 3 т. М. : Советская Россия, 1987. Т. 1. С. 179.

[2] Андрей и Зоя: в 4 ч. Ч. 2: док. фильм / реж. Анатолий Малкин. Россия «Культура». 2011. URL: ttps://yandex.ru/video/search?filmId =7036087286149302 12&text=андрей и зоя документальный фильм смотреть онлайн&noreask=1&path=wizard (дата обращения: 04.08.2018)

[3] Вознесенский А. А. В непогоду // Вознесенский А. А. Собр. соч. : в 5 т. М. : Вагриус, 2000. Т. 1. С. 331.

определения «старшие», родившиеся на рубеже веков-1910-е годы (А. Т. Твардовский, Л. К. Чуковская, Р. Д. Орлова, Л. З. Копелев и другие), и «младшие шестидесятники» с годами рождения 1930-40-е (А. И. Гинзбург, Н. Е. Горбаневская, Л. И. Богораз и прочие). Использование категории «семидесятники» для более молодых современников кажется нам нецелесообразным в силу очевидного мировоззренческого единства «шестидесятников» при специфике поведенческих стратегиях и явной смене нарратива.

Для самоопределения генерации принципиальное значение имеет коллективная память, дающая руководство к действию в настоящем и будущем. Прошлое актуализируется путём отбора приоритетных событий, наиболее значимых с точки зрения настоящего. Сталинизм осмысливался «шестидесятниками» в качестве основной трагедии советской истории не только из-за очевидного нарушения ленинских норм партийной жизни, о чём было сказано с высокой трибуны, но и в силу его жизнестойкости в настоящем. Защитой от его реставрации виделась национальная память, требующая постоянного будирования и общественных действий.

Память избирательна. Эта очевидная мысль приобрела после антисталинского доклада Н. С. Хрущёва особую актуальность. В процессе реабилитации революционеры предстали в виде поколения репрессированной ленинской гвардии. «Сыновья» активно включились в реконструкцию революционного прошлого, идеализацию отцов и дедов, прошедших сталинские лагеря. При этом романтизации подлежало не всё предшествующее поколение с его образом мыслей и неоднозначностью судеб, а отдельные личности, пострадавшие от террора. В стихотворении «Я обвиняюсь» (1967 г.) А. А. Вознесенский выстроил родословную «шестидесятника», произведя селекцию среди «отцов». Лирический герой признавал духовную связь с М. Н. Тухачевским, Вс. Э. Мейерхольдом, Н. А. Заболоцким и

вопрошал «гражданина обвинителя»: «Ну а ваша преемственность – с кем?»[1]. Вопрос означал не конфликт поколений, а столкновение идеологий. Путём выборочного отбора имён генерация формировала культурное наследие, помогающее не только ориентироваться в происходящем, но находить адекватную современности модель поведения. Мученики режима давали образец самопожертвования и верности идеалам. В читательской практике это реализовывалось в интересе к мемуарной литературе «сидельцев», к публикациям документов отечественной истории, пусть даже отфильтрованных, с купюрами.

Интеллигенция, исповедующая ценность книжной культуры, стремилась восполнить пробелы образования, созданные цензурой за минувшие десятилетия. С. А. Савицкий, исследователь ленинградского андеграунда, перечисляя корпус книг, владевших умами представителей художественной контркультуры тех лет, называл тексты М. М. Бахтина наряду с произведениями Кафки, Джойса, ОБЭРИУ, наследием Козьмы Пруткова, капитана Лебядкина, сведениями о дадаистах, поп-арте и прочее[2]. Бессистемность и кажущаяся хаотичность выявляет закономерность: изучению подвергалось всё «опальное», выбивающееся из узаконенной эстетики соцреализма, выходящее за границы марксистской философии.

По мнению И. М. Каспэ, «в отечественной традиции "литературное поколение", как правило, определяется через фигуру сильного предшественника. Тем самым устанавливается предел возможностей новой генерации ("серебряный век" следует за "золотым", "бронзовый" – за "серебряным"), но за счёт такого ограничения отвоёвывается устойчивое место в высокой, большой литературе»[3]. Для «шестидесятников» таким поколенческим образцом в эстетике

---

[1] Вознесенский А. А. Я обвиняюсь // Вознесенский А. Собр. соч. : в 5 т. М. : Вагриус, 2001. Т. 3. С. 70.

[2] Лурье Л. Я., Вензель Е. П., Савицкий С. А. Из архивов ленинградской контркультуры 1970-х гг. // Россия-Russia. Вып.1[9]: «Семидесятые» как предмет истории русской культуры. М. : О.Г.И., 1998. С. 21.

[3] Каспэ И. М. Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы. М. : Новое литературное обозрение, 2005. С. 165.

стал Серебряный век. Ориентация художников на традиции модернизма и русского авангарда выявилась во всех видах искусства: на футуристические эксперименты со словом ориентировался Вознесенский, на ОБЭРИУтов – поэты группы Лианозово (Г. В. Сапгир, Вс. Н. Некрасов, И. С. Холин, Ян Сатуновский), на акмеизм –И. А. Бродский, на «сдвинутое» слово А. П. Платонова – Ф. А. Искандер, на театральные традиции Вс. Э. Мейерхольда – режиссёры Г. И. Полока (художественный фильм «Интервенция») и Ю. П. Любимов (спектакль «Антимиры»). Традиция передавалась из рук в руки, из головы в голову. На выставке в Манеже, посвящённой 30-летию МОСХа, наряду с картинами Р. Р. Фалька представлялись полотна современных авангардистов студии «Новая реальность» (Э. М. Белютина, Т. Р. Тер-Гевондян, А. И. Сафохина, Л. Д. Грибкова, В. К. Зубарева, В. И. Преображенской) и скульптуры Э. И. Неизвестного.

В повседневно-бытовом поведении новое открытие Серебряного века выразилось в личной поддержке «последних из могикан». Культ А. А. Ахматовой сопровождался не только поэтическим ученичеством Е. Б. Рейна, И. А. Бродского, но и бытовой поддержкой со стороны «ахматовских птенцов». Профессор К. Проффер, знаток и ценитель русской словесности, основатель издательства «Ардис», специализировавшегося на «запрещённой» советской литературе, в исследовании, посвящённом вдовам писателей, ставших символическими фигурами для поколения – Маяковского, Булгакова, Мандельштама, вспоминал о гипотетическом желании Н. Я. Мандельштам эмигрировать из СССР, высказанном на закате жизни. После публикации в сам- и тамиздате двух книг воспоминаний, принятых литературной общественностью отнюдь не однозначно, она стала культовой фигурой для молодых «шестидесятников». Живя крайне бедно, особенно в сравнении с положением Л. Ю. Брик и даже Е. С. Булгаковой, она была окружена заботой и вниманием. К. Проффер признавал, что нигде кроме

Советского Союза она не смогла бы обрести столько преданных друзей[1]. Когда пожилая женщина уже не могла обходиться без помощи, врач Ю. Л. Фрейдин наладил около неё круглосуточное дежурство из доверенных лиц. Он же приложил все силы для выполнения главной миссии вдовы – сохранения архива О. Э. Мандельштама, передачи его за рубеж. Духовно-нравственная и интеллектуальная близость в среде «шестидесятников» определяла поддержку, сопоставимую с родственной. В ориентации на образцы предшествующих эпох, текстовые или персонифицированные, было не только стремление восполнить лакуны, ощутить духовную связь с предшественниками, но и попытка восстановить свою причастность к ушедшей высокой культуре, преодолеть дискретность времени.

«Зрелость» поколения была драматичной. Начинался идеологический кризис «развитого социализма» – новый период отечественной истории. После прихода к власти в 1964 году Л. И. Брежнева в стране началась частичная реабилитация Сталина, которая, по мнению современного историка, была попыткой умиротворить «потенциальную простонародную оппозицию, подкрепив свою политику ещё и материальными подачками народу в конце 1960-1970-х годах»[2]. ЦК КПСС, КГБ при Совете министров СССР и Главное управление по охране государственных тайн в печати при СМ СССР (Главлит) – организации, осуществлявшие руководство культурой, утвердились в оценке критических текстов, особенно возникавших в неподцензурном пространстве, как идеологических диверсий. Несмотря на смягчение характера юридического воздействия на «антисоветчиков»: предпочтение было отдано не судебному преследованию, а профилактике (в январе-мае 1964 года доля «предостережённых» составила 58,4% от задержанных нонконформистов), возвращались репрессивные механизмы управления культурой, охранительные

---

[1] Проффер К. Литературные вдовы России: Надежда Мандельштам // Проффер К. Без купюр. М. : Изд-во АСТ: CORPUS, 2017. С. 122.

[2] Козлов В. А. Крамола: инакомыслие в СССР при Хрущёве и Брежневе. 1953-1982 годы. По рассекреченным документам Верховного Суда и Прокуратуры СССР // Отечественная история. 2003. № 4. С. 103.

тенденции нарастали. В 1967 году было создано Пятое управления КГБ, специализирующееся на борьбе с идеологическими диверсиями, повысилась роль Комитета госбезопасности совместно с Главлитом в определении стратегии развития культуры. Власть не намеревалась расширять пространство свободы творчества, как рассчитывала либеральная интеллигенция, а стремилась более эффективно наладить контроль за её деятельностью, что на практике привело к усилению карательных мер в отношении инакомыслия, исключению из Союза писателей литераторов-нонконформистов, запрету публикаций крамольных авторов и изъятию их книг из библиотек. Легальная литература и самиздат разделились непроходимой границей: печататься в неподцензурных журналах и одновременно существовать в официальных изданиях стало невозможно.

Контркультура продолжала институционализироваться, что имело неоднозначные последствия. В параллельном пространстве функционировала свободная печать, осуществлялись андеграундные художественные выставки, концерты, спектакли, представлявшие альтернативную эстетику. Были обозначены новые направления развития культуры, многие артефакты спасены от уничтожения. При этом в выхолощенном и обеднённом общекультурном процессе наметились негативные тенденции, проявившие себя в полную меру в конце 1970-х-1980-е годы, контркультурное творческое наследие в целом осталось беднее легальной литературы и искусства той поры.

Типовое восприятие себя и времени можно реконструировать по дневникам тех лет Р. Д. Орловой. «Интервенция. Обрыв. Вот, значит, и суждено нашим жизням оборваться в горе и сраме», – записала она 21 августа 1968 года[1]. Ввод советских войск в Чехословакию уничтожил надежды «шестидесятников» на возможность гуманизации социализма и вновь потребовал самоопределения: адаптироваться к новым, более жёстким внутриполитическим условиям или продолжать оппозиционную общественную деятельность. «Взрослая» позиция предполагала не только избавление от иллюзий молодости, но и трезвую оценку

[1] Орлова Р. Д. Родину не выбирают. Я вернусь… Из дневников и писем 1964-1988 // Вопросы литературы. 2010. № 5. С. 293.

настоящего. Рассказчица осознаёт, что реставрация неосталинизма – факт социальной истории, обстоятельства места и времени, в которых живёт её поколение. Будущее темно и неясно. В самосознании интеллигенции эта ситуация осмысливалась в категориях морально-нравственного выбора, испытания, сохранения себя как личности: «Жизнь каждый день ставит нас перед выбором. И дай нам Бог выдержать»[1]. «Мой Лёвка (Л. З. Копелев – Е. С.) редко бывает таким мудрым. "Всё, что мы можем, – и это много! – оставаться самими собой"»[2]. Такая тактика может быть названа оборонительной: уберечь от деформации нравственные ценности, поддержать близких, помочь друзьям – это и значит не подчиниться бесчеловечной системе, остаться непокорённым: «Главное в сопротивлении полицейскому государству – не дать себя вовлечь, впустить в душу. Жить по своим, а не по чужим законам»[3]; «Главное – освободить себя. Душа – свободная территория»[4]. Последний тезис отсылает к ценности духовной свободы, усвоенной интеллигенцией от русской и европейской классической литературы.

Попытка сохранить духовную независимость могла принимать различные формы: один вариант – печататься в сам- и тамиздате. В социальной практике это было чревато маргинальностью, в общественной позиции могло привести к диссидентству. Именно в конце 1960-х годов в лексиконе интеллигенции возникло понятие «диссидент», по свидетельству А. И. Гинзбурга, авторство в словоупотреблении принадлежало Л. Е. Пинскому, употреблявшему его исключительно с ироничным звучанием[5]. Однако вскоре понятие освободилось от иронии и стало применяться к нонконформистам, занимавшим радикальную социальную позицию, наиболее внятно и последовательно выражавшим власти общественно-политические претензии.

---

[1] Там же. С. 302.
[2] Там же. С. 291.
[3] Орлова Р. Д. Родину не выбирают. С. 286.
[4] Там же. С. 291.
[5] Даниэль А. Ю. Диссидентство: культура, ускользающая от определений? // Россия/Russia. Вып. 1 [9]: «Семидесятые» как предмет истории русской культуры. М. : О.Г.И, 1998. С. 122.

Другой способ сохранения внутренней автономии – уход в приватную сферу. Р. Д. Орлова размышляла: «Противостоят тяжести – работа, любовь, стихи, добрые люди, костёр, природа. Что-то должно противостоять, а то взорвёмся изнутри прежде, чем ОНИ (выделено автором – Е. С.) нас схватят»[1]. Посвятить себя семье и друзьям, уберечь подлинность взаимоотношений с духовно близкими людьми означало сохранить самоидентичность. Такой путь приводил к позиции внутреннего эмигранта, оборачивался потерей личностной целостности: номинальная идентичность, демонстрируемая в публичном пространстве, соответствовала общепринятым стандартам, в то время как реальная идентичность оставалась скрытой. Разделение на реальную и номинальную идентичности, отмечал Р. Дженкинс, свойственно расщеплённому сознанию внутреннего эмигранта[2]. Интеллигенция, обладающая высокой степенью рефлексии, болезненно переживала раздвоенность сознания. С одной стороны, в социальном поведении приходилось демонстрировать позицию политически лояльного гражданина. С другой – преобладало желание дистанцироваться от официальной сферы. Л. А. Закс отмечал в социопсихическом состоянии внутреннего эмигранта «*несогласие* с установившимся политическим режимом, *неприятие* и *непереносимость* (курсив автора – Е. С.) установленных им социальных и литературно-культурных порядков, общественной атмосферы»[3]. Результатом могли стать «разрушительные для духовной субъективности и психического здоровья эмоциональные состояния и умонастроения, *социальное отчуждение* <…>, *изоляция* от профессиональной и социальной среды» (курсив автора – Е. С.)[4]. Э. Г. Герштейн так выражала своё мироощущение: «... с самой молодости, не принадлежа к побеждённым классам, я чувствовала себя отщепенцем. У меня оставалось тяготение к более тонкой и богатой духовной культуре... Словом, я принадлежала к числу тех, кто... "не помещался" в

---

[1] Олова Р. Д. Родину не выбирают. С. 293.
[2] Jenkins R. Social Identity. London: Routledge, 1996. 206 p.
[3] Закс Л. А. Преодоление внутренней эмиграции в поэзии О. Мандельштама // Филологический класс. 2019. №1 (55). С. 35.
[4] Там же. С. 35.

современной жизни»[1]. Тот же образ нашёл для себя А. А. Зиновьев, назвав автобиографию «Исповедь отщепенца». Г. С. Померанц подобрал для самохарактеристики близкую по семантике метафору – гадкий утёнок. Столетием раньше А. И. Герцен объяснял истоки такого нравственного состояния своих современников: «Мысль сосредоточиться в себе, оторвать пуповину, связующую нас с родиной, с современностью … является у людей после всякой неудачи, после каждой утраченной веры» («С того берега», 1851 г.)[2]. Точность наблюдения подтверждалась на примерах поколения «шестидесятников» XX века.

Либеральная интеллигенция, ориентированная на идеалы служения отечеству и народу, осознанно отсекая общественно-политические связи, испытывала чувство неполноты жизни, осмысливала собственную нравственную позицию как ущербную. В самооценках звучало отторжение своей жизни как фальшивой. Чувство социальной безопасности не снимало стыда: «Вести такую жизнь бывало тяжело, бывало стыдно, горько, охватывало презрение к себе»[3], – признавались Р. Д. Орлова и Л. З. Копелев. Г. С. Померанц так осмысливал этот феномен: «Допустим, вы хотите быть учителем, врачом, артистом. Для этого вы должны лгать, сдавая экзамены по некоторым специально придуманным предметам. Потом – лгать на собраниях. Или по крайней мере молчать, когда хочется возразить. Эти привычки легко становятся натурой. Учитель, врач, режиссёр начинает помалкивать и подвирать не только в отношениях с большим начальством, но и с малым, способным на малые пакости. И в конце концов, ничего не остаётся не только от гражданской этики, но и от врачебной, и от всякой.

А если жить не по лжи? Тогда вы немедленно становитесь изгоем. Работать только дворником. Даже если вы успели окончить университет, если вы кандидат или доктор наук, всё равно. Как учитель, как учёный, врач, режиссёр –

---

[1] Герштейн Э. Г. Мемуары. СПб. : ИНАПРЕСС, 1998. С. 395.
[2] Герцен А. И. С того берега // Герцен А. И. Собр. соч. : в 30 т. М. : Изд-во АН СССР. 1955. Т. 6. С. 87.
[3] Орлова Р. Д., Копелев Л. З. Мы жили в Москве: 1956-1980. М. : Книга, 1990. С. 213.

вы кончились. Как отец, мать, сын – вы ставите в очень трудное положение свою семью. И появляется искушение уехать...»[1]. Внутренняя эмиграция не всегда приводила в реальной, но отчуждение от страны, общества и собственной жизни было общим при обоих поведенческих моделях.

Вариантом разрешения психологического конфликта с государством был эскапизм – попытка восстановить смысл существования в творчестве, профессии, науке, посвятить себя вневременным ценностям истины и идеальных сущностей. Р. Д. Орлова признавалась: «… была и ещё более глубокая причина, из-за которой я диссиденткой не стала, – я не хотела и не могла отказаться от своей профессии, от своего призвания...»[2]. Те же мотивы отложенного на восемнадцать лет диссидентства выдвигал Ю. Ф. Орлов[3]. Этот способ нравственного самосохранения можно назвать универсальным для советской интеллигенции разных поколений. Например, Л. А. Закс убедительно доказал действенность этой модели поведения на примере О. Э. Мандельштама, справедливо отметив, что альтернативное существование в своём поэтическом мире не устраняло драматизма мировосприятия поэта[4]. Действительно, эта позиция рождала чувство неполноты самореализации, усиливала отчуждение от государства, вынуждающего работать под гнётом самоцензуры, с учётом предполагаемой реакции властей.

Потребность отстоять личную автономию могла воплощаться на бытовом уровне в демонстративной антисоветскости. К. Проффер в 1969 году отмечал в повседневном поведении Бродского и его друзей явную театральность: в комнате поэта висели плакаты на английском языке различного содержания, среди которых выделялся «Я враг государства». Его московский приятель уверял, что глупо не уничтожать коммунизм везде, где только можно (речь шла о войне во Вьетнаме). И все вместе поносили советскую власть, словно

---

[1] Померанц Г. С. Записки гадкого утёнка. М.; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2011. С. 201-202.
[2] Орлова Р. Д., Копелев Л. З. Указ. соч. С. 216.
[3] Орлов Ю. Ф. Опасные мысли. Мемуары из русской жизни. М. : Захаров, 2008. С. 146.
[4] Закс Л. А. Преодоление внутренней эмиграции в поэзии О. Мандельштама // Филологический класс. 2019. №1 (55). С. 34-43.

пребывали не в Ленинграде, а на радиостанции «Свобода»[1]. Будущий создатель издательства «Ардис» тогда ясно ощутил нарочитость поведения своих советских знакомых. Молодые люди стремились наглядно продемонстрировать американцу независимость жизненной позиции.

Безусловно, у «шестидесятников» оставалась возможность реализовать личностный потенциал в профессиональной сфере. Для этого было достаточно не участвовать в протестных выступлениях и выдерживать нормативную модель социального поведения. Высшее образование, стабильная работа позволяли направить свои силы в «русло спокойного и рабочего прогресса» (А. В. Амфитеатров[2]), давали возможность реализоваться вне общественно-политического поля. Эту модель поведения избирала большая часть сообщества. Благодаря творческой продуктивности интеллигенции культура 1970-х годов развивалась не менее интенсивно, чем в предшествующее десятилетие.

Взаимодополняющие поведенческие модели (эскапизм, внутренняя эмиграция, театральная «антисоветскость» и прочее) отражали кризис личностной идентичности интеллигенции. Художественная культура 1970-80-х отозвалась появлением нового героя эпохи – неудачника. В этом образе А. В. Вампилов, А. М. Володин, С. Д. Довлатов, Ю. В. Трифонов и другие запечатлели жизненный опыт современника, сохранившего ясное понимание этической нормы интеллигента, но не имеющего возможности реализовать свой личностный и творческий потенциал.

Для диссидентов конфликт с государством приобрёл необратимый характер и породил социальные тактики, выходящие за нормы советского поведения: открытое противостояние режиму, привлечение международной общественности к проблеме нарушения гражданских прав в СССР, поиск вариантов эмиграции.

Научное сознание реагировало на изменение общего культурного климата. Идеи М. М. Бахтина продолжали разрабатываться, но приняли качественно

---

[1] Проффер К. Заметки к воспоминаниям об Иосифе Бродском // Проффер К. Без купюр. М. : Изд-во АСТ: CORPUS, 2017. С. 200, 210.

[2] Амфитеатров А. В. Жизнь человека, неудобного для себя и для многих // Амфитеатров А. В. Соч. в 2 т. М. : Новое литературное обозрение, 2004. Т. 1. С. 43.

новый характер: в дуальной модели культуры (Д. С. Лихачёв, А. М. Панченко, А. Я. Гуревич, семиотики Тартусско-московской школы), в учении Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского о существовании в одной культуре двух подсистем, находящихся в иерархическом соотношении и непрерывно противоборствующих, акцент был сделан на исследовании бинарности – свойства, типологически редкого. По мнению учёных, она исторически вредна, но социально чрезвычайно активна, определяет эсхатологический характер русской культуры и радикальные перевороты в национальной системе ценностей (Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский «Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века)»[1]). Этот вывод исследователей в эволюции их научных воззрений принял форму национальной самокритики русской культуры и, без сомнения, явился отражением общественной ситуации 1970-х годов.

На 1980-е-годы пришлась символическая «старость» поколения. Диссидентство размежевалось на идейные течения и фракции, всё больше замыкалось на себе, исчерпывало тезаурус. «Шестидесятники», не участвовавшие в оппозиционной деятельности, продолжали искать способы самореализации, позволявшие адаптировать идеалы поколения к политическим реалиям, некоторые (Л. В. Карпинский, В. А. Коротич, Е. В. Яковлев) вошли в аппарат КПСС и средства массовой информации. Многообразие поведенческих моделей, свойственных кризисному мироощущению, апробированных в 1970-80-е годы, возможно, стало основной причиной представления о «шестидесятниках» как о «несостоявшемся поколении» (Л. Д. Гудков, Б. В. Дубин[2], В. В. Семёнова[3]).

Однако в 1990-е поколение пережило «вторую молодость», получило шанс социально состояться, реализовать отсроченные социально-политические проекты, испытать себя в политике. «Шестидесятники», известные в

---

[1] Лотман Ю. Д., Успенский Б. А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века) // Труды по русской и славянской филологии. Тарту. 1977. Т. 28. С. 3-36.
[2] Гудков Л. Д., Дубин Б. В. Европейский интеллектуал: попытка апологии субъективности // Гудков Л. Д., Дубин Б. В. Интеллигенция: Заметки о литературно-политических иллюзиях. СПб. : Изд-во Ивана Лимбаха, 2009. С. 5-6.
[3] Семёнова В. В. Социальная динамика поколений… М. : РОССПЭН, 2009. С. 253.

«застойные» годы по своим демократическим взглядам, Ю. Н. Афанасьев, Г. Х. Попов, М. Ф. Шатров и другие, составили отряд «прорабов перестройки». Научная интеллигенция смогла развернуть новые самостоятельные дисциплины – социологию, политологию, культурологию. Художественная – вытащить из-под спуда не опубликованные ранее тексты. Деятели культуры, эмигрировавшие по доброй воле или изгнанные из страны в 1970-80-е, смогли вернуться на родину и восстановить утраченные в профессии и социуме позиции.

Эти очевидные примеры позволяют опровергнуть суждение о несостоятельности генерации и дать иную характеристику – «отсроченное» поколение, реализовавшее себя в постсоветском пространстве.

Следует признать, что итоги политических реформ 1990-х годов разошлись с идеалами поколения и разочаровали большинство «шестидесятников». Социальные процессы и культурные трансформации оказались более затяжными, тяжёлыми, неоднозначными и по процессу, и по следствиям. Обращаясь к предпринимателю эпохи постсоветского капитализма, новому герою своего времени, Р. Ф. Казакова подводила итог биографии поколения:

Шестидесятники, шестидесятники!
Новой надежды первые всадники.
Нам наше дело было не в бремя.
В ближнем бою меж светом и тенью
Вы отмываете грязные деньги…
Мы отмывали грязное время[1].

1.2. Этика в самосознании членов сообщества

Этика, как компонентом мировоззрения, играет значимую роль в личностном и поколенческом самоопределении. Ответить на вопрос «кто мы?» невозможно

[1] Казакова Р. Ф. К биографии поколения. URL: http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?mate rial_id=283350 (дата обращения: 10.12.2019)

без нравственной самооценки. Социальные процессы также осмысливаются гражданами с учётом их этической характеристики. Восприятие событий общественной жизни как морально оправданных или, напротив, неприемлемых диктует модель гражданского поведения, формирует социальную идентичность. Таким образом, для анализа самосознания поколения необходимо осмыслить место этики в аксиологии интеллигенции – сообщества, в котором нравственная рефлексия традиционно культивируется как неотъемлемое и обязательное свойство, выявить сущность и трансформацию нравственно-этических воззрений «шестидесятников».

Советская этика, базируясь на принципах марксизма, трактовала мораль как превращённую форму общественного сознания, а именно идеологии, используемой господствующим классом для сохранения собственной власти. Следующий тезис гласил: исторические закономерности приводят к возникновению классовой морали, в ситуации идеологической борьбы с противником доминирующей над моралью общечеловеческой. Поскольку классовые интересы пролетариата меняются соответственно политическим реалиям, революционная мораль осмысливалась как динамичная. Соответственно, пролетариат имел возможность корректировать свои цели и находить адекватные средства их достижения. Таким образом, марксизму был свойственен нравственный утилитаризм, определивший механизмы «моральной идеологии» 1930-50-х годов. А. А. Гусейнов так характеризовал позицию Л. Д. Троцкого, выраженную в статье «Их мораль и наша» (1938 г.): «Нельзя применять одинаковые моральные категории к действиям революционеров и реакционеров, к "нам" и к "ним", "нам" дозволено делать то, что категорически запрещено "им", "мы" убиваем – хорошо, "они" убивают – плохо. Граница, отделяющая добро от зла, совпадает с линиями, разделяющими современное общество на противоборствующие классы. Этика смыкается с политикой»[1]. Вывод философа применим и к более поздним периодам советской истории.

[1] Гусейнов А. А. Этика и плюрализм // Этическая мысль: Научно-публицистические чтения. 1991. М. : Республика, 1992. С. 3.

Мораль, считаясь надстройкой над экономическим базисом, осмысливалась как средство укрепления или подрыва государства, трактовалась функционально. Партийно-государственное управление предполагало руководство нравственными процессами, в частности воспитанием, и контроль над функционированием моральных идей в обществе.

Доклад Н. С. Хрущёва «О культе личности и его последствиях» соответствовал советской этической традиции. Преодоление сталинских методов руководства страной мотивировалось политической необходимостью – восстановлением коллегиальных методов партийного управления и социалистической законности. Этическая аргументация использовалась как дополнительная при обосновании политических решений. В докладе противопоставлялись демократичный ленинский тип партийного руководства, основанный на коллективном принятии решений, и авторитарный сталинский, жестоко карающий за малейшее отклонение от директивной линии. Восстановление ленинских методов управления страной трактовалось как возвращение к гуманистической сути революционных преобразований. Политические выводы морально обосновывались. Например, рассказывая о следственных делах Эйхе, Рудзутака, Розенблюма, докладчик давал нравственную оценку сфальсифицированных против них обвинений: «Вот какие подлые дела творились в то время!»[1]. Эмоциональный вывод подкреплял главный тезис: нарушение норм морали есть следствие отступления от социалистической законности. В качестве причины были указаны личные свойства Сталина, определившие кадровую политику во властных структурах: «Используя установку Сталина о том, что чем ближе к социализму, тем больше будет и врагов, используя резолюцию февральско-мартовского Пленума ЦК по докладу Ежова, провокаторы, пробравшиеся в органы государственной безопасности, а также бессовестные карьеристы стали прикрывать именем партии массовый террор против кадров партии и Советского государства, против

[1] О культе личности и его последствиях: Доклад Первого секретаря ЦК КПСС тов. Хрущёва Н. С. XX съезду Коммунистической партии Советского Союза // Известия ЦК КПСС. 1989. № 3. С. 143.

рядовых советских граждан»[1]. Подобным образом оценены качества конкретных сотрудников НКВД. О следователе, ведшем дела С. В. Косиора, В. Я. Чубаря и А. В. Косарева, сказано: «Это – никчёмный человек, с куриным кругозором, в моральном отношении буквально выродок»[2]. Заметим, что моральная дискредитация противника традиционно использовалась партийным руководством в идейной борьбе. Политические процессы 1930-х годов, как известно, сопровождались разоблачением «классово-враждебных элементов». Собственно, клеймо «враг народа» включает в свою семантику не только политическую, но и нравственную характеристику. В этом смысле приём, использованный Н. С. Хрущёвым, зеркально повторял практику судопроизводства сталинских времён. Докладчик активно использовал оценочную лексику: «грязные и позорные дела», «чудовищная фальсификация», «вынужденные оговоры себя и других», «необоснованные репрессии в массовых масштабах», «порочная практика». Апелляция к чувствам слушателей должна была обеспечить солидарность с позицией оратора и убедить их в главной мысли: обличение культа личности и его последствий – первостепенная политическая задача и, кроме того, дело совести партийного руководства. Без морального осуждения сталинизма невозможно восстановление законности и принципов демократического управления страной. Как видим, Н. С. Хрущёв рассчитывал, используя этику как инструмент политики, добиться прагматической пользы: склонить делегатов партсъезда к согласию, деморализовать идейных противников, минимизировать нравственное потрясение рядовых граждан от предоставленной информации, не допустить распространения в обществе глобальных выводов о несостоятельности партийного руководства в целом, возложить вину за репрессии на конкретных исполнителей. Несмотря на очевидный нравственный утилитаризм, доклад был пронизан гуманистическим пафосом.

---

[1] Там же. С. 140.
[2] Там же. С. 145.

Философская мысль «оттепели», призванная обеспечить мировоззренческое, прежде всего идеологическое обоснование новому курсу, актуализировала антропологическую проблематику. Одним из следствий этого процесса явилось выделение этики, составлявшей в 1930-50-е годы один из разделов социальной философии, в самостоятельную дисциплину, что потребовало теоретического осмысления категориального аппарата. Соответственно, в центре научной рефлексии 1960-х годов находилось выявление специфики и сущности морали, исследование природы моральных ценностей и норм, функций и структуры нравственности (О. Г. Дробницкий[1], А. И. Титаренко[2]). Стремясь обрести некоторую исследовательскую автономию, этики сохраняли базовое для марксистской философии представление о морали как форме общественного сознания и способе согласования личных и общественных интересов. Вместе с тем в научном дискурсе выявилось стремление преодолеть ортодоксальное толкование марксизма и обогатить этическую мысль за счёт домарксистских (кантианства, этического социализма рубежа XIX-XX веков и других) и современных концепций (экзистенциализм). Одним из направлений этики было исследование соотношения общечеловеческих ценностей и социально-классовых. Термин «общечеловеческие нравственные ценности» имел секулярное толкование и включал христианские нормы морали как выражение общефилософского нравственного закона. Я. А. Мильнер-Иринин[3], А. Ф. Шишкин[4] трактовали мораль как позитивный феномен, обосновывали взаимопомощь, гуманизм, коллективизм, добросовестный труд и другие официально декларируемые моральные ценности как исторически выработанные

---

[1] Дробницкий О. Г. Понятие морали : Ист.-критич. очерк. М. : Наука, 1974. 388 с.; Его же. Проблемы нравственности. М. : Наука, 1977. 333 с.

[2] Титаренко А. И. Структуры нравственного сознания : Опыт историко-философского исследования. М. : Мысль, 1974. 278 с.

[3] Мильнер-Иринин Я. А. Этика, или принципы истинной человечности. М. : Наука, 1999. 519 с.

[4] Шишкин А. Ф. XX век и моральные ценности человечества. М. : Мысль, 1968. 271 с.; Его же. Из истории этических учений. М. : Госполитиздат, 1959. 344 с.

общегуманистические идеалы. В концепциях Л. М. Архангельского[1], Г. Д. Бендзеладзе[2], З. А. Бербешкиной[3], Л. Б. Волченко[4] акцентировалась общечеловеческая аксиология морали, создающая возможность диалога поверх идеологических противостояний и классовых антагонизмов. Учёные стремились обосновать независимость морали от идеологии, выявить её особую роль и самостоятельную значимость в системе общественных мотивов, оценок, регулятивных норм. Общечеловеческая, социально-классовая и индивидуальная мораль, по мнению философов, должны быть согласованы между собой. Из этого суждения выводился практический вывод: этика не должна разделяться на прикладную – низовую, применимую в быту, и высоко теоретическую. Каждый поступок человека, в частной жизни или социальной, выявляет сопричастность личности общечеловеческой морали. Этические концепции имели практическую направленность, носили предписывающий характер, определили морально-нравственный ригоризм советской философии 1960-х годов.

На XXII съезде партии (1961 г.) общественному сознанию был представлен нравственный идеал – «Моральный кодекс строителя коммунизма». По признанию одного из авторов, Ф. М. Бурлацкого, при работе над текстом авторы стремились соединить принципы социалистической морали и заповеди христианства, то есть социально-классовые и универсальные ценности. Составители «Кодекса» двигались в том же направлении, что и некоторые этики, в частности Я. А. Мильнер-Иринин, предложивший этизированную версию марксизма и толковавший коммунизм как осуществление подлинно

---

[1] Архангельский Л. М. Лекции по марксистско-ленинской этике. Ч. 1. Методологические проблемы. Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1969. 132 с.; Его же. Марксистская этика. Предмет, структура, основные направления. М. : Мысль, 1985. 239 с.; Архангельский Л., Джафарли Т. Этические категории // Предмет и система этики. Москва, София: Наука и искусство, 1973. С. 152-178.

[2] Бендзеладзе Г. Д. Актуальные проблемы марксистской этики. Сборник статей. Тбилиси : Изд-во Тбилисского университета, 1967. 495 с.

[3] Бербешкина З. А. Проблема справедливости в марксистско-ленинской этике : учебное пособие. М. : Высш. школа, 1974. 160 с.

[4] Волченко Л. Б. Марксистско-ленинская этика : Курс лекций. Ч. 3. Система общих категорий этики. М. : Изд-во МГУ, 1978. 71 с.

гуманистических принципов. Несмотря на традиционный в практике партийного руководства утилитарный подход к этике как средству решения политической задачи – воспитания подлинного строителя коммунизма, текст зафиксировал базовый принцип общечеловеческой морали – необходимость для личности нравственной рефлексии как мировоззренческой позиции и основного способа самоформирования и жизнедеятельности. Адресованный массовому сознанию документ был одним из способов внедрения нравственности в социальную и педагогическую практику тех лет.

Высокая степень нравственной рефлексии – типологическое свойство интеллигенции. Культивированное европейской и русской классической культурой, оно вошло в сознание советских деятелей науки и искусства как один из базовых мировоззренческих принципов. Моральный императив включал ряд требований к социальному поведению личности: потребность в нравственном обосновании общественных процессов и собственной роли в них, чувство сопричастности общенародной судьбе, убеждённость в необходимости мыслящих людей осуществлять посредническую функцию между властью и народом, быть совестью нации, способность критически мыслить и ответственно действовать. Будучи по социальному составу преимущественно рабоче-крестьянской, советская интеллигенция с полным правом могла представительствовать от имени народа. Эстетические воззрения традиционно связывались с этическими: «правда неразлучна с красотой» (С. Я. Маршак)[1]. В повседневной практике нравственная норма предполагала толерантность, уважение достоинства личности, совестливость, честность. Нравственный ригоризм, свойство советской этики, имел в сознании интеллигенции свой источник – убеждённость в просветительской миссии сообщества, накладывающей определённое моральное обязательство: демонстрировать обществу поведенческий образец служения высоким идеалам. Повседневная и профессиональная жизнь переживались как культуротворческая деятельность. В

[1] Чуковский К. И. Маршак // Чуковский К. И. «Я думал, чувствовал, я жил». М. : Советский писатель, 1971. С. 106.

самосознании писателей мессианское восприятие художника подкреплялось литературоцентризмом и диктовало представление о необходимости духовного соответствия творца роли учителя. «Поэт в России больше, чем поэт» (Е. А. Евтушенко)[1] – эта нравственная максима осознавалась и читателями, и писателями как непреложная истина.

Художественная мысль конца 1950-начала 60-х годов мобильно отзывалась на социокультурные изменения. «Оттепель» начиналась с журнальной полемики о вопросах театрального искусства, назначении критики, о «молодёжной» прозе, состоянии лирики, литературном герое. При этом базовые основания советской литературы не вызывали разногласий внутри сообщества. Однако разные мировоззренческие позиции определяли многозначность основных эстетических категорий. Например, соцреализм провозглашался неизменным художественным методом. Дискуссия между В. В. Ермиловым («За социалистический реализм»[2]), А. А. Сурковым («Под знаменем социалистического реализма [3]), с одной стороны, а с другой – К. Г. Паустовским («Высокое призвание»[4]), В. М. Померанцевым («Об искренности в литературе»[5]) и К. М. Симоновым («О дискуссионном и недискуссионном»[6]) велась о смысловом наполнении понятия: сохранять ли эстетический канон нетронутым или во имя художественной правды художник должен отказаться от догм и заведомо готовых решений. Эти творческие вопросы осмысливались как общественно значимые и нравственно ценные. Так в процессе журнальной полемики о вопросах художественного творчества выявлялся объём требований, составивших моральное самосознание интеллигенции: правда, искренность, принципиальность писателя, творческая свобода. При этом ни ортодоксы, вскоре объединившиеся вокруг журнала «Октябрь» (главный редактор В. А. Кочетов), ни либералы, сгруппировавшиеся

---

[1] Евтушенко Е. А. Братская ГЭС // Евтушенко Е. А. Стихи и поэмы : в 3 т. М.: Советская Россия, 1987. Т. 1. С. 447.
[2] Правда. 1954. 3 июня.
[3] Правда. 1954. 25 сентября.
[4] Литературная газета. 1953. 10 октября
[5] Новый мир. 1953. №12. С. 218-236.
[6]Знамя. 1954. №7. С. 166-172.

в «Новом мире» (главный редактор А. Т. Твардовский), не отрицали партийного руководства культурой и литературой. Тем не менее, считая свободу творчества одной из важнейших нравственных ценностей и непременным условием художественной самореализации, либеральная часть сообщества искала способы её достижения, а потому была вынуждена отрабатывать тактику манёвров: исполнять директивы партийного руководства, но расширять границы дозволенного, не нарушая субординации, увеличивать пространство автономного существования. Например, в октябре 1953 года, накануне XIV пленума Правления Союза писателей, Б. А. Лавренёв и В. Ф. Пименов в статье «Формальная опека или творческое руководство»[1] призвали избавить театры от излишней опеки Главреперткома и ослабить гнёт цензуры. Позиция авторов статьи в тот момент соответствовала антисталинским веяниям в высшем партийном руководстве и определила взвешенную реакцию власти на высказанные идеи.

Демократизация, заявленная XX и XXII съездами КПСС, трактовалась партией как освобождение от сталинизма во всех сферах государственной жизни. Однако модель партийно-государственного руководства художественной культурой осталась неизменной. ЦК КПСС, КГБ и Главное управление по охране государственных тайн в печати при СМ СССР составляли своего рода властный треугольник: вырабатывали стратегию управления и контролировали художественный процесс. Сохранялся надзор и за функционированием моральных идей в литературе. По-прежнему в качестве основного требования выдвигалось соответствие духа произведения идеологическим критериям, постоянной была настороженность при обращении литераторов к «опасным» темам: неизжитое наследие сталинизма, трагедия коллективизации и другие. Корректировке подверглась лишь стилистика взаимоотношений: встречи Н. С. Хрущёва с творческой интеллигенцией (1957-1961 гг.) хотя и носили конфликтный характер, но утвердили в сознании членов сообщества возможность диалога с властью, интенсифицировали в либеральной части

[1] Литературная газета. 1953. 15 октября.

сообщества нравственные ожидания послабления цензуры, более свободного выражения творческих мыслей и разнообразных художественных исканий. В начальный период «оттепели» руководство культурой колебалось от репрессий (в адрес Б. Л. Пастернака, художников-авангардистов, А. А. Вознесенского, В. П. Аксёнова) до поддержки (открытие театров «Современник», «Таганка», издание журнала «Юность»). При этом реакция руководства на инициативы художественной интеллигенции всякий раз зависела от внутрипартийных соображений. Режиссёр Г. И. Полока вспоминал, как, будучи студентом последнего курса ВГИКА, заявил на комсомольском собрании о неподготовленности института к увеличению количества выпускаемых картин, как постановило правительство. Вскоре он получил предложение из аппарата ЦК партии письменно изложить свои соображения. Результаты были впечатляющими: вуз получил новое здание, студенты – возможность снимать дипломные картины на производстве и другие льготы[1]. Примеры, казалось бы, демократического взаимодействия можно найти и в литературе: публикацию рассказа А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» санкционировал лично Н. С. Хрущёв, он же поддержал стихотворение Е. А. Евтушенко «Наследники Сталина». Однако глава государства руководствовался прагматическими мотивами: желанием ослабить просталинскую группировку в правительстве – в случае Солженицына, необходимостью противостоять авторитарным режимам в Албании и Китае – в ситуации с Е. А. Евтушенко. Очевидно, что моральные запросы сторон не совпадали, различался также способ нравственной оценки: власть сохраняла утилитарно-прагматичный подход к художественной культуре, нонконформисты рассчитывали его преодолеть и ожидали демократизации взаимоотношений государства и общества.

Обсуждая знаковые события художественной жизни начала «оттепели»: статьи В. М. Померанцева «Об искренности в литературе» (1953 г.), М. А.

---

[1] Монолог: в 4 ч. Геннадий Полока. Ч. 4: док. фильм / реж. О. Высоцкая. URL: http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/28858/ (дата обращения 03.07.2019)

Щеглова о романе Л. М. Леонова «Русский лес» (1954 г.), книгу В. Д. Дудинцева «Не хлебом единым» (1956 г.), литераторы производили оценку текстов с учётом этической значимости осмысленных в них социальных процессов. На обсуждении романа В. Д. Дудинцева в Центральном Доме литераторов 23 октября 1956 года К. Г. Паустовский выдвинул единственно верный, на его взгляд, критерий оценки общественной значимости произведения – совесть писателя. Яростно обрушившись на современных Дроздовых (номенклатурный партработник в книге), он указал главных противников социального обновления – «новую касту обывателей», «циников и мракобесов», «новое племя хищников и собственников, не имеющих ничего общего ни с революцией, ни с нашей страной, ни с социализмом»[1]. Зло персонифицировано в восприятии К. Г. Паустовского. Он убеждён, что социалистическое общество, здоровое по своей социальной природе, может и должно освободиться от «враждебных элементов» – сталинистов. Тогда страна пойдёт по пути исторического прогресса. Очевидно, что К. Г. Паустовский, не ориентируясь впрямую на речь Н. С. Хрущёва на XX съезде, использовал один с ним логический приём для объяснения общественных процессов. Писатель выражал весьма распространённое в сообществе мнение: «Главным злом мы считали чиновников, аппаратчиков во всех инстанциях, и в Союзе писателей, и в ЦК. И надеялись, что Никита их свергнет»[2], – вспоминали Р. Д. Орлова и Л. З. Копелев. Как видим, доклад Хрущёва дал «шестидесятникам» способ объяснения социальных противоречий эпохи, убедивший значительную часть сообщества. Показательно, что в оценке нравственного значения текстов Дудинцева, Померанцева, Щеглова зачастую солидаризировались и консерваторы, и реформаторы. Например, К. И. Чуковский записал в дневнике со слов Ф. А. Вигдоровой выступление К. А. Федина на собрании писателей в присутствии министра культуры Е. А. Фурцевой. Секретарь Союза писателей, будущий

---

[1] Краткая запись речи К. Паустовского на обсуждении романа Дудинцева «Не хлебом единым» // Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950-е-1980-е: в 3 т. М. : Международный институт гуманитарно-политических исследований, 2005. Т. 1. С. 422.
[2] Орлова Р. Д., Копелев Л. З. Мы жили в Москве: 1956-1980. М. : Книга, 1990. С. 29.

гонитель Б. Л. Пастернака и А. И. Солженицына, тогда поддержал направление журнала «Новый мир» (именно там были напечатаны статьи В. М. Померанцева и М. А. Щеглова) и романа «Не хлебом единым», ощутив в нём «много благородства и правды»[1]. И это не исключение, а правило. Художественная интеллигенция при всём разнообразии личностных позиций и неоднозначности оценок происходящего была едина с партией в осмыслении реформ как актуальных и своевременных, хотела участвовать в общем процессе, осмысленном как нравственное оздоровление страны. В. Я. Лакшин писал об этом так: «Нам <…> не нравился казённо-бюрократический социализм, мы защищали человеческую правду против формальной, мы приходили в содрогание от ужасов сталинского лагеря и протестовали, где могли, против изощрённых форм общественного лицемерия. Но мы верили в социализм, как в благородную идею справедливости, в социализм с человеческим нутром, а не лицом только. Для нас неоспоримы были демократические права личности. Мы искали опору своему чувству и убеждению в народе – и, боясь истасканности и фальшивой декламационности этого понятия, всегда дорожили чувством общего с трудовыми людьми»[2]. Статистические данные свидетельствуют: в 1956 году среди осуждённых за антисоветские действия интеллигенция составляла 24,1 %, а в 1957 году – 18,3 % от всего числа[3]. Как видим, доля служащих (так именовалась интеллигенция) в общей статистике сократилась. Оппозиционность строю не входила в программу социальных действий «старших шестидесятников». Их интеллектуальные и нравственные искания совпадали с идеями отечественных этиков в определении социализма как исторической формации, наиболее близкой общечеловеческому идеалу справедливости.

---

[1] Чуковский К. И. Дневник. 1901-1969: в 2 т. М. : ОЛМА-ПРЕСС Звёздный мир, 2003. Т. 2. С. 291.

[2] Лакшин В. Я. Солженицын, Твардовский и «Новый мир» // Лакшин В. Я. Солженицын и колесо истории. М. : Издательский дом Вече, АЗъ (Знатнов), 2008. С. 171.

[3] Козлов В. А. Крамола: инакомыслие в СССР при Хрущёве и Брежневе. 1953-1982 годы. По рассекреченным документам Верховного Суда и Прокуратуры СССР // Отечественная история. 2003. № 4. С. 99.

Безусловно, самоопределение интеллигенции тех лет было неоднозначным и чрезвычайно многоплановым. Базовым свойством самоидентификации было осмысление себя и общественных процессов в этических категориях. Размежевание либералов и консерваторов происходило постепенно, выявлялось в ответах на социальные и морально-нравственные вопросы. Являются ли нравственные ценности абсолютными и автономными от политической целесообразности или определяются классовым сознанием и подчинены идеологии? Ответы формировали личностное и коллективное моральное сознание, определяли социальное и профессиональное поведение и по мере ужесточения идеологического контроля всё явственнее разделяли сообщество.

Нонконформисты, осмысливая свою общественную роль как просветительскую, видели профессиональный долг перед народом в «разбуживании общественного сердцебиения» (Солженицын)[1], раскрепощении сознания нации. Десталинизация осмысливалась как общественно значимая и нравственная задача и нуждалась в практической реализации: открытии всей правды о бесчинствах сталинского режима. Главными моральными критериями в профессии выступали совесть, правда, искренность. Совесть требовала полной, без купюр правды о времени и положении народа. Искренность не допускала оглядки на возможное недовольство власти, предполагала свободомыслие, реализованное в критическом высказывании. Гражданская позиция литератора осмысливалась как борьба с полуправдой и ложью. От правительства либеральная интеллигенция ждала той же этической позиции, рассчитывала на дальнейшее разоблачение культа личности и искоренение командно-административного метода управления.

Консервативная часть сообщества, опасаясь непредсказуемости последствий в случае коренных социальных реформ, соглашалась с утилитарным толкованием нравственных ценностей, в частности, считала допустимым ограничивать информацию о сталинских репрессиях и их жертвах в

---

[1] Солженицын А. И. Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни // Солженицын А. И. Собр. соч. : в 30 т. М. : Время, 2018. Т. 28. С. 57.

соответствии с политическим моментом. Внимание коллег-нонконформистов к ошибкам и трагедиям советского прошлого воспринималось как подрывающее в читателе веру в исторический прогресс. Профессиональное поведение литератора осмысливалось как солидарное с курсом партии, исполнение её директив. Совесть контролировалась партийной дисциплиной.

К. И. Чуковский, знавший К. А. Федина много лет, вспоминал о его участии в травле Б. Л. Пастернака, изгнании талантливых авторов из редакции «Литнаследства» и других, по его мнению, постыдных поступках и иронизировал: «Бедный Федин. Вчера ему покрасили забор зелёной краской – неужели ради этого забора, ради звания академика, ради официальных постов, которые ему не нужны, он вынужден продавать свою совесть, подписывать бумаги»[1]. Конформизм осмыслен К. И. Чуковским как измена нравственному долгу писателя – не терять чести ради личного благополучия, руководствоваться в профессиональном поведении совестью.

Нравственное сознание либеральной интеллигенции определяло социальный идеал как «социализм с человеческим лицом», то есть гуманистический по характеру. Утверждая возможность гуманизации общества, «шестидесятники» были убеждены в необходимости тождества этики с политикой. Государственная деятельность во всех сферах управления страной, по их глубокому убеждению, должна быть нравственной и по целям, и по средствам. Декларация построения коммунизма через 20 лет, зафиксированная в третьей Программе КПСС на XXII съезде партии, оценивалась как утопия, но возвращение социализму его гуманистической сущности виделось вполне реальной задачей. В массовом сознании «шестидесятников» эта цель считалась достижимой при солидарности нравственных действий граждан и государства. Так в самосознании поколения утверждалась ценность активной гражданской позиции, значимая и для власти. Однако либеральная интеллигенция связывала понятие «гражданственность» с категориями «свободолюбие», «независимость интеллектуальных и нравственных оценок», руководство страной всё явственнее демонстрировало

[1] Чуковский К. И. Дневник: в 2 т. Т. 2. С. 339.

неизменность командно-административного типа управления. А значит, социально-политические и нравственно-этические претензии нарастали с обеих сторон.

В осмыслении мировоззренческих оснований личности «шестидесятники» зачастую отталкивались от рационалистического толкования морали как непременного свойства думающего человека. Разум и мораль оценивались как собственно человеческое измерение личности, качества, выделяющие человека из мира природы. Неудивительно поэтому, что оценки интеллекта и морали зачастую дополняли друг друга. А. Т. Твардовский называл Д. И. Ерёмина, автора статьи «Перевёртыши», санкционировавшей травлю А. Д. Синявского и Ю. М. Даниэля в официальной печати, «дураком и мерзавцем»[1]. К. И. Чуковский отзывался о А. М. Еголине, сопровождавшем ждановскую расправу над А. А. Ахматовой и М. М. Зощенко, как о «законченном негодяе, подхалиме и бездарном дураке», его литературоведческие работы о Н. А. Некрасове считал «подлыми, пошлыми и глупыми»[2]. Способность давать рациональную и нравственную оценку явлениям повседневной жизни и собственным поступкам, по глубокому убеждению авторов, навыки не природные, а социокультурные. Они детерминированы воспитанием и предполагают умение человека соотносить свои действия с идеалом – нравственно цельной личностью. Чем бы ни были продиктованы действия, губительные для другого человека: убеждениями, корыстными соображениями или просто страхом, они аморальны и глупы. Такое отношение к личности предполагает не утилитарно-прагматический подход к морали, а осмысление её как одной из базовых духовных ценностей.

Ригоризм, свойственный советской этике, был в целом присущ моральному сознанию интеллигенции. Категоричность нравственных оценок определяла эталоны и нормы действий и личностного поведения многих «старших

---

[1] Твардовский А. Т. Новомирский дневник: в 2 т. М. : ПРОЗАиК, 2009. Т.1: 1961-1966. С. 421.
[2] Чуковский К. И. Дневник: в 2 т. Т. 2. С. 341.

шестидесятников». Показательным примером являются дневники А. Т. Твардовского 1961-1970 годов.

Дневник как жанр фиксирует «сырую» реальность и непосредственную сиюминутную реакцию на события. Однозначность нравственных оценок, бескомпромиссность как нравственное требование, предъявляемое себе и коллегам не только в профессиональной практике, но и бытовом поведении, в таком случае может восприниматься как результат импульсивного эмоционального переживания происходящего. Однако личностная этика, запечатлённая в тексте, определяется не жанровыми законами, а индивидуальной аксиологией.

А. Т. Твардовский – знаковая фигура для своей эпохи. Кандидат в члены ЦК партии, член Центральной Ревизионной Комиссии КПСС, депутат Верховного Совета СССР, неоднократный лауреат Государственных и Ленинский премий, он занимал статус духовного лидера той части либеральной интеллигенции, которая не противопоставляла себя официальной власти. По свидетельству А. И. Кондратовича, все заявления об оппозиционности «Нового мира» главный редактор воспринимал не иначе как провокацию и категорически отвергал. Его самооценка укладывалась в парадигму борьбы за правду и гуманизм. В 1965 году на конгрессе Европейского сообщества поэт говорил: «Искусство мстительно. Оно жестоко расправляется с теми художниками, которые вольно или невольно изменяют его законам – законам правды и человечности»[1]. Активная гражданская позиция – требование времени – реализовывалась в настойчивом противоборстве бездушным чиновникам в борьбе за каждое слово правды и всякую человеческую судьбу. Это не подвиг, а ежедневная кропотливая работа, выявляющая меру гражданственности. А. Т. Твардовский выстраивал свою онтологию: в индивидуальном выборе между житейской прагматикой и нравственным бытием проверяется самая суть человека, социальная история и политика получают гуманистическое измерение.

---

[1] Твардовский А. Т. Новомирский дневник: в 2 т. Т.1. С. 628.

Нравственные ценности, по мнению поэта, составляют основу личностной аксиологии и определяют поступки. Аналогичную точку зрения мы находим в этических концепциях тех лет Л. М. Архангельского и Т. М. Джафарли, которые в результате исследования природы этических категорий, например «добро и зло», «долг», «совесть» и так далее, пришли к выводу, что они обладают значением важнейших моральных ценностей, определяющих субъективную деятельность людей в мире социальных отношений[1]. Совпадение научных теорий философов и личных убеждений поэта закономерно, оно отражает мировоззренческое единство советской интеллигенции.

В профессиональном поведении писатель стремился сохранить нравственную цельность. Мерой поведения выступали совесть, честь и достоинство. Например, объясняя в письме К. В. Воронкову, секретарю правления СП СССР, непосредственному куратору журнала, свой отказ подписать послание литераторам Чехословакии с одобрением ввода советских войск в их страну, Твардовский мотивировал это тем, что «его содержание представляется <…> весьма невыгодным для чести и совести советского писателя»[2]. В ситуации нравственного выбора литератор ориентировался на общечеловеческие ценности, определявшие представление о должном поведении. Те же требования предъявлял к современникам. Так, профессиональные действия А. А. Вознесенского часто оценивались им как поспешно-суетливые, лишённые подлинной гражданственности. В 1967 году секретариат СП отказал А. А. Вознесенскому в разрешении выезда на фестиваль поэзии в Нью-Йорке, сообщив принимающей стороне о болезни поэта. В ответе А. А. Вознесенского, опубликованном в западногерманском журнале «Грани», содержалось обвинение в адрес секретариата во лжи и подрыве престижа советской литературы. Результатом был гнев властей и покаянное письмо А. А. Вознесенского в «Литературную газету». Твардовский считал такие поступки недопустимыми, поскольку был убеждён, что отмежевание от своих слов

[1] Архангельский Л. М., Джафарли Т. М. Этические категории / Л. М. Архангельский, Т. М. Джафарли // Предмет и система этики. М., София: Наука и искусство, 1973. С. 155.
[2] Твардовский А. Т. Новомирский дневник: в 2 т. Т. 2. С. 221.

наносит вред репутации литератора в обществе и «порождает представление о писателях как о людях неразборчивых в морально-этическом плане, лишённых собственного достоинства или всецело зависящих от "указаний"»[1]. Мораль имеет практическую ориентацию. Индивидуальные моральные качества – совесть, достоинство, принципиальность, по мнению автора, имеют социальную направленность, закономерно определяют поведение. Для А. Т. Твардовского духовное отношение к миру предполагает движение от теоретизирования на этические темы к практическому воплощению. Быть нравственным – значит нравственно действовать, не допуская противоречий между этической позицией в быту, профессии и обществе. Только так, при всеобщем соблюдении моральных норм, можно рассчитывать на гармонизацию общественных отношений и гуманизацию социализма. Таким образом, ригоризм в личностной этике А. Т. Твардовского был обоснован, составлял её качественную характеристику и фундамент поведения.

В представлениях о человеке «шестидесятники» отталкивались от рационалистической парадигмы: человек от природы наделён нравственным фундаментом – гуманностью, отзывчивостью к добру и справедливости, потребностью в духовной свободе. Социально совершенное общество укрепляет и развивает лучшие качества человека, антигуманный строй, сродни сталинскому, способен разрушить нравственные основания личности. А. Т. Твардовский по поводу нападок на статью В. Я. Лакшина «Иван Денисович, его друзья и недруги» в Московском отделении СП в 1964 году записал в дневнике: «Эти люди (громившие статью В. Я. Лакшина и рассказ А. И. Солженицына – Е. С.) вообще по природе своей, по крови были способны врать и подличать – это было их затаённым призванием. Когда же оказалось, что это можно делать (врать и подличать) во имя социализма и коммунизма, они удесятерили свои старания»[2]. Близкую позицию находим в воспоминаниях Г. С. Померанца «Записки гадкого утёнка». Одному из персонажей автор дал такую

---

[1] Там же. С. 522.
[2] Твардовский А. Т. Новомирский дневник: в 2 т. Т.1. С. 228.

характеристику: «Этот официальный резидент органов был хороший человек, с естественным нравственным чувством, не поддавшимся общему безумию»[1]. Рационализм в трансформированном варианте вошёл в марксизм. Продолжая рационалистическую парадигму в восприятии личности, «шестидесятники» не выходили за границы советской типологии сознания.

«Шестидесятники» критиковали действий властей с интеллектуально-нравственных позиций. Травля Б. Л. Пастернака, усиление цензуры, «дело Бродского» и другие воспитательные акции воспринимались ими как временная победа «сталинистов», медленное освобождение от тоталитарного наследия, но не рождали целенаправленных антисоветских действий. Либеральная интеллигенция была возмущена подавлением восстания в Венгрии (1957 г.) и расстрелом рабочих в Новочеркасске (1962 г.), но продолжала надеяться на возможность демократизации и либерализации общественной жизни.

После прихода к власти группы Л. И. Брежнева в конце 1964 года отношение к инакомыслию ужесточилось. Следствием стало расширение социального состава нонконформистов, разнообразие их идеологических ориентаций, поведенческих стратегий и тактик, смена морально-нравственной риторики.

Рубежным оказалось «дело Синявского и Даниэля». Уголовное преследование писателей показало, что власть по-прежнему считает творческую интеллигенцию наиболее взрывоопасной силой. Статус писателя в обществе был высок, открытый процесс с общенародным обсуждением должен был, по мнению организаторов акции, предотвратить дальнейшее расползание крамолы. В записке Председателя Комитета госбезопасности В. Е. Семичастного от 11 декабря 1965 года об этом говорится прямо: «Нельзя сказать, что конкретные антисоветские и политически вредные проявления свидетельствуют о росте в стране недовольства существующим строем или о серьёзных намерениях создания организованного антисоветского подполья. Об этом не может быть и речи. Однако <…> мы нередко сталкиваемся с потерей политической

[1] Померанц Г. С. Записки гадкого утёнка. М.; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2011. С. 47.

бдительности, революционной боевитости, классового чутья, а то и просто политической распущенности среди некоторой части интеллигенции, и прежде всего творческой. <…> Это последнее обстоятельство <…> принимает достаточно распространённый характер и вовлекает, сбивая с правильного пути, в нигилизм, фрондёрство, атмосферу аполитичности значительную часть интеллигенции и вузовской молодёжи, особенно в крупных городах страны»[1]. Как видим, Председатель КГБ обращал внимание на расширение идеологического поля и социального состава оппозиционеров, но явно не считал нужным различать мотивы действий «националистов», молодых учёных или творческих работников. Для него все группы, невзирая на социально-политическую или нравственно-этическую специфику требований, подпадают под разряд антисоветчиков. Автору очевидно, что оппозицию стало трудно всецело изолировать или окружить стеной молчания, поскольку она находит различные легальные формы выражения – кино, театр, литературу и, кроме того, опирается на интеллектуальную и моральную поддержку значительной части интеллигенции. В. Е. Семичастный перечислил наиболее болезненные темы в общественном сознании: неудовлетворённость консервативными действиями партаппарата, отсутствие творческих свобод и шире – негативные процессы советской действительности. В целом автор довольно точно ощутил перемену в общественных настроениях: от надежд к нигилизму, от поддержки партии к недоверию и конфликтности. Перемены эмоционально-нравственной атмосферы отражали глубокий социальный процесс – отчуждение образованного сообщества от государства.

В «деле Синявского и Даниэля» не только расширился состав оппозиционеров за счёт научных работников и молодёжи, но и сменилась риторика протестных заявлений. В записке упомянут «Митинг гласности», состоявшийся 5 декабря 1965 года на Пушкинской площади в Москве. Организаторы акции предложили тогда новую форму нонконформистской

[1] Записка КГБ при Совете Министров СССР в ЦК КПСС об антисоветской деятельности творческой интеллигенции // История советской политической цензуры. Документы и комментарии. М. : РОССПЭН, 1997. С. 148.

активности, митинг, и сформулировали не звучавшее ранее требование к власти соблюдать Конституцию, что определено В. Е. Семичастным как выход на площадь «с демагогическими лозунгами». Адресант явно затрудняется с определением адекватной реакции на подобные действия. С одной стороны, акция оценена как провокация, «открытое политически вредное выступление», с другой – в данных действиях «формально нет состава преступления» и «вряд ли оправдано использование уголовного преследования»[1]. Растерянность Председателя КГБ свидетельствует об интеллектуальной и поведенческой мобильности оппозиции, превзошедшей в данном случае неповоротливость партаппарата. Найденная тактика «упреждающего удара» впоследствии будет использована неоднократно (в обращении «К мировой общественности Л. И. Богораз и П. М. Литвинова, создании специальных Комитетов помощи политзаключённым и прочее). Этот приём свидетельствует, что оппозиция, не рассчитывая больше на возможность паритетных отношений с властью, утвердилась в конфронтационной позиции. В. Е. Семичастный не счёл нужным осмысливать новые семантические коннотации, прозвучавшие в требовании соблюдать Конституцию. Однако они важны. Правовая аргументация вскоре получит концептуальное осмысление и составит основу правозащитной идеологии.

Правозащитники исходили из убеждённости в нерасторжимости права и морали. Основанием для этого утверждения служила декларативность права и морали. Действительно, мораль и право дают обществу универсальные законы, которые осмысливаются гражданами как истинные. Многие ценности являются одновременно и нравственными, и правовыми, например социальная справедливость, обязывающая власть сделать всё необходимое для достижения этого принципа общественной жизни, а граждан выполнять нравственные императивы и соблюдать правовые нормы. Этой логикой руководствовались правозащитники в своих действиях. Адвокат А. И. Гинзурга Б. А. Золотухин,

[1] Записка КГБ при Совете Министров СССР в ЦК КПСС об антисоветской деятельности творческой интеллигенции. С. 149.

объясняя мотивы выпуска подзащитным «Белой книги», говорил на суде: «Гинзбург считал приговор неверным. <…> Как должен поступать гражданин, который так считает? Он может отнестись к этому с полным безразличием, или это может вызвать у него общественную реакцию. Гражданин может безразлично смотреть, как под конвоем уводят невинного человека, и может вступиться за этого человека. <…> Я думаю, что поведение неравнодушного более гражданственно»[1]. Позиция Б. А. Золотухина в данном случае соответствует общему в среде нонконформистов мнению и продиктована не только профессиональной задачей – добиться смягчения приговора, но и убеждением в недопустимости противоречия права и морали. Социально справедливое общество достижимо юридическими средствами и ценно с моральной точки зрения. А значит, действия человека, стремящегося реализовать свои права и свободы, не выходят за рамки морали и закона, более того, должны стать нормой повседневной практики. Такая трактовка морали и права основана на идее доминирования общечеловеческой этики над классовой. Классовая мораль, утилитарная по сути, деформирует представления власти о правах личности: «свой» человек имеет полный спектр прав, «чужой» в них ограничен. А. А. Зиновьев в работе «Гомо советикус» (1982 г.) описывал принципы функционального использования этики в советском обществе: «Плохой сам по себе поступок не переживается гомососом (сокращённое от "гомо советикус" – Е. С.) как плохой, поскольку он переживается им не сам по себе, а лишь как элемент более сложного целого (блока), который не является плохим как целое»[2]. Саркастичная оценка философа точна по сути.

Одной из базовых ценностей в аксиологии «старших шестидесятников» была социальная справедливость, нарушенная в ходе сталинских репрессий или юридического преследования писателей-нонконформистов. Молодое поколение нонконформистов считало так же, изменились представления о средствах достижения социальной справедливости: в этом качестве выступал закон,

---

[1] Процесс четырёх: Сборник материалов по делу Галанскова, Гинзбурга, Добровольского и Лашковой / сост. и коммент. П. Литвинов. Амстердам: Фонд имени Герцена, 1971. С. 231.
[2] Зиновьев А. А. Гомо советикус; Мой дом – моя чужбина. М. : КОРИНФ, 1991. С. 64.

регулирующий взаимодействия общества и власти, адресованный не только гражданам, но и государству.

Представление о законе как гаранте справедливости внесло некоторую корректировку в систему нравственных ценностей нонконформистов. Б. А. Золотухин на «процессе четырёх» доказывал невиновность своего подзащитного следующим образом: «Товарищи судьи, мы рассмотрели всё, чем обвинение могло обосновать вину Александра Гинзбурга. <…> Независимо от того, хорош или плох Гинзбург, он невиновен и по закону подлежит оправданию», поскольку «сами по себе убеждения не наказуемы»[1]. В этой профессиональной логике судебное решение не зависит от личных качеств обвиняемого, в то время как для «старших шестидесятников» достоинства преследуемых литераторов (И. А. Бродского, А. Д. Синявского, Ю. М. Даниэля и других) воспринимались как важнейший аргумент, подкрепляющий защитную риторику. С позицией адвоката были полностью согласны правозащитники, убеждённые, что соблюдение закона представителями власти является наилучшим способом защиты граждан от социальной несправедливости. Мораль и право сопрягались как взаимодополняющие сферы. Закон вошёл в категорию базовых нравственных ценностей.

Казалось бы, эта позиция аналогична официальной, неоднократно продемонстрированной партийным руководством тех лет. Но правозащитники иначе расставили акценты и пришли к неожиданному для властей выводу. В праве и морали субъект и объект отождествляются Соответственно, правовые и нравственные нормы являются обязательными не только для гражданина, но и для государства. Диссиденты считали своим нравственным и гражданским долгом информировать соотечественников о правовых и моральных нарушениях, допущенных государством. Авторы общественно-политического бюллетеня «Хроника текущих событий» избирали центральными темами такие, которые позволяли обвинять власть в противозаконности и аморальности

[1] Процесс четырёх. С. 229.

действий: психиатрическое преследование инакомыслящих, положение политзаключённых в тюрьмах, давление на оппозиционеров в повседневной практике, репрессии после участия в «подписных кампаниях» и тому подобное.

Диссиденты осмысливали и проговаривали эти действия властей однотипно. В их автобиографиях частотным мотивом стало подробное описание недопустимых с точки зрения морали и права средств борьбы, использованных КГБ против оппозиционеров. Авторы решали идеологическую задачу – стремились не столько вызвать сочувствие читателей, сколько пробудить нравственное возмущение, склонить к очевидной для себя истине: нет такой подлости, на которую не пойдёт режим ради подавления непокорных, нарушение закона его не остановит. О привлечении в рамках одного уголовного дела А. И. Гинзбурга и Ю. Т. Галанскова, выпускавших самиздат совершенно автономно, П. М. Литвинов в сборнике «Процесс четырёх» писал: «… заинтересованные в процессе лица решили создать видимость какого-то заговора и, таким образом, судить за одно, имея в виду совсем другое. Опять, как и процессом 1966 года, советской интеллигенции хотели сказать: смотрите, вот что вас ожидает! – и в то же время разводить руками перед мировым общественным мнением: мы судим не писателей, а заговорщиков!»[1]. Автор убеждён, что нравственная несостоятельность власти разоблачает юридическую необоснованность уголовного процесса.

Апелляция к правовой аргументации в 1960-70-е годы, как отмечал Д. Ю. Козлов, была типична не только для советского, но и для и европейского сознания. Мировая общественность рассчитывала с помощью закона предотвратить рецидивы массовых репрессий, порождённых в Европе фашизмом, в СССР – сталинизмом. Общим свойством советского и западного обществ исследователь назвал «важную роль литературы в привлечении общественного внимания к недавнему трагическому прошлому и к опасности его возврата. Писатели поднимали эту тему не только в Советском Союзе, но и в западных странах: в качестве примеров можно привести Анни Ромейн-Фершоор

[1] Процесс четырёх. С. 13-14.

в Нидерландах, Гюнтера Грасса, Рольфа Хоххута и Петера Вайса в Западной Германии. Однако в силу русской культурной традиции воздействие литературы на осмысление темы государственного насилия в советском обществе стало особенно мощным»[1]. Власть, не желая вступать в диалог с художественной интеллигенцией, провоцировала расширение социального и интеллектуального состава оппозиции.

Показательно, что с критическими настроениями интеллигенции совпадали некоторые научные выводы советских этиков. В это десятилетие продолжалось теоретическое осмысление морали, но приоритеты сместились в сторону морально-практических и этико-прикладных исследований. Отчасти такой поворот определялся социальным заказом: задача формирования активной жизненной позиции личности была выдвинута на XXV съезде КПСС (1976 г.), но и внутренняя логика научной мысли развивалась в этом направлении. Провозгласив потребность изучения морали с позиции самоценности человека, учёные обосновали необходимость исследования практической реализации нравственных законов и сосредоточились, в частности, на исследовании конфликта должного и сущего. Например, О. Г. Дробницкий изучал мораль как способ социальной регуляции поведения и утверждал право личности выступать против царящей идеологии, если действия человека соответствуют универсальным нравственным ценностям (идея, созвучная экзистенциализму Ж.-П. Сартра). Выявив в качестве одной их функций морали критическое отношение к действительности, философ провозгласил недопустимость сведения этического императива к коллективной силе общественных потребностей и общественного мнения. Напротив, само общественное мнение, по глубокому убеждению О. Г. Дробницкого, должно выдержать испытание нравственностью, поскольку она имеет объективный характер[2]. Этот теоретический вывод философа диссиденты доказывали на практике, осуществляя критическую функцию, оценивая несоответствие нравственно должного сущему как один из

[1] Козлов Д. Ю. Наследие оттепели: к вопросу об отношениях советской литературы и общества второй половины 1960-х годов // Новое литературное обозрение. 2014. № 1. С. 185.
[2] Дробницкий О. Г. Понятие морали : Ист.-критич. очерк. М. : Наука, 1974. С. 191.

основных источников общественного неблагополучия. Казалось бы, позиции этика и нонконформистов различались в определении способов разрешения конфликта. О. Г. Дробницкий возлагал надежды на коммунистическое преобразование общественных отношений, когда развитие общества осуществляется не за счёт человека, а вместе и через него[1]. Диссиденты, за исключением «истинных ленинцев», категорически отвергали официальную идеологию и коммунизм как историческую перспективу, но, по сути, реализовывали на практике марксистский тезис о преодолении отчуждения путём принципиального изменения ситуации и общества, искоренения той общественной основы, которая неизбежно порождает и постоянно воспроизводит конфликт нравственно должного сущему. Таким образом, интеллектуальные и морально-практические поиски научной интеллигенции и оппозиции совпадали не только в выявлении болевых точек, интенсифицировавших нарастание кризисных явлений общественной жизни, но и в стратегии разрешения конфликтов эпохи.

В 1970-е годы идеологическое противостояние сторон приобрело необратимый характер, интенсифицировало системное отчуждение нонконформистов на разных уровнях: от государства, общественных институтов, идеологии, самой морали. К убеждениям в нравственной несостоятельности добавилась уверенность в исторической бесперспективности власти. Социальный идеал «старших шестидесятников» – «социализм с человеческим лицом» – сохранял свою значимость для «истинных ленинцев». Представители других ветвей оппозиции («либералы-западники», «националисты», «религиозники») были едины в неприятии режима по этическим, идейным и идеологическим мотивам. Исходный тезис о необходимости соответствия реформ моральным ценностям не был переосмыслен, но молодое поколение усиленно искало новый социальный идеал, вне официально очерченного исторического вектора.

---

[1] Дробницкий О. Г. Проблемы нравственности. М. : Наука, 1977. С. 191.

Отчуждение от государства выражалось в недоверии к властным и общественным институтам, уверенности в их враждебности гражданину. В советском обществе, по массовому убеждению инакомыслящих, не закон и государство существуют ради людей, а люди являются рабами государства и законов. Взаимодействие с властью осмысливалось как принудительно навязанное, лишённое смысла и ценности. А. И. Солженицын в статье «Жить не по лжи» (1974 г.) призывал соотечественников в повседневно-бытовой практике бойкотировать всякие социально-политические акции государства. Неприятие лжи, как учил автор, должно повлечь за собой действенное от неё уклонение: отказ подписывать документы, содержащие фальшь, выписывать и читать официальные газеты, голосовать на выборах за сомнительных кандидатов, участвовать в собраниях, демонстрациях и прочее. Категоричность нравственных императивов, способная привести личность к асоциальности, выдвигалась как единственно приемлемая для честного человека позиция.

В профессиональном плане отчуждение воплотилось в остром переживании невозможности реализовать творческий потенциал в пространстве официальной культуры. Выход был найден в реализации творческих идей в неподцензурном пространстве. Сам- и тамиздат позволяли нонконформистам не подчиняться директивным требованиям, а руководствоваться в профессии внутренними побуждениями, осуществлять свободу творчества и научной мысли. Председатель КГБ Ю. В. Андропов в 1969 году сообщал в ЦК партии об интенсивном распространении в обществе «идеологически вредных материалов» разнообразного характера: художественных произведений, философских, исторических, политических, экономических, религиозных. Автор отмечал также значительное расширение географии неподцензурной литературы: кроме крупных городов Центральной России она охватила союзные республики, была выявлена даже в Южно-Сахалинске. Локализация отрицательного влияния самиздата на советских людей, как указывал Ю. В. Андропов, проводилась путём профилактических мероприятий, а также привлечения к уголовной

ответственности «злостных авторов и распространителей документов, порочащих советский государственный и общественный строй»[1].

В целях профилактики общественного мнения власть усиливала социальную дискриминацию нонконформистов: увольнение с работы, исключение из вузов деятелей движения, неоднократно замеченных в нонконформистских акциях. В этих условиях диссидентство для многих стало профессией. Поставленные государством в положение маргиналов, члены сообщества переживали отчуждение не только от государства и социума, но и от морали, проявлявшееся во многих формах (цинизм, нигилизм, авантюризм и прочее), затрагивающее разные уровни сознания – индивидуальное и групповое. Рассмотрим конкретные примеры.

Диссиденты интенсивно разрабатывали в самиздате тему карательной психиатрии, видя в ней вопиющее нарушение моральных и правовых норм. Стремление обвинить власть в бесчеловечности сочеталось в данном случае с желанием помочь единомышленникам, подвергнутым репрессиям. Для этих целей врач-психиатр С. Ф. Глузман и пациент психиатрических больниц В. К. Буковский издали «Пособие по психиатрии для инакомыслящих» – поведенческие рекомендации во время медицинских экспертиз и принудительного заключения в спецпсихбольницу (СПБ). Практическая направленность этики диссидентов в данном тексте очевидна.

Авторы решали стратегические задачи: практическую – готовили инакомыслящего к эффективной самозащите во время медицинского освидетельствования; нравственно-этическую – морально поддерживали жертву карательной медицины; информационную – рассказывали читателям внутри страны и за рубежом о системе психиатрической экспертизы и условиях содержания в СПБ.

Чтобы преодолеть ситуацию, её надо осмыслить. Для этого, во-первых, дана справка о специфике диагностирования. Во-вторых, названа главная причина

[1] Записка КГБ СССР при Совете Министров СССР в ЦК КПСС о распространении «внецензурной литературы», или «самиздата» // История советской политической цензуры. Документы и комментарии. М. : РОССПЭН, 1997. С. 194.

медицинского преследования инакомыслящих – социальный заказ. Затем названы самые распространённые диагнозы («вялотекущая шизофрения» и «паранойяльное развитие личности») и описана их симптоматика. Поскольку субъективные наблюдения специалиста определяют вынесенный диагноз и судьбу пациента, авторы выявляют наиболее характерные психологические типы врачей: «начинающий психиатр», «учёный», «диссертант», «вольтерьянец», «обыватель», «профессиональный палач». Очевидно, что данная классификация строится на основании предполагаемых профессиональных действий в адрес инакомыслящего.

Самая важная часть с практической точки зрения – центральная, в ней содержатся конкретные рекомендации, адекватные этической позиции власти. «Карательные службы имеют перед инакомыслящими одно важное преимущество: они активно аморальны. Принцип "цель оправдывает средства" используется государством против граждан, уподобившихся мальчику из известной сказки Андерсена о голом короле. Наукообразные положения о классовости морали позволяют быть откровенно безнравственным по отношению к "врагам советского народа и социалистического строя". А что – мораль? – моральна правда, но не ложь, моральна искренность, морально сочувствие и т. п. Инакомыслящие, как правило, признают именно такую "внеклассовую" мораль»[1]. Как видим, авторы декларируют приоритет общечеловеческой морали, однако настаивают на необходимости действовать сообразно обстоятельствам: «Лгать – скверно, но учтите: от вашего желания и умения быть неморальным по отношению к лицам и организациям, исповедующим мораль готентота, зависит ваша судьба. На опыте сотен товарищей и собственном мы утверждаем: абстрактная моральность, определяющая поведение подследственного, подсудимого и экспертирующегося, противоречит его жизненным интересам. Ваше правильное поведение в период психиатрического исследования (как и следствия, суда) включает в себя не

[1] Буковский В. К., Глузман С. Ф. Пособие по психиатрии для инакомыслящих // Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950-е-1980-е: в 3 т. М. : Международный институт гуманитарно-политических исследований, 2005. Т. 3. С. 152.

только необходимые элементарные знания из теории и практики психиатрии, но и "заземлённую моральность"»[1]. Соответственно, приветствуется использование различных тактических приёмов – «ускользание», «обман», «признание своей вины» и даже негативистские самооценки: «"хотел прославиться, стать известным; не понимал серьёзности последствий, не посмотрел на себя со стороны; не понял, что зашёл слишком далеко" и тому подобное»[2]. Адвокат С. В. Каллистратова давала аналогичный совет подзащитному И. А. Яхимовичу накануне суда над ним и вероятного направления на психиатрическую экспертизу: «… я очень рекомендую Вам (ни устно, ни письменно) не развивать и не высказывать своих убеждений. Ни пафоса, ни патетики, ни даже эрудиции – в данной ситуации, ей-богу, не требуется»[3]. Как видим, жизненный опыт диссидентов скорректировал исходную нравственную позицию. В политическом противостоянии утилитарная этика была более эффективной и получала идейно-теоретическое обоснование. При этом авторы памятки, похоже, не пожелали узнавать в собственных декларациях принципы отвергаемого ими функционального подхода к морали, выявлявшего мировоззренческую общность идейных антагонистов, их принадлежность к одному культурному феномену.

Противопоставление нравственно должного практически целесообразному в личностной аксиологии диссидента могло порождать внутренний конфликт. Прагматика вела к функциональному использованию морали, идеал требовал толковать её как базовую ценность, в социальной практике ориентироваться на общечеловеческие ценности. Приходилось решать вопрос, как соотнести тактические приёмы с идеологией сообщества, провозгласившей гласность и открытость, а значит, честность и принципиальность в качестве программной установки. Самоопределение в данном вопросе определяло место морали в личностной аксиологии и формировало поведенческую тактику. Нравственный

---

[1] Там же. С. 152.
[2] Там же. С. 154.
[3] Заступница: Адвокат С. В. Каллистратова: (1907-1989) / сост. Е. Печуро. М. : Звенья, 1997. 351 с. URL: https://www.bookol.ru/nauka_obrazovanie/istoriya/4314/fulltext.htm (дата обращения: 10.08.2018)

выбор каждый делал индивидуально. Например, М. В. Розанова вспоминала, как однажды после свидания в лагере с А. Д. Синявским испытала унижения надзирательницы и отомстила ей, отправив на имя начальника колонии заявление о якобы имевших место сексуальных домогательствах со стороны его подчинённой. В результате та была наказана. В единоличной битве жертва победила преследователя[1]. «Нравственность – идеологическая функция в классовой борьбе»[2], – заявлял Л. Д. Троцкий. Житейское поведение диссидентки в данном случае вполне соответствовало этому лозунгу. В мире, расколотом на «своих» и «чужих», с единомышленниками надо было соблюдать этические нормы, с врагами можно было действовать по принципу «на войне как на войне». Исходный мировоззренческий постулат о безусловной ценности морали испытал деформацию в поведенческой практике диссидентов. Современный философ Ю. А. Шрейдер отмечал: «… субъект легко абсолютизирует относительное добро. И тогда добро становится соблазном совершить зло. Это значит, что такая комбинация добра и зла оценивается в этой системе как добро. В этом опасность утилитарной этики, ибо она ориентирует человека не на то, как распознать то, что дурно, и отказаться от зла, но на непременное достижение некоторого блага, которое, тем самым, становится в его глазах абсолютным и превращается в опасный соблазн. Это верно не только в применении к отдельному субъекту, но и к общественным группам, борющимся за свои права. За справедливость. Эти несомненные блага легко превращаются в соблазн, толкающий на преступление, когда ставятся над всеми иными ценностями – прежде всего над любовью и милосердием»[3]. Философ точно подметил последствия смены приоритетов с общечеловеческой морали на социально-классовую.

---

[1] Абрам да Марья: в 2 ч. Ч. 1: док. фильм / реж. А. Столяров. 2008. URL: http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/28597 (дата обращения: 10.08.2018)

[2] Троцкий Л. Д. Их мораль и наша URL: https://www.marxists.org/russkij/trotsky/1938/moral.htm (дата обращения: 10.12.2018).

[3] Шрейдер Ю. А. Загадочная притягательность философии (субъективные заметки) // Как это было: воспоминания и размышления. М. : РОССПЭН, 2010. С. 573.

Действительно, положение морали в аксиологии сообщества изменилось. Из базовой ценности она всё настойчивее вытеснялась в инструментальную. Моральное сознание утратило целостность: зачастую декларировался категорический императив, или, по определению Р. Тёкеша «моральный абсолютизм»[1], в социальной практике реализовывался прагматизм. При этом один и тот же человек среди единомышленников мог демонстрировать бескомпромиссность, а с «врагами» действовал по принципу «цель оправдывает средства». Безупречная честность и порядочность академика А. Д. Сахарова не помешали ему оправдать попытку угона самолёта в 1970 году, в результате которой погибла стюардесса Н. Курченко[2]. Он рассуждал как представитель сообщества и толковал нравственно недопустимый поступок (создание ситуации, связанной с риском для жизни людей) как адекватный экстремальной ситуации. Вопрос, какой ценой реализовывали своё право на выезд из страны отец и сын Бразинскасы, был решён в соответствии с позицией профессионального диссидента.

Знаменательно, что нравственная деформация некоторых участников движения зафиксирована А. Д. Сахаровым в воспоминаниях. Оценивая правозащитное движение в начале 1970-х годов, он характеризовал его как «нечто молодое, чистое, нравственное» и вспоминал слова Т. М. Великановой той поры: «Они (т. е. КГБ и вообще власти – Е. С.) не могут не чувствовать нашей моральной силы». Спустя 8-9 лет она же воскликнула: «Почему раньше не было так противно! Откуда полезло столько мерзости!». Автор постарался ответить на этот горький вопрос: «… мне не хотелось бы в 1982 году слишком осуждать участников диссидентского движения. Очень многие находятся в заключении, подвергаются репрессиям. Людей нравственно чистых, умных и самоотверженных среди теперешних диссидентов не меньше – и среди

---

[1] Tökés R. L. Dissent in the USSR. Politics, Ideology and People. Baltimore : Johns Hopkins University Press, 1975. P. 13

[2] Сахаров А. Д. Воспоминания: в 3 т. // Сахаров А. Д. Собр. соч.: в 8 т. М. : Время, 2006. Т. 3. С. 476.

ветеранов, и среди молодых. Просто сейчас в ряде отношений стало трудней! А что в семье не без урода, такое бывает всегда»[1]. Объяснение, на наш взгляд, снижает масштаб проблемы, означенной в вопросе. На уровне личностного сознания («в семье не без урода») едва ли можно объяснить явление, ставшее, по ощущению Т. М. Великановой, массовым. Отчуждение от морали – неизбежный результат этого кризисного с психологической точки зрения процесса, захватившего все стороны общественной жизнедеятельности и самосознание диссидентов.

Утилитарная этика находила выражение не только в гражданской практике, но и в литературном поведении диссидентов, определяла специфику нравственных оценок, задавала авторскую оптику в текстах. Показательным примером являются мемуары А. И. Солженицына «Бодался телёнок с дубом». Знакомство с книгой вызвало обиду, возмущение и горечь у всех, кто не понаслышке знал подлинную историю взаимоотношений А. Т. Твардовского, А. И. Солженицына и редакции «Нового мира». Дочь А. Т. Твардовского была поражена несоответствием восторженных посланий писателя её отцу обвинениям журнала в компромиссности, «жизни на коленях». Она замечала: «Когда читаешь письма А. И. Солженицына, сохранившиеся в архиве А. Т. (Александра Трифоновича – Е. С.), не оставляет ощущение, что «Телёнка» написал совсем другой человек»[2]. Ещё более эмоционально отреагировал В. Я. Лакшин: «Когда летом 1975 года я прочитал впервые изданные в Париже мемуары Солженицына, не сразу мог поверить, что это им написано, подумал, что заболеваю. Слишком я любил и почитал этого человека и писателя, чтобы равнодушно выслушать его, мягко говоря, пристрастный суд о журнале "Новый мир", о Твардовском, о людях, которых близко знал. Невеликодушие его памяти меня ошеломило»[3]. Впрочем, в отличие от друзей и родных, сам А. Т. Твардовский достаточно быстро научился

---

[1] Сахаров А. Д. Воспоминания. С. 511.

[2] Твардовский А. Т. Новомирский дневник: в 2 т. Т. 2. С. 572.

[3] Лакшин В. Я. Солженицын, Твардовский и «Новый мир» // В. Я. Лакшин. Солженицын и колесо истории. М. : Издательский дом Вече, АЗъ (Знатнов). 2008. С. 124-125.

разделять в Солженицыне личность и художника, понимая, что этика личная в его случае не равна творческой. В 1967 году, фиксируя его «полное пренебрежение судьбой журнала, людей», поэт признавался в своей нелюбви к А. И. Солженицыну[1], что, впрочем, не влияло на его попытки отстоять публикацию «Ракового корпуса» в «Новом мире». Через год, в дни отчаянной борьбы за А. И. Солженицына на секретариате СП, записал в дневнике: «Для него мы, т. е. "Новый мир" и я – одно из звеньев враждебной ему системы, которое ему удалось прорвать и которому он не чувствует себя сколько-нибудь обязанным»[2], «не хочет он уронить себя в глазах "Запада", потерять интерес, питаемый к нему там»[3]. Суждение А. Т. Твардовского помогает осознать мотивы действий человека, взывавшего к современникам «жить не по лжи» и создавшего фальсифицированную историю своих отношений с главным демократическим журналом эпохи.

Концепция книги «Бодался телёнок с дубом» логически выверена и сведена к решению главной задачи – доказать, что современное советское государство не изменило сталинским методам управления страной, осталось антигуманным и безнравственным. Служить ему, находиться внутри системы – значит обречь себя на духовную гибель. Деформация личности в таком случае неизбежна. Этот тезис подтверждает судьба А. Т. Твардовского, когда-то талантливого поэта и незаурядного человека, а теперь типичного советского редактора. Он авторитарен, окружил себя угодливыми сотрудниками. Моменты нравственного просветления или потрясения, как после знакомства с книгами подлинной правды, например с творениями А. И. Солженицына, сопровождаются пьянством – попытками заглушить больную совесть.

Единственный способ уберечь душу от гибели – исключить даже мысль о возможном вживании в систему, построить обособленное, отдельное существование, погрузиться в творчество и руководствоваться не житейскими целями – опубликованием, признанием и прочее, а бытийными – осознать своё

[1] Твардовский А. Т. Указ. соч. С. 106.
[2] Там же. С. 147.
[3] Там же. С. 149.

писательство как миссию. Так А. И. Солженицын выстроил свою онтологию: за правду о времени писатель ответственен не перед властью земной, а перед Богом, только ему подвластен. Казалось бы, толкование писательства как божьего поручения вполне в духе православной традиции. Агиографические мотивы, обильно снабжающие текст, призваны усилить это впечатление. Однако религиозные аллюзии подчинены идеологической задаче, указывают на христианство как на иную идеологию, отличную от марксистской, противостоящую ей. Вероятно, этот прагматизм в обращении к религии и ощутил В. Я. Лакшин, когда утверждал: «В христианство его я не верю»[1].

Деспотия государства, убеждён автор, есть проявление политической слабости. Осознав это, личность, сохранившая гражданскую совесть, выберет единственно достойную модель поведения – героическое сопротивление. Тирании А. И. Солженицын стремится противопоставить сокрушительную энергию духовно свободной личности. Его личный пример – наглядное свидетельство небесполезности борьбы одиночки с системой. Так в книге рождается миф о «литераторе-подпольщике», ведущем индивидуальную войну с режимом. Единомышленники (Ю. М. Даниэль, А. Д. Синявский, П. Г. Григоренко, Р. А. и Ж. А. Медведевы и другие) упомянуты в тексте, но составляют задний план. На авансцене действует герой-одиночка, опережающий политических врагов в скорости нанесения ударов, вынуждающий власть обороняться от его наступательной тактики и в конце концов побеждающий схватку за схваткой.

Такая художественная модель мира должна была утвердить в сознании читателей непреложность очевидной, по мнению автора, истины: государство, нуждающееся в смене социального строя, должно и может быть преобразовано. Для этого достаточно единства воли и нравственных усилий всех граждан. «Я никогда не сомневался, что правда вернётся к моему народу. Я верю в наше раскаяние, в наше душевное очищение, в национальное возрождение России»[2] –

---

[1] Лакшин В. Я. Солженицын, Твардовский и «Новый мир». С. 173.
[2] Солженицын А. И. Бодался телёнок с дубом. С. 698.

гласят финальные строки. Политика вновь проверяется этикой, ценности общечеловеческие подчиняются решению идеологической задачи.

А. И. Солженицын писал «Телёнка» в течение 8 лет. За это время литератор был выслан из страны, сменились не только обстоятельства места и времени, но и адресат книги. Предназначавшаяся для самиздата, первоначально она должна была внутри страны мобилизовать потенциальных последователей, воспитать плеяду учеников, готовых повторить предложенную автором модель поведения. Книга могла стать ещё одним актом гражданского неповиновения, родственным другим политическим акциям диссидентов. Однако завершалась работа над текстом за границей. Массовому западному читателю тех лет, утвердившемуся в восприятии СССР как «империи зла», без сомнения, была понятна нарисованная автором картина советского общества как нравственно разложившегося, деморализованного, а значит, исторически обречённого. Успех книги, конечно, входил в планы автора, тем более что цели коммерческие в данном случае соответствовали идеологическим. Художественная логика совпала с внелитературной мотивацией и определила завершённость концепции произведения.

Как видим, нравственный ригоризм не помешал автору нарушить этические нормы. Воспринимая мораль как инструмент политического расшатывания системы, А. И. Солженицын считал себя вправе отступать от её универсальных правил при создании мемуаров, на его взгляд идеологически верных в показе классовой борьбы диссидента с тиранией. Несоответствие друг другу общечеловеческой и творческой этики объясняется не особенностями психотипа личности (так комментировали текст В. Я. Лакшин и А. И. Кондратович), а подчинённостью этики идеологическим задачам, первичным в профессиональной логике А. И. Солженицына.

Глубина морального отчуждения от государства и, как следствие, от общечеловеческих моральных императивов определялась многими факторами. Один из них – реальная степень маргинализации личности. Очевидно, что человек, испытавший дисциплинарную меру наказания на работе, например, за

участие в петиционной кампании, но сохранивший должность, переживал случившееся с меньшими психологическими потерями, чем заключённый в лагерь или психбольницу. Глубина отчуждения и моральный самоконтроль здесь были разные. Ю. Ф. Орлов описывал своё состояние в лагере после очередной провокации начальства в отношении себя и других политзаключённых: «Омерзение и ненависть овладели нами. Вот так на моих глазах мирные люди начинали вдруг высчитывать, хватит ли столбов от Москвы до Владивостока перевешать всех коммунистов. Мерзость рождает мерзость»[1]. Характерны заключительные слова. В 1990-е годы, когда были созданы мемуары, автор восстановил способность к здравым этическим реакциям и не заблуждался в отношении причин прежних чувств. Они были рождены отчаянием и бессилием в конкретных обстоятельствах. Схожую оценку морального сознания поколения давал в конце XX века А. А. Кабаков: «Мы жили в ящике. А в ящике рождаются уроды. Мы погибали от ненависти, которая разрушала нас изнутри»[2]. Позиция диссидента и писателя совпала по существу: оба зафиксировали отчуждённость как кризисное психологическое состояние личности и целого поколения.

Отчуждение как свойство групповой морали способно повлиять на межличностные связи. В среде оппозиционеров это порождало разнообразные фобии – предательства, измены, провокаций, сотрудничества одного из «своих» с КГБ. Ю. Ф. Орлов в автобиографии «Опасные мысли» вспоминал о судьбе капитана КГБ В. А. Орехова. Будучи следователем по делам правозащитников, он через своих подследственных передавал диссидентам сведения о готовящихся репрессиях. При этом, всякий раз получая верную информацию, неизменно подтверждающуюся, те не верили в её достоверность и, по сути, способствовали его аресту: «… некоторые диссиденты, ни разу не усомнившись, что Орехов – провокатор, довольно открыто обсуждали мистического капитана КГБ прямо под подслушивающими микрофонами, установленными в каждой диссидентской

[1] Орлов Ю. Ф. Опасные мысли. Мемуары из русской жизни. М. : Захаров, 2008. С. 242.
[2] Кабаков А. А., Попов Е. А. Аксёнов. М. : АСТ, 2011. С. 73.

квартире»[1]. В результате осенью 1978 года В. А. Орехов получил восемь лет лагерей. Поскольку система не прощала подобных должностных преступлений, бывший капитан КГБ не мог рассчитывать на досрочное освобождение или амнистию и отсидел весь срок полностью. Р. Д. Орлова зафиксировала в дневнике другой эпизод, не столь драматичный по последствиям, но схожий по моральным основаниям. Л. З. Копелев передал в «Новый мир» рукопись книги А. Т. Марченко «Мои показания». В ближайшем окружении это было воспринято как провокация, способная привести к расформированию редакции журнала, над которым и без того сгустились тучи. Возникло саморасследование, Р. Д. Орлова прокомментировала это так: «Боже мой, зачем же мы сами занимаемся ИХ делом. Расследуем, допрашиваем. Тень застенка на всей нашей жизни. Живём по ИХ законам (выделено автором – Е. С.)»[2]; «Освобождающиеся не свободны»[3]. Этот вывод рождён глубокой рефлексией и тревожной совестью.

Безусловно, для опасений и настороженности у диссидентов были основания. После создания в 1967 году в структуре Комитета госбезопасности управления по борьбе с идеологическими диверсиями (в числе прочего к ним приписывались и акции инакомыслящих) антидиссидентская деятельность властей интенсифицировалась. В ответ оппозиционеры выявляли и разоблачали провокаторов и предателей. Неслучайно, например, составители книг-отчётов о судах над диссидентами считали необходимым указывать имена предполагаемых «засланных казачков». Иногда сомнения авторов подтверждались. Тем не менее, моральная разобщённость членов сообщества – опасная тенденция. Она провоцирует его дальнейшую герметичность, малочисленность и изолированность от общества. В 1990-е годы диссиденты осмыслили нравственную противоречивость движения: «Тот узкий слой советской либеральной интеллигенции, который даже в самые худшие времена пытался сохранить человеческие ценности, та среда <…>, из которой выросло и

---

[1] Орлов Ю. Ф. Указ. соч. С. 223.
[2] Орлова Р. Д. Родину не выбирают. Я вернусь… Из дневников и писем 1964-1988 // Вопросы литературы. 2010. № 5. С. 286.
[3] Там же. С. 296.

без которой не могло существовать правозащитное движение, несёт в себе и элементы режима, которому противостоит: ей присущи элитарность и стремление сотворить себе кумиров, подозрительность, переходящая в маниакальную боязнь стукачества»[1]. Г. С. Померанц размышлял о разногласиях «националистов» и «либералов»: «Споры, потрясавшие интеллигенцию 70-х годов, начинались ещё в лагере. Но тогда они шли внутри семьи, внутри братства. А теперь – подножки, удары ниже пояса. Это было не только лично невыносимо. Ещё невыносимее, что рухнуло братство, что пошла партийная грызня, как между эсерами и эсдеками. Во всём чувствовалась партийная дисциплина и партийная этика. Которая допускала борьбу всеми дозволенными и недозволенными средствами; ибо всё оправдывает святая цель»[2].

Однако опыт сопротивления порождал и обратную психологическую тенденцию – способность к психологической и нравственной мобилизации, сплачивающей сообщество, побеждающей деструктивные процессы. Моральная, финансовая, бытовая взаимопомощь стала принципом существования диссидентов, стабилизировала центробежные силы и удерживала сообщество от распада и самоликвидации.

Феномен отчуждения привлекал к себе пристальное внимание отечественных и зарубежных философов, социологов и психологов. Актуализация проблем разрушения социальных взаимосвязей, потери контроля над продуктами труда, утраты человеком самоидентичности определила интенсивную научную рефлексию. К 1960-м годам была накоплена значительная исследовательская база, сформированы самобытные научные школы, по-своему определявшие факторы отчуждения и его последствия для человека. Советские философы и психологи ощущали проблему отчуждения как одну из актуальных идей своего времени. Остановимся на некоторых, наиболее представительных работах. Э. В. Ильенков («Гегель и "отчуждение"», 1967 г.) и А. А. Зиновьев («Зияющие

---

[1] Литвинов П. М. Поперёк линованной бумаги // Амальрик А. А. Записки диссидента. Анн Арбор: Ардис, 1982. С. 3.
[2] Померанц Г. С. Записки гадкого утёнка. М.; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2011. С. 244.

высоты», 1976 г.) констатировали факт отчуждения в социалистическом обществе, рассматривали его как проявление дегуманизации общественных отношений.

Э. В. Ильенков, используя инструментарий истмата, предложил исследование феномена в аспекте «человек – результаты деятельности». Учёный обнаружил, что выделенные Марксом виды отчуждения (человека от процесса труда, продукта труда, своей собственной сущности и людей друг от друга) сохраняются в современном социалистическом обществе. В результате октябрьской революции, доказывал философ, произошло лишь формально-юридическое отрицание частной собственности, реально она осталась частной, поскольку была монополизирована государством. На современном этапе формальное обобществление не преодолено. Хотя эксплуатация человека человеком и частная собственность на средства производства отсутствуют, сохраняется отделение человека от результатов его труда и, соответственно, формы регламентации общественной жизни (мораль, право, государственный аппарат и другие) остаются отчуждёнными. Преодолеть отчуждение, по мнению учёного, можно, произведя реальное обобществление собственности через всеобщее вовлечение трудящихся в государственное управление, достигнув принципиально нового уровня развития производительных сил и сформировав нового человека. Э. В. Ильенков был убеждён в возможности решения этих задач, которые считал давно назревшими[1].

В отличие от коллеги, А. А. Зиновьев занимал крайне нигилистическую позицию в оценке социалистического общества. Традиционной формы научного исследования для выражения тотального негативизма автору казалось явно недостаточной. Подошёл жанр антиутопии, в котором оценочная позиция изначально задана. Декларировав в качестве творческой задачи книги «Зияющие высоты» (1974 г.) социологический анализ современного советского общества, выведенного под названием «Ибанск», автор не стремился соблюсти

[1] Ильенков Э. В. Гегель и «отчуждение». URL: http://caute.ru/ilyenkov/texts/phc/hgentfr.html (дата обращения: 10.12.2018)

объективность как принцип научной работы, а создал «яростный политический памфлет» (Л. Н. Митрохин)[1], «сочинение полемическое и в морально-этическом плане не безупречное» (В. М. Толстых)[2].

Учёный осмыслил «реальный коммунизм» как уродливое воплощение изначально лживой идеи. Отчуждение виделось автору тотальным, действующим во всех сферах общественных отношений: власть – народ, человек – результаты деятельности, гражданин – общество, индивид – социальная группа. Коммунистическая партия, в романе «Братия», объединяющая «все формы власти в единую систему», являет собой замкнутую касту, изолированную от общества. Принципы общежития основаны на социальном эгоизме: «Отсюда стремление ослабить социальную позицию другого индивида <…>. Так что обычно встречающиеся двуличность, доносы, клевета, подсиживание, предательство суть не отклонение от нормы, а именно норма»[3]. Разрушение морали – следствие отчуждения человека от родовой сущности. В условиях всеобщей лжи, возведённой в принцип социального существования, культура и мораль не в состоянии обеспечить функционирование общества по гуманистическим нормам. Главным механизмом стабилизации социума выступает идеология, заменившая рациональные способы объяснения мира, провоцирующая отчуждение сознания. Оппозиция существует и действует по общим законам, «лишь изображает из себя фронду, а по сути претендует если не на власть, то на участие во власти на устраивающих её условиях»[4]. Антагонисты – элементы однородной системы, и все различия между ними носят лишь внешний характер.

Жизнь, лишённая гуманистического наполнения, не имеет для индивида ценности. Ощущая отсутствие смысла существования и неполноту жизненных отношений, герои пребывают в состоянии «метафизической инфляции»

---

[1] Коллективный портрет Александра Зиновьева. На вопросы анкеты отвечают: В. С. Стёпин, А. А. Гусейнов, В. А. Лекторский, В. М. Межуев, В. М. Толстых. Подготовил О. Г. Назаров // Вопросы философии. 2013. № 2. С. 72.
[2] Там же. С. 14.
[3] Зиновьев А. А. Зияющие высоты : в 2 кн. М. : Независимое изд-во ПИК, 1990. Кн. 1. С. 118.
[4] Зиновьев А. А. Указ. соч. Кн. 2. С. 171.

(Ф. А. Степун). Утрата собственного «я» – закономерный результат общего положения дел. Социальная функция вытеснила личность: Крикун, Болтун, Мазила, Шизофреник – роли, за границы которых герои вырваться не в состоянии. Переживание пустоты и бессмысленности существования ведёт к утрате чётких представлений о направлении собственной жизни. Разрушение ценностной иерархии – к подмене мотивов деятельности: главными регуляторами выступают удовлетворение житейских и биологических потребностей и соответствие социальным нормам. Прогностический проект А. А. Зиновьева эсхатологичен. Историческая и нравственная логика закономерно и неизбежно приведёт социалистическое общество к краху.

А. А. Зиновьеву было близко трагическое мировосприятие экзистенциалистов. В изображении субъективного переживания отчуждения он солидаризировался с М. Хайдеггером, А. Камю, Ж.-П. Сартром: крушение ценностной иерархии, потеря ощущения контроля над собственной жизнью и свободы воли, десакрализация жизни, утрата идентичности – эти качественные свойства отчуждённого сознания современного человека выявлялись и советским, и европейскими философами.

Нигилизм определил личностную этику автора при работе над образами. В качестве прототипов выступили друзья, коллеги – личности, знаковые для общественной жизни «оттепели»: Е. А. Евтушенко (Распашонка), А. А. Галич (Певец), Э. И. Неизвестный (Мазила), А. Д. Синявский (Двурушник), А. И. Солженицын (Правдец), М. К. Мамардашвили (Мыслитель). В соответствии с обличительной логикой автор создал различные типажи деятелей советской науки и искусства, в равной степени подверженных личностной деформации. Предъявляя друзьям и знакомым весомый нравственный счёт (в конформизме, предательстве, сотрудничестве с КГБ и прочее), писатель не заботился о справедливости оценок. Глубокую обиду испытали М. К. Мамардашвили, Ю. Ф. Карякин и многие незаслуженно оскорблённые коллеги. Как и А. И. Солженицын при работе над «Телёнком», А. А. Зиновьев пренебрёг универсальными моральными

принципами ради решения профессиональной задачи. Так разные этические ориентиры (утилитаризм и нигилизм) реализовались в однотипной профессиональной позиции.

В те же годы отечественные психологи (С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев) учитывали философско-социологическое толкования явления, но сосредотачивались на проблеме субъективного переживания отчуждения. Причиной называлось подчинение жизни человека власти внешних сил, чуждых его природе, приводящее к разрыву между сущностью и существованием, утрате субъектности.

С. Л. Рубинштейн («Человек и мир», «Бытие и сознание», обе – конец 1950-х годов) осмысливал отчуждение человека не только от социума, но и от бытия, следствием считал нереализованные возможности индивида. Феномен оценивался психологом в познавательном и этическом аспектах. В первом случае процесс заключался в «отрыве чистого сознания от реального человека как субъекта познания – деонтологизации человека» и «сведении всего сущего, бытия только к вещности»[1]. Преодоление явления в данном случае состоит в раскрытии взаимообусловленности мира и человека. Во втором, этическом, аспекте «"отчуждение" возникает при сведении человека к общественной "маске", к носителю определённой общественной функции»[2]. Тогда индивид в процессе деятельности переходит из субъекта в объект, становится средством достижения какой-либо цели. Результатом отчуждения является утрата субъектности – разрушение связи человека со своей внутренней сущностью, собственными действиями, с миром, другими людьми, а также с нравственными основами, которые делают возможным существование человека как такового. Преодоление этого кризисного состояния, считал С. Л. Рубинштейн, достигается не перечеркиванием «идеального, существующего в виде идеи, идеала, ценности, долга и т. д., а путём их реализации»[3]. Отчуждение способно дать импульс саморазвитию и построению новой системы взаимоотношений с миром:

[1] Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир. СПб. : Питер, 2003. С. 284.
[2] Там же. С. 376-377.
[3] Там же. С. 376.

«Это решающий, поворотный момент <…>. Здесь начинается либо путь к душевной опустошённости, к нигилизму, к нравственному скептицизму, к цинизму, к моральному разложению <…> или другой путь – к построению нравственной человеческой жизни на новой, сознательной основе»[1]. Точкой отсчёта в таком случае становится не абстрактный внешний идеал, а сам человек, выступающий субъектом его присвоения и осуществления.

А. Н. Леонтьев предложил деятельностный подход к феномену[2]. Основополагающей в его анализе выступала онтологическая характеристика «смысла» как феномена, возникающего в реальных жизненных отношениях. Отчуждение, доказывал психолог, возникает как результат такого общественного разделения труда, при котором происходит несовпадение объективного значения деятельности и субъективного, то есть личностного смысла. По мнению А. Н. Леонтьева, «несовпадение смыслов и значений в индивидуальном сознании может приобретать характер настоящей чуждости между ними, даже их противопоставленности»[3]. Утрата смысла деятельности происходит при потере её смыслообразующих мотивов. Это результат разрушения естественной связи между выполняемой деятельностью и удовлетворением потребностей и замены её искусственной, заданной значимыми людьми или социальной системой. Таким образом, отчуждение возникает при утрате человеком включённости в значимые жизненные отношения, дающие ему ощущение смысла собственной жизни. Это возможно как на уровне конкретной деятельности (работа, учёба, отдых, общение, самопознание), так и на уровне жизни в целом, тогда она сводится к удовлетворению биологических потребностей, постоянному воспроизводству одних и тех же отчуждённых видов деятельности. Неотчуждённость, в понимании А. Н. Леонтьева, предполагает такой тип деятельности, которая связывает человека с окружающим миром и создаёт всё более адекватное отражение этого мира.

---

[1] Там же. С. 366..
[2] Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М. : Политиздат, 1975. 304 с.
[3] Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М. : Политиздат, 1975. С. 68.

Итак, понятие отчуждения трактовалось советскими философами и психологами как разрушение внешних и внутренних связей человека с миром, обществом, другими людьми и своей родовой сущностью. Выход из этого кризисного состояния требовал восстановления субъектности во всех сферах деятельности, то есть осознанного и деятельного отношения человека к жизни, социуму и к себе.

Именно этим путём двигались инакомыслящие, стремившиеся разрушить отношения господства и подчинения между государством и гражданами. Они считали главным условием для этого изменение общественной основы, неизбежно провоцирующей и углубляющей отчуждение. Только так, по их мнению, можно было сохранить личностную целостность, преодолеть частичность, а значит, неподлинность бытия.

Безусловно, отчуждённое сознание находило выход и в других поведенческих стратегиях. Например, А. С. Есенин-Вольпин, А. Д. Синявский, Ю. Ф. Орлов и др. продолжали в лагере и ссылке научную работу. Это давало ощущение профессиональной самотождественности, несмотря на социальную маргинальность. «Отказники» боролись за право выезда из страны, считая эмиграцию единственным реальным способом разрешения конфликта с государством. Словом, спектр был широк. Выбор каждый делал сам в соответствии с личностной ценностной иерархией.

Подведём итог. Моральное сознание нонконформистов было динамичным. Изменениям подвергались не нравственные ценности как таковые, а их место в групповой аксиологии. Социальный идеал «старших шестидесятников» – гуманный социализм – предполагал слияние этики и политики. Достижение его виделось возможным при неотступном следовании представителей власти и граждан нравственным нормам. Этика выступала в качестве базовой ценности, универсальной и абсолютной, основанной на общечеловеческой морали, не разделяемой на прикладную и теоретическую, бытовую и общефилософскую. Диссиденты в этических рассуждениях отталкивались от тех же позиций. Их нравственные требования, как и либеральной интеллигенции начала «оттепели»,

были выражением одного культурного феномена. В риторике сохранялся ригоризм и ориентация на практическую ориентацию этики. Однако важным свойством морального сознания диссидентов стало отчуждение, захватившее все сферы самосознания (понимание своего места в профессии, обществе, осознание исторической перспективы социализма и прочее), определившее социальные и профессиональные стратегии и риторику. Мораль из базовой ценности трансформировалась в инструментальную, что повлекло смещение приоритетов с общечеловеческих ценностей к социально-классовым и реализовалось в утилитаризме и нигилизме. Попытки преодолеть отчуждение, изменив социальное состояние и характер взаимодействия власти и общества, приводили к дальнейшей конфронтации сторон, не устраняли причины явления. Функциональная этика, корректировка морали в соответствии с логикой и практикой идеологического противостояния свидетельствуют о неоднозначности морального сознания диссидентов, определявшей поведенческие и профессиональные стратегии, формировавшей специфику публицистического высказывания и тип нарратива.

1.3. Историческое сознание нонконформистов

XX съезд партии был воспринят общественным сознанием как рубежное событие в жизни страны и народа, вызвал потребность произвести самооценку за счёт соотнесения поколенческого «мы» и личностного «я» с понятием истории. По признанию А. Ю. Германа, сделанному за несколько лет до смерти, он прожил с чувством, будто сидел в сталинских лагерях и погиб на войне[1]. Кинорежиссёр родился в 1938 году, не знал заключения и не был на фронте, но переживал национальные трагедии как глубоко личные события, а себя воспринимал субъектом истории. Потребность осмыслить логику и закономерности прошлого, тенденции и перспективы развития, роль человека в

[1] Герман, сын Германа: в 5 ч. Ч. 4: док. фильм / реж. Н. Урвачёва. 2005. URL: http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/27716 (дата обращения: 10.08.2018)

историческом процессе, а главное, понять духовно-нравственный смысл произошедшего с народом и страной в XX веке испытывал не только Герман. Обострённое чувство истории составляло в 1950-е годы существенный компонент самосознания советских людей. Анализ исторического сознания нонконформистов в его динамике и характерных особенностях позволит оценить специфику личностной и поколенческой идентичности.

Понятие «историческое сознание» означает осмысление истории, то есть «всё многообразие стихийно сложившихся или созданных наукой форм, в которых общество осознаёт (воспроизводит, оценивает) своё прошлое»[1]. В этом определении, данном Ю. А. Левадой, важен аксиологический акцент – оценка обществом своего прошлого, определяющая представление человека о своём месте и роли в историческом процессе. Анализ исторического сознания «шестидесятников» представит поколение как познающее, осмысливающее историю и участвующее в ней.

Историческое сознание представляет собой систему практических и теоретических форм социальной памяти, научных данных, мифологических представлений и народных преданий. Наука даёт системное, рациональное толкование мирового и национального опыта, определяет понимание истории общественным сознанием и, в свою очередь, отзывается на его запрос, актуализируя те или иные проблемы. Советская историческая наука была чрезвычайно идеологизирована, что являлось закономерным результатом функционального подхода власти к социальным дисциплинам. Прошлое трактовалось в соответствии с политической целесообразностью и актуальными идеологическими задачами. Разоблачения «врагов народа» в 1930-е годы сопровождались директивным засекречиванием архивной информации (циркуляр Центрального архивного управления СССР и РСФСР от 1936 года). Публикация в 1938 году «Краткого курса истории ВКП(б)» закрепила как норму схематизацию и искажение революционной истории. Исследования прошлого

---

[1] Левада Ю. А. Историческое сознание и научный метод // Философские проблемы исторической науки. М. : Наука, 1969. С. 191.

страны не выходили за рамки ленинской парадигмы изучения освободительного движения в России и не предполагали преодоления позитивизма в определении тенденций развития. Умалчивание фактов, имён, мифологизированные версии социальной истории были для партии надёжным средством идейного сплочения народа в решении политических задач – индустриализации, коллективизации, победы в Великой Отечественной войне. А. Я. Гуревич, начавший профессиональную деятельность на рубеже 1940-50-х годов, характеризовал тот период как катастрофический по уровню работ и мелкой проблематике. Узкая специализация исследований, жёсткая самоцензура и постоянный поиск профессиональных компромиссов, по свидетельству историка, были способом защиты научных идей от обвинений идеологического характера[1]. Аналогичным было положение в истории литературы. К. И. Чуковский оценивал это время как «годы безнаказанного конъюнктурного лганья и беспардонного глумления над исторической истиной»[2].

Однако после смерти Сталина в науке сложилась атмосфера относительного свободомыслия. Партия и правительство декларировали необходимость избавления гуманитарных дисциплин от очевидных извращений. Учёные стремились преодолеть ограниченность ортодоксального подхода и усовершенствовать методологию исследований. В частности, в начале 1950-х годов истфак МГУ инициировал обсуждение проблемы периодизации советской истории. Участники попытались разделить две истории – общества и ВКП(б), что, по сути, означало пересмотр концепции «Краткого курса». Дискуссия принципиально не изменила общей тенденции развития историографии, но обозначила новую парадигму развития, свидетельствовала о стремлении значительной части исследователей укрепить научную состоятельность и фактическую обоснованность своих работ, рационализировать исторические знания, преодолеть политизацию трактовки советского и мирового прошлого.

---

[1] Гуревич А. Я. История историка. М. : РОССПЭН, 2004. С. 42.
[2] Чуковский К. И. Дневник. 1901-1969: в 2 т. М. : ОЛМА-ПРЕСС Звёздный мир, 2003. Т. 2. С. 284

Ту же потребность ощущали и литературоведы, стремившиеся выйти за границы ортодоксального толкования истории русской классической литературы. Проблеме методики преподавания литературы были посвящены конференции в ведущих исследовательских институтах (ИРЛИ, ИМЛИ) и вузах страны. О выступлении на одной из них, прошедшей в Пушкинском доме, Ю. Г. Оксман, профессор Саратовского университета, рассказывал в письме от 11 апреля 1955 года давнему другу Л. К. Чуковской: «… не волнуясь, не спеша, с чувством и расстановкой сказал всё то, что я думаю о положении советского литературоведения, о его провалах, о его перспективах, о загнивании его "мастеров", изолгавшихся, отбившихся от работы, деквалифицировавшихся в результате безответственности и безнаказанности, перенёсших все пороки нашей послевоенной литературы в изучение литературы прошлого (бесконфликтные биографии, не исследования, а стандартные цитатные справки, в результате которых все рев<олюционные> демократы – от Белинского и Герцена до Некрасова и Добролюбова оказались уже неотличимы один от другого, как жития святых или медные пятаки). Я не стеснялся точно называть фамилии и "труды", что произвело уже совершенное смятение и в президиуме и в зале. И встречали и провожали меня исключительно сочувственно…»[1]. В 1956 году в «Новом мире» была напечатана статья Л. Денисовой и В. Жданова «Модернизация и произвол в освещении прошлого». Она резюмировала итоги филологических дискуссий о правомочности идеологизированных трактовок классических текстов. На примере книги доктора наук В. Г. Баскакова «Мировоззрение Чернышевского» авторы разоблачали «приёмы научной работы, когда искажаются архивные документы, утаиваются факты, сочиняются теории, которые не только не подтверждены практикой, но прямо ей противоречат, а иногда даже ложно её освещают»[2]. В финале звучал обобщающий вывод: «Борьба за историческую и научную истину особенно

---

[1] Чуковская Л. К., Оксман Ю. Г. «Так как вольность от нас не зависит, то остается покой…» Из переписки (1948-1970) // Знамя. 2009. № 6. С. 150.

[2] Денисова Л., Жданов В. Модернизация и произвол в освещении прошлого // Новый мир. 1956. № 8. С. 239.

развернулась в области истории партии и советского общества. Но подобные приёмы встречаются не только в исторической науке, они проникли и в область философии, и в литературоведение <…>, и сказать об этом необходимо полным голосом, со всей прямотой»[1]. Характерны заключительные слова: авторы призывают коллег к солидарному сопротивлению конъюнктурным работам во имя исторической и научной истины. Статья вызвала резонанс как в среде учёных (обсуждение прошло в Институте философии АН СССР, было принято специальное постановление), так и в широких читательских кругах. Для преодоления порочной практики и оздоровления науки, по общему мнению, было совершенно необходимо публичное разоблачение псевдонаучных трудов, плагиата и фальсификаций. Принципиальность профессионального сообщества была тогда поддержана официальными властями, не чинившими цензурных препон подобным публикациям. Напротив, самокритика поощрялась, ряд центральных изданий напечатал статьи с красноречивыми названиями: П. А. Зайончковский «О честности в науке»[2], И. Б. Берхин, Л. С. Гапоненко, В. Я. Зевин, А. А. Соловьев «За правдивое освещение исторических событий в художественной литературе»[3]. Однако, декларируя профессиональную честность как обязательное свойство научных работ, государственные структуры в оценке ценности исследований сохраняли критерии партийности и идеологической значимости. А значит, предоставляемая информация по-прежнему дозировалась, архивные документы открывались избирательно. Соответственно, власть и общественность испытывали взаимную неудовлетворённость: ожидания сторон не соответствовали реальному положению дел.

Противопоставление «правды» и «лжи», типичное для литературно-общественной полемики «оттепели», сохраняло значимость и при осмыслении социальной истории. Однако при частотности употребления семантика понятия в различных сферах не совпадала. В литературной критике «художественная правда» связывалась с преодолением «бесконфликтности» в драматургии,

[1] Там же. С. 249.
[2] Известия. 1960. 16 апреля.
[3] Вопросы истории КПСС. 1963. № 4. С. 94-97.

отказом от «лакировки действительности», требованием соблюдать психологическую достоверность характеров, возможностью изображать общественные и идеологические конфликты, давать глубокий социальный анализ: О. Ф. Берггольц «Разговор о лирике»[1], Л. К. Чуковская «О чувстве жизненной правды»[2], В. М. Померанцев «Об искренности в литературе»[3]. Выражение «историческая правда» предполагало освобождение от идеологических мифов, преодоление запретных тем в исторической науке и возможность публичного обсуждения любых, даже самых острых проблем. Морально-нравственный ригоризм, свойственный советской этике, определял в самосознании «шестидесятников» неприятие лжи как абсолютного зла. Историческая ложь, по их глубокому убеждению, не имеет нравственного оправдания, а значит, не должна иметь и социальной легитимности. Отступление от фактов во имя идеологической ангажированности – ложь. Сокрытие части информации, то есть полуправда – ложь.

В 1965-м, к сорокалетию «Нового мира», редколлегия опубликовала статью А. Т. Твардовского «По случаю юбилея»[4]. Это был, по сути, манифест журнала. Авторы (в разработке тезисов кроме Твардовского участвовали В. Я. Лакшин и А. Г. Дементьев) провозглашали верность неприкрашенной правде, без умолчаний, и размышляли о том, как избавиться от соблазна самоцензуры, диктуемой политическими соображениями. Статья вызвала живой отклик читателей (более 130 писем) и критический ответ скульптора Е. В. Вучетича, неоднократно отстаивавшего партийность в качестве главного эстетического принципа. В статье «Внесём ясность. Некоторые мысли по поводу одного юбилейного выступления»[5] он оспаривал идею полной правды в искусстве и призывал различать правду факта и правду явления. Первая – частная и мелкая, поскольку предполагает индивидуальный, а значит, субъективный взгляд на

---

[1] Литературная газета. 1953. 16 апреля.
[2] Литературная газета. 1953. 24 декабря.
[3] Новый мир. 1953. № №12. С. 218-236.
[4] Новый мир. 1965. № 1. С. 3-18.
[5] Известия. 1965. 14 апреля.

события. Вторая – глобальная, с позиции общенациональной истории. Например, потери и поражения в Великой Отечественной войне – правда факта. Победа – правда явления. Сосредоточенность на правде факта, по мнению скульптора, неизбежно приведёт к искажению подлинного масштаба исторического события и умалению его значения. Ответственная позиция художника и гражданина толковалась как соблюдение партийной и государственной точки зрения в оценках прошлого и настоящего. Статья Е. В. Вучетича представляла официальную позицию и свидетельствовала о намерении властей сохранить монопольное право толкования истории, контролировать общественную рефлексию, удерживать публичное обсуждение в определённых границах. Против концепции «двух правд» выступили читатели разного социального статуса. Наиболее весомые возражения прозвучали из Института истории СССР АН. Его сотрудники М. Я. Гефтер, А. А. Губер, В. П. Данилов, Л. М. Иванов, А. Л. Сидоров, К. Н. Тарновский в статье «Ясность должна быть внесена» солидаризировались с позицией А. Т. Твардовского, утверждали необходимость для исторической науки стоять на позиции полной правды. В редакции «Известий», куда была направлена статья, её расценили как одно из коллективных писем, расходящихся с партийной линией, и отказались напечатать.

Официальная точка зрения, декларированная Е. В. Вучетичем, явилась откликом на оформившееся в общественном сознании стремление дополнить официальную концепцию советского прошлого за счёт нового измерения – частного опыта человека. «Шестидесятники» утвердили право личности на свою память и осмысление прошлого, не искажающее, но дополняющее общенациональную историю. В широких читательских кругах это выразилось в интересе к индивидуальному восприятию истории, запечатлённому в жанре воспоминаний и автобиографий. Мемуары известных военачальников Отечественной войны (А. И. Ерёменко «На Западном направлении» (1959 г.), Г. К. Жукова «Воспоминания и размышления» (1969 г.) и деятелей культуры (И. Г. Эренбурга «Люди. Годы. Жизнь» (1960-1963 гг.)) отражали общественный

запрос. Так, книга репрессированного в конце 1930-х и реабилитированного в 1941 году генерала А. В. Горбатова «Годы и войны», опубликованная в «Новом мире» (1964, № 3-5), получила более 500 читательских писем и свидетельствовала о ценности в массовом сознании частного опыта как безусловно правдивого, восполняющего неполноту, а порой и откровенную лживость каноничных версий советской истории. Читательский запрос совпадал с потребностью литераторов высказаться в полный голос. Так, в записке Отдела культуры ЦК КПСС по поводу выхода в печать 2-ой книги И. Г. Эренбурга «Люди. Годы. Жизнь» (1961 г.) отмечалось стремление писателя сказать «"всю правду", какой она ему представляется», что, по мнению цензоров, приводило к утере объективных критериев, тенденциозности и предвзятости[1]. Хотя записка обосновывала необходимость поправок в конкретном тексте, в ней констатировалась распространённость среди творческой интеллигенции критических настроений, нараставший протест против полуправды. Книги, не пробившиеся в печать, расходились в самиздате и неизменно находили своего читателя: В. Т. Шаламов «Колымские рассказы» (1954-1962 гг.), Н. Я. Мандельштам «Воспоминания» (середина 1960-х гг.), Л. К. Чуковская «Записки об Анне Ахматовой» (1966 г.), Е. С. Гинзбург «Крутой маршрут» (1967-1977 гг.) и другие.

Советское прошлое переосмысливалось «шестидесятниками» особенно настойчиво. Его анализ позволял осознать закономерности, обеспечивающие воспроизводство социальных процессов, понять исторические тенденции эпохи и избежать рецидивов сталинизма. Ревизия прошлого была подчинена решению практических задач, позволяла найти интеллектуальные и нравственные ориентиры для формирования собственной гражданской позиции.

Узловые моменты прошлого, значимые для самоидентификации поколения, были указаны в докладе Н. С. Хрущёва на XX съезде – революция и Великая Отечественная война. Противопоставив ленинский и сталинский типы

[1] Из записки Отдела культуры ЦК КПСС о новой части книги Ильи Эренбурга «Люди. Годы. Жизнь» // История советской политической цензуры. Документы и комментарии. М. : РОССПЭН. 1997. С. 138.

руководства, маркировав ленинскую гвардию как истинных революционеров, докладчик стимулировал в общественном сознании процесс переоценки современности сквозь призму «подлинного марксизма». Новое издание 55-ти томного собрания сочинений В. И. Ленина (1958-1966 гг.) поддержало эту тенденцию. Дневники и письма «шестидесятников» свидетельствуют о неформальном осмыслении ленинских тезисов. Например, А. Т. Твардовский выписал в дневник цитату из 54-го тома: «Нам нужна полная и правдивая информация. А правда не должна зависеть от того, кому она должна служить»[1]. Поэт заметил двойственность ленинского высказывания, был смущён его очевидным прагматизмом: дальше речь шла о необходимости разделения информации на легальную (для всех) и нелегальную (только для Исполкома Коминтерна). Однако для себя редактор «Нового мира» избрал как руководство к действию первую часть фразы и сделал борьбу за каждое слово правды против многочисленных «комиссаров собственной безопасности» (определение, данное им К. А. Федину) своей профессиональной позицией. Р. Д. Орлова в связи с постановкой в театре «Современник» пьесы М. Ф. Шатрова «Большевики», вызвавшей большой зрительский резонанс, замечала с иронией стремление некоторых художников изображать ленинскую гвардию «кровожадными чудовищами, с рогами и хвостами». Это, по её мнению, упрощённый взгляд на историю: «А было не так. Был процесс»[2]. Обращение к социальным и нравственным идеалам революции позволял литераторам яснее осмыслить логику современной действительности. В связи с уголовным преследованием литераторов за «антисоветчину» в 1960-е годы Р. Д. Орлова зафиксировала ленинскую норму издательской политики: опубликованный в 1920-е годы А. Т. Аверченко «12 ножей в спину революции» – «это же действительно антисоветское произведение»[3]. Полная правда о времени и человеке,

---

[1] Твардовский А. Т. Новомирский дневник: в 2 т. Москва: ПРОЗАиК. 2009. Т.1: 1961-1966. С. 454.

[2] Орлова Р. Д. Родину не выбирают. Я вернусь… Из дневников и писем 1964-1988 // Вопросы литературы. 2010. № 5. С. 290.

[3] Там же. С. 270-271.

возвращение в культурное пространство изъятых художественных текстов и имён осмысливалось «шестидесятниками» как восстановление попранных сталинистами ленинских норм демократии. В отстаивании их виделось назначение своего поколения.

Другой судьбоносный момент недавнего прошлого – Великая Отечественная война. Память о ней священна так же, как революция. Нравственный опыт войны был ценен не только героическим сопротивлением и моральной стойкостью народа, внушавшим современникам и потомкам гордость за страну, но и подлинным национальным единением интеллигенции и народа, государства и граждан. По признанию Л. Я. Гинзбург, в годы войны она испытала стремление внутренне примириться со сталинским режимом. Теперь можно было пытаться отчасти оправдать или, по крайней мере, объяснить террор предшествующих лет необходимостью подготовки к войне. «Речь шла не об оправдании террора, а о попытке осмыслить парадоксальную историческую функцию тоталитарного государства» (А. Л. Зорин)[1]. Это был типовой психологический ход. Схожие настроения испытывали, по их собственному признанию, И. Г. Эренбург, Е. Л. Шварц, К. И. Чуковский. У конформизма (временного для значительной части либеральной интеллигенции) была и другая причина – смена официальной риторики. Декларация приоритета социально-классовых ценностей над общечеловеческими, типичная для 1920-30-х годов, сменилась апелляцией к универсальным нравственным категориям. Характеристика войны как священной и отечественной была близка интеллигенции, определяющей в пору национальных испытаний своё место вместе с народом и родиной. Это самоопределение, взращенное русской классической культурой, оказалось востребовано властью, нуждавшейся в консолидации населения для отпора врагу. В годы войны в сознании советских людей сблизились понятия «страна» и «государство», сократилась психологическая дистанция от власти. Одно из ярких воспоминаний Р. Д.

[1] Зорин А. Л. Лидия Гинзбург: опыт «примирения с действительностью» // Новое литературное обозрение. 2010. № 101. С. 33.

Орловой – утренник в детском саду дочери в 1942 году, после известия о гибели её отца: «Я потеряла мужа. Он погиб за ЭТО. Вот ЭТИМ (в обоих случаях выделено автором – Е. С.) и буду жить. Полно кислороду, хватит на несколько поколений вперёд. Не хватило»[1]. Горечь последней фразы свидетельствует, что трагические годы войны были, по её ощущению, насыщены неподдельной правдой, давали современникам высоту нравственного измерения бытия, утраченную впоследствии (запись сделана в 1969 году).

Опыт, наследованный от революции и Отечественной войны, переживался «шестидесятниками» как потребность соответствовать славному прошлому, а в настоящем бороться с искажениями подлинно гуманистической природы социализма. Исторический оптимизм поколения в начале «оттепели» рождался из убеждённости в наличии высшего смысла во всех трагических событиях национальной истории. Травматичный опыт прошлого осмысливался как усвоенный народом нравственный урок, с учётом ошибок которого предстояло двигаться по пути исторического прогресса. Интеллигенция идентифицировала себя хранительницей национальной памяти и настаивала на широком обсуждении проблем ближайшей истории: причин возникновения сталинизма, оправданности методов коллективизации и индустриализации, и в целом тоталитарных методов управления страной. «Шестидесятники» считали своим долгом бороться с искажениями исторической правды, прививать гражданам навыки независимого мышления, давать инструментарий для выявления смысла и ценности общественных процессов, усиливать антидогматическое понимание истории и таким образом обеспечивать национальный иммунитет против рецидивов сталинизма.

Борьба за историческую правду велась учёными и либеральной общественностью в нескольких направлениях: развенчание идеологических мифов и восполнение информационной неполноты, так называемых белых пятен. Например, кандидат исторических наук В. П. Данилов и доктор исторических наук С. И. Якубовская в статье «О фигуре умолчания в

[1] Орлова Р. Д. Родину не выбирают. С. 294.

исторической науке», предложенной «Новому миру» в феврале 1966 года, но отвергнутой цензурой, размышляли о неизжитой порочной практике замалчивания историко-партийных проблем, «неудобных» исторических персонажей и документов. Такой подход, утверждали авторы, не отвечает «ни марксистской точке зрения, ни правильно понятому принципу революционной партийности»[1]. Ответственность историки прямо возлагали на партийных функционеров, руководствующихся в идеологической работе концепцией «двух правд», которая и лежит в основе «теории умолчания». Авторы оставались в пределах официального дискурса, невзирая на кажущуюся оппозиционность заявлений. Они апеллировали к ответственности партии перед народом, призывали руководство осознать, что состояние советской исторической науки не отвечает требованиям времени, мешает воспитанию «молодых поколений, всего населения в духе правдивости, доверия и уважения к истории партии и советского общества»[2]. Призывы историков к открытой научной позиции и преодолению излишней осторожности в толковании политически острых вопросов соответствовали началу «оттепели», но явно диссонировали с настроениями партийного руководства во второй половине 1960-х годов и остались неуслышанными.

Декларация борьбы с мифотворчеством идейных противников являлась традиционной фигурой речи официальной власти. «Шестидесятники» использовали ту же риторику. В случае совпадения их позиции с партийной линией (что случалось в начале «оттепели» довольно часто) цензурных нареканий к публикациям не возникало. Например, «Новый мир» регулярно печатал статьи обличительного характера: С. Беглов «Разоблачённый миф» (1956, № 1), Д. Валентей «Миф о народном капитализме» (1957, № 8), Л. Чёрная «Лживая стряпня о Берлине» (1959, № 5), Л. Клецкий «Свет

---

[1] Записка Комитета по печати при Совете министров СССР в ЦК КПСС в связи со статьёй Виктора Данилова и Софьи Якубовской в журнале «Новый мир» от 18 февраля 1966 г. // История советской политической цензуры. Документы и комментарии. М. : РОССПЭН. 1997. С. 160.

[2] Записка Комитета по печати при Совете министров СССР в ЦК КПСС в связи со статьёй Виктора Данилова и Софьи Якубовской в журнале «Новый мир» от 18 февраля 1966 г. С. 162.

правды и туман фальсификации» (1963, № 10), Г. Лекомцев «Правду не скрыть (Против фальсификации истории второй мировой войны: Сборник статей)» (1964, № 11). Реакция властей кардинально менялась при покушении на идеологические мифы собственного изготовления.

Знаковым примером стала полемика, развернувшаяся вокруг статьи Эмиля Кардина (литературное имя Владимир Кардин – Е. С.) «Легенды и факты»[1]. Публицист затронул два сюжета, утвердившихся в сознании современников в качестве подлинных – о легендарном залпе «Авроры» по Зимнему дворцу и подвиге 28 панфиловцев. Выбор тематики красноречиво свидетельствовал о попытке автора преодолеть ограничения на ревизию священных этапов советской истории. Публицист, опираясь на документы и свидетельства очевидцев, доказывал вымышленность обоих сюжетов. Как и в случае со статьёй Е. В. Вучетича, дискуссия вышла за границы журнала. Ответ Э. Кардину разместили на своих страницах «Огонёк» и «Литературная газета», представившие официальную реакцию. В первом случае в открытом письме в редакцию «Нового мира» («Огонёк», 1966, март) высказался первый комиссар Военно-революционного комитета на крейсере «Аврора» А. В. Белышев (по версии Твардовского, авторство принадлежало одному из сотрудников «Огонька»). Он «с горечью и недоумением» упрекал Кардина в том, что тот «пытался развенчать некоторые легенды, ставшие святынями для советского народа»[2]. Показательно, что автор не сомневался в верности изложенных в статье фактов, но утверждал идеологическую ценность пусть и вымышленных, но героических версий отечественной истории. Не мог отмолчаться и А. Ю. Кривицкий (его статья «Завещание 28 павших героев» в газете «Красная звезда» от 28 ноября 1941 года стала основанием сюжета о панфиловцах). Теперь, по прошествии 25 лет, в «Литературной газете» он заявлял, что Э. Кардин «бросает тень на одну из военно-патриотических святынь народа»[3]. Совпадение риторики

---

[1] Новый мир. 1966. № 2. С. 237-250.
[2] Твардовский А. Т. Новомирский дневник: в 2 т. Т.1. С. 637.
[3] Кривицкий А. Ю. Факты и легенды // Литературная газета. 1966. 19 марта. С. 2.

оппонентов «Нового мира» закономерно. Подмена анализа патриотическими декларациями, апелляция к эмоциям читателей традиционно использовались в идеологическом противостоянии. Публикация в «Огоньке» адресовалась массовому читателю, была призвана предотвратить распространение сомнений в официальных трактовках истории среди широких слоёв населения. «Литературная газета» имела своего адресата – творческую и научную интеллигенцию, которая в очередной раз должна была уяснить границы дозволенного ревизионизма. Попытки редакции «Нового мира» публично защититься в статье «Ещё раз о легендах и фактах», подготовленной для апрельского номера, были отвергнуты цензурой. Итог обсуждению нашумевшей статьи подвёл Л. И. Брежнев, назвавший на заседании Политбюро ЦК КПСС 10 ноября 1966 года отрицание официальной версии клеветой на героическую историю партии и народа. При этом Генеральный секретарь партии едва ли мог не знать материалов расследования Главной военной прокуратуры СССР 1948 года, констатировавшей в совершенно секретной справке «О 28 панфиловцах», что многократно растиражированная в печати версия подвига была литературным вымыслом[1].

Дискуссия в центральной прессе и вмешательство в неё первого лица партии свидетельствовали о потребности власти сохранить столь мощное средство консолидации населения, как идеологические мифы. Оценив во второй половине 1960-х годов экономический статус советского общества как «развитой социализм», руководство страны стремилось мобилизовать граждан для дальнейшего экономического и политического движения. Героизированная история, изложенная в лаконичных и ясных мифологических сюжетах, соответствовала этой задаче. Попытки либеральной интеллигенции разоблачать мифотворчество как искажение истории закономерно встречали политическое и психологическое сопротивление власти, использовавшей мобилизационный потенциал патриотических сюжетов.

---

[1] Петров Н. В., Эдельман О. В. Новое о советских героях // Новый мир. 1997. № 6. С. 148.

Важно иметь в виду, что историческое сознание советских людей формировалось не только официальными институциями, но и классическими текстами – литературой и демократической публицистикой XIX века. Например, А. Т. Твардовский фиксировал в дневнике значимые для своего культурного самоопределения цитаты. Круг авторов был весьма широк: от русской и европейской прозы до классиков марксизма-ленинизма. Отбор афоризмов производился по принципу их актуальности в качестве регулятора собственного профессионального и гражданского поведения. Письма Т. Манна 1930-х годов[1] об ответственности писателя перед историей стимулировали защитные действия поэта в «деле Синявского и Даниэля». Цитата из Монтескье «если я обязан умереть за родину, то не обязан лгать за неё»[2], любимая также И. Г. Эренбургом, созвучна редакторскому кредо: «Линия журнала – линия жизненной правды»[3]. Эта принципиальная позиция подкреплялась высказываниями Л. Н. Толстого, А. И. Герцена и многих других писателей. Производя самоидентификацию по классическим, то есть проверенным временем, универсальным моделям, советский поэт и редактор ведущего демократического журнала эпохи подтверждал правомочность жизненной позиции, в которой профессия осмысливалась как миссия, а движущей силой мировой истории признавалось стремление человечества к моральному идеалу. Эта просвещенческая парадигма диктовала тип гражданского поведения – деятельного, нравственно наполненного, исторически ответственного.

В автобиографических текстах «шестидесятников» история осмысливается в нравственных категориях. Она способна наказывать и преподавать уроки: «История развенчает <…> конъюнктурную славу» (из письма А. Е. Костерина М. А. Шолохову)[4], «Перед судом истории» – название книги Р. А. Медведева. В дневниках и воспоминаниях интенсивно использовалась метафора колеса

---

[1] Иностранная литература. 1965. № 11. С. 211-229.
[2] Твардовский А. Т. Новомирский дневник: в 2 т. Т.2. С. 68.
[3] Твардовский А. Т. Указ. соч. Т.1. С. 519.
[4] Письмо писателя Костерина А. Е. писателю Шолохову М. А. // История советской политической цензуры. Документы и комментарии. М. : РОССПЭН. 1997. С. 176.

истории (Л. К. Чуковская «Записки об Анне Ахматовой», Л. Я. Гинзбург «Записки блокадного человека», В. Я. Лакшин «Солженицын и колесо истории»), отсылающая к тексту «Былого и дум», давшему поколению способ самоопределения – посредством интеграции своего «я» в историю. По справедливому наблюдению И. А. Паперно, метафора, проникшая в герценовский роман из Гегеля, позволяла советским мемуаристам создать в своих текстах «концепцию исторической диалектики, понятой как конфликт двух миров, губительный для человека, попавшего в такое столкновение»[1]. К этому следует добавить, что конфликт старого и нового миров, проходящий через конкретную биографию и приобщающий субъекта к истории, осмысливался не только как трагический для частного лица, но и как неизбежный, выявляющий в обществе исторические закономерности, а в человеке меру личностной и гражданской состоятельности. И потому наряду с эсхатологическими мотивами в мемуарах, дневниках и автобиографиях «шестидесятников» звучали героические ноты, самоосмысление производилось в категориях жертвенного служения истине, непреклонного сопротивления консерватизму во имя исторического прогресса.

Ориентация на поведенческие образцы, сформированные в традициях культуры Нового времени, утверждала в сознании интеллигенции представление о правильных с нравственной точки зрения действиях исторического лица. Это должны были быть поступки не только ответственные, но и честные, с открытым забралом. Одним из требований являлось чёткое обозначение своей позиции на политической арене и риторически ясно обозначенные средства достижения. Ответственная позиция реализовывалась в публичных действиях и апелляции к самому широкому адресату – от представителей власти, коллег по профессиональному сообществу до массового читателя.

Партия, казалось бы, декларировала тот же тип поведения. Узурпация власти (обвинения Сталину), волюнтаризм (одна из причин отставки Хрущёва)

---

[1] Паперно И. А. Советский опыт, автобиографическое письмо и историческое сознание: Гинзбург, Герцен, Гегель // Новое литературное обозрение. 2004. № 68. С. 108.

публично отвергались партийными лидерами как неприемлемые с этической и рациональной точек зрения. При этом внутренние механизмы принятия решений, причины дозированной исторической информации, избирательной публикации архивных документов и в целом трактовка истории по-прежнему определялись соображениями политической целесообразности и не предполагали открытого обсуждения. Очевидное несоответствие партийных заявлений о необходимости соблюдения исторической правды и их реализации в социальной практике, в которой идеологизированные версии истории подменяли её анализ, вызывало в сознании нонконформистов потребность разоблачать и действенно противостоять искажениям истории во имя будущего. В этом желании совпали исследовательские устремления наиболее принципиальных историков и либеральной интеллигенции.

Обструкция, периодически учиняемая на страницах печатных изданий сторонникам полной правды, не охлаждала горячих голов. Ответственность перед страной побуждала продолжать просвещенческую миссию, невзирая на вероятность ответных репрессий. При этом риторика, используемая нонконформистами для объяснения своих действий, вполне согласовывалась с официальной. Так, по поводу отрицательной рецензии генерал-майора В. С. Белоконева на труд «1941, 22 июня» её автор А. М. Некрич писал в издательство «Наука» о полном соответствии своей позиции партийной линии, выраженной на XX и XXII съездах. Ту же аргументацию приводил в Комитете партийного контроля, где в 1967 году, через два года после выхода книги, рассматривалось его персональное дело. И это заявление не было тактической уловкой. Историк не стремился занять оппозиционную позицию в трактовке войны. В его задачу входил научный анализ внутриполитических причин, определивших поражение страны на начальном этапе войны.

Форма научно-популярного исследования, избранная учёным, свидетельствует, что автор ориентировался на широкую читательскую аудиторию, стремился представить современникам полную правду о трагедии народа. Позиция историка нашла отклик: 50 тысяч экземпляров книги было

раскуплено в течение трёх дней после появления на прилавках[1]. Её обсуждение читателями и профессионалами приняло масштабный характер. Ораторы, выступавшие в Военной академии имени Фрунзе, Институте марксизма-ленинизма, преимущественно солидаризировались с автором, высказывая лишь частные замечания. Однако в официальной печати работа историка не получила откликов, лишь «Новый мир»[2] поместил положительную рецензию. Зато книгу перевели в Польше, Венгрии, Чехословакии, Югославии – странах, напряжённо осмысливавших собственный социалистический опыт и живо откликавшихся на антисталинскую рефлексию советских учёных.

Через два года, в 1967 году, реакция властей на книгу приобрела категоричный характер. В год 50-летия Октябрьской революции политически верной виделась позитивная модель советского прошлого, партийное руководство ориентировало исследователей на смягчение травматичной концепции войны и в целом советской истории. Этому характеру соответствовало 6-ти томное издание «Истории Великой Отечественной войны Советского Союза» (1960-1965 гг.), подготовленное коллективом авторов Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС под редакцией П. Н. Поспелова. Позиция А. М. Некрича не соответствовала политическому моменту.

Преследования автора по партийной линии (персональное дело в КПК, исключение из партии) было во многом спровоцировано выступлением западногерманского журнала «Шпигель», поместившего 18 марта 1967 года портрет историка, хвалебную рецензию на книгу и оценку общественного резонанса. Автор статьи назвал А. М. Некрича выразителем распространённых среди советской интеллигенции реформаторских настроений, противоречащих желанию Л. И. Брежнева реабилитировать И. В. Сталина. Таким образом, историку был фактически присвоен статус лидера антисталинских научных сил в СССР, на который он вовсе не претендовал. Болезненная реакция властей на публикацию в буржуазной прессе объяснялась не только негативной оценкой

---

[1] Некрич А. М. Отрешись от страха. Воспоминания историка // Нева. 1995. № 6 С. 146.
[2] Федоров Г. Б. Мера ответственности // Новый мир. 1966. № 1. С. 260-263.

действий лидера партии, но и участившимися во второй половине 1960-х годов явными и скрытыми обращениями нонконформистов за поддержкой к зарубежному общественному мнению, что в условиях холодной войны расценивалось как враждебная акция. Судебные процессы над А. Д. Синявским и Ю. М. Даниэлем, «процесс четырёх» и другие уголовные дела над инакомыслящими не обходились без ущерба для репутации страны на международной арене. И хотя персонально А. М. Некрич не был замечен в диссидентской активности, более того, в ответ на радиопередачу «Немецкой волны» написал протестное открытое письмо и передал его в агентство печати «Новости», наказание ему должно было стать наглядным примером партийной принципиальности.

Кампанию против книги начал журнал «Вопросы истории КПСС», поместивший погромную рецензию Г. А. Деборина и Б. С. Тельпуховского «В идейном плену у фальсификатора истории»[1]. И хотя редакция получила около 200 писем в поддержку автора, в том числе от академиков Н. М. Дружинина, Н. И. Конрада, М. В. Нечкиной, С. Г. Струмилина[2], последовало распоряжение изъять книгу «1941, 22 июня» из библиотек.

«Шестидесятники» увидели в расправе над историком очередное преследование свободной мысли. Р. Д. Орлова зафиксировала в дневнике своё возмущение пассивностью коллег Некрича по Институту истории АН СССР: «Сотрудники просто не стали его защищать. 22 года вместе. Конечно, есть такие соображения, как институт, сохранить партком, коллектив. Пропустили такой вопиющий прецедент»[3]. В конформизме учёных автор видит опасную тенденцию – попустительство консерваторам, чреватое драматичными последствиями для страны.

Бескомпромиссную позицию в полемике продемонстрировал П. Г. Григоренко, к этому моменту исключённый из партии и уволенный с работы за антисталинское выступление на партконференции в военной академии имени

[1] Вопросы истории КПСС. 1967. № 9. С. 127-139.
[2] Твардовский А. Т. Новомирский дневник: в 2 т. Т.2. С. 131.
[3] Орлова Р. Д. Родину не выбирают. С. 287-288.

Фрунзе, лишённый воинского звания генерала и боевых наград. Он красноречиво назвал открытое письмо в редакцию журнала «Вопросы истории КПСС» «Сокрытие исторической правды – преступление перед народом!»[1]. Задача автора была не только защитить А. М. Некрича, но и противостоять истинным фальсификаторам истории – такую характеристику получили критики научного труда. Расценивая назначение своего послания как встречный бой идейному противнику, П. Г. Григоренко придал ему социально-политическое звучание. Для этого подошла форма памфлета с её саркастической риторикой, прямыми, категоричными оценками. Вспоминая предысторию событий (дискуссию в Институте марксизма-ленинизма 1965 года и положительные отзывы на книгу её будущих оппонентов), автор разоблачил конъюнктурные мотивы их последующих действий, обнажил цели нечестных, фальсифицированных обвинений: «скрыть правду о войне и оболгать полезную, добросовестную книгу, настроить читателей и возможных издателей враждебно по отношению к её автору»[2]. Выявить этическую несостоятельность поступков Г. А. Деборина и Б. С. Тельпуховского, по мнению полемиста, означало обнажить нравственную и научную ущербность их суждений. В этой позиции реализовала себя нерасторжимость этики и общественной практики, типичная для «шестидесятников». Свою профессиональную оценку книги автор старался сделать как можно более весомой. Как фронтовик и боевой офицер, способный скрупулёзно разобрать суть предъявленных замечаний с военной точки зрения, он указал некомпетентность в этой сфере обоих критиков, противопоставил им глубину и точность суждений их оппонента.

Центральная часть статьи представляла собой социально-политический трактат, в котором автор выносил нравственное и политическое обвинение сталинизму. Не ограничиваясь размышлениями о личной ответственности

---

[1] Григоренко П. Г. Сокрытие исторической правды – преступление перед народом! Письмо в редакцию журнала «Вопросы истории КПСС» // Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950-е-1980-е: в 3 т. М.: Международный институт гуманитарно-политических исследований, 2005. Т. 2. С. 107-120.

[2] Григоренко П. Г. Сокрытие исторической правды – преступление перед народом! Письмо в редакцию журнала «Вопросы истории КПСС». С. 113.

Сталина за ситуацию начала войны, автор возлагал обвинения на всё правительство. Уровень обороноспособности СССР накануне войны оценен как катастрофический, масштаб урона, нанесённого армии и народу руководством страны, видится глобальным. Солидаризируясь с А. М. Некричем в общих вопросах, П. Г. Григоренко подкрепил его выводы дополнительными аргументами. Не стараясь соблюсти речевой этикет, полемист был конкретен и критичен в характеристике действий партийного аппарата. В разоблачительной манере, обильно используя экспрессивно-оценочную лексику, он создал панораму бедственного положения советской армии в первые месяцы войны: «сокрушительный разгром всей нашей армии прикрытия», под Киевом «всё делалось, как нарочно, на руку противнику», «героическое, но безуспешное сопротивление», «плачевные результаты» и тому подобное. В соответствии с поэтикой памфлета полемист открыто декларировал свою позицию, усиливал эмоциональное воздействие за счёт формулировок дидактического характера: «сокрытие исторической правды – преступление перед народом!»[1], «но чем он (факт – Е. С.) тревожнее, тем основательней надо разоблачить совершенно необоснованную и антиобщественную по своему характеру статью»[2], «тот же, кто знает всё <…>, но хочет это скрыть от новых поколений наших граждан, тот – предатель своего народа и враг нашей действительной обороноспособности»[3]. П. Г. Григоренко стремился к убедительности и аргументированности, для этого приводил обилие фактов, имён, примеров. Автор настаивал: И. В. Сталин и его преспешники в правительстве – прямые виновники трагедии, произошедшей со страной, им не может быть оправданий.

Полемист подвёл читателей к судьбоносным вопросам, способно ли государство признать свою вину перед страной, или деятели, запрещающие народу знать правду, будут и впредь вершить внутреннюю политику. Статья написана «истинным марксистом-ленинцем» (к этой фракции диссидентского движения принадлежал автор), убеждённым в своевременности

[1] Григоренко П. Г. Сокрытие исторической правды – преступление перед народом! С. 107.
[2] Там же. С. 108.
[3] Там же. С. 120.

внутрипартийных реформ, декларированных XX и XXII съездами партии, и разочарованным в их консервации на современном этапе. Полная правда о былых ошибках руководства, убеждён П. Г. Григоренко, нужна не только народу, но и партии, всё очевиднее сползающей к неосталинизму.

В 1970-е годы тема была продолжена «шестидесятниками». Сталинизм – не искажение, а закономерное порождение системы, вождь лишь умело использовал её инерцию. Новые коннотации в осмыслении сталинизма повлекли за собой иное понимание войны. Режим, враждебный обществу и стране, не способен гуманизироваться даже под угрозой уничтожения под натиском внешнего врага, он всегда бесчеловечен. Д. А. Гранин вспоминал, как Н. В. Тимофеев-Ресовский спрашивал друга-фронтовика, что тот защищал на фронте – режим или страну, и комментировал: «треть страны сидело…»[1]. Понятия «страна» и «государство», «власть» и «народ» приняли характер антиномий.

Памфлет «Сокрытие исторической правды…» расценивался автором как гражданская акция, призванная противостоять консервативным тенденциям в общественной жизни. П. Г. Григоренко реализовывал своим гражданским и писательским поведении марксистскую концепцию исторического процесса, согласно которой историю движет политическая борьба классов и их идеологий.

Отправляя статью в официальное издание, автор осознавал, что столь острый текст не может быть напечатан. И действительно, памфлет вышел в Нью-Йорке, в «Новом Журнале», с сообщением редакции о публикации без ведома автора, что должно было предотвратить его уголовное преследование на родине.

Острую общественную дискуссию вызвали историки-«шестидесятники» Р. А. Медведев книгой «Перед судом истории» и Ж. А. Медведев статьей «У истоков генетической дискуссии»[2] (обе 1967 г.). Противодействие партийного аппарата антисталинским исследованиям выявляло озабоченность власти расползанием крамолы в научной среде и общественном сознании. Травматичные сюжеты отечественной истории расценивались как

[1] Гранин Д. А. Я помню…: в 4 ч. Ч. 2.: док. фильм / реж. Л. Гладкова. 2003. URL: http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/27649 (дата обращения: 10.08.2019)
[2] Новый мир. 1967. № 4. С. 226-234.

взрывоопасные, их нонконформистская трактовка как дестабилизирующий фактор в обществе.

Безусловно, восстанавливая объективную информацию о недавнем прошлом, авторы решали профессиональные задачи, стремились очистить историографию от излишней идеологизации. При этом научное поведение историков-нонконформистов соответствовало не только статусу учёного, но и общественно-политического деятеля. Используя науку как орудие борьбы с политически ангажированным присвоением истории, они политизировали историческое сознание современников, то есть сами действовали как политические субъекты. Профессиональная и общественно-политическая миссии реализовывались типично советскими способами, что не противоречило нонконформизму. Григоренко и Медведевы были марксистами-ленинцами и по убеждениям, и по поведению, осмысливали себя борцами против искажения гуманистической природы социализма и боролись с его искажениями.

Социалистический путь развития страны осмысливался «шестидесятниками» начала «оттепели» как на имеющий альтернативы. Октябрьская революция виделась закономерным историческим явлением, большевистская партия как единственная прогрессивная политическая сила. Соответственно, интеллектуальные поиски ограничивались наиболее эффективными приёмами усовершенствования данной политической модели.

Однако с середины 1960-х годов в научном и общественном сознании началось переосмысление идеи безальтернативности отечественной истории. А. Я. Гуревич в 1969 году дал научное обоснование проблеме вариативности исторического движения: «История никем не запрограммирована и не предопределена. Историческое развитие – открытая система с широчайшими возможностями, с неограниченным "набором" вероятностей и вариантов. <…> Свершившееся представляется нам неизбежным, но лишь постольку, поскольку иные возможности не реализовались»[1]. Общественная интуиция историка

[1] Гуревич А. Я. Об исторической закономерности // Философские проблемы исторической науки. М. : Наука, 1969. С. 74-75.

актуализировала новый подход к проблеме. Ответы на вопросы, была ли социалистическая революция единственно возможным вариантом исторического развития России или страна имела шанс двигаться по иному пути, либеральному или «почвенническому», определили размежевание внутри сообщества нонконформистов. Правозащитники ориентировались на либеральные ценности, предполагающие европейский путь, националисты искали альтернативу социализму в нереализованном векторе истории, восходящему к национальной древности.

Убеждённость в том, что народ является главной движущей силой истории, стимулировала в интеллигенции потребность выявить специфику национальной идентичности, осмыслить иные варианты исторического развития, отличные от свершившегося. Интенсификация национального самосознания в культуре «оттепели» – общепризнанный факт. Этот процесс не всегда имел оппозиционный характер. Ориентация на национальную культуру и патриотические ценности в духе славянофильства находила вполне легальное выражение на страницах центральных журналов «Наш современник», «Москва», «Роман-газета», «Молодая гвардия», газет «Советская Россия», «Литературная Россия», «Комсомольская правда». Оставаясь на позиции защиты государственных интересов, эти издания не высказывали крамольных суждений в адрес политической системы и не вызывали серьёзных нареканий со стороны надзорных органов. Традиционные ценности как противовес либеральным привлекали некоторых членов правительства («группа Шелепина» в ЦК партии и «группа Павлова» в ЦК комсомола). Однако националистические пристрастия не сближали их ни с А. И. Солженицыным, ни с И. Р. Шафаревичем. Националистические идеи использовались оппозицией и властью во имя различных целей, по-разному осмысливались и перспективы исторического развития страны. Призыв отказаться от марксистской идеологии и развернуть «старое русское знамя, отчасти даже православную хоругвь»[1] (А. И.

[1] Солженицын А. И. Письмо вождям Советского Союза // Собр. соч. : в 9 т. М. : Терра-Книжный клуб, 2001. Т. 7. С. 83.

Солженицын «Письмо вождям Советского Союза», 1973 г.) не мог быть поддержан на Старой площади или в Кремле, несмотря на славянофильскую риторику.

Впрочем, риск оппозиционности сохранялся для всех «националистов», ищущих не только наиболее адекватную форму политического устройства, но и альтернативную идеологию, способную сплотить нацию для противостояния кризисным тенденциям в обществе. Так, изначально движение в защиту памятников архитектуры (конец 1950-начало 1960-х гг.) ставило перед собой культуртрегерские задачи – зафиксировать и защитить уничтожаемые объекты культуры, создать общественную организацию, способную вести систематическую работу по сохранению и реставрации архитектурных памятников[1]. Но объединение «Русский клуб» (1967-1972 гг.), вышедшее из недр «Всероссийского добровольного общества охраны памятников и культуры» (создано в 1965 году по распоряжению Совета министров РСФСР), сплотило антикоммунистов, «исповедующих русский национализм и ксенофобию в отношении Запада»[2].

Внесистемные националистические организации воспринимались руководством страны с настороженностью: считалось, что чрезмерное увлечение творческих и научных работников проблемами национального самосознания и популяризация идеи национальной уникальности могли спровоцировать в советском народе отторжение принципа интернационализма и усилить центробежные силы в республиках. Так и происходило на практике. Национализм во второй половине 1960-х-1970-е годы всё явственнее становился идеологией протеста, захватывавшей в свою орбиту широкие слои населения. Л. М. Алексеева отмечала разнообразие целей, задач и специфику республиканских националистических течений: литовское было преимущественно религиозным, эстонское – национально-демократическим. Крымские татары и месхетинцы боролись за возвращение в Крым, евреи за выезд в Израиль, советские немцы за

[1] Митрохин Н. А. Русская партия : Движение русских националистов в СССР. 1953-1985 годы. М. : Новое литературное обозрение, 2003. С. 301.
[2] Митрохин Н. А. Русская партия. С. 321.

эмиграцию в ФРГ. Украинские, латвийские, армянские, грузинские и прочие республиканские группировки отстаивали право на национальное самоопределение[1]. Очевидно, что национальный эгоизм был одной из причин, по которой сообщества не могли образовать единое сплочённое движение. Кроме того, внутри каждого течения уживались подчас взаимоисключающие идеологические платформы. Например, в русском национализме сосуществовали различные политические (монархисты, коммунисты, анархисты, неофашисты и прочие) и религиозные группировки (неоязычники, старообрядцы, православные, адвентисты и многие другие). По сути, основными сплачивающими мотивами для разрозненных националистических течений оказывались оппозиционность власти, социальная маргинальность и угроза уголовного преследования, заставлявшие забыть идеологические и мировоззренческие разногласия и поддерживать не только друг друга, но и ориентированных на Запад правозащитников.

Самиздатская активность националистов реализовывалась в специализированных изданиях: русские национал-патриоты печатались в «Вече», «Земле» (1971-1974 гг., редактор В. Н. Осипов), «почвенники» в «Московском сборнике» (1974 г., редактор Л. И. Бородин), «религиозники» в «Общине» (1978 г., редакторы А. И. Огородников и В. Ю. Пореш), «Надежде» (1976 г., редактор З. А. Крахмальникова), евреи-отказники в «Исходе» (1970 г., редактор В. И. Федосеев). Каждый из журналов имел свою референтную группу, однако не был закрыт для противоположной точки зрения. На страницах одного издания могли уживаться как националисты, так и правозащитники.

Показательным примером стал сборник «Из-под глыб» (1974 г.). Статьи сиониста М. С. Агурского соседствовали в нём с текстами правозащитника В. М. Борисова и националиста А. И. Солженицына. Различные идейные ориентации не помешали авторам сплотиться для осмысления прошлого и

[1] Алексеева Л. М. История инакомыслия в СССР: новейший период. М. : Московская Хельсинская группа, 2012. С. 5.

настоящего страны. Их сблизило неприятие советской политической модели, ощущение неизбежности социальных перемен, исторический эсхатологизм. Издание было задумано Солженицыным как программное, о чём свидетельствует глобальность предложенных для осмысления проблем: исторические ошибки и перспективы страны («На возврате дыхания и сознания» А. И. Солженицын, «Есть ли у России будущее?», «Обособление или сближение» И. Р. Шафаревич), жизнеспособность социализма («Современные общественно-экономические системы и их перспективы» М. С. Агурский, «Направление перемен» М. К. Поливанов), русское национальное самосознание («Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни» А. И. Солженицын, «Личность и национальное самосознание» В. М. Борисов), нравственное соответствие интеллигенции историческим задачам («Образованщина» А. И. Солженицын), православная церковь и общество («Раскол Церкви и мира» Е. В. Барабанов).

Крупномасштабность заявленных проблем выявляет общую для авторов цель – выявить специфику русской идентичности, осмыслить типологию национального сознания, проследить его трансформацию в истории. Интеллектуальные устремления нонконформистов в данном случае совпали с формирующимися в эти же годы новыми научными направлениями – исторической антропологией, представленной именами А. Я. Гуревича и Л. М. Баткина, семиотикой и культурологией, разрабатываемой Ю. М Лотманом, М. Л. Гаспаровым, С. С. Аверинцевым и другими учёными. Общим было стремление осмыслить историческое прошлое через коллективное сознание, систему ценностей, выявить специфику исторического типа культуры. Однако очевидно и различие исследовательских позиций: академический дискурс диктовал объективизм, взвешенность научных суждений, диссидентский носил негативистский оценочный характер, соответствовал не столько научным, сколько идеологическим авторским стратегиям.

Позиция А. И. Солженицына, заявленная в сборнике, характеризует не только динамику персональной литературно-публицистической концепции истории, но и общепринятый в среде националистов способ самоидентификации.

Основу личностного и национального самоопределения, согласно А. И. Солженицыну, составляют культурные традиции. Концепция истории выстраивается с учётом базисных понятий для сознания русского писателя: народ, нация, долг и ответственность интеллигента. Они употребляются автором в типичном для демократической литературы XIX века значении. Термин «народ» имеет социальное толкование: угнетённые бедные слои населения, «простолюдины». «Нация» – этническая и духовная общность людей, объединённых не столько территорией, сколько нравственным опытом. Она формируется не исторически: «нация, как и семья, есть природная непридуманная ассоциация людей с врождённой, взаимной расположенностью членов»[1] («Образованщина»). Современный исследователь заметил, что упор на врождённости и естественности связей между членами нации, которая к тому же сравнивается с семьёй, подразумевает, что А. И. Солженицын имел в виду понимание нации как основанной на общей крови, имеющей божественное происхождение: «… её границы неизменны, её сущность трансцендентна»[2]. В 1985 году в интервью Ж. Ниве А. И. Солженицын скорректирует прежнее толкование: «Что такое нация? Это язык плюс история»[3]. В 1974-ом авторской концепции истории соответствовало органицистское понимание, не уникальное в среде националистов. Например, в самиздатском «Слове нации» (1970 г., автор А. М. Иванов (Скуратов)) читаем: «Когда мы говорим "русский народ", – мы имеем в виду действительно русских людей, по крови и духу»[4]. Х. Мурав указал источник такого толкования понятий. Учёный обнаружил их в немецкой идеалистической философии, воспринятой русскими литераторами: «Дело здесь

---

[1] Солженицын А. И. Образованщина // Собрание сочинений: в 9 т. М. : Терра-Книжный клуб, 2001. Т. 7. С. 129.
[2] Мурав Х. Опасный универсализм: перечитывая «Двести лет вместе» Солженицына. // Новое литературное обозрение. 2010. № 103. С. 219.
[3] Нива Ж. Александр Солженицын: борец и писатель. СПб : Вита Нова, 2014. С. 283.
[4] Митрохин Н. А. Русская партия: Движение русских националистов в СССР. С. 453.

в двойной метонимии. Сложная историческая эволюция мысли, включающая в себя восприятие русскими немецкой идеалистической философии, деятельность царского правительства и русской интеллигенции сформировали идею народа или нации как чего-то, существующего внутри одной этнической группы – русских, в то время как Российская империя была многонациональной, многоязычной и многоконфессиональной. Вторая метонимия обязана народничеству, подменившему общность русских людей одним социальным слоем, а именно крестьянством, сделав, таким образом, другие группы и классы, включая, разумеется, и саму интеллигенцию, внешними и чуждыми "народу". Солженицын превращает результаты этих исторических и интеллектуальных процессов в нечто данное, более того, данное Богом»[1]. Вывод учёного можно конкретизировать, обозначив круг имён, наиболее востребованный писателем в ходе работы над статьями сборника.

Одним из ориентиров был роман Л. Н. Толстого «Война и мир», с важнейшей в поэтике эпопеи «мыслью семейной», то есть общенациональной. А. И. Солженицыну было близко представление Л. Н. Толстого о способности народа быть духовной основой нации, вокруг которой в судьбоносный момент истории, преодолевая сословные эгоистичные интересы, сплачивается общество и за счёт морально-нравственного единения обеспечивает сохранность страны. Эсхатологичное восприятие своей эпохи побуждало А. И. Солженицына к поиску вариантов национального спасения, один из которых был убедительно развит в «Войне и мире». В статье «Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни» автор визуально активизирует толстовский код, используя известный по заглавию романа вариант написания слова – «мір». Писатель следует за Л. Н. Толстым в категорическом неприятии любой формы насилия – военной, государственной, национальной, идеологической или политической. Формула «непротивление злу насилием» видится как обязательная для духовного состояния нации, общественной жизни и политики государства. Солидаризируясь с предшественником в проповеди ненасилия, Солженицын

[1] Мурав Х. Указ. соч. С. 220-221.

расставляет акценты по-своему. Отсутствие войны с внешним врагом, по его мнению, не может считаться миром, если внутри страны власть применяет насильственные методы по отношению к гражданам и преследует инакомыслящих, как это происходит в СССР. Советское государство от Ленина до современности бесчеловечно, лживо, несправедливо. Этическая несостоятельность свидетельствует о политической обречённости власти. Советский период истории – катастрофа для страны. Однако нация, как живой организм с единой памятью и духовным опытом, способна, вопреки враждебному государству, сохранить внутренние силы и найти путь исторического возрождения. Идея духовного сокровища, сбережённого русской традицией, высказанная прежде Толстого славянофилами, близка писателю. Средства – самоограничение и раскаяние как принципы национального самосознания и жизнедеятельности. Духовное возрождение каждому гражданину надо начинать с себя. Мысль, созвучная Л. Н. Толстому, преломляется в «Образованщине» в соответствии с тезисами собственной статьи «Жить не по лжи», написанной чуть раньше. В обоих текстах духовное сопротивление трактуется как неучастие во лжи, ставшей нормой повседневного существования граждан. Этот способ противодействия государству предполагает способность каждого индивида к самопожертвованию. Все жертвы видятся автору не только нравственными, но единственно гарантирующими «очищение и преобразование страны без выстрелов и крови»[1]. Солженицын возвеличивает староверов, воплотивших в сопротивлении официальной церкви такие русские качества, как твердость, аскеза и самоограничение. Для дополнительной убедительности своих мыслей автор прибегает к цитатам из Блаженного Августина, Достоевского, старообрядцев. Так создаётся культурный фундамент для авторской концепции, обосновывается заявка на новый ориентир для нации – морально-нравственное учение, способное заместить губительную для страны идеологию.

---

[1] Солженицын А. И. Образованщина. С. 141.

А. И. Солженицын вслед за русскими писателями XIX века был убеждён в моральном воздействии слова, вызывающего мощный общественный резонанс, потому придавал публицистическим высказываниям высокую степень обличительного пафоса. Писатель-пророк, глашатай национальных духовных традиций, способных вывести общество и страну из исторического тупика, – так осмысливал А. И. Солженицын миссию русского литератора. Толстой как общественный деятель, публицист, открыто выступавший против самодержавной власти и ставший нравственным эталоном для современников и потомков, входил в канон писательского поведения, давал ориентир в литературной деятельности и общественной практике. «Александр Исаевич чем-то напоминает Льва Толстого. Он поворачивался всем корпусом, каждый раз не допуская никаких колебаний», – писал Г. С. Померанц[1]. Справедливость ассоциации, предложенной философом, А. И. Солженицын подтвердил зимой 1973-74 года. Тогда он вновь процитировал классика: издав за границей «Архипелаг ГУЛАГ», вложил все доходы от авторских прав на текст в создание «Русского Общественного Фонда помощи преследуемым и их семьям» и таким образом повторил поступок Л. Н. Толстого, передавшего доходы от «Воскресения» в пользу духоборов.

Создавая «Войну и мир», писатель, как известно, отступал от правды факта во имя художественной логики текста. Авторская философия истории не претендовала на научную объективность, но оставалась эстетически и этически значимой, концептуально завершённой и убедительной. А. И. Солженицын в собственном варианте историософии соединял различные интеллектуальные и художественные системы, не всегда органично дополнявшие друг друга. Наряду с литературными образцами стояли публицистические, выбранные в соответствии с творческими задачами. Так, преломляя к современности идеи сборника «Вехи», писатель не смущался различием позиций его авторов и Л. Н. Толстого, высказывавшего, как известно, весьма критичные замечания в адрес

[1] Померанц Г. С. Записки гадкого утёнка. М.; СПб : Центр гуманитарных инициатив, 2011. С. 233.

издания. Классик отрицал «суеверие устроительства» – такую ироничную оценку получили суждения «веховцев» о судьбах страны. Уверенные в судьбоносной роли интеллигенции, Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, С. Л. Франк полагали, что интеллектуальное сообщество, осознав национально-государственные и религиозные идеи, может изменить ход российской истории. Л. Н. Толстой видел в этих суждениях проявление «чрезвычайной самоуверенности как личной, самих авторов, так и кастовой, интеллигентной»[1], «улучшение жизни человеческой совершается не внешним, а внутренним изменением»[2]. Внутренняя работа над собой, которую он проповедовал, рассматривалась как нравственное, но не политическое деяние. Впрочем, классик, как и Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, П. Б. Струве, руководствовался оппозицией «интеллигенция – народ», но утверждал, в отличие от философов, духовно-нравственное превосходство народа над сообществом, не способным к главному делу – «правдиво ставить себе основные, существенные вопросы о жизни и просто, прямо и искренне отвечать на них»[3]. Суждения А. И. Солженицына ещё более категоричны: русская интеллигенция выродилась в «образованщину», утратившую своё главное качество – чувство виновности перед народом, способную на любое отступничество. Народ же остался неизменен: в его потаённой глубине сохранилась способность к самоограничению, аскезе, покаянию, жертвенности. Обращение к идеологии «Вех» было для автора не столько проявлением консерватизма его воззрений, сколько подтверждением идейной связи с традициями русской мысли, обеспокоенной судьбой страны, народа и их спасением.

Историософия А. И. Солженицына справедливо определена современным исследователем как манихейская (Ж. Нива). Действительно, авторская концепция составлена из бинарных оппозиций: добро – зло, земное –

---

[1] Толстой Л. Н. О «Вехах» // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. : в 90 т. М. : Худож. лит., 1936. Т. 38. С. 286.
[2] Там же. С. 287.
[3] Толстой Л. Н. О «Вехах». С. 289.

божественное, высокое – низкое, духовное – плотское. Размышляя об историческом процессе в общечеловеческом масштабе, писатель утверждает: разрушительные процессы начались не в советской России. Источником зла является европейский гуманизм, возникший в эпоху Возрождения и привнесённый в Россию при Петре Первом. Антропоцентризм и гуманизм без Бога узаконили права личности без религиозной ответственности, завели европейскую культуру и западную цивилизацию в тупик. Этому разрушительному процессу А. И. Солженицын противопоставляет образ подлинной России – источника обновления. Исконно русские духовные качества: покаяние и самоограничение, принятые как норма внутригосударственного и международного существования, перенесённые на человечество в целом, способны его сохранить. «Понятие о неограниченной свободе возникло в тесной связи с ложным, как мы теперь узнали, понятием бесконечного прогресса. Такой прогресс невозможен на нашей ограниченной Земле с ограниченными поверхностями и ресурсами. Перестать толкаться и самостесниться всё равно неизбежно: при бурном росте населения нас к этому скоро вынудит сама матушка Земля. Но насколько было бы духовно ценней и субъективно легче принять принцип самоограничения – прежде того, ДАЛЬНОВИДНЫМ САМОСТЕСНЕНИЕМ» (выделено автором – Е. С.)[1].

Идеальный образ страны, уничтожаемой со времён Петра враждебными западными веяниями, в том числе и марксизмом, но сбережённой народом, формировался писателем под сильным влиянием славянофильских традиций, логичным следствием которых явилась позиция изоляционизма. Сохранение национальной идентичности, по А. И. Солженицыну, возможно при понимании и культивировании своей инаковости. Как в многонациональном государстве восстановить «русскость» в её первозданной чистоте и избежать культурной ассимиляции, писатель отвечал за год до того, в «Письме вождям Советского Союза» (1973 г.). По мнению автора, национальное возрождение должно

[1] Солженицын А. Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни // Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950-е-1980-е: в 3 т. М. : Международный институт гуманитарно-политических исследований, 2005. Т. 3. С. 243-248.

начаться с отступления России в её исконные места – на просторы Севера и Северо-Востока, некогда принадлежавшие Новгороду: «… наш выход один: чем быстрей, тем спасительнее – перенеси центр государственного внимания и центр национальной деятельности (центр расселения, центр поисков молодёжи) с далёких континентов, и даже из Европы, и даже с юга нашей страны – на её Северо-Восток»[1]. Географическое возвращение ознаменует собой укрепление во всех сферах жизни, необходимо только интересы нации поставить выше идеологии и политики: «Руководить нашей страной должны соображения внутреннего, нравственного, здорового развития народа»[2]. Демонстративный пассеизм стал логичным завершением общей концепции, в которой понятие «прогресс» наделялось неизменно отрицательными коннотациями, а такие характеристики интеллигентского самосознания, как космополитизм и ориентация на универсальные ценности определялись как враждебные национальному духу. Абсолютизировав нацию как трансцендентную общность, писатель исключил из своей философии истории всё, что, по его мнению, противоречило русской национальной идее.

Позиция А. И. Солженицына получила публичную оценку академического сообщества лишь в 1990-е годы. Историки отмечали необоснованность как отдельных заявлений, так и общей концепции (Я. С. Лурье, В. А. Дьяков, М. С. Бернштам[3] и многие другие). В 1970-е годы отозваться могли, главным образом, читатели сам- и тамиздата. Возражения диссидентов касались фактической стороны: тенденциозность в подборе источников отмечал Р. А. Медведев. А. Д. Сахаров и Г. С. Померанц не приняли мировоззренческую позицию: выступали противниками национализма, защищали идеи личной свободы и европейского демократизма. Г. С. Померанц, кроме того, резко

---

[1] Солженицын А. И. Письмо вождям Советского Союза. С. 77.
[2] Там же. С. 345.
[3] Лурье Я. С. Александр Солженицын – эволюция его исторических взглядов // Звезда. 1994. № 6. С.117-129; Дьяков В. А. Об историко-социологической концепции Александра Солженицына // Общественные науки и современность. 1994. №1. С. 65-76; Бернштам М. С. Проклятый вопрос о цене идей // Дружба народов. 1992. №4. С. 167-185.

критиковал почвеннический утопизм и манеру ведения полемики, в которой ощущал дух мстительности и непримиримости.

Очевидно, что концепция национальной истории А. И. Солженицына носит художественно-публицистический характер, дать ей адекватную оценку можно в контексте всего творчества. Тогда выявляется различие некоторых базовых в историософии автора понятий. Например, в статьях сборника «аскетизм», «самоограничение» и «самостеснение» входят в одно семантическое поле. Они означают добровольное отречение личности и народа от материальных ценностей во имя духовных, государства от чрезмерных политических амбиций внутри страны и на международной арене. В романе «Архипелаг ГУЛАГ» те же категории имеют иную природу: это «невольный аскетизм», «следствие обездоленности человека в условиях тоталитарного режима»[1], а не результат свободного волеизъявления личности. Выше упоминалось о трансформации категорий «народ» и «нация». Очевидно, что семантика понятий избиралась всякий раз в соответствии с авторской задачей, общей художественной концепцией определённого текста и авторской стратегией. Потребность сплотить оппозиционные националистические силы и выступить единым фронтом предполагала соответствующее решение: позиция авторов сборника «Из-под глыб» должна была обладать мощной силой в глазах референтной группы. Монументальная концепция отечественной истории, глобальность заявленных для осмысления категорий, опора на духовно-нравственные основания – православие, народность, традицию, обращение к безусловным авторитетам для подкрепления своих суждений – всё это должно было убедить читателей в осмысленности авторами национальной сверхзадачи, владении стратегией её достижения и обеспечить интеграционный эффект. Г. С. Померанц так охарактеризовал литературное поведение писателя: «Ему (Солженицыну – Е. С.) нужен был миф о народе, в котором таится некоторая вечная духовная сила, потерянная интеллигенцией. И миф о России, ждущей своего вождя. Потому что

[1] Нива Ж. Александр Солженицын: борец и писатель. С. 86.

он чувствовал себя вождём, обладателем харизмы, единственным носителем Божьей правды»[1].

Самоопределение националистов осуществлялось по моделям идеологических мифов вне зависимости от этнической принадлежности. Например, Григоренко в мемуарах «В подполье можно встретить только крыс…» предложил читателю собственную версию истории Украины, «бывшей в средние века одним из могущественных и просвещённых государств Европы (Киевская Русь)»[2]. Согласно логике мифа, «золотой век» помещён автором в прошлое, страна и её народ выступают жертвой коварного соседа, русифицировавшего население и веками истреблявшего лучшие национальные кадры. Однако духовное возрождение нации невозможно остановить. Его берут на себя современные культурные герои – «одиночки, рассеянные по территории всей Украины»[3], за которыми идут новые борцы. Поборник полной правды, продемонстрировавший в общественной полемике о книге А. М. Некрича аналитические навыки, историзм как метод исследования, в данном случае сменил тип нарратива и перешёл к риторике, им самим отвергаемой. Широкой читательской аудитории (мемуары были написаны в 1981 году в эмиграции) предлагалась упрощённая до мифа версия национальных взаимоотношений. Узнаваемость сюжетов обеспечивала простоту их запоминания, эмоциональность повествования восполняла слабость научной аргументации. Мифотворчество позволяло решать пропагандистскую задачу, важную в условиях продолжающегося идейного противостояния.

Н. А. Митрохин в книге «Русская партия: Движение русских националистов в СССР. 1953-1985 годы» обозначил ряд наиболее популярных идеологических мифов, циркулировавших в националистически ориентированной части российских нонконформистов, партийной элиты и «простонародной оппозиции». По наблюдениям учёного, в столь различной среде разрабатывались общие сюжеты, в частности антиеврейский и великодержавный, созданный по

---

[1] Померанц Г. С. Записки гадкого утёнка. С. 232.
[2] Григоренко П. В подполье можно встретить только крыс… М: Звенья, 1997. С. 172.
[3] Там же. С. 173.

модели «Москва – третий Рим»[1]. Очевидно, что в разных сообществах они возникали совершенно независимо, А. И. Солженицын не имел на этот счёт беседы с членами Политбюро из «группы Шелепина». Однако политическая целесообразность оказалась общим побудительным мотивом мифологизации национальной истории как для официальной власти, так и для оппозиции.

Иные основания для обоснования своих исторических концепций находили правозащитники. Их представления базировались на либеральной парадигме, согласно которой политическое и идейное противостояние в обществе может быть продуктивной силой исторического движение, но только в том случае, если остаётся в правовом поле. Социальный прогресс, по глубокому убеждению либеральной интеллигенции, требовал перестройки общественных отношений: диалог общества с властью должен быть основан на паритетных началах, взаимном уважении и соблюдении государством прав граждан, что является обязательным условием демократического общества. Свобода индивида во всех сферах социальной жизни, индивидуализм, правовое и политическое равенство, терпимость к инакомыслию признавались необходимыми условиями прогресса общества и государства в исторической перспективе. У эпохи Просвещения была наследована идея, согласно которой личность обладает правами вне зависимости от законов государства, в котором проживает. Американская Декларация независимости провозгласила самоочевидность истины, что все люди созданы равными, наделены природой и Богом определёнными неотчуждаемыми правами – на жизнь, свободу и стремление к счастью. Несмотря на ограниченность этого постулата (неотчуждаемые права распространялись лишь на европейцев и американцев), модель личности как носителя прав не ограничивалась гражданством какого-либо государства. И. Кант в работе «К вечному миру» выступал за «космополитические права» людей[2]. Российские либералы XIX века и советские правозащитники стояли на тех же позициях.

---

[1] Митрохин Н. А. Русская партия. С. 61.
[2] Кант И. К вечному миру. Философский проект // Собр. соч. : в 8 т. М. : Чоро, 1994. Т. 7. С. 9.

Универсализм и космополитизм как мировоззренческие принципы не исключали идеи этноспецифики: «русскость» или любая иная национальная идентичность осмысливалась как существенный компонент общественного сознания, во многом определяющий своеобразие культурного развития страны – это суждение высказывалось в начале века П. Б. Струве[1], П. И. Новгородцевым[2] и другими либералами, теперь с ними солидаризировался Г. С. Померанц[3]. По А. И. Солженицыну, космополитизм губителен для нации. Г. С. Померанц возражал: осознание и последствия национальных различий в современном мире далеки от того, чтобы быть стёртыми; наоборот, они усилены. У человека нет иного выбора, кроме как сталкиваться с особостью и своеобразием места и культуры другого индивида, чужой истории и судьбы, потому что все люди живут в мире, предлагающем разный опыт судьбы, места и истории. В этом смысле каждый – космополит. Философ утверждал взаимозависимость личностей, групп, наций и государств.

Европоцентризм, наследованный либеральными советскими потомками от дореволюционной интеллигенции, определял представление об историческом процессе как едином для России и Западной Европы. Самоидентификация производилась по модели «европеец» с сохранением ценностной системы: антропоцентризм, гуманизм, гражданское общество, приоритет общечеловеческих ценностей над классовыми, социальными или национальными. Г. С. Померанц так определял аксиологию сообщества: «… личность выше класса, выше партии, выше государства, выше народа, выше догматов веры. Над личностью только Бог; но и Бог – личность. Одна сильно развитая личность может – как Сахаров – уравновесить глупость и грех целого народного собрания, целого народа… <…> я убеждён, что спасение России (и всего человечества) не в толпе народа, идущей за пророком, а в каждой

---

[1] Струве П. Б. За свободу и величие России // Новый мир. 1991. № 4. С. 213- 233.

[2] Новгородцев П. И. Введение в философию права: Кризис современного правосознания. URL: http://dugward.ru/library/novgorodcev/novgorodcev_vvedenie_v_filosofiu_prava.html (дата обращен: 20.12.2018)

[3] Померанц Г. С. Человек ниоткуда // Самиздат века. М. : Полифакт, 1999. С. 98.

личности, в её внутреннем развитии и в защите её прав, в координированном росте свободы и ответственности»[1]. Как видим, судьба страны для либерала Г. С. Померанца – проблема не менее значимая, чем для националиста А. И. Солженицына. Но определяется она, по мысли философа, сохранением и укреплением иной традиции – не узко местнической, националистической, а общеевропейской гуманистической и антропоцентричной. Если солженицынская модель, соответствующая русскому народническому наследию XIX века, сводила к минимуму политическое измерение народа, то для Г. С. Померанца, как и для упомянутого им А. Д. Сахарова, ориентированным на идеи европейского Просвещения, способность нации к самостоятельному выбору и умение взаимодействовать с другими народами на принципах мирного сосуществования и взаимного уважения оценивались как знак жизнеспособности в исторической перспективе.

Эти мировоззренческие установки реализовались в теории конвергенции А. Д. Сахарова («Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», 1968 г.). Убеждённый в интернациональном характере научных идей, автор разработал концепцию, способную, по его мнению, объединить государства с различными политическими моделями и идеологиями. Универсалист А. Д. Сахаров считал, что мир спасёт наука, если параллельно с ней разовьётся универсальная этика. Её основу должно составить чувство ответственности политических и интеллектуальных элит, интеллигенции и рабочего класса за судьбу человечества. Эсхатологизму, свойственному большинству исторических прогнозов диссидентов, автор противопоставил веру в возможность найти совместный выход из цивилизационного тупика, встав на иной уровень самооценки, ощутив себя гражданином не страны, а мира. Толерантность, как свойство либеральной позиции, привела автора к уверенности в необходимости нового типа исторического сознания, основанного на признании ценности многообразных расовых, национальных, религиозных, социокультурных миров. Предпосылки

[1] Померанц Г. С. Записки гадкого утёнка. С. 328.

конвергенции учёный видел не столько во взаимном влиянии социализма и капитализма, сколько в процессах, происходящих внутри каждой из систем и объективно толкающих их друг к другу. Сближение, сопровождающееся демократизацией, демилитаризацией, социальным и научно-техническим прогрессом, названо автором «единственной альтернативой гибели человечества»[1].

Ю. Г. Буртин отмечал отличие авторской философии истории от марксистской. В концепции Сахарова капитализм и социализм – не сменяющие друг друга в ходе борьбы общественно-экономические формации, а равноценные и жизнеспособные ипостаси современной цивилизации[2].

Сахаров определял характер своей статьи как эклектичный. Работа, по его словам, представляла собой компиляцию либеральных, гуманистических и «наукократических» идей. В этом заявлении, которое может показаться признанием вторичности собственных суждений, помимо личной скромности проявляется специфика научного дискурса. В отличие от художника, для которого самобытность и уникальность – знаки качества эстетического высказывания, учёный ценит коллективный труд научного сообщества. Признание чужого первенства в открытии не подрывает авторитета исследователя и не умаляет значимости сделанных им выводов.

Структура работы соответствует принципу научной нормативности: заявка проблемы («принципиальные и конкретные вопросы внешней и внутренней политики, вопросы будущего человечества»), обоснование актуальности исследования («ещё не стал реальностью научный метод руководства политикой, экономикой, искусством, образованием и военным делом»), чёткая и однозначная формулировка понятий («"научным" мы считаем метод, основанный на глубоком изучении фактов, теорий и взглядов, предполагающий непредвзятое, бесстрастное в своих выводах, открытое обсуждение»), тезисный

---

[1] Сахаров А. Д. Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе // А. Д. Сахаров. Собр. соч. : в 8 т. М. : Время, 2006. Т. 1.Тревога и надежда. С. 118.
[2] Буртин Ю. Г. Россия и конвергенция. Идеи А. Д. Сахарова вчера, сегодня, завтра // Октябрь. 1998. № 1. С. 165.

перечень основных положений, выносимых на обсуждение. Автор соблюдает универсальные правила мышления и речи. Его цель – с рациональных позиций указать реальные угрозы существованию человечества, объективно оценить уровень опасности и предложить средства преодоления.

Тип нарратива адекватен мировоззренческой позиции автора. Вера в разум и гуманизм как общечеловеческие ценности диктует позицию автора. Уважение к собеседнику предполагает сохранение за читателем независимости его собственных суждений, право не соглашаться с автором. Его мысль должна быть свободна от авторского диктата. Для этого недопустимо нагнетать эмоции, прибегать к гиперболизации проблемы, усиливать суггестивность речи. Напротив, несмотря на серьёзность поставленных вопросов, выдерживается спокойная интонация и сдержанна эмоциональность. Жанр – размышления – приглашает к диалогу, задаёт тон общественному обсуждению. Публичная дискуссия имеет смысл только при взаимной толерантности. Такова позиция либерала, убеждённого в возможности договорных отношений между людьми, на какой бы ступени социальной иерархии они ни находились.

А. Д. Сахаров продолжал ориентироваться на общественный диалога. «Письмо руководителям партии и правительства», написанное в 1970 году совместно с В. Ф. Турчиным и Р. А. Медведевым, свидетельствует о непрекращающихся попытках авторов преодолеть отчуждение между властью и научной общественностью, убедить правительство в искренней озабоченности застойными явлениями в экономике и культуре. «Источник наших трудностей – не в социалистическом строе, а, наоборот, в тех особенностях, в тех условиях нашей жизни, которые идут вразрез с социализмом, враждебны ему. Этот источник – антидемократические традиции и нормы общественной жизни, сложившиеся в сталинский период и окончательно не ликвидированные и по сей день. Внеэкономическое принуждение, ограничения на обмен информацией, ограничения интеллектуальной свободы и другие проявления

антидемократических извращений социализма»[1]. Заявление о жизнеспособности социализма в данном тексте не ритуальный жест. Адресанты научно доказывают возможность оздоровления экономики и внутренней политики, обосновывают необходимость реформ и предлагают конкретные меры, перечисленные по пунктам (15 шагов), рассчитанные на ближайшие четыре-пять лет. На фоне усиливающихся в среде нонконформистов конфронтационных настроений позиция авторов письма выглядит явлением редким.

С середины 1960-х годов вероятность паритетных взаимоотношений государства и общества оценивалась интеллигенцией как крайне низкая. Диссиденты оценивали перспективы политической системы по характеру взаимодействия государства и общества и, испытывая всё большее давление со стороны власти, укреплялись в мысли о нежизнеспособности существующей модели. В эсхатологических прогнозах позиция либералов и «почвенников» совпадала. А. А. Амальрик «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» (1969 г.), И. Р. Шафаревич «Есть ли у России будущее?» (1974 г.), Ю. Ф. Орлов «Возможен ли социализм не тоталитарного типа?» (1975 г.). Избирая риторические фигуры речи для заглавия статей, авторы демонстрировали очевидность ответов. Их позиция слагалась из однозначного «нет» на все предложенные читателям вопросы: социализм может быть только тоталитарным, Советский Союз обречён на раскол, у России нет будущего, если её граждане не примут жертвенность как миссию и религиозность как духовное основание жизнедеятельности. Эти прогнозы произнесены от имени истории. Ощущая себя субъектами истории, диссиденты политизировали сознание современников, утверждали неизбежность социально-общественных преобразований, но теперь не во имя усовершенствования системы, а ради её разрушения. Исторической закономерностью представлялась теперь гибель политической системы, доказавшей свою историческую бесперспективность. Неприемлемость насильственных методов борьбы, декларированная диссидентами, не меняла

[1] Сахаров А. Д., Турчин В. Ф., Медведев Р. А. Письмо руководителям партии и правительства // Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950-е-1980-е: в 3 т. М. : Международный институт гуманитарно-политических исследований, 2005. Т. 2. С. 326.

семантики социальных действий и конечной цели: социализм должен был погибнуть.

Новая цель изменила трактовку проблемы «мы» и История. Новым свойством самосознания стало отчуждение от истории. На вербальном уровне оно закрепилось в речевых штампах обыденной речи «эта страна», «этот народ». «Эту страну надо уносить с собой на подошвах сапог»[1], – говорил незадолго до эмиграции слова В. Е. Максимов. И вот уже В. К. Буковский цинично переосмыслил тему однотипности фашизма и сталинизма: «… я <…> родился в самый разгар войны, когда миллионы людей убивали друг друга ради того, какие будут на свете концлагеря: коричневые или красные»[2]. Суждение, вызывавшее болезненные переживания «старших шестидесятников», высказывается диссидентом как само собой разумеющееся.

Отчуждение как психологическое состояние начинается с дистанцирования субъекта от объекта. Это свойство сознания может обеспечить непредвзятую оценку реальности. Однако аналитические статьи диссидентов, составляющие весомую часть самиздатских общественно-политических журналов, политически тенденциозны, идеологически выверены. Авторская задача определяла категоричный, обличительный характер письменных высказываний. Ю. Ф. Орлов вспоминал: «В <…> эссе ("Возможен ли социализм не тоталитарного типа?" – Е. С.) я предупреждал западных левых о потенциальной опасности централизованной плановой экономики: если в каких-либо критических обстоятельствах понадобится временно и централизация политической власти, то возникшая таким образом комбинация политической и экономической централизации может породить необратимую супертоталитарную систему – ловушку, выбраться из которой будет практически невозможно»[3]. Предупреждение мировой общественности об угрозе, исходящей от социализма,

---

[1] Сахаров А. Д. Воспоминания: в 3 т. // Сахаров А. Д. Собр. соч. : в 8 т. М. : Время, 2006. Т. 3. С. 501.
[2] Буковский В. К. И возвращается ветер… СПб : Захаров, 2007. С. 79.
[3] Орлов Ю. Ф. Опасные мысли. Мемуары из русской жизни. М. : Захаров, 2008. С. 175.

– общий мотив диссидентов, органичный эсхатологическим прогнозам инакомыслящих различных фракций.

Отчуждённое сознание рождало искажённую оптику. Исторический анализ, предполагающий исследование причинно-следственных связей, всё чаще заменялся квазиисторией, воспроизводящей стереотипы сознания диссидентского сообщества. Г. С. Померанц вспоминал: «Колючая проволока перестала ограждать нашу совесть, мы рванулись что-то сделать, убедились в своей беспомощности – и началось создание интеллектуальных транквилизаторов: для уезжающих – образ проклятой страны, в которой никогда ничего не удаётся, у остающихся – образ вредителя, который всё портит»[1]. Метафора, найденная философом – «интеллектуальные транквилизаторы», указывает на психотерапевтическую функцию идеологических мифов, циркулирующих на бытовом уровне в среде эмигрантов и «почвенников»: отчуждённое сознание искало успокоительные объяснения своей несостоявшейся миссии и находило их в простых и ясных формулировках новых мифологем.

Оценивая историческое сознание своего поколения, Г. С. Померанц писал: «Все наши исторические концепции – фантазии троечников, и это в самом-самом лучшем случае. <…> Ни одна теория исторического процесса <…> не годится в качестве инструкции, руководства к действию. Только к прояснению интуиции, рождённой из глубины сегодняшнего исторического опыта – и подсказывающей один-два необходимых шага, но не больше. Надёжное руководство к историческому действию так же невозможно, как эликсир бессмертия и философский камень»[2]. Вывод философа, сделанный в 1990-е годы с высоты нового исторического опыта, подводил итог духовно-нравственным исканиям советской интеллигенции 1960-70-х.

Диссиденты, действуя как политические субъекты, не рассчитывали на реальную политическую власть. Сопротивление режиму декларировалось как

---

[1] Померанц Г. С. Записки гадкого утёнка. С. 292.
[2] Померанц Г. С. Записки гадкого утёнка. С. 313.

нравственно-этическое, интеллектуальное и общественное. Отвергая насилие, политические заговоры и нелегальные методы борьбы, они надеялись исполнять в обществе роль властителей дум и, пропагандируя цивилизованные взаимоотношения граждан и государства, добиться данного результата. Этой цели диссиденты добивались целенаправленно и эффективно, обесценивая существующую власть и всю политическую систему. Идеологи движения оказались правы в эсхатологических прогнозах: система погибла под тяжестью внутренних нерешённых проблем. Следующее десятилетие показало мифологичность «почвеннических» и утопичность западнических проектов преобразования. Историческая самоидентификации «шестидесятников» – ощущение себя субъектом Большой Истории – определила неожиданный для поколения результат: неспособность адаптировать гуманистические ценности к постсоветским общественно-политическим и экономическим реалиям. Реализовалась непреодолённая опасность 1960-70-х годов: диссиденты попали в капкан историзма – абсолютизировали историю в своей жизни и собственную роль в истории.

Итак, мы рассмотрели два компонента сознания «шестидесятников», на наш взгляд определяющих поколенческую специфику самоидентификации: понимание себя как людей эпохи перемен и общества как нуждающегося в преобразовании. Этическая требовательность в оценке происходящего формировала деятельную социальную позицию, выражавшуюся как в общественной деятельности, так и в риторических приёмах, составивших типовые способы объяснения событий. Динамика трансформации сознания от свобомыслия как важнейшей ценности интеллигенции к диссидентству определялась неудовлетворённостью сообщества качеством взаимоотношений государства и общества, отсутствием ожидаемых демократических реформ, представлением о собственной ответственности за будущее страны. Результатом консервативного поворота власти во внутренней политики стало отчуждение «шестидесятников» от государства, повлёкшее кризисное сознание значительной части сообщества, пытавшегося найти компромисс нонконформистских

ценностей с политическими реалиями, и профессиональную деформацию сознания участников диссидентского движения.

ГЛАВА II. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ НОНКОНФОРМИСТОВ

2.1. «Поступок» в аксиологии, самосознании и поведении членов сообщества

Базовым свойством самосознания «шестидесятников» было понимание себя как личности социально действенной. После сталинского тридцатилетия, не знавшего открытого сопротивления, нонконформисты стремились найти новые модели взаимодействия с обществом. Ограничиваться молчаливым неприятием режима, писать «непроходные» в печати тексты «в стол» стало для них неприемлемо. В социальной практике настойчиво декларировались публичность и гласность. Л. К. Чуковская объясняла поворот либеральной интеллигенции к социальному действию сменой эпох: «Наглое, открытое, не стыдящееся себя самовластие, под которым мы жили в тридцатые и сороковые годы, учило одиночеству всех нас, в том числе и меня, вырабатывало навыки молчания и невмешательства. <…> … откроешь рот – и гибель неминуема – зряшная, пустая гибель. Это рассуждение имело смысл во времена Сталина <…>, когда общество было напугано до состояния обморока, да и не было, в сущности, общества, а были разрозненные, одинокие, утратившие понимание люди… <…>. Но это же рассуждение – о молчании, о невмешательстве – сделалось совершенно неверным в пятидесятые годы <…>, когда в стране, после прекращения сталинских зверств, начало робко, ощупью складываться общественное мнение. <…> На наших глазах мученичество, ещё недавно глухое, бессмысленное, переставало быть бесплодным и глухим; оно облекалось в слово и уже одним этим приобретало жизненный и исторический смысл»[1].

Отождествление художественного высказывания и социального действия было свойственно как «шестидесятникам», так и ортодоксам. Восприятие текста как поступка делало полемику в литературной критике не только профессиональной дискуссией, но и столкновением позиций

[1] Чуковская Л. К. Памяти Фриды // Чуковская Л. К. Соч. : в 2 т. М. : Гудьял-Пресс, 2000. Т. 1. С. 396.

противоборствующих сторон. Ориентацию на социальный поступок, наполненный ценностным значением, следует считать одним из мировоззренческих оснований советской интеллигенции. Для учёных и художников таким поступком становилась публичная декларация научных идей и творческих воззрений. Значимость открытого выступления была столь велика, что непременным условием профессионального поведения «шестидесятников» стало гласное обращение к читателю и зрителю, пусть даже ограниченному сам- и тамиздатом, подпольными или полулегальными выставками картин, кинопросмотрами, научными семинарами на дому и тому подобное. Для диссидентов демонстрация неповиновения явилась основным поведенческим приёмом: принципы демократизации общественной жизни должны были обрести наглядное воплощение в митингах и демонстрациях, бесцензурных самиздатских изданиях, петиционных кампаниях, пресс-конференциях для западных журналистов и других формах. «Подпольность» сопротивления (свойство антиправительственных организаций сталинской поры) идентифицировалась как отживший себя метод. В. К. Буковский так мотивировал неприятие нелегальной оппозиционности: «… к демократии не идут подпольным путём. Нельзя учиться у врагов, если хочешь быть не таким, как они. Подполье рождает только тиранию, только большевиков любого цвета»[1]. В том же духе высказывался П. Г. Григоренко, подбирая название для своих воспоминаний: «В подполье можно встретить только крыс…». Современный исследователь справедливо определил диссидентство как культуру поступка[2].

Поступок – действие личностно важное и социально значимое, совершённое человеком по свободной воле с полным осознанием ответственности за него. Соотношение мотивов, цели и результата позволяет оценить значимость поступка. Любой поступок полимотивирован: человека побуждает к действию комплекс индивидуальных, групповых и социальных мотивов. В определение

[1] Буковский В. К. И возвращается ветер… СПб. : Захаров, 2007. С. 115.
[2] Даниэль А. Ю. Диссидентство: культура, ускользающая от определений? // Россия/Russia. Вып. 1 [9] : «Семидесятые» как предмет истории русской культуры. М. : О.Г.И., 1998. С. 114

мотивов и предполагаемых результатов акта непременно включается этика, соответственно, ценностью обладает нравственно наполненное социальное деяние. Низкие средства, использованные для достижения высокой цели, её обесценивают, социальная значимость такого поступка невысока. Тем не менее, каждый поступок обладает нравственным значением, поскольку в нём человек выражает себя во всем спектре отношений с миром, проходит личностное и гражданское самоопределение.

Постараемся осмыслить комплекс мотивов, определяющих личное и групповое поведение, выявить специфику семантики «шестидесятнического» и диссидентского поступка, определить мировоззренческие истоки гражданской позиции, включающей в себя в качестве обязательного компонента самовыражение через социальное действие.

Нонконформисты получали образование в советской школе, где формировалась их личностная и социальная идентичность. Марксизм понимал человека как существо социальное, реализующее свой потенциал в обществе. Свобода, творческое и нравственное развитие личности понимались как важнейшие показатели исторической значимости конкретного общества. Поскольку именно человек создает общественные формы, он способен их усовершенствовать. Таким образом, ориентация на преобразование мира в соответствии с логикой исторического прогресса и гуманистическим характером социалистического общества закладывалась в программу формирования личности. Эти мировоззренческие принципы нонконформисты реализовывали в гражданской практике.

Осознать аксиологическую значимость поступка для общественного сознания «шестидесятников» поможет анализ социокультурного контекста, в котором кристаллизовались идейные и мировоззренческие искания творческой и научной интеллигенции.

В 1960-70-е годы советское общество вступило в новую стадию индустриализации, это потребовало от него мобилизации для практического решения производственных, экономических и культурных задач. Общественный

запрос актуализировал исследования деятельной сущности человека, предпринимаемые в различных сферах гуманитарного знания.

Гуманитарные науки в 1960-70-е годы переживали антропологический поворот. Философы стремились создать в качестве относительно самостоятельной области исследования философию человека[1]. Учёные (С. С. Батенин, Г. С. Батищев, Б. Г. Ананьев, М. С. Каган, Э. В. Ильенков, Г. П. Щедровицкий, М. К. Мамардашвили и другие) пытались, оставаясь в рамках марксизма, преодолеть узко социальное толкование сущности человека. Например, Г. С. Батищев полагал, что советская философия призвана «дать такую логику, посредством которой действительный мир предстанет перед человеком как диалектически-динамичный <…>, как мир проблем для человеческой культурно-творческой деятельности»[2]. Б. Г. Ананьев в работе «Человек как предмет познания» (1968 г.) отрицал образ человека одномерного – продукта однородной в своей основе социальной среды, соответственно не принимающей никакую инородность (в экономике, политике, идеологии, образе жизни). Автор раскрывал идею многомерности человека как существа универсального и считал, что данная проблема не сводится лишь к социологии личности[3]. В осмыслении человека с Б. Г. Ананьевым солидаризировался М. С. Каган. Он утверждал необходимость формирование целостного образа человека, для чего кроме философии предлагал привлечь методологию других гуманитарных наук, в частности психологии[4], с середины 1930-х сосредоточенной на изучении проблем деятельности и способной внести значительный вклад в формирование философской антропологии.

---

[1] Горбачёв В. Г. Антропологический поворот в советской философии (1960-70-е годы) // Среднерусский вестник общественных наук. 2012. № 3. С.7.

[2] Батищев Г. С. Общественно-историческая, деятельная сущность человека // Вопросы философии. 1967. № 3. С. 26.

[3] Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания . Ленинград: Изд-во Ленинградского гос. ун-та, 1968. С. 301.

[4] Каган М. С. Человеческая деятельность: (опыт системного анализа). М. : Политиздат, 1974. С. 8, 12.

Действительно, в трудах ведущих советских психологов Л. С. Выготского[1], С. Л. Рубинштейна[2], А. Н. Леонтьева[3] и других исследовались механизмы формирования личности в процессе деятельности. С философами учёных сближала опора на диалектический и исторический материализм, ориентация на исследования взаимосвязи человека и общества, утверждение решающего влияния социальной деятельности на типологию поведения и структуру личности. В соответствии с концепцией личности давалась характеристика поступка. Он трактовался как действие, выражающее отношение человека к другим людям, поставленной задаче, социальным нормам, ценностям и, как следствие, подвергающееся общественной оценке.

А. Н. Леонтьев выводил структуру психики, сознания и личности из деятельности, понятой как форма взаимодействия с миром. Не все фактически осуществляемые деятельности являются частью жизни человека, некоторые виды могут отчуждаться и приобретать внешний характер. Соответственно, личность есть иерархия деятельностей. Регулятором упорядочения выступает субъективно осознанный смысл деятельности, реализованный в поступке. Давая определение понятию, Леонтьев характеризовал поступок как «действие, судьба которого определяется не из наличной ситуации»[4]. Продолжая логику учёного, его ученица Л. И. Божович называла поступок единицей исследования личности как целостной иерархической системы. Поступок, с точки зрения Л. И. Божович, всегда сопровождается борьбой мотивов и принятием решения в пользу одного из них. Личность в поступках самоопределяется и формируется, подтверждала она суждение наставника[5].

---

[1] Выготский Л. С. Мышление и речь : сборник. М. : АСТ : Хранитель, 2008. – 669 с.

[2] Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СП. : Питер, 2003. 713 с.

[3] Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М. : Политиздат, 1975. 304 с.; Его же. Философия психологии: из научного наследия / под ред. А. Н. Леонтьева, Д. А. Леонтьева. М. : Изд-во Московского ун-та, 1994. 228 с.

[4] Леонтьев А. Н. Философия психологии: из научного наследия. С. 182.

[5] Божович Л. И. Проблемы формирования личности: Избр. психол. тр. / под ред. Д. И. Фельдштейна. М. : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2001. С. 150-152.

К созданию единой с философами антропологии двигался С. Л. Рубинштейн. Учёный не ограничивался рассуждениями о психике, а осмысливал бытие человека. Оно многогранно: это и созерцание, и мышление, и любовь, и творчество, и многое другое. Чтобы исследовать человека, утверждал философ, надо анализировать все его связи с миром, включить в состав бытия. Поступок есть проявление личности, поскольку действие становится поступком по мере того, как формируется самосознание. В этом смысле поступок – высшая форма деятельности. В нём выражена личностная позиция, сознательное отношение человека к себе, другим людям и нормам общественной морали[1].

Концепция С. Л. Рубинштейна созвучна «метафилософской» методологии М. М. Бахтина, стремившегося в осмыслении личности синтезировать философию, этику, эстетику и психологию. Как известно, в 1960-70-е годы главные работы мыслителя оказались заново востребованными. В 1963 году была переиздана книга о Достоевском, в 1965-ом – «Творчество Франсуа Рабле…», в 1975-ом вышли «Слово в романе», «Формы времени и хронотопа в романе» и другие. Однако фрагмент большого труда 1920-х годов, названный впоследствии «К философии поступка», был опубликован лишь в 1986 году. Таким образом, принципиальная в творчестве М. М. Бахтина работа оказалась в восприятии современников на периферии его наследия. Тем интереснее и показательнее для оценки общего движения научной мысли очевидное совпадение рефлексии автора и современных ему учёных.

У М. М. Бахтина основополагающим феноменом, определяющим нравственный характер концепции, выступает ответственность. Согласно автору, ответственное существование человека предполагает совершение поступков на основе признания своего «не-алиби», то есть причастности бытию. В ответственном поступке, по Бахтину, сочетаются этика, эстетика, потребность отыскать истину и действие. Познание есть поступок, утверждающий

---

[1] Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир. СПб. : Питер, 2003. 512 с.; Его же. Основы общей психологии. СПб. : Питер, 2003. 713 с.

абсолютную ценность истины. Мысль есть поступок, выявляющий степень соответствия человека бытию. Слово есть поступок: «Для выражения поступка изнутри и единственного бытия-события, в котором свершается поступок, нужна вся полнота слова: и его содержательно-смысловая сторона (слово-понятие), и наглядно-выразительная (слово-образ), и эмоционально-волевая (интонация слова) в их единстве. И <во> всех этих моментах единое полное слово может быть ответственно значимым – правдой, а не субъективно случайным»[1].

Способ существования человека в мире – ответственный поступок: «Всё содержательно-смысловое: бытие – как некоторая содержательная определённость, ценность – как в себе значимая, истина, добро, красота и пр. – всё это только возможности, которые могут стать действительностью только в поступке на основе признания единственной причастности моей»[2]. В ответственном поступке проявляется причастность человека не только событиям окружающего мира, но и другим людям, являющимся одновременно соучастниками и потенциальными свидетелями такого самоудостоверения. Таким образом, характеристикой и мышления, и поступка является диалогичность (мысль, известная философам 60-х годов по опубликованным бахтинским работам).

Ответственность – залог единства культуры и жизни. Человек, осознав это, способен избежать «неучастности» в бытии: случайности сказанного, сделанного, прожитого и, как следствие, конъюнктуры в творчестве и конформизма в жизни. «Бытие Бахтина не просто человечно, личностно, оно чрезвычайно красиво (эстетично), оно участно (этично), инициативно, образно – благодаря своим фундаментальным личностным свойствам. Бахтинское "я" (или субъект-личность) – это социально ответственная, неэгоистичная субъективность», – отмечает современный исследователь[3].

---

[1] Бахтин М. М. К философии поступка // Бахтин М. М. Собр. соч. : в 7 т. М. : Русские словари : Языки славянской культуры, 2003. Т. 1. С. 32.
[2] Там же. С. 41.
[3] Колесниченко Ю. В. Личность как бытие: концепция личности в ранних философских работах М. М. Бахтина. // Вестник ПСТГУ. I: Богословие. Философия. 2011. Вып. 4(36). С. 76.

На первый взгляд философ развивал картезианский идеал целостной рефлексирующей личности. Однако соответствие незавершённому, находящемуся в становлении миру предполагало динамичную личность, не останавливающуюся в развитии, способную к дальнейшим трансформациям. Это личность эпохи модерна, как её понимал философ. В осмыслении проблемы повседневного бытия личности философ солидаризировался с С. Кьркегором, Х. Ортегой-и-Гассетом, Ж.-П. Сартром: сознательно-напряжённое следование долгу, ответственный поступок – единственный способ личностной причастности бытию. Иначе – потеря себя, самозванство, отпадение в ничто.

Как говорилось выше, работа учёного находилась вне философского дискурса тех лет. Однако общее направление рефлексии – к новому осмыслению деятельной природы личности – симптоматично. Оно выявляет сходство социокультурных механизмов: в переломные моменты отечественной истории, будь то 1920-е или 1960-е годы, актуализируется осмысление деятельной природы человека как условия его адекватности динамично меняющемуся миру.

Философские проблемы соотношения человеческого сознания, деятельности и бытия культуры находились в центре внимания Ю. М. Лотмана. Размышления о поступке вписаны им в структурно-семиотическую парадигму. Учёный исследовал механизмы организации и функционирования культуры, выявил системные сходства между различными аспектами духовной и социальной деятельности. Рассматривая культуру как различные модели деятельности и отношения человека к окружающему миру, мыслитель производил анализ бытового поведения людей определённой эпохи как её кода. Таким образом, в методологии Лотмана поступок выступал культурно-исторической единицей, выявляющей типологию культуры. Внимание к поступку как характеристике личности в её соответствии бытию и признании ответственного поведения как нормы существования выявляет общность творческих пристрастий культуролога и философа.

Некоторые идеи молодых философов-шестидесятников, например Э. В. Ильенкова и Г. П. Щедровицкого, также можно назвать созвучными

бахтинским. Философы обладали тем типом мышления, которое М. М. Бахтин называл «участным». В работах, посвящённых разным видам деятельности: предметно-практической, мыслительной, творческой – нет рассуждений о поступке как единице деятельности. Однако в их принципиальную научную позицию входила практическая апробация собственных концепций в социальной практике. Так поступок, понятый как общественно значимое деяние, становился способом подтверждения жизнеспособности научных воззрений. Это и есть мышление-поступок, осуществляемый личностью «из себя, со своего единственного места» в бытии (М. М. Бахтин)[1]. Именно такой была философская и мировоззренческая позиция учёных.

Э. В. Ильенков двигался к созданию общефилософского понимания проблематики личности. Философ осмысливал тождество бытия и мышления. В поле его анализа попадало не только научное мышление, но и нормы нравственных действий, основания эстетических суждений. Идеальное было понято как существующее в деятельности, мышление представало её предметно-практической формой. Экспериментальное подтверждение теоретических выводов учёный нашёл в ходе работы с выпускниками Загорского детского дома для слепоглухих детей, студентами психологического факультета МГУ. Совместно с руководителем данного учреждения А. И. Мещеряковым, давшим психолого-педагогическое основание методике обучения подопечных, учёный сформулировал философскую базу: психическое развитие есть результат «разумно целенаправленной предметной деятельности»[2]. Определяющую роль в становлении человека, по мнению А. И. Мещерякова и Э. В. Ильенкова, играют предметно-практические операции. Действия по бытовому самообслуживанию и труду определяют развитие речи и мышления. Следовательно, обучение предметным действиям и бытовым навыкам делает из ребёнка человека. Сформировать психику – это значит сформировать поведение. Так в ходе

---

[1] Бахтин М. М. К философии поступка. С. 55.

[2] Ильенков Э. В. Откуда берется ум? // Ильенков Э. В. Философия и культура. М. : Политиздат, 1991. С. 38.

научного эксперимента подтверждалась деятельностная природа человеческой сущности.

Друг и коллега Э. В. Ильенкова Г. П. Щедровицкий стремился в научной и педагогической практике «к созданию новых форм жизнедеятельности и мышления»[1]. Для этих целей в 1957 году он создал Московский методологический кружок (продолжение Московского логического кружка, основанного в 1954-ом А. А. Зиновьевым и впоследствии руководимого Г. П. Щедровицким). Столь теоретически глобальная и одновременно конкретно-практическая задача проистекала из авторской теории мышления: оно не порождается человеком, а проходит через голову, преобразуясь и трансформируясь в ней (схожие мысли высказывал А. М. Пятигорский[2]). В таком случае субъект понимался как «функциональное место» языка и мышления. Мышление – это коллективный эффект – этот тезис, по воспоминаниям участников кружка, Г. П. Щедровицкий повторял многократно. В этом полифоническом осмыслении феномена (идеи, созвучные концепции диалога М. М. Бахтина) мышление наделялось социокультурной ролью. Обучение «технологии мышления» – первый этап. Следующий шаг – реализация на практике «мыследеятельности» (термин Г. П. Щедровицкого): «рассматривать деятельность без мышления нельзя, и мышление без деятельности – нельзя»[3]. Овладев навыками интеллектуальной работы, члены кружка, по мнению руководителя, были способны разрабатывать и последовательно осуществлять сколь угодно масштабное преобразование социальной среды. Любую гуманитарную деятельность Г. П. Щедровицкий понимал как такую, которая конструирует свой предмет и сама же его преобразует. «Создаваемая в рамках ММК теория деятельности <…> должна была, по мысли её создателей, обеспечить возможность прогнозирования и

---

[1] Щедровицкий Г. П. Философия. Наука. Методология. М. : Школа культурной политики, 1997. С. 51.

[2] Пятигорский А. М. Непрекращаемый разговор. СПб. : Азбука-классика, 2004. С. 37-42.

[3] Щедровицкий Г. П. На досках. Публичные лекции по философии Г. П. Щедровицкого. М. : Школа культурной политики, 2004. С. 135.

управления развитием разных форм социально значимой деятельности», – указывает историк философии[1]. Марксистское положение о взаимосвязи человека и общества философ трансформировал в духе нонконформистских воззрений: «… когда человек-индивид отвоёвывает себе право не подчиняться законам места и бродить в этой социальной структуре. Вот тогда формируется личность», «… стать личностью можно только тогда, когда ты выдержал давление системы, отбил его и продолжаешь своё действие и свою жизнь»[2]. Становление личности, таким образом, есть социокультурное самоопределение. Выбрать жизненный путь – значит проявить личностную зрелость и самостоятельность как в мышлении, так и в поступках. Эта способность выявляет человеческое достоинство и меру ответственности индивида за состояние общества. Учёный утверждал: «Деятельностный подход складывался и формировался при чётком признании того, что человек должен брать на себя ответственность. Субъективный подход и волевое решение необходимы в каждом деле, и это есть, наверное, самое главное, что требуется от каждого человека»[3]. Примечательно, что Г. П. Щедровицкий приходил к идеям, близким М. М. Бахтину (диалогическое основание позиции человека, экстраполяция ответственного поступка на бытие), своим путём: применял основные постулаты диамата к реалиям советского общества, нуждающегося в пробуждении в человеке истинного творца – себя как личности, общественного прогресса, истории страны: «… нужно вернуть человеку его активную деятельностную роль и понимание того, что он – человек, и он действует, а не просто влеком потоком событий»[4]. Очевидна перекличка мысли философа с экзистенциальной идеей С. Кьеркегора: человек только тогда становится личностью, когда совершает

---

[1] Пископпель А. А. Г. П. Щедровицкий – подвижник и мыслитель // Познающее мышление и социальное действие: наследие Г. П. Щедровицкого в контексте отечественной и мировой философской мысли. М. : Ф.А.С.-медиа, 2004. С. 24.
[2] Щедровицкий Г. П. На досках. С. 73.
[3] Там же. С. 88.
[4] Там же. С. 86.

выбор, перестаёт плыть по течению[1]. Движение в сторону экзистенциализма свидетельствует о стремлении философа найти помимо марксистских дополнительные методологические основания в осмыслении феномена личности.

Совпадение философских идей ряда советских мыслителей и художников с воззрениями экзистенциалистов весьма показательно для характеристики вектора развития культуры тех лет. У поколения европейских и отечественных интеллектуалов был общий исторический опыт – Вторая мировая война, вызвавшая схожее осмысление проблем нравственного выбора и долга, самопожертвования и борьбы. Трагический опыт сталинского тридцатилетия актуализировал в самоопределении советских мыслителей экзистенциальное решение проблемы свободы и тоталитаризма. Кроме того, взаимный интерес интенсифицировался в процессе непосредственного профессионального общения: советские философы выезжали за рубеж на стажировки и научные конференции (в частности, М. К. Мамардашвили лично познакомился с Сартром в Праге), французские экзистенциалисты Ж-П. Сартр и С. де Бовуар, известные «левыми взглядами», посещали СССР. Заявление Сартра о солидарности со многими положениями марксизма, сделанное в статье «Экзистенциализм – это гуманизм» (работа написана и переведена на русский язык в 1953 году), а также позитивные отзывы о Советском Союзе после первой поездки в 1954-ом закрепили за ним репутацию прогрессивного писателя. Благожелательное отношение властей обеспечило доступ литературных произведений и публицистики экзистенциалистов к советскому читателю: в 1950-60-е годы в периодике и отдельными изданиями было опубликовано по 10 текстов Ж.-П. Сартра и А. Камю (последний вызывал меньше доверия)[2]. Заинтересованный

---

[1] Кьеркегор С. Гармоническое развитие в человеческой личности эстетических и этических начал // Наслаждение и долг. Киев : AirLand, 1994. С. 305.

[2] Болларт Ш. Советская судьба французских экзистенциалистов: анализ восприятия переводов произведений Жан-Поля Сартра и Альбера Камю. Гент : Изд-во Гентского ун-та, 2014. 77 с. URL: https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/162/250/RUG01-0021622502014_0001_AC.pdf (дата обраще ния 20.12.2018)

читатель мог получить информацию об их творчестве из филологических исследований[1] и статей Большой Советской (в том 1955 года включена статья о Сартре)[2] и Краткой Литературной энциклопедии (в книгу 1966 года – о Камю)[3]. Экзистенциальное мироощущение оказалось созвучно творческим исканиям художественной интеллигенции. В прозе В. В. Быкова, В. Т. Шаламова, Ю. В. Трифонова и многих других проблемы эпохи осмысливаются в духе французских коллег.

Однако мировоззренческая близость не означала принятия инородной по отношению к марксизму философской системы. Экзистенциализм не мог прижиться в официальной советской науке. Обсуждение его основных положений в печати неизменно велось с позиции критики, учение определялось как идеалистическое и буржуазное (работы П. П. Гайденко[4], Э. Ю. Соловьева[5], Г. М. Тавризян[6], сборник «Современный экзистенциализм. Критические очерки»[7]). Негативная оценка была зафиксирована в Большой Советской энциклопедии 1957 года[8]. Советские философы демонстрировали неоднозначную позицию. Индивидуальные устремления таких мыслителей, как А. Н. Лосев, М. М. Бахтин, М. К. Мамардашвили, Г. П. Щедровицкий тяготели к экзистенциализму, официальные оценки не выходили за рамки общепринятых. Безусловно, каждый из учёных вёл свой диалог с экзистенциализмом и шёл

---

[1] Шкунаева И. Д. Современная французская литература / И. Д. Шкунаева. М. : Институт международных отношений, 1961. 333 с.

[2] Большая Советская Энциклопедия в 51 т. / гл. ред. Б. Введенский. М. : Большая Советская Энциклопедия, 1955. Т. 38. С. 123.

[3] Краткая Литературная Энциклопедия : в 9 т. / гл. ред. А. Сурков. М. : Советская Энциклопедия, 1966. Т. 3. С. 352.

[4] Гайденко П. П. Экзистенциализм и проблема культуры: (Критика философии М. Хайдеггера). М. : Высшая школа, 1963. 119 с.; Её же. Трагедия эстетизма: опыт характеристики миросозерцания Серена Киркегора. М. : Искусство-Санкт-Петербург, 1970. 247 с.

[5] Соловьев Э. Ю. Экзистенциализм и научное познание. М. : Высшая школа, 1966. 156 с.

[6] Тавризян Г. М. Проблема человека во французском экзистенциализме : Критический анализ. М. : Наука, 1977. 141 с.

[7] Современный экзистенциализм. Критические очерки / ред. Т. И. Ойзерман. М. : Мысль. 1966. 565 с.

[8] Большая Советская Энциклопедия в 51 т. / гл. ред. Б. А. Введенский. М. : Большая Советская Энциклопедия, 1957. Том 48. С. 358.

своим путём. М. М. Бахтин – через русскую религиозную философию начала века, М. К. Мамардашвили и Г. П. Щедровицкий – через сопоставление принципов экзистенциализма и марксизма. Однако воззрения отечественных и западных философов совпадали в понимании проблемы свободного самовыражения человека в поступке, ответственного существования личности.

Безусловно, научные изыскания учёных в исследовании проблемы личности, характере взаимосвязи общества и человека, специфике различных видов деятельности не означали автоматической реализации научных теорий в социальной практике, не обязательно приводили к оппозиционности. Побудительные мотивы включения в нонконформистскую активность у философов были те же, что и у всей либеральной интеллигенции: запрет публикаций, невозможность свободно развивать научные концепции, слишком смело трактующие положения диамата и истмата, и тому подобное. Отношение к оппозиционному общественному движению было неоднозначным. Например, Г. П. Щедровицкий не принимал диссидентства, считал его в советских реалиях бесполезной и даже неумной тратой сил. Он любил повторять, что не стоит «бить стёкла», потому что подлинная революция свершается в мышлении, а всё остальное само изменится. При этом из Московского логического кружка и ММК, которыми руководил Г. П. Щедровицкий, выходили социально активные личности: ставший впоследствии одним из ведущих социологов СССР и постсоветской России Б. А. Грушин, будущий диссидент Б. И. Шрагин. Участники Методологического кружка вспоминали, что формирование активной жизненной позиции происходило в них незаметно: оправдывалась ориентация наставника на саморазвитие как основной механизм формирования личности, при котором руководитель только помогал проявиться скрытому потенциалу учеников[1]. При этом от ситуаций, требовавших проявления гражданской позиции, Г. П. Щедровицкий и его ученики не уклонялись. Так было, например, в ходе суда над А. И. Гинзбургом, Ю. Т.

[1] Кузнецова Н. И. Философия в советском андеграунде: практики выживания // Высшее образование в России. 2016. № 5. С. 80-91.

Галансковым, А. А. Добровольским и В. И. Лашковой. Б. И. Шрагин тогда подписал «письмо 79-ти», за что поплатился увольнением из Института теории и истории изобразительных искусств, и активно включился в правозащитную деятельность. Г. П. Щедровицкий присоединился к «письму 224-х» и был уволен из Института философии. Словом, двигателем социального протеста самостоятельно мыслящей интеллигенции выступала апофатическая позиция, в обыденной практике укладывающаяся в лаконичный тезис «Так не должно быть!». Не должна власть травить лучший в стране литературно-художественный журнал, ссылать поэта за тунеядство, отдавать под суд писателей, посмевших напечатать за границей заведомо «непроходные» на родине тексты, клеймить на собраниях и увольнять коллег, выступивших с поддержкой осуждённых, требовать публичных отречений от творческих идей, научных концепций и прочее, и прочее. Либеральной интеллигенцией руководил эмоциональный позыв противостоять давлению властей, этическое неприятие гонений на свободное слово и мысль. А. А. Зиновьев спустя годы называл причиной создания социологической антиутопии «Зияющие высоты» «неодолимое желание дать "Им" (всему <…> социальному окружению) в морду»[1]. Дрейф в сторону оппозиционности философов, стремившихся сохранить себя как самостоятельных учёных и целостную личность, как, впрочем, и других интеллектуалов и художников, был закономерен.

Общественное сознание не отзывалось немедленно на концепции философов. В обыденном сознании как интеллигенции, так и обычных советских людей ценились активная гражданская позиция и социальный поступок, что отражалось в риторических стереотипах: «правду необходимо отстаивать», «за справедливость надо бороться», «нравственные принципы нужно защищать». Эти постулаты реализовывались в разнообразных поведенческих стратегиях и тактиках. Г. С. Померанц вспоминал: «… моя жена говорила, что мы живём на полке у сытого людоеда, который не торопится нас скушать. Но <…> я ещё на войне привык к риску, и он меня не пугал. А самых крайних ситуаций я по

[1] Зиновьев А. А. Исповедь отщепенца. М. : Вагриус, 2005. С. 404.

возможности избегал. Вместе с тем мне хотелось показать пример жизни среднего человека в этой стране, который не боится совершать какие-то поступки, грозящие, в сущности, только мелкими неприятностями. Ну, сорвут защиту диссертации, будут держать тебя на какой-то технической работе, бить тебя рублём, так что придётся считать каждую копейку, и т. д. Я на это шёл. И одновременно сохранял за собой свободу слова. Мне казалось полезным и нужным дать такой пример, не уезжая на Запад, где, понимаете, все подобные проблемы сразу снимаются. Мне хотелось решать их здесь»[1]. Учёный называл своё социальное поведение разумной осторожностью: «Писал под собственным именем, так что искать меня, как Синявского, не надо было, но вместе с тем писал в известной мере эзоповым языком, чтобы состав преступления найти было трудно»[2]. Для автора, как для творческого человека, поступком является честное и свободное выражение научных взглядов, возможное при соблюдении некоторых тактических приёмов поведения. Поведенческий образец, убеждён философ, поддаётся тиражированию: пример, усвоенный сообществом, способен сориентировать коллег в выборе личностной позиции и способов самореализации. Нравственный максимализм Г. С. Померанца, свойственный многим нонконформистам, выразился в осмыслении жизни – и в целом, и в каждом её проявлении – как поступка, о чём размышлял М. М. Бахтин.

Разрозненные выступления нонконформистов в начале «оттепели» не являлись оппозиционными, протестное движение не сформировалось. «Шестидесятники» стремились ввести в норму общественного поведения гражданскую активность, в художественной и научной практике расширить границы допустимого властью. Нонконформисты искали для этого и официальные, и полулегальные способы: добивались от цензуры разрешения публиковать в литературно-художественных журналах «запрещённых» авторов, организовывали квартирные выставки, научные семинары и так далее. Редактор альманаха «Тарусские страницы» (Калужское книжное издательство, 1961 г.) К.

---

[1] Померанц Г. С. Записки гадкого утёнка. М. ; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2011. С. 453-454.
[2] Там же. С. 454.

Г. Паустовский руководствовался теми же мотивами, что и А. И. Гинзбург при формировании «Синтаксиса» (1959-1960 гг.): восполнить белые пятна в литературном процессе, расширить эстетические горизонты. Раздражение власти не входило в художественную задачу. Отсутствие оппозиционности в творческом замысле А. И. Гинзбурга подтверждает тот факт, что «из трёх десятков авторов «Синтаксиса» около половины стали очень скоро печататься в открытой советской прессе, и многие стихи, отданные ими в «Синтаксис», вошли в их печатные сборники»[1].

Последствия независимого поступка зависели от многих составляющих: текущего политического момента, стечения обстоятельств, личной воли партийных руководителей и прочее. Акция могла обернуться неприятностями или остаться незамеченной. Неопределённость результатов определяла восприятие «шестидесятниками» общественно значимого поступка в категориях риска и игры. Г. С. Померанц так отзывался о выпуске неподцензурного журнала: «В "Синтаксисе" было что-то уникальное, неповторимо личное, невозможное без авантюрного характера, беспечности и организаторского напора А. И. Гинзбурга, действовавших в нём как-то бессознательно и непреодолимо. Этот авантюрный дух создал "Синтаксис", и он же его провалил…»[2]. Те же коннотации звучат при характеристике своего выступлении на собрании в Институте философии в 1965 году: «… антисталинская речь так удалась мне именно потому, что в ней не было скучной серьёзности, что это была, в известном смысле, игра <…>, на которую я смотрел, при всей захваченности, откуда-то изнутри, из точки покоя и обдуманно соразмерял степень дерзости, балансируя на самой черте, за которой неизбежно начинались репрессии, – но не переходя через черту»[3]. Общим свойством поступка названо проявление личностью нравственной независимости, способность к рискованному поступку.

---

[1] Александр Гинзбург: русский роман / авт.-сост. В.И. Орлов. М. : Русский путь, 2017. С. 66.
[2] Померанц Г. С. Записки гадкого утёнка. С. 300.
[3] Там же. С. 309.

Игровые навыки социального поведения оказывались продуктивными всякий раз, когда прямое и открытое выражение позиции осмысливалось как чреватое последствиями. Например, американский философ Д. П. Скэнлан вспоминал о стажировке в Московском университете в 1964-1965 годах. Молодой преподаватель американского университета, изучавший этические теории Н. Г. Чернышевского и Д. И. Писарева, был поражён тогда несоответствием неформальной и официальной риторики, использованной советскими коллегами при оценке его работ. Если на заседаниях кафедры буржуазные воззрения, лишённые верного классового подхода, неизменно подвергались критике, то за стенами университета реакция была совершенно лишена догматизма и предвзятости. Молодой человек быстро адаптировался к специфике профессиональной коммуникации и не удивился, когда во время следующего приезда, в 1969 году, научный руководитель помог ему получить доступ к закрытым архивным материалам, а во время обсуждения на кафедре статьи, написанной на их основании, резко обрушился на автора за использование «вредной» и «маловажной» информации. «После такого ритуального осуждения, – замечает с иронией учёный, – мы опять расстались с улыбкой и тёплыми рукопожатиями, каждый был доволен результатом: он публично осудил ту самую работу, которую тайком помог мне сделать, а я, хотя и получил публичное неодобрение, был благодарен ему за помощь. Таких случаев, когда простая человеческая доброта отвергала слепую идеологическую приверженность, было бесконечно много в советскую эпоху. Несомненно, – резюмирует Скэнлан, – двойственность поведения была широко распространена»[1]. На первый взгляд поведение двух советских философов, Г. С. Померанца и профессора МГУ, кажется принципиально различным. Один стремится преодолеть типичное для советского человека «двоемыслие» и сохранить личностную целостность, другой демонстрирует внешнюю конформность. Однако оба стремятся не перейти черту нормативного поведения

[1] Скэнлан Дж. П. Американский философ в Московском государственном университете, 1964/1965 гг. // Как это было: воспоминания и размышления. М. : РОССПЭН, 2010. С. 455.

и в то же время поступить по совести или, по образному определению Д. А. Гранина, неплохо владевшего навыками лавирования, «проникнуть в узкую щель между совестью и подлостью»[1]. Таким образом, амбивалентность мотивов поступка рождала игровую тактику: демонстрацию адаптивного поведения при сохранении нравственной ценности свободомыслия.

Тем не менее, публичное выражение несогласия с официальными декларациями предполагает решимость и смелость. Эти качественные характеристики поступка важны для самосознания «шестидесятников». П. Г. Григоренко так описывал своё психологическое состояние перед антисталинским выступлением на районной партконференции в 1961 году: «Я поднялся и пошёл. Что происходило со мной в это время, я никогда рассказать не смогу. Я себя не чувствовал. Такое, вероятно, происходит с идущим на казнь. А может, это особое чувство, вызванное гипнотическим влиянием массы, которая сосредоточила всё внимание на мне. Во всяком случае, это было страшно. Более страшного я никогда не переживал. То был самый жуткий момент моей жизни. Но это был и мой звёздный час»[2]. Публичная декларация своей позиции представлена как поворотный момент в биографии, сопряжённый с ясным пониманием опасности и преодолением страха. Поступок самоопределения определил дальнейшие действия и сформировал гражданскую позицию.

Один из сквозных мотивов воспоминаний нонконформистов начала «оттепели» – незаметное для самих будущих оппозиционеров врастание в противоборство с властью. В дневниках редакторов «Нового мира» А. Т. Твардовского, А. И. Кондратовича, В. Я. Лакшина эта тема звучит драматично: «Нечего больше делать, как только отламывать по кирпичику, выламывать, выкрошивать эту стену»[3] (А. Т. Твардовский); в воспоминаниях Р. Д. Орловой и Л. З. Копелева «Мы жили в Москве» с ироничным изумлением: «Мы потом

---

[1] Довлатов С. Д. Ремесло // Довлатов С. Д. Собр. соч. : в 4 т. СПб : Азбука-классика, 2003. Т. 3. С. 28.
[2] Григоренко П. Г. В подполье можно встретить только крыс… М. : Звенья, 1997. С. 336.
[3] Твардовский А. Т. Новомирский дневник: в 2 т. М. : ПРОЗАиК. 2009. Т.1. С. 231.

много раз спрашивали себя: когда именно началось наше отдаление <…> от партии, в которой мы всё ещё состояли?»[1]. Литераторов сближает толкование нормы личностного поведения в повседневной практике, предполагающей деятельное участие в общественных процессах. Ответственная гражданская позиция не имеет альтернативы. В том же духе высказывался Е. Л. Шварц: «… человек, ужаснувшийся злу и начавший с ним драться, как безумец, всегда прав»[2].

В соответствии с логикой марксизма нонконформисты осмысливали свои гражданские акции как детерминированные социальными факторами и значимые по последствиям. «Шестидесятники» указали в воспоминаниях мотивы своих действий: социальные причины, выполняющие роль внешних стимулов, и внутренние, личностные побуждения. В качестве главного внешнего стимула названа рассогласованность курса партии, декларированного XX и XXII съездами, с реальным положением дел. Внутренними побуждениями выступают:

– социальные: борьба с неосталинистами за свободу слова, демократические реформы, исторический прогресс. «… Главным злом мы считали чиновников, аппаратчиков во всех инстанциях, и в Союзе писателей, и в ЦК. И надеялись, что Никита их свергнет» (Р. Д. Орлова, Л. З. Копелев)[3];

– этические: потребность противостоять официальной лжи, жить по совести, защищать гонимых. «Нам были отвратительны негодяи, захватившие руководство в Союзе писателей. Наше сочувствие вызывали те, кого прорабатывали, кого травили» (Р. Д. Орлова, Л. З. Копелев)[4];

– нравственные: попытка зафиксировать в качестве нормы гражданского поведения бескомпромиссность и принципиальность. «Я выступил в институте философии и сказал то, что думал о решении реабилитировать Сталина <…>. Я

---

[1] Орлова Р. Д., Копелев Л. З. Мы жили в Москве: 1956-1980. М. : Книга, 1990. С. 85.
[2] Шварц Е. Л. Превратности судьбы. Воспоминания об эпохе из дневников писателя. М. : АСТ, 2013. С. 286.
[3] Орлова Р. Д., Копелев Л. З. Мы жили в Москве. С. 29.
[4] Там же. С. 85-86.

посмел и сумел сказать вслух то, что все вокруг хотели сказать и не решались» (Г. С. Померанц)[1];

– воспитательные: дать поведенческий образец и таким образом выявить потенциальных единомышленников. «Я хотел <…> подсказать, что так, как я, могут все. <…> … мне хотелось пройти по лезвию ножа, дать пример оппозиционного выступления без репрессий, пример для подражания» (Г. С. Померанц)[2]. «И тут с особой силой навалилась на меня уже давно преследовавшая мысль: "Надо выступать. Нельзя молчать. Тем более, что я могу иметь трибуну, с которой далеко прозвучит"» (П. Г. Григоренко)[3];

Аксиология поступка представлена комплексом этих мотивов. Безусловно, в соответствии с личной аксиологией каждый из нонконформистов определял доминирующие или вторичные по значимости ценности и моделировал их иерархию.

Поступок, осмысленный в воспоминаниях как бой или опасная игра, менял всю жизнь. «… я понимал, что выступление будет стоить мне крушения всего устоявшегося и вполне меня устраивающего уклада» (П. Г. Григоренко)[4]; «Сахарова <…> надо было поддержать немедленно. К концу недели я закончил с этой целью "Тринадцать вопросов Брежневу". Гэбисты положили в свои сейфы первые вещественные доказательства моего будущего уголовного дела» (Ю. Ф. Орлов)[5].

К марксистскому пониманию поступка как социально детерминированного нонконформисты добавили экзистенциальную идею личной ответственности. Прошлые поступки индивида определяют последующие обстоятельства его жизни, формируют судьбу. «Человек существует лишь настолько, насколько себя осуществляет. Он представляет собой, следовательно, не что иное, как совокупность своих поступков, не что иное, как собственную жизнь», – писал

---

[1] Померанц Г. С. Записки гадкого утёнка. С. 210.
[2] Померанц Г. С. Записки гадкого утёнка. С. 310.
[3] Григоренко П. Г. В подполье можно встретить только крыс… С. 334.
[4] Там же. С. 334.
[5] Орлов Ю. Ф. Опасные мысли. Мемуары из русской жизни. М. : Захаров, 2008. С. 154.

Ж.-П. Сартр[1]. Возникновение экзистенциальных коннотаций в нонконформистском толковании поступка закономерно. Осознав оппозиционные действия как внутренне и внешне обусловленные, «шестидесятники» пришли к убеждению в неизбежности конфронтационной позиции. Соответственно, мотив незаметного и постепенного втягивания человека в протестную деятельность сменился в воспоминаниях нонконформистов декларацией осмысленного и целенаправленного оппозиционного выступления. Для такого переосмысления были объективные причины. Человек, испытавший административное или уголовное преследование за инакомыслие, оставался в глазах государства неблагонадёжным. Продолжение протестной активности для многих оппозиционеров становилось неизбежным не только по этическим причинам (невозможно пойти на компромисс), но и по социальным (трудно восстановить утраченный статус). П. Г. Григоренко, лишившись работы в Военной академии имени Фрунзе, генеральского звания, военных орденов и даже пенсии, основал Украинскую Хельсинскую группу. Уволенный за поддержку Сахарова из Института прикладной математики АН СССР В. Ф. Турчин возглавил русскую секцию «Международной амнистии». Подобных примеров было много.

Нонконформисты осмысливали аксиологическую значимость деяния в нескольких аспектах. Субъективная ценность виделась в практической реализации бескомпромиссности и гражданской честности – нравственно и социально значимых принципов: «Я посмел и сумел сказать вслух то, что все вокруг хотели сказать и не решались <…>. Тогда впервые я перестал жалеть, что я не родился в другое время, впервые почувствовал, что среда меня не заела, что я вынес свой век» (Г. С. Померанц)[2]. Объективная ценность заключалась в декларации общественного запроса к власти на реализацию политических заявлений, прозвучавших на XX и XXII съездах партии.

---

[1] Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм URL: http://scepsis.net/library/id_545/html (дата обращения: 9.12.2019).

[2] Померанц Г. С. Записки гадкого утёнка. С. 210-211.

Каждое высказывание, словесное или невербальное, имеет референтную группу. Характеристика адресата поступка способна уточнить его аксиологию. Первыми оценивают поступок непосредственные свидетели, на их реакцию рассчитывает человек. Резонанс акции тем выше, чем многочисленнее аудитория. Поскольку поступок понимался как социальное событие, публичность включалась деятелями в программу его реализации. Г. С. Померанц вспоминал, как после антисталинского выступления ему жали руку совершенно незнакомые люди. Григоренко не забыл поддержки зала во время выступления, тщательно фиксировал помощь рядовых советских людей во время многолетних мытарств без работы и фактически без средств к существованию. Реакция подтверждала общественную ценность действия. Это укрепляло исходную позицию смельчака, стимулировало к дальнейшим акциям. Другим адресатом была власть, своими ответными действиями оценивавшая поступок. Скандал и чрезмерная реакция, как в ситуации П. Г. Григоренко, в глазах сочувствовавших повышала статус личности и значимость выступления, в восприятии противников создавала антипример, но во всяком случае утверждала активное действие как инструмент коммуникации. Мемуары начала «оттепели» свидетельствуют, что привлечение внимания международной общественности родилось как вынужденная мера в ходе совместных акций нонконформистов для обеспечения защиты от усиливающегося давления. Вначале допускалась поддержка лишь со стороны друзей Советского Союза – общественных деятелей левых взглядов. Так, в ходе кампании по защите И. А. Бродского его сторонники привлекли к содействию Ж.-П. Сартра, Л. Арагона и Г. Бёлля. Этот шаг осмысливался как дополнительный, не первостепенный. В сознании либеральной интеллигенции тех лет было распространено убеждение в необходимости борьбы с внутренним врагом своими силами. Дело нравственного пробуждения и социального оздоровления ответственно мыслящая интеллигенция брала на себя.

К 1968 году либеральная общественность подошла с определённым духовным опытом, включавшим как победы (дело И. А. Бродского), так и

поражения (суд над А. Д. Синявским и Ю. М. Даниэлем и последовавшие за ним процессы). Сообщество выработало основные способы объяснения событий социальной истории и навыки поведения, как индивидуальные, так и коллективные. Ввод советских войск в Чехословакию был воспринят как историческая катастрофа, окончательно перечеркнувшая надежды на возможность построения «социализма с человеческим лицом».

В сознании нонконформистов понятие «социальный поступок» подверглось трансформации. Прежняя семантика – общественно значимое, этически наполненное действие – обогатилось дополнительными коннотациями: жертвенность, нравственный выбор. Мировоззренческим основанием стал не только марксистский постулат неизбежности общественного прогресса в результате совместных преобразовательных усилий, но и экзистенциальное толкование свободы и ответственности.

Как говорилось выше, непосредственное влияние экзистенциальных идей на общественное, художественное и научное сознание тех лет было весьма ощутимо. Его давала переводная литература, полемика в печати по поводу основных философских положений, театральные постановки пьес французских авторов. Собственные интеллектуальные и нравственные искания советских художников также зачастую приближались к экзистенциальному осмыслению проблем.

Свобода, как считали французские философы, реализуется в поле деятельности: в поступках конкретного лица в конкретной ситуации, требующей разрешения. Социальные обстоятельства ставят индивида перед проблемой нравственного выбора. Это основная характеристика присутствия человека в мире. Действуя в согласии с совестью, личность может поступить только определённым образом. «Человек всегда свободен, всегда у него есть выбор, и, стало быть, всегда он несёт ответственность за происходящее», – размышлял В. К. Буковский[1]. В тех же категориях осмысливали свои действия участники демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 года. Л. И. Богораз:

[1]Буковский В. К. И возвращается ветер… С. 6.

«Публичный протест против оккупации Чехословакии был для меня делом решённым <…>; но как его выразить? Неужели снова писать? Тут и слов-то не найдёшь. И когда я услышала слово "демонстрация", сразу решила, что пойду, конечно. Потом, на нашем суде, я правду сказала, что мне чуждо всякое публичное действие (я имела в виду именно *выход на публику, а не слово*), но другого способа выразить свои чувства я не видела. Да, и я стремилась, чтобы протест прозвучал как можно громче – не потому что *мой* протест, а чтобы *протест прозвучал* (везде курсив автора – Е. С.)[1]. Эти слова почти буквально совпадают с воспоминанием Н. Е. Горбаневской: «Я думала: что делать? Демонстрация представлялась мне единственным осмысленным актом – единственным по-настоящему *демонстративным* (курсив автора – Е. С.). При этом я по природе не склонна к такому виду протеста – мне лучше сидеть за машинкой, перепечатывать самиздат, редактировать письма протеста или, чем я занималась с апреля того года, составлять "Хронику текущих событий". Но тут я чувствовала, что ничем таким не могу ограничиться. Демонстрация – и только»[2]. Как видим, очевидно совпадение нарратива. Обе считают публичную акцию единственным способом выражения гражданского возмущения. Социальное деяние, как считали экзистенциалисты, наилучшее проявление сущности человека. В поступках личность не только реализует своё отношение к миру и обществу, но избирает себя, нравственным выбором детерминирует собственные последующие акты. Так же рассуждают диссидентки.

Понятие «свобода действий» предполагает вопрос о границах практических возможностей её реализации. Стоит ли действовать при заведомой социальной безрезультативности акции? В дневниках Р. Д. Орловой читаем: «… есть несоответствие между действием и морем бедствий. Не вычерпаешь. Надо ли черпать? Надо! Ещё и ещё раз надо»[3]. Её мысли перекликаются с позицией

---

[1] Богораз Л. И. Сны памяти. Харьков: Права людини, 2009. С. 128.
[2] Горбаневская Н. Е. Полдень: Дело о демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 года. М. : Новое изд-во, 2007. С. 9.
[3] Орлова Р. Д. Родину не выбирают. Я вернусь… Из дневников и писем 1964-1988 // Вопросы литературы. 2010. № 5. С. 276-277.

А. Т. Твардовского, высказанной в письме К. А. Федину в период ожесточённых и безнадёжных попыток опубликовать в «Новом мире» «Раковый корпус»: «Это (борьба за роман Солженицына – Е. С.) единственное, что должен и могу сделать, не теряя времени и безотносительно к результату такой акции»[1]. Нравственный поступок обладает абсолютной ценностью. Для «шестидесятников» этот экзистенциальный постулат не требует доказательств. Поступок, совершённый по велению гражданской совести, обладает индивидуальной и общественной значимостью даже если социум этого не осознаёт и политические последствия его незначительны. Субъективная ценность заключается в гражданской самореализации человека. Общественная – в декларации ответственности каждого гражданина за происходящее в стране. Понятие «ответственный поступок» наполняется драматичным переживанием, созвучно экзистенциальной убеждённости в необходимости действовать «без надежды впереди» (А. Камю)[2].

Сложное сочетание в самосознании «шестидесятников» мировоззренческих принципов марксизма и экзистенциализма (чаще всего в его атеистической версии) нельзя считать парадоксальным. Кроме перечисленных выше предпосылок для проникновения западной философии, надо иметь в виду подготовленность сознания образованного советского человека к усвоению идей, знакомых если не по работам русских религиозных философов начала века Н. А. Бердяева и Л. И. Шестова, то по книгам Ф. М. Достоевского.

Провозгласив детерминированность личности средой, материализм рассматривал внутреннюю жизнь как неразрывно связанную с внешними обстоятельствами. Однако мировоззренческий позитивизм расставлял существенные акценты: личность не измеряется только социальными параметрами. Жизнь больше и значительнее самых драматичных социальных противоречий и непримиримых идеологических противостояний. Существуют сферы бытия, где человек может быть свободен: творчество, профессия, мир

---

[1] Твардовский А. Т. Новомирский дневник : в 2 т. М. : ПРОЗАиК. 2009. Т. 2. С. 116.
[2] Камю А. Миф о Сизифе // Камю А. Соч. : в 5 т. Харьков : Фолио, 1997. Т. 2. С. 98.

семейного и дружеского круга. По воспоминаниям дочери С. В. Каллистратовой (адвоката по многим «диссидентским» делам), юридические консультации её матери правозащитникам не ограничивались профессиональными советами, «были и споры, и песни, и стихи – это было общение близких по духу людей»[1]. В пространстве частной жизни действовали универсальные нравственные законы – участие, радость общения, душевная привязанность. В дружбе реализовывалась норма человеческих взаимоотношений, неподвластная разрушению ни под каким давлением. Примеров дружеской инициативы множество в воспоминаниях диссидентов. Киевлянин В. П. Некрасов привлёк внимание международной общественности к судьбе репрессированных друзей С. Ф. Глузмана и Г. И. Снегирёва[2]. Л. И. Богораз[3] вспоминала, как во время первого обыска после ареста Ю. М. Даниэля была удивлена отсутствием крамольной литературы, хранившейся у них. Оказалось, что накануне, узнав об аресте А. Д. Синявского и предположив задержание Ю. М. Даниэля, один из друзей, имевший ключ от их квартиры, вынес все компрометирующие хозяев материалы. Простые бытовые поступки: вымыть полы в доме родителей арестованного друга, сходить для них в магазин, помочь осуждённому по политической статье деньгами, продуктами, вещами – не означали демонстрации оппозиционности режиму. Они свидетельствовали о способности жить по общечеловеческим нравственным законам, не утрачивая навыков объективной оценки людей и явлений и собственного адекватного поведения. Такие действия не выходили за границы советской идеологии, провозглашавшей в антропологических учениях модель всесторонне развитой личности и культивировавшей открытость, честность, искренность как поведенческую норму общения с друзьями. Один из школьных друзей Ю. М. Даниэля Б. Л. Золотаревский так мотивировал в КГБ отказ прекратить знакомство с ним: «Я

---

[1] Заступница: Адвокат С. В. Каллистратова: (1907– 1989) / сост. Е. Печуро. М. : Звенья, 1997. 351 с. URL: https://www.bookol.ru/nauka_obrazovanie/istoriya/4314/fulltext.htm (дата обращения: 10.08.2019)

[2] Миановска Дж. От Киева до Парижа: Виктор Некрасов в воспоминаниях Виктора Кондырева // Szkice Slawistyczne. Olsztyn : Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej, 2017. С. 62.

[3] Богораз Л. И. Сны памяти. С. 113.

подумал, что же я буду объяснять своим друзьям и детям. И вообще – ведь это не по-человечески»[1]. Постулат обыденной морали «это не по-человечески» постепенно сформировал новую социальную модель поведения – не отворачиваться от арестованного и его семьи, а помогать. Л. И. Богораз вспоминала о психологической поддержке, полученной после ареста Ю. М. Даниэля: «… даже мало знакомые мне люди прибегали – не надо ли чем помочь, что и говорить о давних Юликовых друзьях. Я, пожалуй, и не припомню таких, кто отшатнулся бы. Думаю, что именно это время положило начало новой интеллигентской традиции – смыкаться вокруг людей, оказавшихся в беде. Политические репрессии перестали восприниматься как личная трагедия, а стали фактом общественной судьбы»[2].

Помощь семьям подследственных обрела статус поступка в контексте духовного опыта предшествующего поколения, испытавшего репрессии в 1930-40-е годы, когда знакомые «врагов народа», повинуясь страху и инстинкту самосохранения, старались держаться от них подальше. Е. Л. Шварц в дневнике так характеризовал духовную атмосферу сталинской поры: «Все прошедшие годы прожиты под скалой "Пронеси господи". Обрушивалась она и давила и правых, и виноватых, и ничем ты помочь не мог ни себе, ни близким. Пострадавшие считались словно зачумлёнными»[3]. Правда, и то жестокое время знало примеры спасения коллег: писатель М. Э. Козаков спас своими показаниями на суде Л. И. Пантелеева, а Д. Д. Шостакович добился пересмотра дела театрального критика Г. А. Авлова. Сам Е. Л. Шварц едва уцелел после разгрома редакции «Детская литература» в Ленинграде, но несколько лет опекал жену и детей осуждённого Н. А. Заболоцкого. Подводя итог жизни, он записал в дневнике за три месяца до смерти: «Я никого не предал, не клеветал, даже в самые трудные годы выгораживал, как мог,

---

[1] Там же. С. 117.
[2] Богораз Л. И. Сны памяти. С 117.
[3] Шварц Е. Л. Превратности судьбы. Воспоминания об эпохе из дневников писателя. М. : АСТ, 2013. С. 394.

попавших в беду»[1]. В аксиологии автора это самый весомый показатель достойно прожитой жизни. Заметим, что помощь репрессированным осмыслена Е. Л. Шварцем как мужественный поступок, уникальный настолько, что сам его факт достоин памяти потомков. Л. И. Богораз настаивает на массовости и обыденности такого явления среди её поколения. Прежняя модель поведения себя изжила. В личной причастности человека ситуации выражалась его нравственная позиция, определявшая уже не только бытовое, но и социальное поведение. Очевидно, что солидарный поступок первоначально не предполагал публичности. Напротив, бескорыстная помощь чуждается демонстративности, вовсе не рассчитана на зрителя. Так, накануне суда над И. А. Бродским Д. С. Лихачёв помог поэту получить заказ от Пушкинского Дома на перевод из Дж. Донна и не афишировал этого[2]. Причина, безусловно, коренилась в личных качествах учёного, а ещё в том, что Д. С. Лихачёв не осмысливал свой поступок как диссидентский. Однако в практике сообщества такие действия становились элементом системы, включались в общий контекст протестных акций: массовых петиционных кампаний, комитетов взаимопомощи, заявлений в адрес мировой общественности и прочее – и как бы перерастали первоначальный смысл и значение. Поддержка заключённым стала фактом общественного неповиновения. Например, по многим свидетельствам, считалось правильным во время обыска у одного из диссидентов друзьям (как можно большему числу) заявиться в квартиру и присутствовать до окончания процедуры – морально поддержать хозяина, утомить или отвлечь непрошенных гостей, по возможности, помочь вынести из дома запрещённую литературу.

А. И. Гинзбург сохранил воспоминания о практической помощи политзаключённым, определившей возникновение «Русского Общественного Фонда помощи преследуемым и их семьям», больше известного как «Фонд помощи политзаключённым»: «Я этого не застал, но мне рассказывали, что несколько квартир в Москве были просто фабриками бандеролей. Была ещё

[1] Там же. С. 482.
[2] Водолазкин Е. Г. Добрый человек из Петербурга // Водолазкин Е. Г. Дом и остров, или Инструмент языка. М. : АСТ, 2014. С. 134.

такая ситуация, что до конца 1969 года количество бандеролей, которые можно было посылать в лагерь, – книжных, бумажных – было не ограничено. А в некоторых зонах удавалось договориться с цензором, который проверяет бандероли, тем или иным способом договориться, тогда в эти бандероли вкладывали – где плитку шоколада, где 2-3 пачки сигарет… и эти фабрики паковали вот эти бандероли. <…> На таком уровне это продержалось до начала 1972 года»[1]. А. Ю. Даниэль, анализируя роль Фонда для общественного самосознания, отмечал, что помощь политзаключённым перестала быть стихийным и спонтанным процессом, вышла за границы Москвы, приобрела дополнительное финансирование от Солженицына и в результате «в деятельности Фонда сама собой появилась важная побочная функция: он стал одной из тех мониторинговых сетей, через которые правозащитники получали информацию не только о положении в тюрьмах и лагерях, но и о политических преследованиях в провинции... Недаром в 1974-1984 годах Фонд был, несомненно, самой массовой диссидентской организацией: в его деятельности принимали участие многие десятки, если не сотни людей. В определенном смысле это был самый успешный (наряду с «Хроникой») общественный проект советских диссидентов»[2]. Как видим, из повседневного опыта нонконформистов сложилась новая коллективная норма. Солидарный поступок, став групповым, приобрёл характер протестного.

Безусловно, в социальной практике сохранял продуктивность и другой тип поступка – уклонение или уход от действия. В 1957 году, во время исключения Б. Л. Пастернака из ССП, некоторые литераторы в знак протеста не входили в зал голосования. Д. А. Гранин, секретарь ленинградского отделения Союза писателей, в дни суда над Бродским уехал из города. П. Г. Григоренко вспоминал, что на партконференции во время утверждения резолюции, осуждающей его крамольное выступление, большинство присутствовавших

---

[1]Александр Гинзбург: русский роман / авт.-сост. В.И. Орлов ; вступ. ст. А.Ю. Даниэля. М. : Русский путь, 2017. С. 378.

[2] Даниэль А. Ю. Интерьер для неоконченного портрета, или Человек, которого знали все // Александр Гинзбург: русский роман. С. 22.

вообще не принимало участия в голосовании. Выразить наглядно своё отношение к происходящему, подняв руку «за» или «против» лишения смутьяна депутатского мандата, для многих оказалось непосильной задачей. Страх определял поведение. Однако социальная и нравственная ценность таких поступков в глазах сообщества и собственных самооценках была невысока.

По определению П. М. Литвинова, группа первых активистов правозащитного движения сложилась стихийно к 1967-1968 годам[1]. В. К. Буковский называл более раннюю дату – 1965-1966 годы[2]. Если помнить, что в это время нонконформисты перешли от разрозненных индивидуальных к согласованным коллективным действиям, то станет ясно, что именно групповые выступления: самиздат как социальное явление, митинги, манифестации, петиционные кампании и тому подобное – сформировали диссидентство.

Буковский, описывая зарождение движения, так определял его специфику: отсутствие руководителей и подчинённых и каких бы то ни было организационных форм, полная слаженность и согласованность действий при сугубо добровольном участии. «Никто не "поручал" Гинзбургу собирать материалы процесса Синявского и Даниэля (так называемую "Белую книгу"), а Галанскову – литературный сборник "Феникс-66", никто не заставлял Лашкову всё это печатать, а нас с Витькой Хаустовым – устраивать демонстрацию, когда их арестовали»[3]. Об отсутствии структуры писал и П. Г. Григоренко: «Никто не организует их работу, не учит, как действовать, не вовлекает в движение. Каждый, кто чувствует себя личностью, кто хочет быть личностью, кто не хочет самоуничтожиться, подчиняясь произволу властей, вливается в движение и делает сам, по собственной инициативе, по внутреннему зову то, что считает необходимым для защиты личности»[4]. «Содружество» – так определяют новое гражданское течение авторы. Справедливое заявление нуждается в уточнении: в

---

[1] Литвинов П. М. Характер, ставший судьбой // Поэтка. Книга о памяти : Наталья Горбаневская. М. : АСТ, 2014. С. 276.
[2] Буковский В. К. И возвращается ветер… С. 145.
[3] Буковский В. К. И возвращается ветер… С. 259.
[4] Григоренко П. Г. В подполье можно встретить только крыс… С. 432.

1970-е годы движение структурно оформилось, в нём возникли общественные ассоциации (группа по поддержке Хельсинских соглашений, «Международная амнистия» и другие). Свойства, перечисленные В. К. Буковским и П. Г. Григоренко, характеризуют их способ идентификации явления – самоутверждение через отрицание. Подчёркивая стихийность и самозарождение протестного движения – «живого и естественного», авторы противопоставляют его партийной организации – «мёртвой и искусственной». Выявление различий между обществом и государством и их институциями принципиально для диссидентского дискурса.

В отличие от «шестидесятнического» диссидентский поступок имеет новую качественную характеристику – целенаправленное нарушение нормативности поведения во взаимоотношениях с властью. Демонстративная оппозиционность режиму входит в смысл действий. «Наш образ жизни был вызовом системе» (А. А. Амальрик)[1], «Формула нашего диссидентства <…> – открыто протестую против гнусностей режима» (Ю. Ч. Ким)[2]. Соответственно, из семантики понятия исчезла тема неопределённости результатов. «Инакодействующим» было ясно, что после профилактических бесед и предупреждений в КГБ при неизменности их поведения последуют арест, суд, заключение. Л. И. Богораз вспоминала: «… я задала себе вопрос: ну, а если арестуют? <…> И поняла, что вероятность ареста никак не влияет на моё поведение»[3].

Осознанность результатов повлекла новые смысловые акценты в трактовке понятия: усилились коннотации, связанные с риском и опасностью. «… За поэзию у нас платили – тюрьмой, лагерями, бывало, что и гибелью. <…> Конечно, платили далеко не все поголовно, но рисковал каждый» (Н. Е. Горбаневская)[4]. Они дополнились мотивом обречённости, самопожертвования: «… победы мы не ждали, – не могло быть ни малейшей надежды на победу» (В.

---

[1] Амальрик А. А. Записки диссидента. Анн Арбор: Ардис, 1982. С. 13.
[2] Ким Ю. Ч. Иду на статью // Поэтка. Книга о памяти: Наталья Горбаневская. Москва : АСТ, 2014. С. 218.
[3] Богораз Л. И. Сны памяти. С. 127.
[4] Горбаневская Н. Е. Полдень. С. 267.

К. Буковский)[1]. При этом сохранилась и прежняя семантика: поступок как состязание. В таком образном ряду выдерживали рассказ о создании Хельсинской группы Ю. Ф. Орлов («Опасные мысли»), об организации демонстрации протеста на Пушкинской площади В. К. Буковский («И возвращается ветер…») и многие другие. Уточнялась самоидентификация: наряду с понятиями «смельчак», «духовно свободный человек», «принципиальный гражданин», характерными для начала «оттепели», использовались «отчаянная диссидентка» (Ким о Горбаневской), «рыцари правозащитного движения» (Померанц о Великановой и Григоренко), «люди, которые хотят <…> жить без страха, <…> сохраняя своё человеческое достоинство» (Григоренко о диссидентах). Доминировала идентичность «борец с режимом».

Как говорилось выше, качественным свойством диссидентского поступка выступает его групповой характер. Именно коллективность придаёт выступлению звучание общественной акции. Индивидуальный и групповой поступок имеет ряд различий. Коллективное действие предполагает общность мотивов, согласованность действий всех членов группы, усиливает общественный резонанс, накладывает на участников значительно бóльшую ответственность, не только моральную, но и юридическую.

Совпадение личных и групповых интересов обеспечивалось добровольным, глубоко осознанным участием в движении и его акциях. Например, Ю. Ф. Орлов вспоминал, что после первого антисталинского выступления на партбюро в Институте теоретической и экспериментальной физики в 1956 году, стоившего ему увольнения с работы, до начала активного диссидентства прошло 18 лет. Это была попытка жить как бы вне системы: создать свою микросреду из духовно близких людей и любимой работы. Решение поставить под удар сложившуюся научную карьеру, сделать окончательный выбор в пользу борьбы было непростым, но переживалось как неизбежное. К этому времени у движения был наработан определённый опыт проведения коллективных действий,

[1] Буковский В. К. И возвращается ветер… С. 258.

известный благодаря сам- и тамиздату. Неофиту предстояло лишь выбрать наиболее подходящий вариант и определиться с тактикой поведения. Ю. Ф. Орлов выступил против травли А. Д. Сахарова в традиционной для диссидентов форме открытого письма к правительству. Поведенческие модели, закреплённые и растиражированные в самиздате многочисленными текстами, определили индивидуальную тактику. Тот же принцип – свободный выбор формы протеста из утвердивших свою продуктивность – использовался в каждом конкретном случае. Так, Н. Е. Горбаневская взяла на себя редактирование «Хроники текущих событий», В. К. Буковский, А. А. Амальрик, П. И. Якир налаживали связи с иностранными корреспондентами, А. С. Есенин-Вольпин ввёл практику проведения митингов и так далее. Некоторая специализация не означала отказа от других видов деятельности и не предполагала безоговорочного принятия всеми членами сообщества предложенной формы или обязательного участия в каждой акции. Например, А. С. Есенин-Вольпин не присутствовал на демонстрации против введения новых «антидиссидентских» статей УК, поскольку в том конкретном случае не разделял выдвинутых лозунгов.

После возникновения в диссидентстве различных фракций – «религиозники», «марксисты-ленинцы», еврокоммунистовы, «либералы-западники», «отказники», «националисты», художественный андеграунд и других – формы общественной активности остались едиными: митинги, петиционные кампании, издание самиздата, переправка текстов за рубеж и прочее. Сохранялся и характер оппозиционных акций – коллективное действие, легальное и публичное. Безусловно, единоличные акции не отторгались, но логика общего дела трансформировала их в элемент системы. Например, Л. И. Богораз, посещая в лагере на свиданиях Ю. М. Даниэля, привозила из Мордовии, где он отбывал срок, информацию о положении политзаключённых и отдавала её в «Хронику». Так же поступали родственники других диссидентов. Значит, сугубо личное дело включалось в коллективные социальные акции.

А. И. Гинзбург использовал для характеристики особенно заметных в протестной практике явлений понятие «событие», синонимичное «поступку», но

обогащённое более сильными положительными коннотациями. «Событием» мог быть как текст, вызвавший резонанс, так и общественное деяние, возымевшее эффект. Объединяло и то и другое задача – пробудить в гражданах позыв к сопротивлению. К знакомым по началу «оттепели» мотивам (противостоять неосталинизму, защитить человеческое достоинство и прочие) добавился юридический – добиться от властей соблюдения законов, защищающих права и свободы личности: «Арест мужа и Синявского не вызвал у меня страха ни за них, ни за себя, а только возмущение беззаконным и варварским действием» (Л. И. Богораз)[1]; «… каждый хотел иметь право сказать своим потомкам: "Я сделал всё, что мог. Я был гражданином, добивался законности и никогда не шёл против своей совести"» (В. К. Буковский)[2].

Таким образом, при сохранении сути нонконформистской полимотивированности к побудительным мотивам добавился новый, составивший главную цель протестных действий – добиться от власти защиты прав и свобод граждан, зафиксированных Конституцией и документами международного права. Эта цель требовала решения конкретных задач – выявления фактов нарушения гражданских свобод, извещения о них общества, стимуляции граждан к борьбе за свои права, изменения социального поведения и населения, и власти. Средством стали гласность, ненасилие: «Мы не играли в политику <…>. Нашим единственным оружием была гласность <…>, чтобы никто не мог сказать потом: "Я не знал". Остальное – дело совести каждого» (В. К. Буковский)[3].

Категоричность позиции нонконформистов и власти приводила к усилению конфронтации, поведенческие практики обеих сторон становились всё более демонстративными. Власть видела в открытых уголовных процессах над диссидентами средство профилактики аналогичных правонарушений. А те использовали гласность и публичность как главное средство контпропаганды. В ходе противостояния две стороны были вынуждены искать всё новые средства

[1] Богораз Л. И. Сны памяти. С. 126.
[2] Буковский В. К. И возвращается ветер… С. 258.
[3] Буковский В. К. И возвращается ветер… С. 258.

воздействия, усиливать порог звука. На уголовные процессы диссиденты отвечали в сам- и тамиздате кампаниями разоблачений допущенных юридических нарушений, на неизменное шельмование в официальной прессе – пресс-конференциями. Власть применяла обвинения в шпионаже, предъявляла обществу публичные саморазоблачения П. И. Якира и В. А. Красина – «лидеров московской группы демократического движения» (Ю. В. Андропов), практиковала шантаж, фальсификацию и так далее.

В условиях усиливающейся конфронтации движение всё более герметизировалось. Г. С. Померанц так осмысливал этот процесс: «Незримый круг очертил людей, перешагнувших через страх, и отделил от всех остальных. Внутри круга осталась добровольная штрафная рота, готовая лечь животами на колючую проволоку. <…> Основные начинания диссидентов – инициативная группа по созданию общества прав человека, "Группа Хельсинки" – были открытыми. Участники групп превращали себя в живую мишень. Огонь по мишеням вёлся довольно скованно, мешала гласность, созданная иностранными корреспондентами, но всё равно быть живой мишенью нелегко. <…> Выдерживали люди, не думавшие о том, как они выглядят, и не нуждавшиеся в славе»[1].

Убеждённость в исторической правоте, нравственной и общественной значимости диссидентства вызывала у участников движения потребность легитимировать право на существование и зафиксировать свои действия в общественной памяти. Достичь этих целей можно с помощью символических акций, способных, кроме того, выполнить функцию контрпропаганды. Так в социальной практике диссидентов возник поступок-символ – общественная акция, культурный смысл которой превышает практический результат. Символизм акции не означает отсутствия конкретных прагматических целей. Авторы «Обращения к мировой общественности» Л. И. Богораз и П. М. Литвинов, участники «Митинга гласности», демонстранты 25 августа 1968-го

[1] Померанц Г. С. Записки гадкого утёнка. С. 318.

декларировали требования чётко и конкретно, однако не предполагали, что смогут их добиться.

Акция приобретает статус символа при соблюдении нескольких показателей:

– культурный смысл выше прагматического;

– веская социальная причина (введение дополнительных уголовных статей для инакомыслящих, вторжение войск Варшавского договора в Чехословакию);

– символическое время и место акции (митинг в День Конституции у подножия памятника Пушкину, место национальной памяти – Лобное место на Красной площади);

– неординарность действий (граждане требуют от государства соблюдать Основной закон страны, обращаются к мировой общественности, минуя властные институты, проводят сидячую манифестацию);

– зрелищность (одним из средств решения этой задачи может быть несоответствие малого количества участников глобальности заявлений: несколько человек обвиняет власть в нарушении Конституции. 8 демонстрантов выражают протест государственному решению);

– высокая оценка акции самими участниками движения («Митинг гласности» 5 декабря 1965 года заложил традицию ежегодного повторения. П. Г. Григоренко считал обращение «К мировой общественности» Л. И. Богораз и П. М. Литвинова рубежным событием в развитии правозашиты. Демонстрация на Красной площади признана диссидентами одной из наиболее значительных в истории сообщества);

– сила резонанса (реакция внутри страны и за рубежом определяет значимость общественного выступления).

Адекватное восприятие символических действий обеспечивается мировоззренческой близостью исполнителей и зрителей, их принадлежностью к контркультуре. Диссиденты, сочувствующие соотечественники и западные наблюдатели высоко оценивали поступки-символы, позволяющие демонстрировать культурные ценности сообщества. П. Г. Григоренко писал в воспоминаниях о «процессе четырёх»: «Александр Гинзбург вбил "осиновый

кол" в лживую стряпню КГБ <…> Бой был выигран. Безвестные составители "Феникса" и "Белой книги" стали известными. Гласность была достигнута»[1]; Ю. Ф. Орлов о создании Московской Хельсинской Группы: «… политический выигрыш получился на самом деле гораздо больше, чем я ожидал»[2]. Эти отзывы сегодня кажутся явно завышенными. Диссиденты составляли мнение о резонансе проведённых акций по собственным эмоциональным переживаниям, гипертрофированной реакции зарубежных радиостанций и очередным репрессивным действиям власти, подтверждающим значимость оппозиционных действий. Референтная группа диссидентов внутри страны была малочисленной. Как отмечали Л. Д. Гудков и Б. В. Дубин, «круг читателей самиздатской политической литературы в середине 70-х годов составлял не более 20-25 тысяч человек в разных городах»[3]. Масштабы группы поддержки дополнительно ограничивали аресты участников движения и профилактика граждан, в какой-либо форме выразивших поддержку инакомыслящим. «Почти всё диссидентство размещалось между Ленинским проспектом и улицей Волгина», – с горечью замечал Г. С. Померанц[4].

Логика борьбы диктовала диссидентам тактический приём, не входивший в арсенал нонконформистов, – провокацию как средство саморазоблачения власти. В. К. Буковский передавал своё состояние на одной из демонстраций: «Лозунги привезли под пальто, три штуки, – и больше всего боялись, что не успеем развернуть. Но никто не мешал нам. Вокруг было пусто, словно всё вымерзло. <…> И на секунду мне стало страшно – вдруг ничего не будет? Расчёт строился на том, что лозунги отнимут, а нас заберут. Не везти же их назад, домой. Я вообще не предполагал домой возвращаться»[5]. Признание автора может показаться парадоксальным: страх вызван не угрозой ареста, а возможностью

---

[1] Григоренко П. Г. В подполье можно встретить только крыс… С. 455.
[2] Орлов Ю. Ф. Опасные мысли. С. 183.
[3] Гудков Л. Д., Дубин Б. В. Печать и изменения в системах ценностей постсоветского общества // Л. Д. Гудков, Б. В. Дубин. Интеллигенция: Заметки о литературно-политических иллюзиях. М. : ЭПИцентр; Харьков: Фолио, 1995. С. 137.
[4] Померанц Г. С. Записки гадкого утёнка. С. 319. На Ленинском проспекте проживала Л. И. Богораз, на улице Волгина А. И. Гинзбург с семьей.
[5] Буковский В. К. И возвращается ветер… С. 261.

его отсутствия. Арест желателен, он входит в программу участников акции. Понять силлогизм Буковского в действительности несложно: сила ответной реакции прямо пропорциональна очевидности нарушения закона со стороны власти. Чем более явным будет пример игнорирования прав граждан, тем громче и вероятнее общественное возмущение. Следовательно, пусть случится нарушение закона в этом конкретном случае и во всех других – «несогласным» это на руку. Так цель – противодействовать нарушениям прав и свобод личности – пришла в противоречие со средством её достижения.

Другой пример рассогласованности цели и средств привёл Г. С. Померанц. Он вспоминал о беседе с П. Г. Григоренко о нравственной оправданности привлечения студентов к протестным действиям. Рассказчик считал, что делать этого не стоит: слишком они уязвимы. «Пётр Григорьевич тихо ответил: "Мы не можем без молодёжи". И <…> я увидел, что он сердцем чувствовал то же, что и я, и даже сильнее, но ум военачальника диктовал, что не бывает войны без жертв»[1]. Справедливости ради надо сказать, что далеко не все диссиденты руководствовались «военным» подходом к использованию молодёжи. Значительная часть из них стояла на позициях Г. С. Померанца. Однако философ вскрыл серьёзную нравственную проблему, с которой столкнулось диссидентство: воспринимая конкретные действия членов сообщества как элемент системы сопротивления, участники движения были вынуждены руководствоваться не личными представлениями о допустимости средств борьбы, а групповыми представлениями об их целесообразности.

Надежды на всенародную поддержку, свойственные «старшим шестидесятникам», к 1970-ым годам показали свою несостоятельность. Традиция народолюбия, питавшая нонконформистов начала «оттепели», заметно иссякала. Актуализировалась другая – европоцентричная, тоже типичная для русской интеллигенции.

Ориентация на западного читателя субъективно осмысливалась членами сообщества аналогично «старшим шестидесятникам» – как мера вынужденная.

[1] Померанц Г. С. Указ. соч. С. 322.

Передавая крамольные сочинения на Запад, диссиденты не имели возможности выбирать издательство, в котором хотели бы видеть свои тексты напечатанными. Решения чаще всего принимались помимо авторов. Заинтересовать же их работы могли, главным образом, «Посев» и «Грани», подчиняющиеся НТС и специализирующиеся на антисоветской литературе. Возможность оказаться пешкой в чужой игре могла остановить наиболее щепетильных авторов, но, как правило, не удерживала. Втянувшись в сотрудничество с издательствами НТС, диссиденты получали результат сомнительного свойства. На родине их ожидало клеймо «наймита империализма» с возможным обвинением в шпионаже, приличным уголовным сроком (вплоть до «расстрельной» статьи) и полной дискредитацией в глазах соотечественников. За рубежом интерес к очередному оппозиционеру при отсутствии новых аналогичных публикаций сохранялся недолго, его надо было подпитывать регулярными антисоветскими акциями. Дальнейшее втягивание в политические игры становилось неизбежным и отдаляло диссидентов от исходной задачи их деятельности – содействия оздоровлению общества. Выбор средств вновь не соответствовал цели.

С другой стороны, поддержка из-за рубежа давала серьёзную помощь: создание совместных комитетов было сильным ответом в неравной борьбе, они получали статус международных общественных ассоциаций, с которыми приходилось считаться советским государственным институциям. Наконец многим это просто спасало жизнь: известные за границей диссиденты могли рассчитывать, что власть не их не уничтожит, а вышлет из страны. Насильственная эмиграция, как ни парадоксально, давала определённые дивиденды в сравнении с разрешённой, также набравшей ход в 1970-е годы: статус «борца с режимом», подкреплённый текстами, изданными за границей, и узаконенный пережитыми на родине арестами, ссылками и прочими гонениями, помогал социализироваться в новом пространстве. Этот аргумент приобретал особую значимость для «отказников», подчас ожидавших разрешения на выезд по нескольку лет. Так в действиях диссидентов, сделавших выбор в пользу отъезда из страны, возникла рассогласованность внутренних мотивов и

заявленных лозунгов: борьба за права и свободы граждан в СССР была для одних целью, а для других лишь средством решения сугубо личной задачи.

Определив в качестве основного адресата Запад, диссиденты (кто-то осознанно, кто-то незаметно для себя) дополнительно стимулировали самоизоляцию. Соотечественники, в массе своей не разделявшие диссидентских настроений, всё явственнее исключались из коммуникации. Социальная маргинальность и психологическая изолированность диссидентства не позволили сообществу реализовать собственный общественно-политический и нравственно-этический потенциал в полную меру.

Подведём итог. «Поступок» можно считать смыслообразующим понятием в аксиологии и самосознании нонконформистов. Под поступком в мемуарах понимается бескорыстное, самоотверженное действие, продиктованное ответственностью за судьбу страны, потребностью проявить свою гражданскую активность. С помощью категории «поступок» нонконформисты производили идентификацию себя и членов сообщества. Осмысление способности к ответственному действию определяло представление о роли личности в социуме, поведенческую тактику, цели и задачи личной и групповой активности. Вместе с тем, в самосознании нонконформистов начала «оттепели» и её конца обнаруживаются различные акценты в семантике и структуре понятия «поступок». Диссиденты добавили к этической юридическую мотивацию: поступок продиктован потребностью защитить своё личное достоинство и права граждан. Трансформировавшись в категорию «социальная акция», индивидуальный поступок начал выполнять роль элемента системы – групповых протестных действия, что привело к деформации структуры поступка, нарушению баланса цели и средств, смене адресата деятельности. Таким образом, для нравственно-политического истощения движения существовали как объективные, так и субъективные причины.

М. М. Бахтин[1] ощущал девальвацию поступка в XX веке как главную проблему эпохи. Он отмечал размежевание теории и практики, мысли и действия, примитивизацию семантики понятия – низведение феномена к одномерной трактовке, в которой ответственное бытие человека в мире сводится лишь к политическому или социальному существованию. Поведенческая практика диссидентов показала, что даже при условии ответственного, «участного бытия» в процессе самореализации не всегда удаётся избежать подобной одномерности.

[1] Бахтин М. М. К философии поступка // Бахтин М. М. Собр. соч. : в 7 т. М. : Русские словари : Языки славянской культуры, 2003. Т. 1. С. 51.

2.2. Поведенческие образцы в социальной практике

XX и XXII съезды партии утвердили в сознании либеральной интеллигенции восприятие своей эпохи как переходной от тоталитаризма к демократическому типу взаимоотношений государства и общества. Ощущение смены времён сопровождалось потребностью произвести самоидентификацию, ответить на вопрос «кто мы» и «откуда». Самоосмысление производилось с учётом не только социального опыта предшествующего поколения, пережившего сталинские репрессии, но и культурных традиций российской интеллигенции XIX века. Очевидно, что приобщение к опыту прошлого столетия могло произойти лишь опосредованно, через литературные тексты. Это рождало эффект сложноорганизованной субъективности, когда в личностном самосознании, сформированном советской культурой, с её аксиологией, поведенческой нормативностью и правилами презентации, проявлялись свойства, казалось бы инородные: осознанная ориентация на иную систему ценностей и модель поведения. Меняло ли это специфику социальной и личной идентичности с советской на какую-либо иную, попробуем разобраться.

Литературоцентризм как свойство русской культуры определил значимость для общественного сознания личности писателя. Нерасторжимость этики с эстетикой, свойственная русской классической культуре, реализовала себя в специфическом восприятии общественным сознанием фигуры художника слова: его литературное поведение отождествлялось с социальным. Мера таланта в таком случае определялась не только эстетическим совершенством произведений, но и гражданской позицией автора, реализованной в социально значимом поступке. Советская культура унаследовала от русской традицию мессианского восприятия личности художника и представление о необходимости нравственного соответствия личности творца роли духовного наставника. «Поэт в России больше, чем поэт»[1] – эта нравственная максима Е. А.

---

[1] Евтушенко Е. А. Братская ГЭС // Евтушенко Е. А. Стихи и поэмы : в 3 т. М. : Советская Россия, 1987. Т. 1. С. 447.

Евтушенко воспринималась общественностью как декларация не только литературного, но и личного поведения писателя.

В роли образцовой биографии для литераторов советской поры закономерно выступали не только современники, утвердившие свой авторитет в литературном и общественном сознании, но и художники XIX столетия. Например, И. А. Паперно выявила влияние жизненной модели и мемуарной прозы А. И. Герцена на формирование исторического самосознания писателей-шестидесятников, реализованного в их профессиональном и социальном поведении. В качестве примера исследовательница упоминает воспоминания Л. К. Чуковской, Л. Б. Лебединской, Д. С. Самойлова, П. Г. Антокольского, Л. М. Алексеевой, Л. Я. Гинзбург и высказывает справедливое суждение: «Для многих мемуары Герцена стали учебником, руководствуясь которым можно было сделать из своей жизни, пусть бедной и случайной, историческое свидетельство, поданное уже в форме первого лица множественного числа. В мемуарах интеллигентов советской эпохи слова "Герцен" и "Былое и думы" сигнализируют о присутствии особого рода исторического самосознания – группового сознания "русской интеллигенции"»[1]. Историческое сознание, интенсифицирующееся всякий раз, когда поколение воспринимает свою эпоху как переходную, действительно актуализировало в 1960-е годы потребность выстроить культурно-исторические параллели, отыскать личностные примеры, подтверждающие ценностную значимость своих поведенческих практик.

К герценовскому коду в самосознании «шестидесятников» тех лет следует добавить целую плеяду литературных и исторических персонажей. Выбор культурного посредника, помогающего осмыслить личную жизнь в контексте истории, избирался по степени адекватности ситуации. Например, литераторам оказалась близка традиция, унаследованная русской культурой от европейского Просвещения – образ писателя-защитника, востребованный вследствие юридического преследования писателей-нонконформистов. Рассмотрим

---

[1] Паперно И. А. Советский опыт, автобиографическое письмо и историческое сознание : Гинзбург, Герцен, Гегель // Новое литературное обозрение. 2004. № 68. С. 110.

некоторые примеры литературного поведения и постараемся осмыслить его семантику, определить тип личностной идентичности, декларированный и подлинный.

Поведенческую модель писателя-защитника реализовала в ходе «дела Бродского» Ф. А. Вигдорова. Хотя за пересмотр приговора поэту ходатайствовала значительная группа (Н. Г. Долинина, Л. З. Копелев, Р. Д. Орлова и многие другие), инициатором и вдохновителем являлась, безусловно, она. Её способы осмысления и артикуляции события, зафиксированные в записи суда над Бродским, были безоговорочно признаны каноничным текстом, а социальное поведение образцовым. Так, известный правозащитник П. М. Литвинов, а также педагог и литературовед Э. Л. Безносов рассказывали, что запись Ф. А. Вигдоровой определила их дальнейший жизненный путь[1]. Заметим, что образец формирует последователей не всегда. Нужна особая логика общественного восприятия, чтобы пример приобрёл субъективную значимость и начал служить ориентиром. Нормативная по своему характеру советская культура определяла восприимчивость массового сознания к воспитательным практикам. При этом, безусловно, выбор образца определялся личной аксиологией. Для одних граждан примером служил видный партийный деятель, для других оппозиционер. Различие поведенческих ориентиров не отменяло общности способов формирования идентичности – через соотнесение своих поступков с образцовыми.

В ходе последующих судебных процессов над литераторами составители книг-отчётов (А. И. Гинзбург, П. М. Литвинов, Н. Е. Горбаневская и другие) не только тиражировали образец поведения Вигдоровой, наделив его статусом нормативного, но и трансформировали в соответствии с динамикой нонконформистской поведенческой стратегии в новое качество – писатель-

[1] Вигдорова Ф. А. Право записывать / сост. Е. И. Вигдорова, А. А. Раскина. М. : АСТ, 2017. С. 249, 255.

правозащитник (эта мысль была высказана на XXII Лотмановских чтениях в 2014 году О. М. Розенблюм[1]).

Признание ценности поведения журналистки либеральной интеллигенцией и ориентация последователей на её образец объясняется, на наш взгляд, не только результативностью (приговор И. А. Бродскому, как известно, был пересмотрен), но и узнаваемостью исходной модели, освещённой культурной традицией. Её истоки указали друзья Ф. А. Вигдоровой – Л. К. Чуковская[2] (литературный портрет «Памяти Фриды») и Р. Д. Орлова (глава «Фрида Вигдорова» из «Воспоминаний о непрошедшем времени»[3]). Несмотря на разницу художественных задач, этических позиций и, соответственно, различные акценты в образе Ф. А. Вигдоровой, расставленные авторами (по наблюдению О. М. Розенблюм, для Л. К. Чуковской была важна литературная значимость записи суда над И. А. Бродским, а для Р. Д. Орловой общественный аспект её писательского поступка[4]), обе были едины в указании первоисточника поведения Ф. А. Вигдоровой – общественная деятельность В. Г. Короленко по защите безвинно обвинённых удмуртов («мультанское дело») и главного фигуранта «дела Бейлиса». Добавим, что и В. Г. Короленко, в свою очередь, опирался на традицию, заложенную европейскими просветителями, в частности Вольтером. Таким образом, за поведением В. Г. Короленко, а тем более Ф. А. Вигдоровой стояли великие личности, сформировавшие канон защитного поведения. Он включал апелляцию к власти и общественному мнению с позиций общечеловеческой морали: безусловной ценности личности вне зависимости от конфессиональной, национальной принадлежности или мировоззрения обвиняемого, приоритета справедливости над политикой и идеологией,

---

[1] Розенблюм О. М. Но от знания до поведения тоже есть ещё путь, и немалый : образ писателя-защитника в воспоминаниях о Фриде Вигдоровой (1965-1966) // Семиотика поведения и литературные стратегии: Лотмановские чтения-XXII. Выпуск 3. М. : РГГУ. 2017. С. 303-322. URL: http://ivgi.rsuh.ru/article.html?id=2633286 (дата обращения: 20.11.2018).

[2] Чуковская Л. К. Памяти Фриды // Чуковская Л. К. Соч. : в 2 т. М. : Гудьял-Пресс, 2000. Т. 1. С. 394.

[3] Орлова Р. Д. Фрида Вигдорова // Воспоминания о непрошедшем времени. М. : Слово, 1993. С. 317.

[4] Розенблюм О. М. Но от знания до поведения тоже есть ещё путь, и немалый.

признания гуманизма и сострадания главными законами человеческого общежития. Защитник невинно обвинённого осознаёт, что рискует личным благополучием, мобилизуя отечественную и мировую общественность на противодействие тенденциозному судебному решению, но действует, отчётливо сознавая персональную ответственность не только перед отдельной личностью – обвинённым, но перед историей, ход которой определяется индивидуальным стремлением каждого человека к прогрессу и справедливости.

Очевидно, что Ф. А. Вигдорова исповедовала ту же аксиологию. Её ориентация на В. Г. Короленко обнаруживается в использовании аналогичных тактических приёмов защиты: писатели вскрывали «заказной» характер процессов. За кулисами «дела Бейлиса» В. Г. Короленко видел киевских черносотенцев под покровительством В. М. Пуришкевича и министра юстиции И. Г. Щегловитова, Ф. А. Вигдорода в «деле Бродского» – неосталинистов, не желающих сдавать руководящих позиций. Правда, журналистка приглушила антисемитский дух процесса, зафиксированный, например, Л. К. Чуковской и А. А. Ахматовой[1]: такая трактовка конфликта снизила бы его масштаб. В её версии власть судила не еврейского поэта, а художника, стремящегося целиком посвятить себя творчеству и ради этого пренебрёгшего общепринятыми нормами социальной жизни – постоянной занятостью на производстве. В. Г. Короленко и Ф. А. Вигдорова мобилизовали общественность ради диалога с государством. Их цель была разъяснить недопустимость репрессий, убедить представителей власти в губительных последствиях разжигания розни между национальностями (В. Г. Короленко) или социальными слоями – «трудовым народом» и интеллигенцией (Ф. А. Вигдорова). Надежды писатели возлагали на нравственное чувство соотечественников, способное преодолеть в случае Бейлиса антисемитизм местных властей и невежество присяжных, в «деле Бродского» идеологическую тенденциозность свидетелей обвинения и судей, политическую ангажированность процесса. Итог дела для

[1] Чуковская Л. К. Записки об Анне Ахматовой: в 3 т. М. : Время, 2013. Т. 3. С. 117.

обоих литераторов – показатель нравственного климата в обществе, свидетельство духовного здоровья нации.

Массовая поддержка либеральной интеллигенцией защитных действий Вигдоровой, на наш взгляд, во многом определялась восприятием её модели поведения как вневременной, ценной в любую эпоху. Актуализация «родовой памяти», обращение к славным традициям предков налагала обязательства на потомков – соответствовать высокой роли защитника, входящей в миссию русской интеллигенции.

Производя самоидентификацию по модели русский интеллигент, европеец и гуманист, Ф. А. Вигдорова, безусловно, оставалась советским интеллигентом. Доказательством может служить её публицистика, дополненная анализом мировоззренческой позиции, которую можно определить как концепцию деятельного участия, декларированную в творчестве и осуществлённую на практике.

В центре профессионального внимания журналистки не механика государственного аппарата, а этика общественных отношений. Очерки, как правило, посвящены драматичному событию, требующему немедленного вмешательства общественности: несправедливому увольнению учительницы из музыкальной школы, тюремному заключению вчерашнего школьника и тому подобное. Авторское толкование факта, положенного в основу сюжета, взволнованный способ высказывания ориентируют читателя на сопереживание, эмоциональное включение в ситуацию, моделируют ответное активное социальное поведение. Так решается задача формирования деятельного участия граждан в судьбе друг друга, духовного сплочения людей на основе универсальных гуманистических ценностей – сострадания и милосердия.

Профессиональное поведение Ф. Вигдоровой можно охарактеризовать как моральную инженерию: её аналитика социальных явлений предполагает программирование нравственного поведения граждан. Для этой цели она избирает особую систему координат. Центральное происшествие в статьях («Кем вы ему приходитесь?», «Плохой студент?», «Аморальное поведение»)

осмыслено в категории не проблемы, а беды. Проблема – жизненная задача, предполагающая рациональное осмысление и разрешение. Её значение в жизни человека может быть позитивным: преодолевая обстоятельства, он обогащает свой жизненный опыт. Беда – сотрясение жизненных основ, разразившаяся катастрофа, ставящая потерпевшего на грань жизни и смерти. Здесь нет места долгим размышлениям, неравнодушные люди должны действовать безотлагательно и решительно. Это проверка самого человека и его окружения на качество. Исходные признаки главного в фабуле события позволяют оценить компоненты, из которых слагается картина мира и человека в очерках.

В аксиологии автора на первом месте стоит человек. «… Обороняйте людей, люди стоят защиты» – так, по мнению Л. К. Чуковской, звучит главная мысль всех книг и статей Ф. А. Вигдоровой[1]. В соответствии с основной этической задачей выстраивается ценностная иерархия, определяются доминанты. Участие и взаимопомощь – важнейшие концепты авторской картины мира. В семантическое поле понятия «участие» входят не только «сочувствие», «сострадание», но и «поступок», действие во имя человека, данные категории выступают в статьях как взаимодополняющие. Эти ценностные ориентиры обладают для людей силой нравственного влияния, сплачивают общество в нерушимое единство, способны создать целостный, гармоничный миропорядок.

В публицистике подчеркнута действенная роль личности. Поступок – мера человечности и гражданственности. «Нет поступков, не оставляющих следа», – провозглашает публицистка и разворачивает этот тезис в фабуле статей[2]. Герой очерка «Двойка по истории» после тюремного заключения смог социализироваться благодаря отзывчивости людей, поддержавших в нём лучшие порывы. Обучение центрального персонажа осмыслено в нравственном плане: он постиг законы человеческого общежития, осознал всю меру ответственности за собственную жизнь. В каждом заложена возможность стать лучше или хуже. Важно, чтобы житейские уроки были добрыми и честными, тогда в ответ

---

[1]Чуковская Л. К. Памяти Фриды. С. 366.
[2] Вигдорова Ф. А. Право записывать. С. 35.

открываются души, пробуждается разум. Желание духовного роста непременно должно быть поддержано ближайшим окружением и сочувствием общественности. Люди обязаны помогать друг другу в реализации духовного потенциала. Взаимопомощь фиксируется в очерках как поведенческий образец.

В соответствии с эстетикой соцреализма художник слова должен утверждать общественно значимый идеал, приближать его своим творчеством. Вигдорова следует этому назначению. Образцовое общество в модели мира писательницы строится по образцу семьи: духовные связи подобны родственным. Сородичи переживают друг за друга, поддерживают и помогают. Таким же сострадательным сердцем должны обладать граждане, готовые содействовать слабым и потерпевшим бедствие членам общества. Все связаны взаимной ответственностью, осознаваемой или нет. В первом случае устанавливаются гармоничные отношения и несправедливость в отношении человека, его житейское бедствие могут быть преодолены совместными усилиями. Во втором трагический исход неминуем. Беда происходит по чье-то злой воле («Аморальное поведение») или равнодушию («Плохой студент?»). Не безличные законы, а люди определяют ход жизни. Главный аргумент обвинения в аксиологии писательницы – гибель человека из-за чужого равнодушия, казённо-бюрократического отношения к его страданиям. Кончает с собой несостоявшийся учёный, одарённый юноша из очерка «Плохой студент?». На грани самоубийства находится оклеветанная учительница музыки, героиня статьи «Аморальное поведение». Законы справедливости и милосердия видятся писательнице основополагающими в обществе.

Многие статьи посвящены педагогическим проблемам («…Извлекает искры», «Костёр без пламени», «Глаза пустые и глаза волшебные» и другие). Современная исследовательница, анализируя взаимосвязь советской журналистики и педагогики в начале «оттепели», отмечала: «В те годы пресса взяла на себя целый ряд изначально не свойственных ей функций, в том числе

традиционных для образовательных институтов»[1]. В частности, журналисты активно включились в обсуждение новой стратегии образования, предложенной педагогической наукой в 1958 году. Ряд идей (создание многовариантных типов учебных заведений, школ для одарённых, развитие детской самодеятельности и творчества) широко обсуждался в прессе и был близок Ф. А. Вигдоровой. По справедливому наблюдению М. Майофис, в отличие от педагогов 1940-х годов, акцентировавших необходимость воспитания в ребёнке коллективизма и товарищества, Ф. А. Вигдорода следовала педагогическим тенденциям 1950-60-х годов и провозглашала необходимость индивидуального подхода к ученику[2].

В очерках она решает не только педагогические задачи, но и моделирует новый характер взаимодействия общества и школы – заинтересованный, неформальный. Педагогические проблемы получают у Ф. А. Вигдоровой нравственно-этическое толкование. В частности, в статьях ощутима солидарность журналистки с идеями В. А. Сухомлинского, развивавшего гуманистические традиции русской педагогики. Заслуженный учитель Украины, Герой Социалистического Труда СССР был убеждённым сторонником педагогики сотрудничества, основанной на уважении взрослых к свободе личности ребёнка, признании ценности его внутреннего мира. Учитель – знаковая фигура в мироздании Ф. А. Вигдоровой. В соответствии с русской традицией данное понятие аксиологически нагружено. Ему сопутствуют близкие по семантике «наставник», «старший друг». Обучение и воспитание – неразрывные, взаимодополняющие процессы. Миссия учителя высока и благородна: пробудить самосознание в ученике, помочь осмыслить законы жизни и общества. Духовное соответствие профессии предполагает непрекращающуюся нравственную работу и неизменную честность перед

---

[1] Пенская Е. Н. «1968» в прессе 2008: российская журналистика 1960-х как образовательная среда // Вопросы образования. 2009. № 1. С. 266.

[2] Mayofis M. «Individual Approach» as a Moral Demand and a Literary Device: Frida Vigdorova's Pedagogical Novels // Partial Answers: Journal of Literature and the History of Ideas. 2015. Vol. 13, Is. 1. P. 19.

учениками. Общечеловеческие ценности провозглашались Сухомлинским и Вигдоровой как универсальные в педагогике и социальной практике. Школа, семья, друзья – словом, всё окружение ребёнка несёт моральную ответственность за формирование его внутреннего мира и дальнейшую судьбу. Главная героиня очерка «Кем вы ему приходитесь?» борется за пересмотр уголовного наказания ученику. Тот совершил преступление, поскольку разуверился в людях, не видел рядом человека, «для которого хорошее дело – главное в жизни. <…> Все думают только о себе»[1]. Однако пример учительницы, поддержка друзей и родных заставили подростка выйти из тупика эгоистической обиды, пробудили самосознание. Воспитательная семантика очерка очевидна: борьба за человеческую душу благородна и небесполезна, общество скрепляется нравственно-этическими взаимосвязями, умением поддержать попавшего в беду.

Позиция В. А. Сухомлинского и Ф. А. Вигдоровой совпадала в определении конечных усилий педагога и общественности – формирование гармонически развитой личности, соединяющей интеллект, эстетическое и этическое начала в целостное единство. Эту воспитательную задачу предлагалось решать с помощью художественной литературы, которая, по словам Вигдоровой, «строит душу». В классических текстах зафиксирован духовный опыт человечества, то есть истинные знания о жизни. Литературные примеры способны стать поведенческими образцами, определить вневременную систему нравственных координат.

Нетрудно обнаружить, что идеологические усилия признанного педагога-новатора и журналистки центральных газет укладывались в официальную парадигму. Картезианский идеал человека, трансформированный в марксистской идеологии в концепцию всестороннего развития личности, разрабатывался советской философией и внедрялся в массовое сознание. Акцент делался на идее формирования коммунистического типа личности и путях практического достижения этой цели. XXII Съезд партии принял «Моральный кодекс строителя

[1] Вигдорова Ф. А. Право записывать. С. 29.

коммунизма», в котором вновь декларировались известные постулаты. Сущность воспитания трактовалась как формирование социалистических нравственных отношений, основанных на общечеловеческих (честность, правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни, непримиримость к несправедливости, гуманные отношения и взаимное уважение между людьми) и классовых ценностях: преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Родине и к странам социализма. Закрепление «Морального кодекса…» в поведенческих нормах предполагало активные воспитательные практики, применяемые различными государственными институциями, включая среднюю и высшую школу и СМИ.

Феномен Вигдоровой-журналистки заключался в умении наполнить живым смыслом официальные идеологические стереотипы «личность воспитывается в коллективе», «товарищеская взаимопомощь – основа социалистической морали», «человек – творец своей судьбы» и прочие. Решить эту непростую задачу удалось не только благодаря высокому профессионализму, но и самобытности личности, поражавшей друзей и знакомых нравственной цельностью, провозглашённой в статьях и подтверждённой всей жизнью.

М. М. Бахтин в статье «К философии поступка» утверждал, что поступать определённым образом человека заставляет не содержание обязательства, а личная подпись под ним[1]. С полным правом это могла бы сказать и Ф. А. Вигдорова. Сутью её характера мемуаристы называют то самое деятельное участие, которое она настойчиво проповедовала в статьях и очерках. Работа депутата райсовета, по свидетельству дочери, отнимала у Вигдоровой много сил, но не была бесполезной: за полтора года ей удалось переселить из подвалов и бараков 100 семей. Н. Я. Мандельштам была благодарна ей за московскую прописку, А. А. Амальрик – за продолжение учёбы на историческом факультете МГУ после фактического исключения из вуза. И. Грекова – за вхождение в литературу. Помощь друзьям и вовсе не знакомым людям была логичным

[1] Бахтин М. М. К философии поступка // Бахтин М. М. Собр. соч. : в 7 т. М. : Русские словари : Языки славянской культуры, 2003. Т. 1. С. 27.

продолжением журналистской работы. Н. Я. Мандельштам писала: «Взявшись за дело, Фрида вгрызалась в него мёртвой хваткой и не выпускала, пока не добьётся своего. Она берётся при этом за безнадёжные дела и [всё-таки] добивается своего»[1]. В том же духе высказывалась И. Грекова: «Сколько было за это время – начало 60-х – сделано Фридой по-настоящему гражданственных – в высоком смысле слова – дел! <…> Главным для неё была подлинность страдания, а этого не подделаешь. Всё время она за кого-то заступалась, что-то отвоёвывала. <…> Звонила по разным инстанциям, ходила лично, просила помочь <…>. Вот где ей служило добрую службу её обаяние: человеку с такими глазами, с такой улыбкой, как у Фриды, трудно было отказать! Как она радовалась при удаче, а при неудаче как близко и горько принимала происшедшее к сердцу!»[2]. Существенную характеристику добавляла Л. К. Чуковская: «От доброго поступка Фрида требовала полноты, щедрости – того, что делает поступок не только правильным, но и красивым. Она сильно чувствовала эстетику добра»[3]. Как видим, восприятие личности мемуаристами выдержано в традициях классической эстетики: идеал – картезианская личность, обладающая цельностью самосознания, восприятия окружающего мира и действенным выражением своего мировоззрения. Этическая наполненность поступка – спасать, защищать обиженных – подкреплена эстетической характеристикой: прекрасная женщина совершает красивые поступки. Такое толкование характера соответствует не только личности Ф. А. Вигдоровой, но и мировоззренческой позиции её современников, оценивающих человека по его соответствию идеалу.

Мемуаристы неизменно называют главным качеством личности Вигдоровой готовность вступаться за обиженных, помогать и словом, и делом. Истоки этой нравственной позиции Н. Я. Мандельштам находила в глубокой религиозности: «Присмотревшись к Фриде, я увидела, что у неё в душе есть Бог, вера в которого

---

[1] Мандельштам Н. Я. О Фриде Вигдоровой // Вигдорова Ф. А. Право записывать. М. : Изд-во АСТ, 2017. С. 386.
[2] Грекова И. Свет доброты. С. 14.
[3] Чуковская Л. К. Памяти Фриды. С. 376.

определяет всё её поведение, всю её жизненную линию. Отсюда её деятельная любовь к людям, её уважение к ценностям, её железная твёрдость, её неспособность к компромиссам. Отсюда её зоркость и сознание долга. <…> Фрида слышала и видела и поэтому имела возможность всегда меняться и пересматривать идеи, которые ей смолоду вбивали в голову»[1]. По мысли автора, духовное развитие Ф. А. Вигдоровой происходило от «советскости» к подлинным ценностям, в её толковании – христианским. Личностная динамика сведена Н. Я. Мандельштам к социальности: по её мнению, менялось отношение Ф. А. Вигдоровой к советским «священным обычаям», с годами пришло осознание антигуманной логики государственной системы. Такое понимание было созвучно нонконформистскому дискурсу, классифицировавшему явления в бинарных оппозициях, в частности «русский – советский». Христианство, как знак русской культуры, толковалось Мандельштам как принадлежность носителя к высшей системе нравственных координат, в отличие от лживой советской.

Своё объяснение мировоззренческой позиции подруги предлагала Л. К. Чуковская. Исповедуя секулярные ценности европейского Просвещения, она указывала на позитивизм как философское основание мироощущения, профессиональной и социальной деятельности Ф. А. Вигдоровой. Нравственная опора на мировую культуру составляла, по убеждению Л. К. Чуковской, суть её мировоззрения. С Н. Я. Мандельштам Л. К. Чуковская соглашалась в определении логики личностной динамики – от приятия действительности к прозрению. Вопрос, была ли Вигдорова оппозиционна власти, кажется, снимается И. Грековой. Писательница вспоминала слова, услышанные от журналистки на прогулке: «Я глубоко антисоветский человек»[2]. Однако самооценка может быть ошибочной. Самосознание Ф. А. Вигдоровой исторично. Журналистка идентифицировала себя как продолжателя европейских и русских традиций заступничества, осуществлённых А. И. Герценом, В. Г. Короленко и

[1] Мандельштам Н. Я. О Фриде Вигдоровой. С. 390.
[2] Раскина А. А. Фрида Вигдорова и дело Бродского : мифы и реальность // Вигдорова Ф. А. Право записывать. М. : Изд-во АСТ, 2017. С. 268.

другими. Гражданский поступок был для неё частью не только социальной, но и эстетической программы: художник обязан отзываться душой на людскую боль и действенно, творчеством влиять на современность. «Антисоветскость» её не социально-политического, а этического и эстетического свойства. В основе программы жизнедеятельности (и в этом нельзя не согласиться с Л. К. Чуковской) лежит философия позитивизма и подкрепляющий её марксистский тезис о взаимосвязи человека и общества. Дочь, А. А. Раскина, вспоминала слова, услышанные от матери в связи с работой депутатом райсовета: «Можно советскую власть хвалить, можно её ругать. Но дело в том, что её нет – советской власти. Нет у советов никакой власти»[1]. В этих словах нет осуждения советской власти как таковой, звучит лишь сожаление о слабости самоуправления, отсутствии полномочий у демократических по своей сути государственных институций.

Нетрудно обнаружить, что в совершаемых Ф. А. Вигдоровой действиях нет главного свойства оппозиционности – нарушения поведенческих стереотипов. Нравственный человек помогает другим людям, способен к состраданию, стремится отстоять справедливость – это аксиомы общественной морали. Журналистку выделяет степень личного проживания общепринятых норм, энергичность и полная самоотдача, с которой она совершает деяния. Её идентичность, таким образом, следует признать советской.

Вигдорова в полной мере реализовала бахтинский принцип «не-алиби в бытии». Её позиция деятельного участия адекватна представлениям о сущности и назначении человека в мире. В соответствии с логикой позитивизма Вигдорова оценивала человека как существо гуманное. Его истинная природа раскрывается в сострадании и помощи слабому. Сочувствие предполагает содействие. «Человечество живо одною круговою порукой добра» – эти строки, любимые Цветаевой[2], казались Л. К. Чуковской лучшим выражением побудительных мотивов поступков подруги: «Фрида была работником добра и всех вокруг

[1] Раскина А. А. Фрида Вигдорова и дело Бродского. С. 268.
[2] Цветаева М. И. Искусство при свете совести // Цветаева М. И. Собр. соч. : в 7 т. М. : Терра : Книжная лавка-РТР. 1997. Т. 5, кн. 2: Статьи. Эссе. Переводы. С. 36.

делала своими – и добра! – сотрудниками. Ступив в поле её излучения (слова Р. Д. Орловой – Л. К. Чуковская), каждый незаметно и естественно становился звеном в создаваемой ею цепи»[1]. В повседневной практике, по свидетельству мемуаристки, Вигдоровой был свойственен нравственный максимализм. Она требовала от друзей честности и не прощала двуличности. Так, она прекратила общение с давней знакомой, убедившись в её нечистоплотности: та за глаза неуважительно отзывалась о людях, неоднократно помогавших ей. Императив Ф. А. Вигдоровой провозглашал требование сохранять духовную чистоту как залог чистых помыслов и деяний. В мировоззрении Вигдоровой человек выступает как гуманизатор, который с позиции культурно-исторических ценностей, своей милосердной сущности влияет на обстоятельства, условия жизни и очеловечивает мир вокруг себя.

Мир настоятельно требует гуманизации. Начинать её нужно с повседневно-бытовой сферы: помочь другому не разувериться в себе, поддержать словом и делом. Человечность – главный закон существования людей, категорический императив. Осознать это – значит принять личную ответственность за происходящее в стране и мире. Гуманизации подлежат буквально все сферы жизни: и система социальных институтов (а значит, она не могла отказаться от депутатской работы), и профессиональная деятельность (выезжала по письмам читателей в самые отдалённые уголки страны), и система образования и воспитания (эти темы центральные в творчестве), и частная жизнь (дочь вспоминала, что вся семья была заочно знакома с героями очерков и сопереживала стараниям матери. Ближайшее окружение приобщалось к милосердной деятельности).

Дж. Фюрст отмечала отсутствие дихотомии «частное» – «общественное» в самосознании интеллигенции начала оттепели[2]. Это утверждение справедливо в отношении Ф. Вигдоровой, которая, как и значительная часть либеральной

---

[1] Чуковская Л. К. Памяти Фриды. С. 364.

[2] Fürst J. Friends in Private, Friends in Public : The Phenomenon of the Kompaniia Among Soviet Youth in the 1950s and 1960s // Borders of Socialism : Private Spheres of Soviet Russia / ed. L.H. Siegelbaum. New York : Palgrave Macmillan, 2006. P. 243.

интеллигенции, хотела внести свой вклад в коллективное благо и верила в существование индивидуального и общественного совершенства.

Соучастие в чужой судьбе сродни творчеству, но особого свойства: создаются не произведения искусства, а нечто большее – ответный позыв души к добру, пробудившаяся потребность помогать другим. Этот нравственный императив соответствует словам К. Маркса: «Предположи теперь человека как человека и его отношение к миру как человеческое отношение: в таком случае ты сможешь любовь обменивать только на любовь, доверие только на доверие и т. д.»[1]. Отзываясь на чужую беду, человек одухотворяет мир, становится причастен продолжающемуся становлению бытия. В позиции деятельного участия проявляется полнота сопричастности человека миру. Оставаясь на позициях марксистского мировоззрения, Ф. А. Вигдорова в повседневной практике и профессиональной деятельности реализовывала те постулаты, которые считала главными – гуманизм и деятельное стремление к справедливости.

Человек есть то, чем он сам себя делает. Опереться в созидательных стремлениях к добру можно на классическую культуру. В ней сконцентрирована память и весь духовно-нравственный опыт человечества, даны фундаментальные принципы самоосмысления и отношения к жизни. Личность, впитавшая культурный опыт человечества, преодолевает дискретность времени, осознает себя продолжателем универсальных, вневременных традиций. Творческий характер этой мировоззренческой позиции заключается в отношении к людям и миру как к способным быть иными, лучшими. Позитивизм Ф. А. Вигдоровой был созвучен мироощущению её современников начала «оттепели».

Авторитетные поведенческие примеры зачастую вызывали желание современников моделировать собственную жизнь по литературному образцу. При этом значимость писателей, вытесненных на периферию художественного

---

[1] Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М. : Политиздат 1974. Т. 42. С. 150-151.

процесса, бывала не меньшей, чем канонизированных официальной критикой. Рассмотрим некоторые показательные примеры.

На первый взгляд фигуры А. И. Солженицына и В. Я. Тарсиса не сопоставимы по масштабам. Действительно, авторитет А. И. Солженицына признавался как поклонниками его творчества, так и противниками. Имя В. Я. Тарсиса, хотя и состоявшего членом Союза писателей с 1940 года, не было знакомо широкому кругу читателей, поскольку до конца 1950-х он занимался преимущественно переводами. Однако социальное поведение обоих литераторов в 1960-е годы оценивалось властями как общественно опасное, а В. Я. Тарсис косвенно повлиял на участь А. Д. Синявского и Ю. М. Даниэля. В октябре 1965-го, накануне его высылки из страны, в записке Председателя КГБ В. Е. Семичастного и Генерального прокурора СССР Р. А. Руденко имена Солженицына, Тарсиса, Синявского и Даниэля фигурируют вместе: «… В частности, полагаем целесообразным провести следующее: <…>

– По окончании следствия и после решения вопроса об ответственности арестованных Синявского и Даниэля Союзу писателей СССР обеспечить участие писательской общественности в заключительных мероприятиях по делу, вопрос о которых будет решён Прокуратурой СССР, КГБ и судебными органами.

– Рукописи романа А. И. Солженицына "В круге первом" и его пьес "Республика труда" и "Пир победителей" Прокуратуре СССР и КГБ в порядке исключения подвергнуть конфискации с последующим хранением в архивах КГБ. <…>

– Что касается Тарсиса, то во изменение ранее принятого решения о его аресте с целью последующего принудительного лечения, в настоящее время представляется более правильным разрешить ему выезд из Советского Союза за границу с закрытием обратного въезда. Такая мера позволит пресечь различного рода инсинуации "о гонениях" на Тарсиса и <…> локализовать действия всяких "комитетов по защите Тарсиса", которые в случае ареста последнего, безусловно,

ассоциируют его имя с именами Синявского и Даниэля, что вряд ли выгодно нам политически»[1].

Как видим, неравные по степени воздействия на общественное сознание и мере литературного таланта, А. И. Солженицын и В. Я. Тарсис вынудили власть применить к ним одну меру наказания – депортацию (в 1965 году в отношении Тарсиса, в 1974-ом в адрес Солженицына), уравняв обоих в оценке предполагаемого международного резонанса в случае более серьёзного наказания.

Основанием для сопоставления поведенческих моделей является, на наш взгляд, их явная однотипность: с разной степенью убедительности А. И. Солженицын и В. Я. Тарсис реализовали революционно-героический тип поведения. Оба декларировали свою ориентацию открыто и демонстративно. Солженицын заявлял в «Телёнке»: «То не диво, когда подпольщиками бывают революционеры, диво – когда писатели»[2]. Аналогия, хотя и окрашенная иронией, выдаёт значимый для него поведенческий образец. В «Сказании о синей мухе» В. Я. Тарсиса один из героев высказывает мысли, близкие позиции автора: «… только объединённое человечество способно к разумной общей жизни, то есть к коммунизму. <…> Но чудовищно бюрократическое государство отмирать не собирается, и сломать его будет гораздо сложнее, чем буржуазное, зато потом быстро наступит коммунизм» (справка Государственного комитета по печати при Совете Министров СССР о писателе В. Я. Тарсисе)[3]. При этом революционность сочеталась в их общественных акциях, публицистических и литературных текстах с антисоветской риторикой.

Для осмысления общественным сознанием личности одного из современных писателей как сверхзначимой должно быть несколько причин: представление о

---

[1] Документы свидетельствуют… Из фондов Центра хранения современной документации (ЦХСД). Смотрели за каждым… «Палата № 7» // Вопросы литературы. 1996. № 2. С. 297.
[2] Солженицын А. И. Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни. Собр. соч. : в 30 т. М. : Время, 2018. Т. 28. С. 6.
[3] Документы свидетельствуют… С. 303.

чрезвычайной актуальности его творчества, убеждённость в исключительности литературного дарования, высокий нравственный авторитет, делающий его модель поведения образцовой. Фигура А. И. Солженицына соответствовала данным критериям и приобрела в эпоху «оттепели» масштабы культовой.

Трансформация писателя в явление стала возможной благодаря активному сотворчеству власти, литературной критики, читателей и самого протагониста.

Публикация рассказа «Один день Ивана Денисовича», как известно, состоялась после принятия соответствующего решения на заседании ЦК партии при активной поддержке Н. С. Хрущёва. Руководитель страны оценил «Один день Ивана Денисовича» как вещь жизнеутверждающую, написанную с партийных позиций[1]. Ряд литераторов (И. Г. Эренбург, Л. З. Копелев) видели в отдельных эпизодах (в частности в сцене труда Шухова) традиции соцреализма[2]. О рассказе «Для пользы дела» А. Т. Твардовский записал в дневнике: «И за самое ребро, и абсолютно по-партийному»[3]. Такая реакция не была результатом всеобщих заблуждений или стереотипности читательского восприятия. Она отражает реальное положение дел – социально адаптивную позицию А. И. Солженицына в начале творческого пути. Он позиционировал себя как писателя, реализующего в литературной практике партийные установки на преодоление последствий культа личности.

В 1964 году кандидатура А. И. Солженицына была выдвинута на соискание Ленинской премии, что сопровождалось бурным обсуждением рассказа «Один день Ивана Денисовича» на страницах периодических изданий и на телевидении. Негативные оценки творчества, вроде высказанных в «Правде» от 11 апреля 1963 года, в которых литератор обвинялся в «недостаточно высоком уровне» прозы, «упрощённом подходе к обрисовке характера советского человека, его духовного мира»; «довольно примитивном внутреннем мире героя» и

---

[1] Твардовский А. Т. Новомирский дневник : в 2 т. М. : ПРОЗАиК. 2009. Т.1. С. 123.
[2] Лакшин В. Я. Солженицын, Твардовский и «Новый мир» // В. Я. Лакшин. Солженицын и колесо истории. М. : Издат.дом Вече, АЗъ (Знатнов). 2008. С. 213.
[3] Твардовский А. Т. Указ. соч. С. 181.

пренебрежении «лучшими традициями русского литературного языка»[1], лишь подогревали интерес и провоцировали новые ожидания. Таким образом, именно власть выделила фигуру начинающего литератора из общего ряда писателей, подготовила читательское восприятие его персоны как знаковой.

Оценка личности А. И. Солженицына по литературно-социальному поведению была свойственна как либералам, так и ортодоксам. И если сторонники трактовали его бескомпромиссность в вопросах творчества как доказательство исключительности художественного дарования и столь же незаурядных гражданских качеств, то противники пытались подорвать литературный авторитет, дискредитировав общественно-политическую позицию. А. Т. Твардовский зафиксировал в дневнике «гнусную выходку» С. П. Павлова, секретаря ЦК ВЛКСМ, на комитете по присуждению Ленинской премии. Тот предложил отвести кандидатуру А. И. Солженицына, утверждая, что тот якобы «не был политическим заключённым, и нечего ему приписывать борьбу против культа личности»[2]. Показательна реакция А. Т. Твардовского, опровергшего заявление Павлова, предъявив на следующем заседании копию судебного определения по реабилитации писателя с точным указанием вменявшихся ему статей. Представители различных идеологических лагерей, А. Т. Твардовский и С. П. Павлов, одинаково убеждены в том, что личная дискредитация автоматически влечёт за собой и литературный приговор. Так же считает и А. И. Солженицын, демонстрируя литературным и социальным поведением бесстрашие и стремление высказать полную правду о сталинизме.

Дальнейшие события: запрет на публикацию произведений, присуждение Нобелевской премии в 1970-м году, замалчивание его имени на страницах отечественной печати, сопровождавшееся массовым распространением книг в самиздате – утвердили восприятие читателями его фигуры как знаковой.

---

[1] Медведев Ж. А. Десять лет после «Одного дня Ивана Денисовича». // Подъём. 1991. № 6. С. 3-52.
[2] Твардовский А. Т. Новомирский дневник : в 2 т. Т.1. С. 254-255.

По мере усиления официальных гонений отношение к личности А. И. Солженицына становилось пробным камнем на принадлежность к либеральному или ортодоксальному лагерю. К. И. Чуковский зафиксировал в дневнике гневную отповедь дочери одной из приятельниц в ответ на вполне невинную реплику о небрежностях стиля А. И. Солженицына. Столь же нетерпима к любой критике писателя была А. А. Ахматова. Вот лишь некоторые оценки современников: «Он был в моих глазах Алигьери, творцом "Архипелага ГУЛаг"» (Л. К. Чуковская)[1]. «Да, он фанатик литературы. Аввакум XX века» (В. Я. Лакшин)[2]. «У Льва Толстого и Чехова есть достойный продолжатель» (К. И. Чуковский)[3]. «Из всех живущих сейчас писателей Солженицын – самый крупный» (В. П. Катаев)[4]. Показательны механизмы создания знаковой фигуры: литературная общественность использует приём проекции. На его личность накладываются образы титанов мировой литературы, укрупняя фигуру современника. Так писатель получал статус металитературного персонажа.

Однако его реальное положение в художественном процессе оставалось маргинальным. В этих условиях литератор избрал единственно верную тактику: не обороняться, а нападать, укреплять в общественном сознании свой статус борца с неосталинизмом.

Для русской культуры традиционно ожидание соответствия цели и средств: чем серьёзнее жертвы, тем значимее цель. Заявляя о готовности жертвовать семьёй: «Наши дети не дороже памяти замученных миллионов» («Бодался телёнок с дубом»)[5], да и самой жизнью: «Никому не перегородить путей правды, и за её движение я готов принять и смерть» («Письмо IV Всесоюзному съезду Союза советских писателей»)[6], А. И. Солженицын максимально обобщает своё

---

[1] Чуковская Л. К. Процесс исключения // Л. К. Чуковская. Соч. : в 2 т. М. : Гудьял-Пресс, 2000. Т. 2. С. 103.
[2] Лакшин В. Я. Дневники и попутное // В. Я. Лакшин. Солженицын и колесо истории. М. : Издат. дом Вече, АЗъ (Знатнов). 2008. С. 340.
[3] Чуковский К. И. Дневник. 1901-1969: в 2 т. / К. И. Чуковский. М. : ОЛМА-ПРЕСС Звёздный мир, 2003. Т. 2. С. 137.
[4] Кондратович А. И. Новомирский дневник (1967-1970). М. : Советский писатель, 1991. С. 70.
[5] Солженицын А. И. Бодался телёнок с дубом. С. 350.
[6] Там же. С. 629.

представительство. Он защищает правду, справедливость, и нравственная наполненность его миссии предопределяет победу если не реальную, то моральную. Публицистические выступления 1960-70-х годов создавали летопись противостояния правды и лжи, свободы и тирании. Итог исторической битвы не вызывал сомнений писателя: он внушал читателям социальный оптимизм, заимствованный им из лексикона русской классической и советской литературы. Конечная цель – пересоздание действительности по законам правды – типична для позиции художников слова не только XIX века (на чём применительно к своей миссии настаивал писатель), но и для официального дискурса, от чего А. И. Солженицын декларативно отрекался.

Поведенческая стратегия по созданию образа пламенного борца с тоталитаризмом была продуманной и точной. Работа над главной книгой «Архипелаг ГУЛАГ» сопровождалась созданием Фонда, принявшего на себя обязательства по оказанию помощи политзаключённым. Общественная деятельность, таким образом, становилась продолжением литературной, статус бесстрашного борца с системой подкреплялся всё новыми протестными практиками, всегда наступательными, демонстративными. Писатель нашёл точный тип литературно-социального поведения, способствующий переориентации общественного сознания: властителем дум постепенно становился не признанный в официальной иерархии, а гонимый литератор. Следующий непременный шаг упрочения позиции – популяризаторство. Протестные акции не могут носить анонимный характер, напротив, авторство должно быть закреплено, а сущность требований известна как можно большему числу граждан. Показательно, что открытые письма (к середине 1960-х годов – традиционный приём нонконформистов во взаимодействии с властными структурами) Солженицын, как правило, адресует не в газеты или местные партийные органы, что означало бы путь «снизу-вверх», а руководящим институциям и персонам: «Письмо IV Всесоюзному съезду Союза советских писателей» (1967 г.), «Открытое письмо Секретариату Союза писателей РСФСР» (1969 г.), «Письмо М. А. Суслову» (1970 г.), «Письмо всероссийскому Патриарху

Пимену» (1972 г.), «Письмо вождям Советского Союза» (1973 г.), позиционируя себя как равную величину, воплощающую совесть народа. Дискурс открытых писем обличительный. Автор выступает в роли не просителя, а требовательного и категоричного судьи, ниспровергающего погрязших во лжи партийных и литературных чиновников. Например, в «Письме IV Всесоюзному съезду Союза советских писателей» автор требует поставить на обсуждение вопрос о гарантиях защиты писателя от произвола государства и отмене цензуры[1]. Едва ли автор в самом деле ожидал решения этих вопросов, однако провокация виделась непременным тактическим приёмом в борьбе за свои права в литературном и общественном пространстве. Это осознавали противники писателя. К. А. Федин на обсуждении «дела Солженицына» в Секретариате СП в 1967 году по поводу возможной публикации «Ракового корпуса» заявлял: «Мне тут услышалась своего рода угроза <…>. Это как бы заставляет силком браться скорее за рукопись, издавать её и т. д. Я думаю, что тон этот недопустим в Союзе писателей <…>. Тон этот мне показался глубоко обидным и оскорбительным»[2].

Исследовательница публицистики писателя Т. Д. Куликова пишет: «Практические установки, которые А. И. Солженицын использовал, он сам называл "лагерными". Суть их: в умении вовремя нанести упреждающий удар; не поддаваться жалости, когда речь идёт о достижении намеченной цели; в гибкости при налаживании необходимых коммуникаций; умении быть начеку (верить скорее в плохое, чем в хорошее); резкая оппозиция коммунистической партии»[3]. Добавим к этой справедливой оценке некоторые замечания: определив свою поведенческую стратегию как «лагерную», писатель, на наш взгляд, скорее создавал художественный образ, который можно назвать «узник совести» или

---

[1] Солженицын А. И. Бодался телёнок с дубом. С. 625-629.

[2] Из истории общественно-литературной борьбы 60-х годов. Твардовский, Солженицын, «Новый мир» по документам Союза писателей СССР. 1967-1970 // Октябрь. 1990. № 8. С. 172.

[3] Куликова Т. Д. Публицистика А. И. Солженицына. Процесс коммуникации: от информационного бума до информационного вакуума (1960-1994 гг.): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Ростов-на-Дону, 2004. 43 с. URL: www.dslib.net › Филологические науки › Журналистика (дата обращения: 10.08.2019)

«политзаключённый», органично дополняющий другие, успешно им эксплуатируемые – «борец с тоталитаризмом», «подвижник идеи», «писатель-пророк». Эти определения, фиксируя в сознании читателя образ сверхценной личности, должны были, вопреки политике власти, упрочить в обществе статус писателя. Очевидно, что самопрезентация «лагерник» адресована определённой группе читателей – авторов и потребителей сам- и тамиздата, поскольку, во-первых, активизирует травматичную память тех, кто побывал в сталинских лагерях или потерял там своих близких, а во-вторых, обеспечивает сочувствие Запада несломленному борцу. Казалось бы, писатель сознательно суживает читательскую аудиторию. Однако в условиях усиливающейся травли в официальной прессе такая позиция провоцировала читателя на нравственное самоопределение: быть на стороне «лагерника» А. И. Солженицына означало морально солидаризироваться со всеми жертвами репрессий. В «Телёнке» находим подтверждение: «Перед моими зэками, перед моими братьями, перед экибастузской голодовкой, перед кенгирским мятежом мне стыдно и отвратно стало, что я ещё обсуждаю тут с ними что-то, что я серьёзно мог думать, будто литераторы с красными книжечками даже после XXII съезда способны напечатать слово правды»[1]. В благодарственном письме читателям «Литературной газеты» в связи с поздравлениями по поводу своего 50-летия подтвердил писательское кредо: «Я знаю, что Ваша газета не напечатает единой моей строки, не придав ей исказительного или порочного смысла. Но у меня нет другого выхода ответить моим многочисленным поздравителям иначе, как посредством Вас. <…> Я обещаю никогда не изменить истине. Моя единственная мечта – оказаться достойным надежд читающей России»[2]. Цитаты дополняют друг друга, фиксируя биполярный мир, расколотый на «своих» – несломленных жертв режима, свободомыслящую часть общества и «чужих» – неосталинистов и поддерживающую их официальную прессу.

---

[1] Солженицын А. И. Бодался телёнок с дубом. С. 38.
[2]Там же. С. 650.

Однако отнюдь не все «лагерники» практиковали навыки, перечисленные Солженицыным и заимствованные явно из арсенала уголовных заключённых: отсутствие жалости, нанесение упреждающего удара, умение быть начеку. Например, В. Т. Шаламов категорически не допускал подобного поведения, считал его признаком потери нравственного иммунитета.

Во второй половине 1960-х годов А. И. Солженицын всё очевиднее ориентируется на Запад в своих обличительных акциях: выступает как лидер оппозиции тоталитарной системы, собиратель протестных сил в обществе и при этом старается отойти от звания автора единственной темы. В его публицистике ощутима заявка на всеохватность и энциклопедизм: в центре внимания оказываются проблемы использования психиатрии в репрессивных целях («Вот как мы живём»), бескомпромиссного социального поведения гражданина («Жить не по лжи»), роли интеллигенции в русской истории («Образованщина»), судьбы России, её исторических перспектив («На возврате дыхания и сознания», «Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни»). Попытка концептуального осмысления глобальных проблем выдаёт стремление писателя доминировать в общественном сознании в качестве духовного лидера, способного сломать не только ложную систему ценностей, но и всю социальную модель. Крупномасштабность политических задач свидетельствует о самоидентификации, производимой по революционно-героическому типу: пересоздание общественной жизни, да и самой новейшей истории отечества мыслится как задача, реализуемая посредством организующей воли исключительной личности, сплотившей общество ради исторического обновления. Ю. Ф. Орлов зафиксировал в автобиографии «Опасные мысли» примечательный отзыв А. И. Солженицына на своё открытое письмо «Тринадцать вопросов Брежневу»: «Да, можно подходить с разных сторон, но с какой ни подойди, результат всё тот же: у этой системы будущего нет»[1]. Это звучит голос политического деятеля, выносящего исторический приговор и предвидящего грядущее. Революционный характер деятельности писателя

[1] Орлов Ю. Ф. Опасные мысли. Мемуары из русской жизни. М. : Захаров, 2008. С. 157.

ощущал В. Я. Лакшин: «Солженицын хотел бы переделать, пересоздать мир по-своему. Социализм не выдержал перед ним своего экзамена. Он склонен его отвергнуть радикально – как принцип, как идею и сменить… на что? <…> К несчастью, если не брать в расчёт огромной и притягательной силы разрушения, позитивные идеи Солженицына отрывочны, случайны, насказаны часто вмиг, по настроению. <…> Всё должно рассыпаться в прах, если не согласно с Солженицыным, его идеями, его критикой – и никого и ничего не жаль»[1]. В. Я. Лакшин остро и точно отметил в речевых стратегиях публициста критический запал и категоричность, исключающие возможность противоположной точки зрения («Письмо вождям Советского Союза»). Действительно, в «Письме вождям» автор воспроизводит приёмы партийной публицистики: резкие авторские комментарии («Вы можете с негодованием или смехом отбросить соображения какого-то одиночки, писателя. Но с каждым годом то же самое будет настойчиво предлагать вам жизнь – по разным поводам, в разное время, с разными формулировками, – но именно это. Потому что это осуществимый плавный путь спасения нашей страны, нашего народа»[2]), оценочные средства выражения («Не обнадёжен я, что вы захотите благожелательно вникнуть в соображения, не запрошенные вами по службе, хотя и довольно редкого соотечественника, который не стоит на подчинённой вам лестнице, не может быть вами ни уволен с поста, ни понижен, ни повышен, ни награждён, и, таким образом, весьма вероятно услышать от него мнение искреннее, безо всяких служебных расчётов, – как не бывает даже у лучших экспертов в вашем аппарате»[3]), лозунговые императивные конструкции (разделы названы «Запад на коленях», «Война с Китаем», «Тупик цивилизации»). Менторский тон, просвещенческий и проповеднический характер свидетельствуют об

---

[1] Лакшин В. Я. Солженицын, Твардовский и «Новый мир» // В. Я. Лакшин. Солженицын и колесо истории. М. : Издат. дом Вече, АЗъ (Знатнов). 2008. С. 171-174.
[2] Солженицын А. И. Письмо вождям Советского Союза // А. И. Солженицын. Собр. соч. : в 9 т. М. : Терра-Книжный клуб, 2001. Т. 7. С. 93.
[3] Там же. С. 61.

авторитарной позиции по отношению к общественному сознанию, заимствованной Солженицыным из официальных документов.

Вынужденная эмиграция на Запад поставила Солженицына перед необходимостью войти в новое социокультурное пространство. При этом писатель не счёл нужным менять основные стратегические приёмы литературного и гражданского поведения. Его адресат по-прежнему ведущие институции и лидеры стран: Третий собор Зарубежной русской церкви (1974 г.)[1], президент США Рональд Рейган (1982 г.)[2]. На этот раз он примерил образ всечеловеческого лидера, способного с равной степенью компетентности рассуждать об общемировых проблемах. Политические воззрения Солженицына пронизаны негативистскими оценками: он критиковал Запад за слабость и уступчивость тоталитарным режимам («Выступление по английскому радио» 26 февраля 1976 г.)[3]. Утверждая, что «коммунизм идейно уже все проиграл», призывал мировую общественность активизировать борьбу против тоталитаризма[4]. Идея обречённости коммунистического режима (интервью швейцарскому еженедельнику «Вельтвохе», 1973 г.; две речи перед представителями американских профсоюзов АФТ-КПП, 1975 г.) сочеталась с критикой слабости демократии, способной в её нынешней форме завести человечество в тупик безверия и анархии, поскольку происходит утеря значения духовной жизни («Мир и насилие», 1974 г.; речи во время турне по Великобритании[5], Франции и Испании[6], 1976 г.; «Гарвардская речь»[7], 1978 год;

---

[1] Солженицын А. И. Третьему Собору Зарубежной Русской Церкви // А. И. Солженицын. Указ. соч. С. 155-170.
[2] Солженицын А. И. Письмо Президенту Рейгану // А. И. Солженицын. Указ. соч. С. 281-284.
[3] Солженицын А. И. Выступление по английскому радио. Лондон, 26 февраля 1976 // А. И. Солженицын. Указ. соч. С. 187-188.
[4] Солженицын А. И. Радиоинтервью кампании Би-Би-Си // А. И. Солженицын. Указ. соч. С. 273-276.
[5] Солженицын А. И. Выступление по английскому радио. С. 186-199.
[6] Солженицын А. И. Интервью с Бернаром Пиво для французского телевидения // А. И. Солженицын. Собр. соч. : в 9 т. Т. 7. С. 348-370.
[7] Солженицын А. И. Речь в Гарварде на ассамблее выпускников университета (8 июня 1978) // А. И. Солженицын. Указ. соч. С. 237-255.

радиоинтервью компании Би-Би-Си, 1979 г.[1]). Социокультурные представления публициста характеризуются идеализацией патриархального прошлого России («Чем грозит Америке плохое понимание России»; полемика с Андреем Синявским, 1974 г.), неприятием потребительской западной культуры, утратившей духовность, отождествляющей идеал счастья исключительно с материальными ценностями. Резкому осуждению была подвергнута вседозволенность западной прессы («Слово при получении премии "Фонда Свободы"», 1976 г.[2]).

А. И. Солженицын декларировал своё стремление силой слова вызвать конструктивные перемены в человеческом сообществе и при этом сохранял дидактический дискурс, агрессивные речевые стратегии. Советская субъективность при антисоветских поведенческих и речевых декларациях помешала писателю завоевать западное культурное пространство. В американском общественном сознании утвердилось восприятие писателя как «славянофила», не желающего понимать Америку, «отгородившегося от страны, как отшельник в своем поместье в Вермонте»[3].

Социальное и литературное поведение В. Я. Тарсиса по использованным приёмам зачастую тождественно солженицынскому. Это не означает подражательности одного другому, а выявляет типологию, сформировавшуюся к 1960-м годам, узнаваемую нонконформистами и поддающуюся тиражированию.

Сегодня имя В. Я. Тарсиса почти забыто читателями и литературоведами, а в начале 1960-х годов его сатирический памфлет «Сказание о синей мухе» и повесть «Палата № 7» сделали автора заметным явлением общественной жизни: антикоммунистические воззрения были продекларированы в них ясно и недвусмысленно, а публикация в «Гранях» под подлинной фамилией выглядела

---

[1] Солженицын А. И. Радиоинтервью кампании Би-Би-Си // А. И. Солженицын. Указ. соч. С. 255-276.

[2] Солженицын А. И. Слово при получении премии «Фонда Свободы» // А. И. Солженицын. Указ. соч. С. 230-233.

[3] Reid R. S. Solzhenitsyn’s Christian Civilization Rhetoric: The Other «Prophetic» Speech 30 Years Later // And the Word Became Flesh: Studies in Scripture, Communication, and History in Memory of Michael W. Casey, Eds. Thomas H. Olbricht and David Fleer.Portland: Pickwick Publishers, 2009. Pp. 231-246.

весьма рискованным шагом. Первое произведение имело драматичные последствия для литератора: он был помещён в психиатрическую больницу и выпущен после вмешательства международной общественности. Второй текст закрепил скандальную славу писателя, поскольку впервые рассказывал об использовании в Советском Союзе психиатрии в борьбе с инакомыслящими. Как и в случае Солженицына, новизна темы, подвергнутой художественному анализу, определила внимание читателей. Правда, В. Я. Тарсис избрал ещё более маргинальную тему, чем сталинские репрессии, и тем самым значительно сузил круг аудитории. Однако к 1966 году, когда «Палата № 7» разошлась в самиздате и была опубликована в Англии, его имя и властями, и читателями самиздата прочно связывалось с оппозиционностью и бунтом.

Поведение В. Я. Тарсиса и его тексты оценивались современниками неоднозначно. А. Т. Твардовский записал в дневнике: «19. 1. 66: Ещё раз попробовал читать "Палату № 7", не дочитал – противно. Всё там есть, что нередко говорим и думаем почти все мы, но вывалено это с такой неразборчивостью не то что в выражениях, но с какой-то холуйской готовностью сообщить "туда" как можно больше гадостей о советской власти, марксизме и коммунизме <…>, что становится, во-первых, скучно от этого однообразного нагнетания "фактов", во-вторых, видишь, что бездарность несостоятельна всегда, даже если она прикасается к самым ужасающим и в основе своей действительным фактам. Всё это – сумбурный, многословный монолог "пациента", объясняющего своё местонахождение в психбольнице историческим перерождением социализма в фашизм и уже ничего не желающего знать, кроме того, что "местонахождение" имеет свои привилегии – безнаказанность любой брехни.

Но можно подумать и так: почему этот автор, печатающий под своей фамилией, на русском языке откровенные призывы к свержению нынешнего строя и предъявляющий самые немыслимые (какая уж "сатира", какой "пасквиль") обвинения, – автор этот на свободе, живёт в писательском доме, получает, как говорят, доллары и ничего с ним не делается. Может быть,

конечно, это крайнее предположение, дело в том, что он не является "сотрудником" "НМ", никак его не приписать сюда»[1].

У возмущения А. Т. Твардовского, как видим, несколько причин: явное несоответствие художественной немощи произведения его самиздатской популярности, подогреваемой скандалом вокруг имени автора, и очевидно «заказной» характер писания. Причины раздражённости автора дневника становятся ясны при восстановлении внелитературного контекста. Обратим внимание на дату – январь 1966 года. В судьбе «Нового мира» наступили тяжёлые времена: А. Т. Твардовскому приходится держать оборону от обвинений редакции в сотрудничестве с подследственным А. Д. Синявским, суд над которым начнётся в следующем месяце, продолжать борьбу за публикацию романа А. И. Солженицына «В круге первом», неустанно отбиваться от нападок цензуры. Напряжение, нагнетающееся вокруг журнала, всё чаще приводит главного редактора к убеждению в неизбежности его закрытия. Реплика о безнаказанности В. Я. Тарсиса объясняется недоумением автора несбалансированностью действий властей. На фоне «разухабистой писанины Тарсиса» (выражение Твардовского – Е. С.) уголовное преследование Синявского и Даниэля за тексты, сомнительно антисоветские, казалось ему особенно несправедливым. Заметим, что А. Т. Твардовский при всей обременённости редакторскими делами нашёл время для повести В. Я. Тарсиса. Это свидетельствует о восприятии поведенческой модели не слишком известного литератора как знаковой. В. Я. Тарсис, пусть ненадолго, но стал общественно значимым явлением.

В этом восприятии личности писателя с А. Т. Твардовским солидаризировался В. К. Буковский. В автобиографии «И возвращается ветер…» он посвятил Тарсису несколько восторженных страниц. Восхищение диссидента вызывает демонстративность его протестных акций: тот «давал интервью, пресс-конференции, почти открыто отправлял за границу новые рукописи, даже

[1] Твардовский А. Т. Новомирский дневник: в 2 т. Т. 2. С. 422.

машину себе купил – на зависть всему писательскому дому, в котором продолжал жить.

И валом валил к нему народ, в особенности же корреспонденты и иностранные туристы, – посмотреть на восьмое чудо света. Буквально все, затаив дыхание, ждали: когда же этого Тарсиса арестуют, задавят машиной или распнут на кресте...»[1]. Ориентация на зрителя, зафиксированная Буковским, выявляет игровое начало в поведении В. Я. Тарсиса. Эффект, на который тот явно рассчитывает и получает, – популярность внутри страны и, главное, за рубежом. Для профессионального диссидента В. К. Буковского успех на Западе – знак эффективности выбранной стратегии. Для придания ценностного статуса данному типу поведения В. К. Буковский осмысливает его в категориях бесстрашия и мужества: В. Я. Тарсис не боится запугиваний высших чинов КГБ, не меняет позиции после заключения в психбольницу, помогает молодёжи печататься на Западе. Вывод В. К. Буковского симптоматичен: «Тарсис <…> жил совершенно так, как будто никакой советской власти не существует»[2]. Показательно, что примерно так же определял специфику поведения диссидентов А. А. Амальрик: свободные люди в несвободной стране[3]. Вот поведенческий образец для личности модерного типа – индивидуализм, возведённый в жизненную позицию.

Объяснения логики поступков В. Я. Тарсиса, данные В. К. Буковским, довольно убедительны. В частности, он отмечает социально адаптивнное поведение писателя в начале карьеры: «Учился в университете, вступил в партию, был на фронте, стал советским писателем»[4]. Поворотным пунктом к девиантному поведению рассказчик считает присуждение Нобелевской премии Б. Л. Пастернаку: «… к 1960 году печатать его перестали полностью. Тут-то и стал он тайком переправлять свои рукописи за границу.

---

[1]Буковский В. К. И возвращается ветер… СПб. : Захаров, 2007. С. 227.
[2] Буковский В. К. И возвращается ветер… С. 227.
[3] Амальрик А. А. Записки диссидента. Анн Арбор: Ардис, 1982. С. 39.
[4] Буковский В. К. Указ. соч. С. 226.

Этот, впоследствии традиционный, способ публикации начался тогда с Бориса Пастернака и стал казаться особенно заманчивым после присуждения ему Нобелевской премии»[1]. В. К. Буковский указывает на Б. Л. Пастернака как на поведенческий образец для многих литераторов, в том числе и для В. Я. Тарсиса. Скандал, разразившийся вокруг имени поэта, передавшего рукопись романа на Запад и не сумевшего воспользоваться мировым признанием, может быть привлекателен и способен определить жизненный сценарий. Продолжая логику В. К. Буковского, можно понять, что В. Я. Тарсис реализовал отредактированную версию судьбы Б. Л. Пастернака: печатать на Западе под своей фамилией откровенно антисоветские произведения, подогревать внимание отечественной и зарубежной общественности всё новыми скандалами, используя для этих целей литературное творение и социально провокационное поведение. Тот факт, что художественный текст в этом случае наделяется статусом не эстетического, а политического высказывания, превращается в акт социального неповиновения и одновременно служит трамплином для прыжка на Запад, не смущает диссидента. В конце 1970-х годов, когда В. К. Буковский создавал свою книгу, способ, апробированный В. Я. Тарсисом, зарекомендовал себя как вполне эффективный и, действительно, стал традиционным в поведении диссидентов.

С версией В. К. Буковского нельзя не согласиться. Он указал механизмы формирования поведенческой модели: найден образец, последователь ориентируется на него и совершенствует в соответствии с собственными целями. Референтной группе как бы предлагается иной вариант известной судьбы: как могла бы сложиться образцовая биография при смене поведенческой тактики. Кроме того, подкрепляя свои поступки авторитетным именем, последователь придавал собственным действиям дополнительный вес.

Погружённая в иной социальный контекст цитата наполнялась, казалось бы, новой семантикой: демонстрировала иную модель поведения – не интериоризацию, как в случае Б. Л. Пастернака, а бунт – полный разрыв с

[1] Там же. С. 226.

советской культурой ради утверждения новых норм и ценностей. Рассмотрим, так ли это.

«Пастернаковский сценарий» в случае В. Я. Тарсиса можно проследить по документам. В 1960-ом году через итальянского журналиста он передал отвергнутую издательством «Советский писатель» рукопись романа «Флорентийская лилия» Дж. Фельтринелли, именно тому, кто напечатал «Доктор Живаго». Подвергнувшись исключению из партии за поступок, не достойный звания члена КПСС (в свете истории с Б. Л. Пастернаком вполне предсказуемая реакция властей), отправил письмо переправлявшему её журналисту Дзаполи с просьбой вернуть рукопись. Расчёт, вероятно, был сделан на память Фельтринелли: с «Флорентийской лилией» тот должен был поступить так же, как с «Доктором Живаго» – напечатать, вопреки просьбе автора, сделанной под давлением. Дальше скандал разрастался бы сам собой. Более того, узнав, что роман в Италии принят к публикации, В. Я. Тарсис оповестил об этом Московское отделение Союза писателей и попросил предоставить ему возможность выехать туда для дополнительной работы над произведением и сбора материалов. Эта просьба, с одной стороны, укладывается в норму поведения советского писателя: В. Я. Тарсис действует открыто, оповещает руководство о творческих планах. С другой стороны, он не мог не предвидеть отрицательной реакции на свою просьбу и, возможно, сознательно подогревал вероятный скандал. Расчёт писателя тогда не оправдался: даже напечатанная «Флорентийская лилия» не смогла повторить успеха «Доктора Живаго».

Из записки Отдела культуры ЦК КПСС от 29 сентября 1960 года ясно, что автору в тот раз не инкриминировалось антисоветское содержание романа, речь шла лишь о пессимистичности произведения. Содержание книги было признано идейно уязвимым, но никак не враждебным. Причина исключения из рядов КПСС – нарушение партийной дисциплины (записка Отдела культуры ЦК КПСС и Отдела науки, школ и культуры ЦК КПСС)[1]. Как видим, поведение и В. Я. Тарсиса, и партийного руководства СП укладывается в одно смысловое поле,

[1] Документы свидетельствуют… С. 291.

действия писателя, хотя и предосудительны с точки зрения партийной этики, но не противоречат советской идентичности.

Дебют в роли «нового Пастернака» принёс В. Я. Тарсису первые дивиденды: его имя прозвучало в самиздатских кругах и на Западе. Определилась и референтная группа – читатели сам- и тамиздата. «Свой» автор реализовал коллективные ожидания сообщества. В сборнике «Казнимые сумасшествием» (1971 г.) читаем: «В 1960 году Тарсис рвёт с партией и руководством Союза писателей и передаёт за границу рукописи своих произведений. Он в это время – духовный возглавитель (так в тексте – Е. С.) молодёжной творчески-оппозиционной группы СМОГ, первый в Москве открыто критикующий советские порядки»[1]. Характеристика, данная В. Я. Тарсису, значима для самоидентификации диссидентов. Как мы знаем из документов, писатель «рвёт с партией и руководством Союза писателей» не по собственной инициативе, он был исключён (в 1960 году – из партии, в 1964-ом – из Союза писателей). Однако диссидентский дискурс составителей сборника предполагал героическую трактовку событий, совпадающую с версией самого В. Я. Тарсиса. После высылки из Советского Союза, находясь в Англии, на пресс-конференции в издательстве «Коллинс» 10 февраля 1966 года на вопрос журналиста, был ли он коммунистом, В. Я. Тарсис ответил, что был им в течение 20 лет и вступил в эту «бандитско-фашистскую партию», чтобы «лично изучить врага» (записка первого заместителя Председателя Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР Н. М. Захарова и Генерального прокурора СССР Р. А. Руденко)[2]. Достоверность высказанной версии, вероятно, казалась ему менее важной, чем хлёсткий и запоминающийся ответ. Успех самопрезентации, похоже, был для него самоценен.

В цитате из сборника «Казнимые сумасшествием» показательна и концовка: в сознании советских диссидентов роль В. Я. Тарсиса в обществе определяется

---

[1] В. Тарсис // Казнимые сумасшествием: Сборник документальных материалов о психиатрических преследованиях инакомыслящих в СССР. Франкфурт-на-Майне : Посев, 1971. С. 193.

[2] Документы свидетельствуют… С. 306.

по аналогии с официальной иерархией: он собиратель молодых антикоммунистических сил и наставник творческой молодёжи. Предложенная трактовка поведения согласуется с самооценкой В. Я. Тарсиса. На упомянутой пресс-конференции в издательстве «Коллинс» он, в частности, объявил себя руководителем всей антисоветской литературы, выходящей на Западе на русском языке, и редактором всех подпольных изданий в СССР независимо от того, указано в них его имя или нет (редакторство В. Я. Тарсиса документировано только в самиздатском журнал «Сфинкс» (1965, № 1) – органе литобъединения «СМОГ» – Е. С.).

Показательно, что самооценки В. Я. Тарсиса, как и поведение Солженицына, совпадающие с восприятием их личности нонконформистами, транслируют советскую модель социальных отношений: авторитарное стремление писателя руководить, являть образец для подражания, обучать младших товарищей собственным примером не только профессиональному мастерству, но и жизненной позиции.

Документы, как отмечалось выше, свидетельствуют, что первоначальное намерение властей предать В. Я. Тарсиса уголовному преследованию, как Синявского и Даниэля, было пересмотрено. Решающим аргументом послужил международный резонанс на заключение его в психбольницу в 1962 году. Высылка из страны была признана более предпочтительным вариантом. Безусловно, В. Я. Тарсис не мог знать планов властей на свой счёт, и риск вновь оказаться в психбольнице или тюрьме был весьма велик. Однако его действия по мере упрочения международного внимания всё очевиднее приобретали звучание политических акций: после очередной публикации за рубежом он декларировал не раскаяние, как требовалось в нормативном поведении советского писателя, а ещё большую решимость бороться с советской тиранией. В качестве защитных мер от репрессий активизировал связи за границей, обеспечивал себе поддержку международной общественности. При этом социальное поведение В. Я. Тарсиса оставалось тождественно литературному, публичные и частные устные заявления – художественным высказываниям. «Советский социализм с

подлинным социализмом ничего общего не имеет, а уводит народ от конечной цели – коммунизма...»[1], «партия ничего общего с коммунизмом не имеет, а является хорошо знакомой ассоциацией чиновных функционеров, борющихся за власть»[2]. Это из повести «Сказание о синей мухе» (1963 г.), а вот из беседы с корреспондентом «Нью-Йорк таймс»: «... Я ненавижу коммунизм, ненавижу советскую власть... Я буду бороться до последнего вздоха»[3]. Как видим, характер высказывания – художественный или публицистический, форма – устная или письменная – не подвергают корректировке ни семантику, ни стилистику. Это неизменно политические декларации. В. Я. Тарсис всякий раз выступает как идеологический субъект: воздействует на сознание современников пропагандистскими методами, идеологически заряженное художественное слово сопровождает «наглядной агитацией» – демонстративным общением с иностранными корреспондентами, открытой передачей рукописей за рубеж и прочее. Й. Хелльбек отмечал, что советская революционная программа субъективации превращала индивидуумов в исторически и политически сознательных субъектов; предполагала осознанное и добровольное участие каждого гражданина в пересоздании природы, общества, себя[4]. Именно такую идеологически преобразующую миссию и возлагал на себя В. Я. Тарсис. Антикоммунистическая цель не изменила типа идентичности.

Можно предположить, что настойчивая демонстрация антисоветской позиции с использованием риторических приёмов советского дискурса являлась для В. Я. Тарсиса тактическим средством, позволяла закрепить статус главного борца с тоталитаризмом в глазах советской и международной общественности и вынудить власти выслать его из страны. Единство языка, авторского и официального, в таком случае объяснимо, оно позволяет идентифицироваться в качестве объекта преследования властей, спровоцировать международный скандал и тем вероятнее добиться желанной цели. Тогда,

---

[1] Документы свидетельствуют… С. 301.
[2] Там же. С. 302.
[3] Там же. С. 306.
[4] Интервью с Игалом Халфиным и Йоханом Хелльбеком //Ab Imperio. 2002. № 3. С. 222.

покинув Советский Союз, он должен был бы сменить тип нарратива: отказаться от идеологического дискурса, дидактической риторики, неизменной манифестации политической позиции. Освободившись от необходимости вести беспрерывные идеологические баталии, он мог бы реализоваться в полную силу как художник. Однако этого не произошло. Вот пример выступления писателя в Греции, куда он прибыл по частному приглашению в июне 1966 года, вскоре после эмиграции: «Дамы и господа! С моих детских лет я мечтал посетить родину моих предков <…> – Грецию. И наконец моя мечта стала действительностью. <…>

Благодаря преданности своим высоким идеалам греческий народ избежал коммунистического рабства. Однако враг не дремлет и пытается использовать всякую возможность для достижения своих целей. Но мы можем быть уверены, что потомки Гомера, Александра Македонского, Платона и Аристотеля, народ поэтов и философов, своевременно нейтрализуют эти усилия и защитят себя. Я восхищён успехами греческого народа и расцветом греческой культуры. Выгнанный из Советского Союза и прибыв на родину моих предков, я считаю своим долгом предупредить вас о том, чтобы вы не обольщались ложными обещаниями демагогов. Перед собой вы имеете печальный пример моей несчастной страны, где лучшие люди или уничтожены, или замучены в концлагерях, где народ живёт без надежды и ожидания чего-то лучшего, где задушена свобода, где место для честного писателя – тюрьма, психиатрический дом, концлагерь или ссылка.

В последние месяцы я посетил многие страны Европы и Америки и всюду видел, как народы этих стран борются за лучшую жизнь и уничтожение тоталитарных режимов.

Ныне между коммунистами идёт сильная грызня, и я верю, что их конец не за горами. Я надеюсь, что свободный греческий народ присоединит свой голос к голосам других народов, которые борются за свободу человечества, выразит свой протест против коммунистических орд.

Я весьма взволнован, что встретил вас. Я счастлив, что нахожусь на родине. Благодарю вас» (Статья из греческой газеты «Акрополис»)[1]. Речь оратора воспроизводит стереотипы официального советского языка: движущая сила истории – народ, прогресс не остановим, победа не за горами.

В. Я. Тарсис за границей продолжал транслировать поведенческие нормы, традиционные в советской культуре: позиционировал себя борцом за свободу, предупреждал о грядущей угрозе, словом, использовал органичный для себя революционный политический язык. Советская идентичность, адекватная отечественной культуре, не позволила ему вписаться в западную. В Англии, ФРГ, а затем в Швейцарии, где он жил, В. Я. Тарсис продолжал литературную деятельность, его собрание сочинений насчитывает 12 томов, но опубликовать удалось лишь 4: написанную в СССР трилогию «Комбинат наслаждений» (1967 г.), автобиографическую повесть «Седая юность» (1968 г.), романы «Столкновение с зеркалом» (1970 г.) и «Недалеко от Москвы» (1981 г.)[2]. В Советском Союзе его имя помнилось недолго. Через полтора года, в августе 1967-го, А. Т. Твардовский записал в дневнике: «… кто сейчас помнит о книжонках и разухабистой писанине Тарсиса?»[3].

Итак, революционная модель поведения А. И. Солженицына и В. Я. Тарсиса скрывала советскую индентичность под антисоветскими декларациями.

По мере обострения противостояния власти и интеллигенции молодое поколение нонконформистов, диссиденты, изберут иной тип поведения, главными принципами которого станут не традиционализм, а мобильность и эффективность поведенческой модели. Письма защиты/протеста, демонстрации, организация разнообразных Комитетов и прочее должны были утвердить себя как резонансные в обществе и только в этом случае становились повсеместно применяемыми. Демонстративность акций была их обязательным свойством, поскольку, во-первых, зримо представляла власти и обществу наличие

---

[1] Документы свидетельствуют… С. 310-311.
[2] Казак В. Лексикон русской литературы XX века. М. : РИК Культура, 1996. С. 414.
[3] Твардовский А. Т. Новомирский дневник: в 2 т. Т. 2. С. 61.

инакомыслящих и тем самым легитимировала сообщество и, во-вторых, выполняла пропагандистскую функцию – вербовала последователей.

Формирование общих для сообщества методов самопрезентации вовсе не исключало некоторой специализации. Взять ли на себя коммуникацию с иностранными корреспондентами, как В. К. Буковский, Ю. Ф. Орлов, или сосредоточиться на составлении самиздатских альманахов, как А. И. Гинзбург, Ю. Т. Галансков, Н. Е. Горбаневская, каждый решал самостоятельно. Таким образом, в формировании поведенческих моделей уживались две тенденции – к универсализации и индивидуализации. Безусловно, конкретные обстоятельства могли потребовать смены поведенческих приоритетов, например отойти от редактирования самиздата ради участия в митинге. Мобильность в выборе поведенческих практик входила в обязательные свойства личности. Динамизм, готовность искать всё новые тактические приёмы в противостоянии с властью были непременным условием социального существования диссидентов. Это не исключало нормативности поведения, ориентации на личностные образцы, утвердившие себя в общественном сознании как сверхценные. Однако несколько скорректированная антропологическая модель потребовала дополнительной составляющей. Активизация деятельных сил сообщества стала производиться за счёт интенсификации в самоидентификации революционной модели, успешно апробированной «старшими шестидесятниками» А. И. Солженицыным и В. Я. Тарсисом и органичной основной парадигме диссидентской активности: ориентация на пересоздание социума требовала соотнесения собственного поведения с аналогичными образцами.

Девочкой, воспитанной членами первого революционного поколения, считавшего себя «любимцами истории», ощущала себя Л. М. Алексеева[1]. Ассоциации с народником вызывал у знакомых А. И. Гинзбург: «Идеалист. Такие в XIX веке шли в народ сеять "разумное, доброе, вечное". А народ их

[1] Alexeyeva L., Goldberg P. The Thaw Generation: Coming of Age in the Post-Stalin Era. Boston: Little, Brownand Company, 1990. P. 10, 13.

потом ближайшему уряднику сдавал»[1]. О влиянии революционных примеров на своё юношеское мировосприятие рассказывал В. Т. Шаламов: «Книгу Ропшина (Бориса Савенкова – Е. С.) "То, чего не было" всю почти помню на память. Знаю почему-то важные для меня абзацы, целые куски помню. Не знаю, почему я учил эту книгу наизусть, как стихи. Эта книга не принадлежит к числу литературных шедевров. Это – рабочая, пропагандистская книга, но по вопросу жизни и смерти не уступала никаким другим. Дело тут в приобщении к сегодняшнему дню, непосредственной современности. Это книга о поражении революции 1905 года. Но никогда ещё книга о поражении не действовала столь завлекающе, вызывая страстное желание стать в эти же ряды, пройти тот же путь, на котором погиб герой. <…>

Судьба Савинкова могла быть любой. Для меня он и его товарищи были героями, и мне хотелось только дождаться дня, чтобы я сам мог испытать давление государства и выдержать его, это давление. Тут вопрос не о программе эсеров, а об общем моральном климате, нравственном уровне, который создают такие книги»[2]. А. Ю. Даниэль обратил внимание на символику создания Фонда помощи политзаключённым: А. И. Солженицын вдохновлялся конкретным примером – Политическим Красным Крестом, возникшим в 1918 году по инициативе Е. П. Пешковой, Н. К. Муравьёвой и М. Л. Винавера, и организации, пришедшей ему на смену в 1922-м «Помощь политическим заключённым» (Помполит)[3]. Исторические ассоциации, возникшие в сознании писателя, были обращены к современникам, способным не только провести параллель разных эпох освободительного движения в России, но и укрепиться в выборе собственной стратегии поведения за счёт соотнесения её с традицией заступничества и помощи жертвам политических репрессий.

---

[1] Александр Гинзбург: русский роман / авт.-сост. В.И. Орлов. М. : Русский путь, 2017. С. 72.
[2] Шаламов В. Т. Четвёртая Вологда // Шаламов В. Т. Собр. соч. : в 4 т. М. : Худож. лит. : Вагриус, 1998. Т. 4. С. 94-95.
[3] Даниэль А. Ю. Интерьер для неоконченного портрета, или Человек, которого знали все // Александр Гинзбург: русский роман. М. : Русский путь, 2017. С. 23.

Безусловно, в массовом сознании советских интеллигентов проекция такого рода не могла быть полной и точной. Образы пламенных революционеров претерпевали влияние советского дискурса, акцентировавшего в них героико-романтический ореол. Тем не менее образы, знакомые по кинофильмам и школьным учебникам, задавали парадигму самоосмысления. А. И. Гинзбург зафиксировал попытку пламенной речи революционера, предпринятую одним из будущих фигурантов «дела четырёх» во время «Митинга гласности» 5 декабря 1965 года: «Я помню, как Галансков залез <…> на парапетик, и закричал: "Граждане свободной России!.." Тут его понесли за ноги (дружинники и милиция, задерживавшие демонстрантов – Е. С.)»[1]. Очевидно, что поведение Ю. Т. Галанскова смоделировано по кино-литературной версии поведения ораторов-революционеров.

Каноничные поведенческие модели позволяли нонконформистам встроиться в единый ряд передовой свободолюбивой интеллигенции предшествующего столетия, ощутить себя не соглядатаями истории, а её непосредственными участниками, наполнить персональную биографию историческим смыслом. Ориентация на каноничные образцы, возможно, не всегда была осознанной дублёрами и отрефлексированной сообществом. Как известно, во время судов над инакомыслящими обвиняемые, осознавая предопределённость приговора, не признавали себя виновным, а использовали последнее слово для публичной декларации своей гражданской позиции. Эту традицию заложили в 1966 году А. Д. Синявский и Ю. М. Даниэль, поразив либеральную интеллигенцию решимостью и отвагой. Их выступление на суде разительно отличалось от покаянных речей фигурантов открытых процессов сталинской поры. Поведение подсудимых было воспринято сообществом как не имеющее аналогов, хотя образец, на наш взгляд, очевиден: именно так вели себя на судах народовольцы. Многократно описанные в мемуарах (воспоминания А. Ф. Кони,

[1] Пятое декабря 1965 года: В воспоминаниях участников событий, материалах Самиздата, документах партийных и комсомольских организаций и в записках КГБ в ЦК КПСС / под ред. А. Даниэля и А. Рогинского. М.. : НИПЦ Мемориал, 1995. 95 с. URL: http://old.memo.ru/history/diss/books/5dec/ (дата обращения: 10.08.2018).

председательствовавшего на суде В. Засулич[1], или В. Г. Короленко «История моего современника»[2]), исследованные в научной литературе (в 1960-е годы в историографии наблюдается повышенный интерес к освободительному движению в России. Вспомним труды М. В. Нечкиной[3], Н. А. Троицкого[4]), образцы поведения народовольцев были хорошо известны широкой аудитории и героизированы общественным сознанием как XIX, так и XX веков. «Ушли на каторгу с святою нераскаянностью», – писал А. И. Герцен[5] о Н. Г. Чернышевском и его сподвижниках. Как отмечал Н. А. Троицкий, к началу 1880-х годов в главных чертах сложился кодекс поведения революционера на суде: использовать последнее слово для программной речи, провозглашать верность идеалам, не раскаиваться, не выдавать товарищей, не просить о помиловании[6]. Таким образом, инакомыслящие на судах точно повторяли поведение предшественников.

Возможно, А. Д. Синявский и Ю. М. Даниэль не занимались цитированием осознанно, но память воспроизвела поведенческие модели, усвоенные как бы с воздухом эпохи. А вот их адвокаты уже впрямую ориентировались на тактику защитников народовольцев. С. Л. Ария вспоминал в 1991 году, что идея изучить материалы судов над народовольцами принадлежала С. В. Каллистратовой: «Софья Васильевна – адвокат от Бога. <…> Особенно нас сплотила работа по так называемым спецделам. Защищая "диссидентов", "инакомыслящих", мы сами были вынуждены публично произносить "антисоветские" речи. Защита по таким делам ставила перед нами не только нравственные вопросы (быть рядом с подзащитным, поддержать его словом), но и тактические проблемы. С одной стороны, нужно было найти необходимые для защиты слова, а с другой –

---

[1] Кони А. Ф. Воспоминания о Вере Засулич // Кони А. Ф. Избранные произведения : Воспоминания : в 2 т. М. : Госюриздат, 1959. Т. 2. С. 135-181.
[2] Короленко В. Г. История моего современника // Короленко В. Г. Собр. соч. : в 10 т. М. : Гослитиздат. Т. 6. 1954. С. 49-50.
[3] Нечкина М. В. Движение декабристов: в 2 т. Москва : Изд-во АН СССР, 1955. ТТ. 1,2.
[4] Троицкий Н. А. Безумство храбрых. Русские революционеры и карательная политика царизма 1866-1882 гг. М. : Мысль, 1978. 335 с.
[5] Герцен А. И. Письма к противнику // Герцен А. И. Собр. соч. : в 30 т. М. : Изд-во АН СССР, 1959. Т. 18. С. 277.
[6] Троицкий Н. А. Указ. соч. С. 129-132.

опасались, как бы за те слова самих не взяли за шиворот. Чуть ли не по каждому делу собирали адвокатский консилиум. Советы Софьи Васильевны на таких совещаниях всегда были самыми ценными. Именно ей принадлежала идея обратиться к речам известного русского адвоката, профессора Санкт-Петербургского университета В. Спасовича, который защищал народовольцев. Поразились ещё тогда: всё, что мы "изобретали", давно применял В. Спасович. И ещё: убийственное совпадение тональности политических процессов XIX в. и века нынешнего»[1]. Как видим, адвокаты реализовали резервы профессиональной памяти в открытую. И хотя мотивы их поведения носили сугубо прагматический характер, механизм культурной проекции очевиден.

О ком бы из нонконформистов ни шла речь, очевидно, что проекция позволяла осмыслить свою личную жизнь в контексте истории, найти психологическую опору индивидуальным поступкам в ощущении непрерывной традиции собственной жизни и великих предшественников. Отождествлять себя с защитниками народовольцев или примерять в собственном поведении авторитетные образцы означало ощущать себя субъектом истории, находящимся в гуще борьбы исторических формаций.

Властителями дум нонконформистов конца 1950-х годов были писатели, отстаивающие право художника на свободу слова, пытавшиеся освободиться от гнёта цензуры, однако в 1960-е к инакомыслящим примкнули учёные. Это значительно изменило характер движения, способствовало выработке нового языка в общении с властью и сформировало новую модель социального поведения – правозащитник. Знаковым явлением этого процесса явилась личностная модель поведения поэта, философа и математика А. С. Есенина-Вольпина.

Его первые творческие опыты были сделаны в поэзии, и поведение первоначально моделировалось по литературному образцу: в 1949 году за чтение среди знакомых стихов, признанных антисоветскими, он был помещён в

[1] Заступница : Адвокат С. В. Каллистратова : (1907– 1989) / сост. Е. Печуро. М. : Звенья, 1997. 351 с. URL: https://www.bookol.ru/nauka_obrazovanie/istoriya/4314/fulltext.htm (дата обращения: 10.08.2018)

психбольницу, а через год, в 1950-ом, по решению Особого совещания, как социально опасный элемент, выслан в Карагандинскую область. Примечательно, что этот эпизод повторяет судьбу его дяди по материнской линии М. Д. Вольпина, осуждённого вместе с Н. Р. Эрдманом за басню, прочитанную В. И. Качаловым на одном из банкетов в Кремле (М. Д. Вольпин бы приговорён к 5 годам лагерей, Н. Р. Эрдман к ссылке)[1]. Вероятнее всего, молодой поэт А. С. Вольпин вовсе не собирался своим поведением цитировать дядю, был всего лишь неосторожен и не предполагал осведомителя НКВД среди знакомых. Однако публичное чтение стихов сомнительного содержания, невзирая на семейный опыт, было осознанной поэтической акцией.

Как и в отношении В. Я. Тарсиса, к нему применима реплика В. К. Буковского о популярности пастернаковского образца. В 1959 году он по примеру Б. Л. Пастернака передал свои стихи и философский трактат для публикации за границей и тоже не счёл нужным прятаться под псевдонимом. В 1961-ом «Весенний лист» был опубликован в Америке и послужил поводом для нового заключения автора по распоряжению Н. С. Хрущёва в психиатрическую больницу. Литературное цитирование в поведении А. С. Вольпина впоследствии не имело повторений. От поэзии он вскоре отошёл и посвятил себя математической логике. Провозгласив «примат логики <…> над всеми формами жизни и смерти»[2], он стал учёным и основоположником правозащитного движения.

Гражданская модель поведения А. С. Вольпина значительной частью либеральной интеллигенции поначалу воспринималась как фрондёрство. Его «законничество», по признанию Л. Смирнова, «многим казалось скорее игрой, чем полезной правозащитной деятельностью»[3]. С этой оценкой солидаризировались и следователи КГБ, именовавшие А. С. Вольпина

---

[1] Мандельштам Н. Я. Воспоминания. М. : Согласие, 1999. Кн. 1. С. 388.
[2] Памятка для не ожидающих допроса. Беседа с Александром Есениным-Вольпиным // Неприкосновенный запас. 2002. № 1(21). С. 69.
[3] Там же. С. 69.

доморощенным законником, якобы юристом[1]. Сам же он был убеждён, что правовой нигилизм, наследие сталинщины, – главное социальное бедствие и источник бесправного положения советского гражданина. Вот как оценивал А. С. Вольпин уровень правового сознания соотечественников: представителям власти «идеология заменила <…> логику, идеология была для них выше логики, они одно выдавали за другое». Но так же мыслила и интеллигенция: «Никто серьёзно к закону не относился»[2]. Апелляция к логике как к инструменту правового регулирования неслучайна. Будучи математиком и логиком, А. С. Вольпин осмысливал законы как систему силлогизмов: из одного суждения с помощью логических умозаключений выводится следующее. Чётко и недвусмысленно сформулированные законодательные категории, например «клевета», «преступление», «антисоветская агитация», подкреплённые логически безошибочно построенными суждениями, приводят к верному выводу. При этом закон определяет не только обязанности, но и права сторон – гражданина и государства, вступающих в договорные отношения. Логика, по его мнению, даёт навыки безошибочного мышления, с её помощью можно избежать подмены правовых норм идеологическими заклинаниями.

Фундаментальным суждением А. С. Вольпина являлось следующее: граждане и представители власти – рационально мотивированные агенты. Государство является субъектом права, обязанным не только формулировать законы для граждан, но и выполнять предписанные нормы: «Само государство представляет ценность лишь как правовой институт, охраняющий права, интересы и самую жизнь своих граждан и других жителей подвластной ему местности. Претендует же оно на власть, не связанную с этой его ролью, и этими несправедливыми претензиями оно естественно превращает своих честных граждан в своих же врагов»[3]. Гражданские права, как явствует из данного суждения, есть неотчуждаемые свойства личности. Этот тезис,

---

[1] Там же. С. 68.
[2] Там же. С. 69.
[3] Есенин-Вольпин А. С. Философия. Логика. Поэзия. Защита прав человека: Избранное. М. : РГГУ, 1999. С. 239.

распространённый в культуре Просвещения, наполняется новым смыслом, созвучным диссидентской позиции автора.

Продолжим правовые рассуждения учёного. Советские законы, хотя и закрепляют руководящую роль Коммунистической партии и чиновничьего аппарата, но одновременно призваны защищать гражданина, ограничивая диктат государства. Современные исследователи наследия А. С. Вольпина в области математической логики О. С. Ковалевич и Е. Н. Лисанюк пишут об этом так: «… он полагал, что проблема, порождающая произвол, заключается в том, что советское государство формулирует законодательство, адресуя его нормы гражданам, однако себя в лице государственных институтов видит исключительно законодательным авторитетом этих норм, а не субъектом советского права, наравне с гражданами и другими его субъектами»[1]. Таким образом, нарушение прав и свобод личности было вызвано, по мнению учёного, неверным исходным тезисом, влекущим за собой логические ошибки в построении силлогизма. Закономерно проистекало требование, предъявляемое А. С. Вольпиным к государству, – осознать себя субъектом права и исполнять собственные законы. Совершенно очевидно, что власть, систематически нарушающая советские права и поощряющая произвол чиновников и сотрудников карательных ведомств, не изменит существующий порядок без активного и деятельного требования граждан. Это накладывает на них ряд обязательств: на законных основаниях противодействовать ущемлениям своих основных прав и свобод, репрессиям и политически мотивированным преследованиям. Одним из способов может быть систематическая организация митингов в ответ на каждый арест по статьям за антисоветскую агитацию и тому подобное. Демонстративность акций, как видим, не была самоценной, как в случае А. И. Солженицына и В. Я. Тарсиса, а должна была выполнять просветительскую и правозащитную функции – приучать государство и

[1] Ковалевич О. С., Лисанюк Е. Н. Принципы деонтической логики действий А. С. Есенина-Вольпина // Логико-философские штудии: электрон. научное периодическое издание. 2015. Том 12. № 4. URL: ojs.philosophy.spbu.ru › Главная › Том 12, № 4 (2015) › Ковалевич (дата обращения: 10.08.2019)

общественность к ценности закона, утверждать незыблемость гражданских прав и свобод личности.

Показательно, что идеи А. С. Вольпина совпадают с логикой движения советской правовой системы. В 1950-60-е годы в законодательстве был произведён ряд преобразований. В 1953 году были отменены Особые совещания, выносить приговоры мог отныне только суд, в 1958-ом отменён институт аналогий, преступлением объявлено действие, предусмотренное уголовным кодексом. В 1959-ом несколько смягчены сроки наказаний; в 1962-ом Основы гражданского законодательства согласованы с Декларацией прав человека и зафиксировано право выбора места жительства без ограничения его рамками Советского Союза. Внимание к вопросам права, таким образом, у А. С. Вольпина и государства было общим. Разногласия начинались в практической реализации правовых норм. А. С. Вольпин, как логик, требовал адресовать закон не только гражданам, но и государственным институтам – представители власти, пытаясь согласовать закон с идеологией, руководствовались принципом партийной целесообразности. Кроме того, по точному замечанию Е. М. Сморгуновой, в неправовом государстве призыв А. С. Вольпина и последовавших за ним правозащитников был потрясением основ. Толкование законов, правоприменительная практика – всё это было исключительно компетенцией государства, не подлежащей критике.

Первой публичной акцией правозащитников, воплотивших идеи А. С. Вольпина, стал «Митинг гласности», проведённый на Пушкинской площади 5 декабря 1965 года. Поводом послужил арест А. Д. Синявского и Ю. М. Даниэля. Показательно, что инициатор массового действа не читал текстов писателей. По его глубокому убеждению, профессия арестованных не имела ни малейшего значения. Любой гражданин имеет право на свободу слова, это не является преступлением и не подлежит юридическому наказанию. Вот что говорил А. С. Вольпин о возникновении идеи митинга: «Помню тогда, в сентябре 65-го, я бродил в Голицыно в роще один и думал: что-то же надо делать. И тут мне пришло в голову, что эти черти наверняка будут закрытое

судебное дело вести. Так самое время требовать гласности суда! Пусть они осудят ребят, но пусть слова, вроде сказанных Шатуновским на моём с ним процессе: "С нашей партийной точки зрения не имеет значения общечеловеческое понятие клеветы" – пусть вся эта псевдоаргументация прозвучит не на гражданском, а на уголовном процессе (в 1963 году А. С. Вольпин подавал иск о защите чести и достоинства против журналиста И. М. Шатуновского, обвинившего его в клевете на советский строй. Иск удовлетворён не был – Е. С.)»[1]. Как видим, инициатор митинга рассчитывал, что процесс станет саморазоблачением советского судопроизводства: неправовой характер предъявленных обвинений вскроется со всей очевидностью. Обратим внимания на фразу «Пусть они осудят ребят, но…». Это позиция защитника права, убеждённого в абсолютной ценности закона, который должен очиститься от идеологии и наконец обрести свою подлинность и рациональность. Сравним с реакцией А. А. Ахматовой (её зафиксировала Л. К. Чуковская, изумлённая, на её взгляд, невысоким качеством прозы Синявского и Даниэля и, соответственно, напрасной с их стороны жертвенностью):

«– <…> Ах, при чём тут хорошая проза, плохая проза… Надо одно: чтобы эти люди не попали на каторгу»[2]. Позиция поэтессы защитная по отношению к людям, оказавшимся под репрессивным прессом. Это принципиальное различие между защитниками А. Д. Синявского и Ю. М. Даниэля и правозащитником А. С. Вольпиным выделяло его из подавляющего числа демонстрантов. Дальнейшие рассуждения диссидента выстроены по законам формальной логики: «Хотя в общем-то природа процесса одна. Чем больше будет таких случаев, тем быстрее этим репрессиям будет положен конец. Потому что в конце концов это бьёт по властям. Им просто будет не в расчёт ловиться на том, что их собственные суды так трактуют законы – и всё это лишь для того, чтобы остановить какого-нибудь более-менее двусмысленного автора, печатающегося за границей, да ещё под псевдонимом. Это всё можно делать до тех пор, пока

[1] Памятка для не ожидающих допроса. С. 73.
[2] Чуковская Л. К. Записки об Анне Ахматовой: в 3 т. М. : Время, 2013. Т. 3. С. 309.

никто серьёзно про законы не спрашивал. Пока люди, которые освещают такие события, хотя бы и иностранные журналисты, пишут об этом с точки зрения сплетника, наблюдающего, кто что сказал. А как здесь можно что-то умное сказать, не вникая в элементарные правила судопроизводства? А как вникнуть, если всё происходит при закрытых дверях? Само требование гласности было явно конституционным. Так в чём же дело?»[1]. Итак, А. С. Вольпин рассчитывал пробудить правовое самосознание соотечественников и прагматизм представителей власти, которые, по его мнению, смогут осознать нелепость гонений на инакомыслящих и, возможно, остановятся в своих противоправных акциях. Власть должна была услышать общество и изменить характер социальных взаимоотношений – к такой цели стремился инициатор митинга. Она, как говорилось, не сводилась к защите конкретных лиц, а имела правовой, просветительский и этический характер.

В ходе организации митинга к А. С. Вольпину присоединились физик В. А. Никольский, художник Ю. В. Титов и его жена Е. В. Строева. Вместе они составили текст листовки, озаглавленной «Гражданское обращение». Первоначальный вариант, написанный Вольпиным, составлял 12 листов и представлял своего рода трактат по истории права. В. А. Никольский и Е. В. Строева сократили, отредактировали и дали воззванию окончательный вид – лаконичный, ясный по формулировке целей и характеру предполагаемой акции. Показательно, что в листовке особо оговаривалось поведение участников митинга: оно не должно быть провокационным, только демонстративным. Поведенческий инструктаж, по мнению А. С. Вольпина, был важен, поскольку митингов, подобных этому, не проводилось, участники были неопытны и могли совершить противоправные действия. Остаться в рамках закона было принципиально.

Первоначальный план в ходе подготовки был несколько скорректирован. Организаторы предлагали различные места проведения: напротив здания ЦК,

---

[1] Пятое декабря 1965 года. URL: http://old.memo.ru/history/diss/books/5dec/ (дата обращения: 10.08.2018).

чтобы акцентировать идею предполагаемого диалога с властью; напротив редакции газеты «Известия», тогда очевиднее становилось требование гласности суда над арестованными, поскольку предавать события гласности – прерогатива СМИ. Уточнение, зафиксированное в «Гражданском обращении» – площадь Пушкина, принадлежало Е. В. Строевой и не казалось А. С. Вольпину удачным. Он, как говорилось, был категорическим противником «литературного» митинга, для него речь шла о процессуальной статье – требовании гласности судопроизводства. Однако, какое бы место ни предлагалось, оно по общему решению должно было иметь символическое значение. Той же цели соответствовала дата мероприятия – 5 декабря, День Конституции: требование гласного суда, как и проведение митинга, носили конституционный характер. Таким образом, акция изначально осмысливалась как знаковое событие в жизни общества.

Состав митингующих не оговаривался специально, листовок с призывом прийти на «Митинг гласности» было распечатано немного, распространять их предполагалось среди знакомых. Буковский, подключившийся на стадии реализации плана, раздал листовки на трёх факультетах МГУ – филологическом, журналистики и биолого-почвенном, в пединституте, в Ленинской библиотеке. Правда, А. С. Вольпин не поощрял привлечения студенчества. Как человек ответственный, он осознавал, что участники подвергаются определённому риску: ответные меры могли быть репрессивными. Вот что он говорил об этом: «Я вообще-то считал, что студенты должны учиться. Вообще говоря, диссидентское движение было в плачевном состоянии отчасти потому, что молодёжь очень торопится действовать. Это мешает сосредоточению мысли. Молодой человек должен пройти некоторый этап и, кстати, обзавестись дипломом, потому что дальше, если он превратится в диссидента, ему это будет очень трудно. Но если кто-то из них созрел, то пусть – отговаривать не стану. Только он должен знать об ответственности. <…> Но ведь нам самим нужна интеллигенция, а не полуинтеллигенция. И мы можем выродиться, если лучшие из нас в студенческом возрасте вынуждены будут расстаться с продолжением

образования»[1]. Этический прагматизм сочетается в этой позиции с рационализмом.

Лозунги «Уважайте Конституцию!» (неиспользованная версия А. С. Вольпина была «Соблюдайте Конституцию!» – Е. С.) и «Требуем гласного суда над Синявским и Даниэлем!» адресовались власти. Её неспособность вести диалог с обществом предполагалась организаторами митинга и вполне подтвердилась в ходе мероприятия. Участники акции была арестованы, но, впрочем, вечером того же дня отпущены. Предъявлять демонстрантам юридические обвинения, как предвидел А. С. Вольпин, было не в чем. Однако власть ответила через год, дополнив УК тремя дополнительными «антидиссидентскими» статьями: 190^1 – «Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй», 190^2 – «Надругательство над Государственным гербом или флагом», 190^3 – «Организация или активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок»[2]. Репрессивная реакция властей усилит отчуждение интеллигенции и породит новые противодействия властям.

Показательно, что А. С. Вольпин никогда не обращался в своих рассуждениях к нормам международного права, вдохновлявшего его последователей – правозащитников. Он был убеждён в достаточности советского законодательства для реализации свобод гражданина. Возможно, по этой причине он оставался индифферентен к привлечению международных журналистов (их присутствие обеспечил Буковский) и не рассматривал всерьёз их в данном случае как адресатов коммуникации. Внимание международной общественности было значимо для иных организаторов митинга, надеявшихся использовать негативный резонанс ареста писателей за рубежом для их освобождения. Вновь литературная и правовая задачи не совпали. Позиция А. С. Вольпина осталась в этом вопросе уникальной.

---

[1] Пятое декабря 1965 года. URL: http://old.memo.ru/history/diss/books/5dec/ (дата обращения: 10.08.2018).

[2] УК РСФСР 1960 год. Выдержки и комментарии. URL: http://www.memorial.krsk.ru/DOKUMENT/USSR/601027.htm (дата обращения: 10.12.2018).

Другим адресатом митинга была общественность, которая, по замыслу А. С. Вольпина, должна была проявить гражданское самосознание. Эта цель может быть признана достигнутой весьма условно. По воспоминаниям очевидцев (Л. М. Алексеевой, И. П. Якир, В. Б. Вольпиной и других), большинство свидетелей митинга (примерно 150 против 50-ти демонстрантов) явилось на площадь Пушкина из любопытства, желая посмотреть на «что-то такое необычное, интересное» (В. А. Янков). Большая часть демонстрантов руководствовалась защитной позицией, озвученной А. А. Ахматовой. И. П. Якир признавалась: «Для меня это было совершенно конкретно: демонстрация именно в защиту Синявского и Даниэля. Юридическую идею Александра Сергеевича Вольпина я до сих пор с трудом перевариваю»[1]. Как видим, логика поступков, мотивация участников и свидетелей митинга были весьма разнообразными, но вовсе не адекватными замыслу организатора.

Гражданская реакция произошла несколько позже. Митинги и демонстрации были признаны нонконформистским сообществом эффективным способом выражения протестных настроений. А. Ю. Даниэль замечал по этому поводу: «Сама возможность публичного протеста против беззакония и произвола поразила воображение многих. Переворот в представлениях о границе возможного и стал тем психологическим фундаментом, на котором выросло независимое общественное движение конца 1960-х-начала 1980-х гг., движение, принципы которого – гласность, ненасилие, апелляция к праву, – по крайней мере внешне совпадали с лозунгами демонстрантов»[2].

Правовое поведение граждан, по мнению А. С. Вольпина, невозможно без грамотности в вопросах законодательства и навыков ведения юридического диспута. Учёный вспоминал об одном из первых личных опытов общения со следователем на допросе в 1949 году: «"Советская власть" была фикцией, от имени которой людей обвиняли в нарушении некоторой фикции... Довольно

[1] Пятое декабря 1965 года. URL: http://old.memo.ru/history/diss/books/5dec/ (дата обращения: 10.08.2019).
[2] Там же.

многие это замечали. Да и я додумался до ответа следователю; он спросил: "С каких пор Вы недовольны советским строем?", я спросил: "Что такое советский строй?", он раздражённо сказал: "Конечно, то, что в сталинской конституции написано". – "А сталинской конституцией я доволен. Там и свобода слова, печати – чего же мне..." <…> – "Тогда чем же Вы недовольны?" – "А вот ограничениями свободы слова и печати, не предусмотренными сталинской конституцией"»[1].

Методика, найденная тогда эмпирическим путём – разоблачать во время личных контактов с представителями карательных органов их правовые и логические сбои, требовать от них исполнения буквы закона и апеллировать предусмотренными нормами права, составила впоследствии основу «Юридической памятки» (1968 г.) диссидентам, вызванным на допрос. Автор так говорил о мотивах её создания: «Мне надо было подсказать свидетелю, который идёт на допрос, какие он имеет возможности юридические, процессуальные. <…> … каждый может сам лучше моего выучить этот кодекс, наука невелика. Но большинство не давало себе труда. Так почему из-за их оплошности кто-то должен потом отдуваться?»[2]. В «Памятке» читаем: «Во время допроса поздно начинать определять свою позицию и вырабатывать линию поведения – тот, кто допрашивает, знает своё дело и должен уметь переиграть неподготовленного. Поэтому, если вы опасаетесь допроса, если только можно его опасаться, готовьтесь к нему заранее. Готовьтесь прежде, чем совершатся поступки, которые могут привести к вашему допросу. Иначе вы с самыми лучшими намерениями можете запутаться и предать тех, кого не хотите»[3]. Как видим, текст имел многофункциональное назначение: прагматическое – практический инструктаж, юридическое – правовое просвещение инакомыслящих, этическое – предупреждение невольного доноса на единомышленника из-за неопытности

---

[1] Памятка для не ожидающих допроса. С. 74.
[2] Памятка для не ожидающих допроса. С. 67.
[3] Есенин-Вольпин А. С. Юридическая памятка // Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950-е-1980-е: в 3 т. М. : Международный институт гуманитарно-политических исследований, 2005. Т. 2. С. 70.

или психологической неподготовленности. А. С. Вольпин упоминал драматичный пример – самоубийство Е. Д. Воронянской, выдавшей на допросе в КГБ место хранения «Архипелага ГУЛАГ»: «… она, конечно, имела право не отвечать им. И если бы она была лучше подготовлена к ответам на вопросы следователей, то ничего бы они от неё не добились»[1].

Главная мысль «Памятки» – допрашиваемый может защитить себя и друзей, используя свои гражданские права и оставаясь при этом в рамках закона. Поведенческие рекомендации автора носили совершенно конкретный характер: допрашиваемому рекомендовалось обратиться к следователю с вопросом: «По какому делу вы меня вызвали?», уточнять любой вопрос встречным: «А какое отношение то, о чём вы меня спрашиваете, имеет к делу, по которому вы меня вызвали?». И, наконец, используя статью УПК, допускающую право на самооборону, вообще отказаться давать показания на себя самого. Иначе говоря, на допросе предлагалось использовать методику научного диспута: конкретизировать понятия и формулировки, не позволять следователю отклоняться от сути и нарушать законы логики во имя достижения противоправных целей. Поскольку инакомыслие не является преступлением, оно не должно быть наказуемо. Чёткость рекомендаций и скрупулёзная проработанность всех деталей делает документ чрезвычайно ценным подспорьем, а главное, меняет модель поведения допрашиваемого. Вместо обороны, привычной во время допроса, диссидент демонстрирует нападение – тактически более эффективную позицию. Л. Смирнов в беседе с Вольпиным признавался: «Помню, всегда чувствовалось, что инициатива в Вашем противостоянии власти – в Ваших руках. Остальные правозащитники воспринимались скорее жертвами режима, а вы были его преследователем. <…> Единственно в отношении Вас чувствовалось, что победа на Вашей стороне»[2]. Диссиденты быстро оценили практическую пользу «Памятки» и составили по её образцу аналогичные тексты: В. К. Буковский, С. Ф. Глузман «Пособие по

[1] Памятка для не ожидающих допроса. С. 68.
[2] Памятка для не ожидающих допроса. С. 75.

психиатрии для инакомыслящих» (1975 г.), В. Я. Альбрехт «Как быть свидетелем» (1976 г.). Так из конкретных рекомендаций различных диссидентов слагался поведенческий опыт сообщества.

Примечательно, что А. С. Вольпин и его последователи повторили путь, проделанный русскими революционерами 60-х годов XIX века. Как отмечал Н. А. Троицкий, первые попытки составления практических письменных рекомендаций поведения после ареста и на суде предприняли народовольцы. Учёный ведёт отсчёт такого рода текстам от статьи Н. А. Серно-Соловьевича «Ответ "Великоруссу"» (1861 г.). Традиция была продолжена П. Л. Лавровым, редактором лондонского журнала «Вперёд!», в ряде статей 1870-х годов («Готовящийся процесс», «Процесс», «Новый разгул сыщиков», «Государство в опасности») и приняла законченную форму в Уставах «Земли и Воли» и «Народной воли»[1]. Правда, логика авторов позволяет обнаружить очевидное различие позиций разных поколений борцов с режимом. Народовольцы, не полагаясь на законность царского судопроизводства, апеллировали к этике революционера. Лавров советовал не надеяться на юридические уловки, а заботиться исключительно о чистоте революционного знамени: «Стойте крепко, держите своё знамя высоко, не выдавайте никого, отказывайтесь отвечать». Хотя последняя рекомендация формально совпадает с советом Вольпина, мотивация его предшественника по революционной борьбе иная: «Редактор "Вперёд!", – пишет Н. А. Троицкий, – не считал возможным использовать в интересах революции какие-либо процессуальные достоинства реформированного суда и поэтому вдохновлял подсудимых не столько на борьбу, сколько на мученичество: "Ваш мартиролог есть, может быть, ваше последнее оружие. Выковывайте его крепче и чище. Ваша энергия может воодушевить многих. Ваше слабодушие может ослабить ещё большее число"»[2]. Едва ли А. С. Вольпин при составлении «Памятки» имел в виду Уставы «Земли и Воли» и «Народной воли», в которых был зафиксирован кодекс поведения революционера. Более

[1] Троицкий Н. А. Безумство храбрых. С. 93-101.
[2] Там же. С. 94.

вероятным нам кажется другое объяснение: схожие ситуации (противостояние власти и малочисленного сообщества) рождали однотипные задачи, предлагали в качестве адекватных близкие друг другу способы решения и поведения. Культурная память, возможно неосознанно, воспроизвела поведенческий образец прошлого. Г. М. Померанц ощутил эту близость: «Психологически диссиденты были прямыми потомками революционера, за которого Катюша Маслова вышла замуж. Но они родились в другое время – не в канун революции, а после её горького похмелья. И их вдохновила другая идея – борьбы со злом без создания нового зла, без насилия. Не знаю, удалось ли это когда-либо полностью»[1].

Анализ философских и правовых идей А. С. Вольпина помогает осмыслить тип личности, по которому он производил самоидентификацию. Антропологические воззрения заимствованы им из культуры Нового времени: человек обладает онтологическими сущностями – разумом, совестью, волей. Мировоззренческим основанием выступает рационализм, философским – скептицизм. Отрицание абстрактных категорий, таких как «вера», «бог», «бессмертие», объяснялось А. С. Вольпиным бездоказательностью данных понятий: «Я формалист. Если и отводить какое-то место мистике, это не значит, что нужно отказаться от идеи постижения мира разумом. <…> Сегодня можно доказать, что существует не один, а много миров. Отсюда следует, что я не верю в Творца как Единого создателя единого мира. Ибо таким образом мы сужаем восприятие Вселенной»[2]. Способом познания истины выступает научный диспут, при котором каждая из сторон выдвигает свою систему доказательств, используя в качестве инструмента логику, не прибегая к нечестным методам, вроде психологического давления или запугивания. В политической жизни его аналог – дискуссия. Ни одно положение не может быть принято на веру, оно нуждается в доказательствах. Это типичное для философии рационализма и Просвещения утверждение порождает требование проверять все свои суждения

[1] Померанц Г. С. Записки гадкого утёнка. М.; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2011. С. 328.
[2] Памятка для не ожидающих допроса. С. 164.

на практике, будь они научными – в сфере математической логики или социальными – в области гражданского права. Так в учении А. С. Вольпина сформировалась философия поступка, составившая основу его общественной деятельности. Действенная позиция «освобождения умов от различных ортодоксий»[1] выразилась в просветительских акциях, адресованных и власти, и общественности.

Критерием нравственности видится соответствие поступков моральным основаниям личности: «Я против моралистических норм, воспринимаемых как догмы, – в чём бы они ни состояли. Но есть естественные нормы, необоснованный отход от которых меня в большей или меньшей мере возмущает. Прежде всего, важно быть честным. Это значит: не врать и не становиться предателем. Иногда это требует мужества, которое надо иметь. Остальное – приложится»[2]. В поведенческой практике личность руководствуется абсолютными ценностями – разумом, стремлением к истине, правом, законом. Утверждая эти мировоззренческие принципы Нового времени, Вольпин реализовывал их в личном поведении и идентифицировал себя как рационалиста и просветителя европейского типа. В одном из интервью на вопрос, не считает ли он некоторые эпизоды своей жизни катастрофическими (а он провёл в заключениях, ссылке и психбольницах в общей сложности 15 лет), он ответил в сердцах: «Да кто они (представители власти – Е. С.) такие, чтобы сделать мою жизнь катастрофой! Катастрофой я считал, может быть, сам факт моего рождения в России. Не там я родился – это да»[3].

Эпоха Просвещения провозгласила идеал целостной личности, не знающей противоречий между мыслью, словом и поступком. В философии А. С. Вольпина это реализовалось не только в правозащитной деятельности, подтверждающей на практике декларированные ценности, но и в повседневно-бытовой сфере. Устные воспоминания Вольпина и его жены Виктории содержат

---

[1] Есенин-Вольпин А. С. Свободный философский трактат // А. С. Есенин-Вольпин. Весенний лист. Нью-Йорк: Фредерик А. Прегер, 1961. С. 140.
[2] Памятка для не ожидающих допроса. С. 164.
[3] Там же. С. 79.

множество историй, иллюстрирующих эту тенденцию. Выдержанные преимущественно в анекдотическом дискурсе, они всё же выявляют закономерность: гражданская позиция непременно и по всякому поводу реализуется на практике. Например, жена вспоминала о разработанном мужем в начале брака «Договоре о совместной жизни». Это был самодеятельный вариант семейного законодательства для их конкретной семьи. В нём квалифицировалось, например, что такое «ссора», «перебранка», «разногласие», «разногласие, перерастающее в перебранку» и так далее. Особенно позабавил её пункт, гласящий, что «в случае возникновения намерения эмиграции у одного из вступающих в этот договор другой не будет препятствовать, если не пожелает присоединиться». В 1962 году, по её признанию, этот пункт звучал столь же правдоподобно, как версия полёта на Марс[1]. Соглашение, казавшееся ей чудачеством, для А. С. Вольпина, очевидно, было органичным воплощением логической согласованности всех сфер человеческой жизнедеятельности.

Другой эпизод связан с весьма драматичным событием – заключением в психбольницу в 1968 году: «Меня поместили в Кащенку <…> Та-ак, я захожу в курилку (в то время я курил), смотрю на других пациентов: половина здравомыслящих. Я говорю: "Чего мы тут делаем? Чего мы тут сидим? Если нет законных оснований, так можно на них в суд подать". Короче, я устроил небольшой митинг среди психов в психушке – как судиться с врачами. А что? Наши права нарушены? Нарушены. Даже если мы только думаем, что нарушены, основания для написания искового заявления есть. Ну, передать его в суд не так уж трудно, а дальше пусть разбираются судьи. Так, может быть, это приведёт к тому, что постараются отсюда скорее вытолкнуть. Но эти мои дела были пресечены тем, что меня забрали и повезли на станцию Столбовая (психбольница с более строгими условиями содержания – Е. С.). Там труднее было вести такие беседы»[2]. Комизм повествования, возможно, отчасти объясняется временной отдалённостью: история рассказана в 2002 году, через 34

[1] Памятка для не ожидающих допроса. С. 74-75.
[2] Там же. С. 77-78.

года. В 1968-ом восприятие происходящего могло быть кардинально иным. Во всяком случае, научная общественность в тот раз была не на шутку обеспокоена. Вмешательство 99 коллег-математиков, среди которых были доктора наук и академики П. С. Александров и А. Н. Колмогоров, привело к освобождению учёного. Как видим, действенной мерой оставался не закон, предполагающий партнёрские отношения сторон, а ходатайства и прошения именитых персон – традиция, сложившаяся ещё в первые послереволюционные годы и по-прежнему продуктивная в 1960-е, в условиях сохранившихся патерналистских отношений государства и общества.

Итак, в самоидентифкации А. С. Вольпина сочетаются рационалистические антропологические воззрения, просвещенческие ценности, индивидуалистические порывы и фундаментальные стремления к автономии человека, типичные для либерального типа личности.

Как известно, либеральные ценности в российском обществе XIX века имели много вариантов интерпретаций[1]. Понятие «либерал» в политической жизни охватывало целый спектр концепций – от ниспровержения существующего строя и его радикальной перестройки (В. Г. Белинский, А. И. Герцен) до умеренных, реформистских (К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин, С. М. Соловьёв). Проповедуя в «Свободном философском трактате» в качестве идеала анархизм, А. С. Вольпин тут же добавлял, что не предполагает возможности его реализации. Следуя за российскими либеральными идеями, учёный утверждал, что в обществе надо укоренить чувство законности и справедливости. Право даёт возможность личности развиваться, а государству усовершенствовать работу своих институтов. И, безусловно, близки были А. С. Вольпину взгляды классика европейского либерализма Дж. С. Милля, утверждавшего, что право должно ограничивать общественную власть над личностью. Ориентация А. С. Вольпина на либеральный тип личности выявляет, на наш взгляд, причины его не слишком активного участия в дальнейшей диссидентской деятельности. Он выступал в качестве эксперта в сахаровском Комитете прав человека, но, по свидетельству

[1] Тищенко Н. В. Либеральный дискурс // Дискурс-Пи. 2016. № 3-4 (24-25). С. 289.

А. Ю. Даниэля, «дистанцировался от тех конкретных форм борьбы за права человека, начало которым положила демонстрация 5 декабря. <…> Кажется, что это отчуждение было вызвано прежде всего пафосом протеста, которым, несомненно, одушевлялись правозащитники. Вольпин же считал, что главное – не протест и обличение, а наглядный урок и подсказка. Для него взаимоотношения с властью (как бы лично ему эта власть, её представители, её идеология и практика ни были неприятны) – не столько противостояние, сколько попытка диалога, а право – естественный язык этого диалога. Он не защищал прав**а**, а проповедовал пр**а**во»[1].

Производя самоидентификацию по либеральному типу, Вольпин, безусловно, оставался личностью эпохи модерна – динамичной, культивирующей индивидуалистическую свободу, не принимающей нормативности, ориентированной на беспрерывный поиск личностного соответствия меняющемуся миру. Американский издатель «Весеннего листа» в предисловии к «Свободному философскому трактату» так прокомментировал мироощущение автора: «… всякая "система" – ложь, ибо она – закончена, приведена в порядок, систематизирована и пронумерована, а бытие, а жизнь – по самой своей природе – бесконечны»[2]. Культ разума, наследованный от классической эпохи, сочетался в учёном с культом личностной свободы в её экзистенциальном варианте: «… мы дорожим свободой, понимаемой как возможность выбора, вовсе не потому, что нам нравится выбирать (необходимость выбора бывает просто ужасна и почти всегда неприятна!), а потому, что желаем выбирать без принуждения»[3]. «Ни государство, ни культура не должны иметь власти над убеждениями отдельных лиц!»[4].

Благодаря идеям А. С. Вольпина правозащитная стратегия обрела концептуальность. По справедливому замечанию Б. Натанса, «Вольпин был

---

[1] Пятое декабря 1965 года. URL: http://old.memo.ru/history/diss/books/5dec/ (дата обращения: 10.08.2018).
[2] Есенин-Вольпин А. С. Свободный философский трактат. С. 100.
[3] Там же. С. 133.
[4] Там же. С. 168.

первым, кто применил правовой подход системно и публично, максимизируя его универсальную применимость и, следовательно, его неизбежную политическую значимость. Несмотря на то, что Вольпина вряд ли можно считать типичным для "правозащитников", не говоря уже о диссидентском движении в целом, эволюция его мысли и практики была необходимой для истории этого движения»[1]. Практическая реализация идей учёного дала толчок формированию самого поведенческого типа «правозащитник». Апелляция к праву и закону стала постепенно привычным риторическим приёмом в литературных и публицистических высказываниях нонконформистов и заметно потеснила чисто этическую аргументацию инакомыслящих в их взаимодействии с властями.

Итак, советская идентичность как вариант личностной идентичности модерного типа реализовала себя в гражданской практике инакомыслящих. Принципы ненасилия, гласности, апелляции к закону, осмысленные в самоидентификации членов сообщества как оппозиционные власти, протестные формы активности (демонстрации, митинги, открытые письма и прочее) не меняли типа идентичности. Позиционируя себя как индивидуумов, ориентированных на пересоздание действительности, равных истории, они воспроизводили антропологические представления, типичные для советской системы координат. Использование в социальной практике поведенческой модели «революционер» являлось органичной реализацией подлинной, советской, субъективности.

Социальный опыт нонконформистов аккумулировался по мере обретения всё новых форм общественной активности (петиционные кампании, митинги, неподцензурные издания, составление письменных рекомендаций для диссидентов и прочее). Анализ поведенческих моделей инакомыслящих демонстрирует наличие образцов, заимствованных из русской классической и европейской культур. Исходный образец всякий раз адаптируется в соответствии с личностной спецификой нонконформиста, его индивидуальных поведенческих

---

[1] Nathans B. The Dictatorship of Reason: Aleksandr Vol'pin and the Idea of Rights under «Developed Socialism». Slavic Review. № 66 (4). 2007. P. 663

стратегий и коллективных социальных задач, решаемых сообществом. Реализуясь на практике, поведенческие образцы проходили селекцию: одни, как наиболее значимые в ценностной иерархии и социально эффективные, приживались и постепенно формировали поведенческую норму. Так произошло с моделью «защитник», трансформировавшейся в «правозащитник». Другие (модель «пламенный революционер») оказались вполне адекватны советской культуре, но неэффективны для применения на Западе. Подвергаясь тиражированию, нормативное поведение закреплялось в общественном сознании, продолжало внедряться в социальную практику и систему внутригрупповой и социальной коммуникации. Процессы формирования поведенческой нормы определяли основные формы деятельности и взаимодействия нонконформистов, в конце концов сложились в системообразующее ядро контркультуры.

2.3. Нормативное поведение в социальной практике и внутригрупповой коммуникации

А. А. Галич в одном из зарубежных интервью справедливо отмечал молчаливое сопротивление десятков и сотен тысяч советских людей, составлявших фон, на котором развёртывалась деятельность активных диссидентов и без которого инакомыслие не могло бы существовать[1]. Однако недовольство режимом не всегда было молчаливым. Воспитанная на традициях свободолюбия интеллигенция находила в повседневной практике различные способы выражения несогласия: «кухонные разговоры», анекдоты, капустники, авторскую песню. Петиционные кампании в защиту нонконформистов, подвергнутых судебным преследованиям, составляют особую форму: по признанию Л. М. Алексеевой, подпись под документом в защиту репрессированного становилась первой пробой на готовность всерьёз

[1] Галич А. А. Я выбираю свободу // Глагол. Литературно-художественный журнал. 1991. № 3. С. 177-178.

приобщиться к диссидентской деятельности[1]. Из повседневно-будничного поведения данная акция переводила подписанта в сферу социально-гражданскую, наделяла статусом активного участника общественных процессов. Анализ «писем протеста» позволит оценить типологию сознания и поведенческие клише советской интеллигенции, ориентированной на демократические ценности.

Петиционные кампании в защиту инакомыслящих 1960-70-х годов набирали размах постепенно. От одного судебного процесса к другому расширялась география эпистолярного движения, множился социальный состав «подписантов», отрабатывалась аргументация защитников осуждённых и репрессивная стратегия властей. Массовый характер письма защиты приобрели в ходе судебного процесса над А. Д. Синявским и Ю. М. Даниэлем. Кульминацией эпистолярной активности явился суд над А. И. Гинзбургом, Ю. Т. Галансковым, А. А. Добровольским и В. И. Лашковой.

Собрания защитных писем содержатся в «Белой книге по делу Синявского и Даниэля» А. И. Гинзбурга и сборнике «Процесс четырёх» П. М. Литвинова[2]. Сопоставление эпистолярной реакции на различные процессы позволит выявить динамику массового сознания либеральной интеллигенции, механизмы формирования и трансформацию поведенческой нормы.

Защитные письма в ходе процессов направлялись в различные государственные институции: Верховные Суды РСФСР и СССР, редакции центральных газет, лично членам правительства. Отправители непременно указывали обратные адреса, зачастую – должность и место работы. Возникнув как прагматический шаг (советские инстанции имели право не реагировать на анонимные обращения), такая самопрезентация в ходе последующих петиционных кампаний приобрела статус одного из правозащитных принципов –

---

[1] Алексеева Л. М. История инакомыслия в СССР: новейший период. М. : Московская Хельсинская группа, 2012. С. 222-223.

[2] Работу над сборником «Процесс четырёх» после ареста П. Литвинова заканчивал А. Амальрик / Даниэль А. Ю. Интерьер для неоконченного портрета, или Человек, которого знали все // Александр Гинзбург: русский роман. М. : Русский путь, 2017. С. 11.

гласности в освещении политических процессов. Так инакомыслящие заявляли претензии на легальность.

Стоит иметь в виду, что письма в адрес правительства являлись важным элементом взаимодействия общества и государства на протяжении всей советской истории. По замечанию Ш. Фицпатрик, граждане, как и руководители страны, воспринимали эпистолярные обращения к представителям власти как «демократическую практику, сближающую граждан со своим правительством»[1]. Безусловно, письма в официальные инстанции фиксировали отредактированную версию массовых реакций либеральной интеллигенции. Осознавая всю меру ответственности, авторы должны были взвешивать формулировки и требования, отдавать себе отчёт в предполагаемых ответных действиях. В среде единомышленников, безусловно, использовалась иная риторика. Анализ текстов защитных писем, сопровождавших дело Синявского и Даниэля и «процесс четырёх», свидетельствует о владении авторами канона письма правительству. Тексты композиционно единообразны: вначале излагаются мотивы, заставившие обратиться к властям, затем следует аргументация собственной позиции, принципиально отличной от официальной, в финале формулируются просьбы или требования. Случайные элементы конструкции не допускаются. Адресанты чётко соблюдают жанровую норму, что неудивительно: письма правительству как особый эпистолярный жанр активно осваивался интеллигенцией с первых лет советской власти. По наблюдению Ш. Фицпатрик, власть и общество осуществляли таким образом взаимный контроль: население оценивало действия бюрократии, а режим получал информацию о настроениях масс[2].

Адресанты используют стереотипные риторические приёмы: публицистическому высказыванию соответствуют точность выражений и смысловых акцентов, обоснованность собственной позиции, конкретность заявлений. Взвешенность аргументов подчёркивается использованием

---

[1] Fitzpatrick Sh. Everyday Stalinism Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s. New York, Oxford: Oxford University Press, 1999. P. 177.
[2] Fitzpatrick Sh. Everyday Stalinism Ordinary Life in Extraordinary Times. P. 177.

силлогизмов в качестве риторических фигур. Каноничность поэтики писем выдаёт нормативность картины мира и образа человека, сформированную в сознании авторов. Поведение своё и власти как субъектов общественных отношений адресанты соотносят с каноном, сформированным в русской и советской культуре.

Кроме того, по мнению Е. В. Суровцевой, отредактированность текстов объясняется их «открытым» характером[1]. Действительно, предназначенные не только лично адресатам, послания предполагали широкого читателя – потребителя самиздата и слушателя тамиздата (зарубежные радиостанции зачитывали их в эфире). А значит, автор стремился к лёгкому узнаванию текста своей референтной группой. Таким способом осуществлялась консолидационная функция писем – создание общественного мнения, выражающего потребность в подлинно демократичной социальной парадигме.

Комплекс повторяющихся риторических приёмов создаёт эффект одного голоса, формирует образ коллективного автора – советского интеллигента, осознающего личную ответственность за судьбу страны. Однако сопоставление текстов двух петиционных кампаний позволяет выявить динамику собирательного образа автора.

Процесс над А. Д. Синявским и Ю. М. Даниэлем был первым уголовным преследованием литераторов. Власть избрала эту меру как один из способов профилактики довольно многочисленного околодиссидентского культурного слоя. Показательные политические процессы над оппозиционными писателями, а впоследствии и известными правозащитниками должны были дискредитировать интеллигентскую оппозицию в глазах простых людей, напугать интеллектуалов и таким образом предотвратить организованное инакомыслие.

Процессу был изначально дан «литературный» характер: арестованные должны были держать ответ за неправильное поведение советских писателей –

[1] Суровцева Е. В. «Письмо Вождю» как эпистолярный жанр: его своеобразие и жанровые разновидности // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов : Грамота. 2014. № 9(39) : в 2-х ч. Ч. II. Р. 162-165.

публикацию за рубежом антисоветских произведений. Такая трактовка события, навязанная властью, нашла в среде творческой интеллигенции как сторонников, так и противников. А. И. Гинзбург представил в «Белой книге» обе точки зрения, солидаризируясь с единомышленниками Синявского и Даниэля (подробнее о структуре книги и защитной стратегии автора смотри в разделе 3.3 следующей главы).

«Литературный» уголовный процесс всколыхнул писателей, творческую и гуманитарную интеллигенцию. Писатели-нонконформисты восприняли случившееся как дело глубоко личное, связав воедино «чистки» в Союзах писателей сталинской поры, травлю Б. Л. Пастернака и суд над И. А. Бродским. Обеспокоенность будущностью интеллигенции, тревога за судьбу и честь страны, происходящая на их глазах реставрация сталинизма – такие мотивы обращения к правительству являются частотными в посланиях литераторов (А. И. Гинзбург, 62 писателя, Л. К. Чуковская и многие другие) и явно отражают не только стремление соблюсти этикет.

Среди мотивов, побудивших участников кампании 1965-66 годов к обращению в официальные инстанции, ощутимо и естественное в контексте былых репрессий стремление вывести коллег из-под удара.

Усвоенная в качестве образца по поведению Ф. А. Вигдоровой в «деле Бродского» позиция «защитник» тиражировалась либеральной интеллигенцией в ходе петиционной кампании и находила выражение в ряде поведенческих приёмов. Прежде всего адресанты стремились вызвать у представителей власти сочувствие к обвиняемым. Для этого казалось важным раскрыть внутренний мир А. Д. Синявского и Ю. М. Даниэля, охарактеризовать их как мужественных людей, несправедливо наказанных: «Юлий Даниэль – человек честный, искренний, свободно мыслящий, душевно щедрый. Он бескорыстен, принципиален, достоин того звания, которое носил во время войны – звание солдата победившей фашизм страны. Даниэль всегда любил свою родину, свой народ. Будучи при этом убеждённым интернационалистом, он всегда считал, что любить свою родину – это значит, прежде всего, не закрывать глаза на

творящееся в ней зло, а наоборот – активно бороться со злом. Борьба писателя – это свободное печатное слово. <…> Даниэль не профессиональный политик, а литератор, но его суждения в области гражданской всегда соответствовали духу решений XX и XXII съездов КПСС» (переводчик А. А. Якобсон)[1]. Показательно, что характеристика личности подзащитного дана автором с позиции не только гуманистической, но и профессиональной. Ту же тактику использовали двумя годами ранее защитники И. А. Бродского. Во время процесса К. И. Чуковский и С. Я. Маршак отправили в Ленинград, в народный суд Дзержинского района, телеграмму следующего содержания: «Иосиф Бродский – талантливый поэт, умелый и трудолюбивый переводчик. <…> Мы просим Суд <…> учесть наше мнение о несомненной литературной одарённости этого молодого человека»[2]. Совпадение приёмов защиты неслучайно. Оно отражает единство мировоззренческой позиции и стратегии поведения активистов двух кампаний.

По мнению защитников, Синявский и Даниэль продемонстрировали правильное литературное поведение: реализовали право художника на свободу творчества, выразили в произведениях нетерпимость к социальным порокам. Адресанты создают образ не «двурушников», не «пособников империализма», как клеймила их официальная пресса, а патриотов своей страны. Подчеркнуто совпадение внутренней мотивации – гражданской и профессиональной, личной и общественной – и социального поступка.

В настойчивом стремлении авторов утвердить в сознании власти гармоничность личности своих подзащитных угадывается нравственная целостность самих адресантов. Это в их собственном поведении реализуется нерасторжимость этической и гражданской самореализации – стремление защитить невинно осуждённых и предотвратить реставрацию сталинских методов судопроизводства. Защита Синявского и Даниэля для них – дело не только благородное, но и обязательное. Ради этой цели стоит рисковать личным

---

[1] Белая книга о деле Синявского и Даниэля / сост. А. Гинзбург. М., 1966. Франкфурт-на-Майне: Посев, 1967. С. 148.
[2] Чуковский К. И. Дневник. 1901-1969: в 2 т. М. : ОЛМА-ПРЕСС Звёздный мир, 2003. Т. 2. С. 598.

благополучием, мобилизовать отечественную и мировую общественность. В противодействии несправедливому приговору реализуется персональная ответственность личности за ход истории, который определяется индивидуальным стремлением каждого к прогрессу и справедливости. Солидаризируясь с арестованными в их праве на свободу творчества, защитники отстаивают гуманистическую аксиологию: человек – безусловная и абсолютная ценность.

Следующим защитным приёмом было убеждение адресатов в политической лояльности А. Д. Синявского и Ю. М. Даниэля. Обвинения в антисоветской агитации и пропаганде, предъявленные писателям, как считали авторы, могут быть опровергнуты комплиментарной оценкой побудительных мотивов их творчества – «ненависть к культу личности во имя подлинных революционных идеалов, цинично эксплуатируемых носителями культа личности» (В. Д. Меникер)[1]; «… произведения Аржака и Терца продиктованы любовью к своей стране и её народу, болью, вызванной бедами, пережитыми им, стремлением, чтобы эти беды не повторились, острым переживанием тех неблагополучий, которые и сейчас мешают нам жить. Это – литература большого гражданского накала, большой искренности, литература именно патриотическая» (кандидат физ.-мат. наук В. И. Левин (инициалы указаны в соответствии с текстом «Белой книги». Хотя, по замечанию Ю. Л. Фрейдина, машинистка, вероятно, допустила опечатку и подпись принадлежит или физику Юрию Иосифовичу Левину, или адвокату Ною Яковлевичу Левину – Е. С.)[2]. Личностные, профессиональные и гражданские качества писателей кажутся авторам достаточным основанием для их оправдания. В соответствии с позицией «защитник», они убеждены, что главные законы человеческого общежития – гуманизм и сострадание, мерилом юридической оценки должна быть справедливость, и настаивают на невиновности Синявского и Даниэля.

---

[1] Белая книга о деле Синявского и Даниэля. С. 155.
[2] Там же. С. 99.

В ходе следствия художественные произведения писателей были подвергнуты литературной экспертизе. Подписи авторитетных учёных (В. Г. Костомарова, Е. П. Прохорова, А. Л. Дымшица, В. В. Виноградова) подтверждали антисоветский характер трёх рассказов Синявского и одного, принадлежавшего Даниэлю. Это вызвало ответный тактический приём – научный анализ их прозы, проведённый по всем законам литературной критики тех лет. В. И. Левин, Ю. Я. Герчук, И. Б. Роднянская, Вяч. Вс. Иванов, И. Н. Голомшток, В. Д. Меникер, А. А. Якобсон, М. В. Розанова, Л. И. Богораз, А. И. Гинзбург предложили своё прочтение, отличное от официально признанного. Например, «Заявление в юридическую консультацию» Вяч. Вс. Иванова, написанное в ответ на запрос юридической консультации Бауманского района Москвы, как отмечал М. Н. Липовецкий, соответствует жанру положительной внутренней рецензии на прозу Синявского[1]. В тексте содержится апелляция к ряду авторитетных предшественников из числа дореволюционных писателей, что типично при стремлении укрупнить рецензируемого автора (этим приёмом пользуются и другие адресанты – В. Д. Меникер, А. А. Якобсон, И. Б. Роднянская). Анализ текстов произведён с отсылками к работам именитых советских учёных (Б. М. Эйхенбаума и Л. С. Выготского), сформировано комплиментарное поле оценок, в которое введены произведения Синявского. Вяч. Вс. Иванов относит повести Синявского («Любимов» и «Суд идёт») к вполне легитимной сказовой форме, доказывает правомочность её использования с художественной целью. Все аргументы, применяемые учёным, имеют целью ввести творчество писателя в поле русской классики, доказать, что «проза, написанная в такой художественной форме, в принципе не может служить основанием для привлечения её автора к уголовной ответственности»[2].

Аналогично действовал Л. З. Копелев, подвергнув анализу прозу Ю. М. Даниэля. В ответе на запрос юридической консультации Первомайского района Москвы учёный причислил повести Аржака к жанру фантастического

[1] История русской литературной критики. Советская и постсоветская эпохи / под общей ред. Е. Добренко. М. : Новое литературное обозрение, 2011. С. 477-532.
[2] Белая книга о деле Синявского и Даниэля. С. 128.

гротеска и этим объяснил неприятие поэтики писателя официальной критикой, ориентированной на реалистическую традицию. В качестве литературных предшественников Аржака указаны имена, не способные вызвать сомнений в художественной правомочности обращения к гротеску: Э. Т. Гофман, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, М. Е. Салтыков-Щедрин. Кроме того, автор просил учитывать в данном деле исторический опыт и проводил аналогии с ранней советской историей, когда «политические обвинения, выдвигавшиеся против самых разных авторов в пылу литературной полемики, <…> оказывались несостоятельными»[1]. Вывод, звучащий в финале, подготовлен всей системой доказательств: произведения писателя не дают «никаких оснований для судебного преследования по уголовному делу»[2].

Литературно-критический анализ прозы А. Д. Синявского и Ю. М. Даниэля зачастую был вызван потребностью дезавуировать положения статей Д. И. Ерёмина «Перевёртыши»[3] и З. С. Кедриной «Наследники Смердякова»[4]. В контраргументах, звучащих в письмах главным редакторам «Известий» и «Литературной газеты» (В. И. Левин, И. Б. Роднянская, Ю. Я. Герчук), этическая мотивация сопряжена с юридической: «Уже много лет в нашей печати не появлялись статьи, написанные в таком тоне – переполненные грубыми ругательствами, истерическими восклицаниями, столь бессовестно передёргивающие и перетолковывающие вырванные из контекста цитаты. Последнее делается тем легче, что предполагаемые авторы сидят в тюрьме и лишены возможности спорить, а подавляющему большинству читателей газеты не опубликованные в СССР произведения незнакомы» (Ю. Я. Герчук)[5]; «… вся система "доказательств", приводимых в статье, покоится на ложных (лучше сказать – лживых) основаниях. Основной довод Д. Ерёмина – ссылки на цитаты из повестей и рассказов А. Терца и Н. Аржака. Уже давно известно – известно

[1] Копелев Л. Вера в слово. Выступления и письма 1962-1976 гг. Анн Арбор : Ардис, 1977. С. 6.
[2] Копелев Л. Вера в слово. С. 6.
[3] Известия, 1966, 13 января
[4] Литературная газета, 1966, 22 января
[5] Белая книга о деле Синявского и Даниэля. С. 117.

каждому школьнику – что цитаты, вырванные из контекста, не могут дать представления о целом» (В. И. Левин)[1]; «… я не могу не выразить решительного несогласия с безответственными и бестактными попытками вмешаться в нормальный ход судебного процесса и психологически дезориентировать тех, кому доверено его вести» (И. Б. Роднянская)[2]. Возмущение авторов писем вызвано профессиональным поведением коллег, реанимирующих худшие журналистские приёмы сталинской поры и разжигающих в обществе ненависть к обвиняемым.

Доказав тенденциозность статей Д. И. Ерёмина и З. С. Кедриной, произведя анализ текстов А. Д. Синявского и Ю. М. Даниэля, защитники делают вывод: судить их уголовным судом не за что, надо отдать дело в Союз писателей для внутреннего разбирательства. Письмо 62-х писателей в Президиум XXIII съезда КПСС и Президиумы Верховных Советов СССР и РСФСР аккумулирует защитные доводы литературного сообщества. Его составитель В. А. Швейцер воспроизвела звучавшие ранее аргументы: в действиях арестованных нет антисоветского умысла, «осуждение писателей за сатирические произведения – чрезвычайно опасный прецедент, способный затормозить процесс развития советской культуры»[3]. Уголовное преследование за художественное творчество наносит вред международной репутации страны.

Как видим, адресанты настойчиво соотносят поступки свои и оппонентов с нормой литературного поведения, предполагающей для художника слова – бескомпромиссное служение правде, для себя – солидарность с терпящими бедствие собратьями.

Показательно, что юридический аспект процесса – правовые нарушения в ходе следствия, бездоказательность аргументов обвинения на суде и прочее – всякий раз выступает в письмах не как самоценный, а как дополнительный аргумент защиты. Юридическая терминология звучит в письмах редко, преобладает этическая мотивация.

---

[1] Там же. С. 95.
[2] Там же. С. 125.
[3] Белая книга о деле Синявского и Даниэля. С. 385.

Характерная деталь поэтики писем – принципиальная индивидуализация действующих лиц: А. Д. Синявский и Ю. М. Даниэль характеризуются как личности, персонифицированы их преследователи – Д. И. Ерёмин, З. С. Кедрина, М. А. Шолохов. Власть представлена конкретными людьми, а значит, с ней можно вести диалог, спорить, убеждать. Произошедшее тормозит демократические процессы внутри страны, наносит урон во внешней политике. Но это не результат безличных сил, а преступные действия конкретных людей: «Арест Синявского – плод трагического недоразумения, <…> злой умысел отдельных лиц»[1] (И. Н. Голомшток). Такая трактовка процесса свидетельствует, что в основе аксиологии авторов сохраняется ориентация на диалог с властью. Участники коммуникативного события не разделены непроходимой границей на «своих» и «чужих», в письмах нет непримиримого противостояния интеллигенции и власти. Преобладает позитивная этическая направленность текстов: адресанты верят, что ошибки руководства могут быть исправлены и их письма занимают важное место в системе общественного обновления. Л. З. Копелев и Р. Д. Орлова, принимавшие активное участие в сборе подписей под письмом 62-х литераторов, вспоминали своё состояние тех лет: «Мы верили, что мир, в котором мы живём, преобразуется. <…> в конечном счёте прогресс неотвратим»[2], «… предстоит ещё много трудного, но успехи нам казались необратимыми»[3].

Соответственно, общая интонация посланий взволнованная, но сдержанная. Типичные языковые явления – спокойный тон, сочетание публицистичности с живым чувством, сниженная патетика. Риторика выдержана в категориях этикета. Авторы не используют категоричных формулировок, а высказывают «сомнение» (письмо 5-х граждан), «тревогу» (Ю. Я. Герчук), «горечь и недоумение» (В. И. Левин), не предъявляют требований, а обращаются с просьбами, призывами и предложениями. «Призываю суд прислушаться к голосу совести, голосу справедливости и голосам зарубежных

[1] Там же. С. 148.
[2] Орлова Р. Д., Копелев Л. З. Мы жили в Москве: 1956-1980. М. : Книга, 1990. С. 71.
[3] Там же. С. 84.

друзей Советского Союза, выступающих сейчас в защиту Синявского и Даниэля» (А. А. Якобсон)[1]. «Постараемся же быть объективными и чётко отделять свободу художественного творчества от подпольной политической деятельности» (Н. Б. Кишилов)[2]. «Просим выпустить Андрея Синявского и Юлия Даниэля на поруки» (письмо 62-х литераторов)[3]. «Нам кажется, что следовало бы поручить философам и социологам разобраться в социальной причине поступка Синявского и Даниэля. <…> Нам кажется, что следует либо организовать высококвалифицированный пересмотр судебного дела Синявского-Даниэля, подробно и убедительно освещая его в печати, либо великодушно помиловать этих людей, дав возможность общественности обсудить их поступок. Нам кажется, что следует серьёзно продумать все наши ошибки по отношению к творческой интеллигенции и причину этих ошибок с тем, чтоб решительно исправить положение и окончательно выбить козырные карты из рук наших врагов (письмо 5-х граждан)[4].

Как видим, всякий раз адресат и автор существуют в одном аксиологическом поле, настойчиво и сознательно (не только из тактических соображений) демонстрируют мировоззренческое единство. В качестве нормы в массовом сознании либеральной интеллигенции укоренён образ граждански активной личности, солидарной с партией в стремлении к демократизации и оздоровлению общества. Коллективный автор писем правительству ждёт от власти логики и последовательности в движении к «истинному социализму», ослабления репрессивной политики, в частности в отношении людей творческого труда.

Из общего корпуса текстов категоричностью тона выделяются «Открытое письмо писательницы Л. Чуковской М. Шолохову, автору "Тихого Дона"», «Призыв группы "Сопротивление"» и «Письмо старому другу» В. Т. Шаламова. Послания адресованы не правительству, что объясняет специфику нарратива,

---

[1] Белая книга о деле Синявского и Даниэля. С. 152.
[2] Там же. С. 166.
[3] Там же. С. 386.
[4] Белая книга о деле Синявского и Даниэля. С. 384.

выбивающегося из общей массы текстов. Два последних документа были инкриминированы А. И. Гинзургу на «процессе четырёх» как антисоветские.

Центральная тема открытого письма Л. К. Чуковской – истинное и профанное литературное поведение. Она заявлена на уровне названия: один писатель обращается к другому как к товарищу по цеху. Выступление М. А. Шолохова на XXIII съезде партии расценено как социальная провокация и профессиональное предательство: «Вы в своей речи сказали, что Вам стыдно за тех, кто хлопотал о помиловании, предлагая взять осуждённых на поруки. А мне, признаться, стыдно не за них и не за себя, а за Вас. Они просьбой своей продолжили славную традицию советской и досоветской русской литературы, а Вы своею речью отлучили себя от этой традиции. <…> Традиция эта – традиция заступничества – существует в России не со вчерашнего дня, и наша интеллигенция вправе этим гордиться»[1]. Нарушение поведенческой нормы во имя идеологических целей видится автору изменой писательскому долгу и профессиональной миссии: «Дело писателей не преследовать, а вступаться…»[2]. Предательство повлечёт за собой закономерную расплату – творческое бессилие, пророчествует Л. К. Чуковская.

Послание адресовано не только М. А. Шолохову, но и правлениям Союзов писателей – Ростовского отделения, РСФСР, СССР – и редакциям газет «Правда», «Известия», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Молот». Как видим, предполагаемым читателем должны были стать коллеги по цеху: им напоминала писательница про неизменный нравственный долг литератора. Расчёт на реальность публикации в центральных газетах оставался минимален: Л. К. Чуковская была скомпрометирована в глазах власти дружбой с А. И. Солженицыным, поддержкой инакомыслящих. Массовый читатель мог услышать голос околодиссидентской писательницы через сам- и тамиздат. Ориентация на «своего» читателя определила отсутствие этикетных фигур речи. Задуманное как гневный обличительный документ, открытое письмо выдержано

[1] Белая книга о деле Синявского и Даниэля. С. 392.
[2] Там же. С. 392.

в лучших традициях классического ораторского искусства. Сохраняя «высокий стиль», Л. К. Чуковская и на уровне поэтики подтверждает неизменность канона, непреходящую ценность гуманистической миссии литературы и художника слова.

«Письмо старому другу» было опубликовано в «Белой книге» без подписи и распространялось впоследствии в многочисленных самиздатских копиях как анонимное. В. Т. Шаламов и Л. К. Чуковская принадлежали к разным социальным слоям: она член Союза писателей, он бывший политзаключённый, сохраняющий и после освобождения маргинальное положение. Адресат посланий определён статусом автора. Чуковская отправляла письмо «классику» советской литературы и в официальные газеты. Бывший зэк В. Т. Шаламов не видел смысла объясняться с государством, не желал вести с ним дипломатические игры, а говорил с другом, прошедшим, как и он, сталинские лагеря и не нуждавшимся в намёках и недомолвках.

Автор не скрывает резко критического отношения к власти: процесс над писателями осмыслен как закономерное продолжение духовного террора, недавно явленного обществу в отношении Б. Л. Пастернака. Террор физический (так оценен суд) закономерен для режима, с первых лет своего существования истребляющего в гражданах свободную волю и совесть. История государства осмыслена негативно. Прошлое было кровавым: «И ты, и я – мы знаем оба сталинское время – лагеря уничтожения небывалого сверхгитлеровского размаха, Освенцим без печей, где гибли миллионы людей. Знаем растление, кровавое растление власти, которая, покаявшись, до сих пор не хочет сказать правду, хотя бы о деле Кирова. <…> Человеческий мозг не в силах вообразить тех преступлений, которые совершались»[1]. В настоящем, подчиняясь общеевропейской логике цивилизационного развития, власть вынуждена смягчать режим, но движется по пути имитации демократии, сохраняя бесчеловечную сущность. Осмысливая норму литературного поведения, В. Т. Шаламов указывает в качестве образца примеры мучеников: «Пильняк, Гумилёв,

[1] Белая книга о деле Синявского и Даниэля. С. 409.

Мандельштам, Бабель, Воронский, Табидзе, Яшвили – сотни фамилий включены в этот грозный мартиролог. Эти мертвецы, эти жертвы времени, которые могли бы составить славу литературы любой страны, поднимают голос в защиту Синявского и Даниэля!»[1]. Как видим, для В. Т. Шаламова традиция освящена духовным сопротивлением системе. Нормативное литературное поведение предполагает мужественное противостояние, способность не отрекаться от принципов свободы совести и творчества под угрозой физической расправы. Именно так вели себя на суде А. Д. Синявский и Ю. М. Даниэль, а потому автор включает их имена в почётный список. Писатель-борец и герой – такую нормативность предложил В. Т. Шаламов в своём письме. Так, впервые в сборнике ясно и недвусмысленно сформулирована позиция оппозиционера, убеждённого в порочности самой системы.

«Призыв группы "Сопротивление"» фиксирует реакцию молодых участников «Митинга гласности» на арест демонстрантов. Не скупясь на яркие эпитеты («гнусная кампания расправы над студенчеством», «услужливое партийно-административное чиновничество»), авторы обвиняют власть в нарушении конституционных свобод, поддержке «надругательства над демократией» и поощрении «прямого и косвенного насилия над личностью». Юридическая аргументация доминирует над рассуждениями морализаторского толка и явно принадлежит будущим правозащитникам.

В финале содержался прямой призыв к бдительности и сопротивлению, то есть активному противодействию, обращённый к соотечественникам. Хотя этот клич предполагал сопротивление не политическое, а духовное, он звучал крамольно на фоне преимущественно сдержанных посланий «Белой книги». Однако, несмотря на явный интонационный диссонанс, это письмо вполне укладывается в нормативное речевое поведение: героическая риторика, пламенные призывы и гневные обличения соответствовали бунтарскому духу студенчества, каким его рисовала литературная и историческая традиция.

---

[1] Там же. С. 411.

Итак, риторика посланий правительству определяется социальным статусом писавшего и предполагаемым адресатом. Укоренённые в системе авторы сдержанны и аккуратны в высказываниях. Категоричность усиливается по мере маргинализации адресантов. При этом сущность заявлений разнится незначительно. Авторы высказывают взволнованность судьбой страны, её будущностью, социальной перспективой советской интеллигенции, осмысливают роль литературы в обществе и миссию писателя в литературоцентричных традициях.

А. Ю. Даниэль отметил одну особенность, характерную для самосознания либеральной интеллигенции, захваченной событиями «дела Синявского и Даниэля»: распространение в самиздате «писем защиты», чего, по наблюдению исследователя, не знало «дело Бродского»: «… часть подписавших ("подписантов", как их вскоре начали иронически называть) сознательно пускала их по рукам, и публика не только читала, но и перепечатывала эти тексты»[1]. Циркуляция текстов в «своем кругу» явно указывает на потребность заинтересованной аудитории в текстовом и поведенческом примере для тиражирования, важном как этап становления традиции. В данном случае защитной и правозащитной.

Арест А. И. Гинзбурга за публикацию в издательстве «Посев» «Белой книги», машинистки В. И. Лашковой за перепечатку сборника, Ю. Т. Галанскова за редактирование самиздатского журнала «Феникс-66» и А. А. Добровольского за составление и хранение материалов, предназначенных для самиздата, явился логичным продолжением предыдущего процесса. Власть сделала следующий шаг в профилактике инакомыслящих.

Осознавая высокий статус писателя в общества и привлекательность для либеральной интеллигенции образа гонимого писателя, организаторы процесса стремились снять с арестованных литературный ореол. Для этого была привлечена дополнительная юридическая аргументация: валютная операция Ю.

---

[1] Даниэль А. Ю. Интерьер для неоконченного портрета, или Человек, которого знали все // Александр Гинзбург: русский роман. М. : Русский путь, 2017. С. 10.

Т. Галанскова, попытки арестованных вести шпионскую деятельность, их связь с НТС. Лишить А. И. Гинзбурга и Ю. Т. Галанскова статуса писателя было несложно: ни один из них не состоял в творческом Союзе, а составленные и отредактированные сборники «Синтаксис» и «Феникс-66» имели хождение среди узкого круга читателей самиздата. Массовый советский человек должен был возмутиться поведением изменников, уличённых в связях с зарубежным шпионом Броксом-Соколовым, якобы явившимся из-за границы для контактов с арестованными, и укрепиться в презрении к «наймитам империализма». Представить арестованных самозванцами от литературы было важно для изоляции художественной интеллигенции из группы поддержи. Однако любой заинтересованный читатель самиздата и просто материалов газет, как и в предыдущем деле, мог без особого труда обнаружить, что арестованные никакой целеустремленной антисоветской деятельности не вели, их критическое отношение было направлено не на весь строй, в чём их настойчиво обвиняли, а на репрессии в адрес граждан, позволивших себе свободное выказывание и независимый поступок. Либеральная общественность осознала, что уголовное преследование нонконформистов становится повседневной реальностью и приложенных в прошлом усилий для ослабления репрессий явно недостаточно. Требовались более весомые, чем в недавнем прошлом, аргументы защиты и энергичные действия.

Если дело А. Д. Синявского и Ю. М. Даниэля затронуло главным образом столичных интеллектуалов, то «процесс четырёх» всколыхнул разнообразные социальные и культурные слои. А. А. Амальрик приводил следующую статистику «подписантов»: «Профессии 38 неизвестны. Если взять число известных, то можно составить следующую табличку: учёных – 45 %, деятелей искусства – 22 %, инженеров и техников – 13 %, издательских работников, учителей, врачей, юристов – 9 %, рабочих – 6 %, студентов – 5 %»[1]. Как видим, при доминировании интеллигенции социальный состав участников петиционной кампании ею не ограничивается. Оппозиционность приняла новый масштаб: в

[1] Александр Гинзбург: русский роман. С. 262.

книге П. М. Литвинова «Процесс четырёх» собраны преимущественно коллективные петиции, подписанные в общей сложности 759 авторами. География протестных умонастроений отражает расширение идеологического спектра и политических ориентаций: в сообщество защитников кроме научной и творческой интеллигенции из Москвы включились Ленинград и Новосибирск, полуорганизованная националистическая оппозиция из Латвии и Украины. Преследуя свои, только начавшие осмысливаться цели, деятели будущих националистических движений в республиках солидаризировались в протестных акциях с нонконформистами из крупных российских городов. Свой голос присоединили «религиозники», сторонники репрессированных по другим «диссидентским» делам. Таким образом, коммуникативным событием в письмах выступает не только «процесс четырёх», но и хронологически совпавшие с ним аресты инакомыслящих, проведённые в разных регионах страны (Москве, Ленинграде, Киеве, Львове, Ивано-Франковске). Так «несогласные» не только отстаивали претензии на легальность, как это было в предыдущем случае, но и претендовали на союзный размах, заявляли о массовости оппозиционных настроений.

Апробированные год назад формы социального противодействия – письма защиты, демонстрация протеста, составление книги-отчёта о суде – используются вновь как социально значимые. Однако их семантика свидетельствует о дальнейшем размежевании власти и либеральной общественности, вызревании в среде нонконформистов непримиримых настроений, определивших формирование диссидентства.

Аресты Ю. Т. Галанскова, А. А. Добровольского, В. И. Лашковой и П. А. Радзиевского (к суду привлекался в качестве свидетеля обвинения) происходили с 17 по 19 января 1967 года. А. И. Гинзбург был арестован 23 января. Ответной реакцией послужила демонстрация протеста, организованная 22 января В. К. Буковским совместно с В. А. Хаустовым, В. Н. Делоне и Е. И. Кушевым. Транспаранты содержали требования освободить арестованных и отменить Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 сентября 1966 года

о внесении в Уголовный Кодекс дополнительных «антидиссидентских» статей – 190^1, 190^2 и 190^3. На этот раз, в отличие от «Митинга гласности» 5 декабря 1965 года, участники были подвергнуты уголовному преследованию: В. А. Хаустов и В. К. Буковский получили по 3 года лишения свободы. В. Н. Делоне и Е. И. Кушев – 1 год условно с пятилетним испытательным сроком. Показательно, что А. С. Есенин-Вольпин, утвердивший в нонконформистской практике демонстрацию как форму выражения общественного протеста, в тот раз отказался от участия. Оставаясь верным принципу защиты права, он не разделял лозунгов демонстрантов об отмене антиконституционного Указа, поскольку считал, что формально тот соответствовал Конституции. Требование освободить кого-либо из-под стражи без проведения следственного разбирательства также не укладывается в юридические нормы. По признанию В. К. Буковского, А. С. Вольпин высказывал друзьям свои соображения, однако демонстративность акции, способной аккумулировать общественность, виделась им самоценной[1]. Протест ради него самого, провокация как средство дальнейшей мобилизации «несогласных» – такие тактические приёмы не применялись в предыдущем процессе. Они явно свидетельствуют о смене парадигмы в социальной практике формирующегося диссидентства – от диалога с властью к конфронтации.

Знаковыми текстами петиционной кампании стали обращения «К мировой общественности» Л. И. Богораз, П. М. Литвинова и «К деятелям науки, культуры и искусства» И. Я. Габая, Ю. Ч. Кима и П. И. Якира. Мировоззренческая позиция, сформулированная в них, определила не только специфику нарратива последующих посланий, но и поведенческую стратегию единомышленников арестованных.

Обращение Л. И. Богораз и А. И. Литвинова было написано на третий день процесса, 11 января, открыто передано авторами иностранным журналистам, толпившимся около здания суда, и уже вечером прозвучало в эфире Би-Би-Си на русском и английском языках. Ориентация на мировую общественность свидетельствовала о принципиально новом повороте коммуникации – от

[1] Буковский В. К. И возвращается ветер… СПб. : Захаров, 2007. С. 260.

представителей власти к Западу и сочувствующим соотечественникам. Причина смены адресата объяснялась без всяких попыток соблюсти субординацию: «Мы передаём это обращение в западную прогрессивную печать и просим как можно скорее опубликовать его и передать по радио – мы не обращаемся с этой просьбой в советские газеты, так как это безнадёжно»[1]. Бесполезной называлась, по сути, всякая попытка достучаться до власти, эффективным признавалось только давление на неё. Потому новым союзником провозглашалась зарубежная общественность, с мнением которой официальные органы считались. Заметим, что авторы настаивают на вынужденности подобного шага, апелляция к зарубежью для них – мера крайняя, рождённая логикой сопротивления.

В тексте ясно и недвусмысленно продекларирована необходимость не договариваться, а бороться с системой, поощряющей беззакония и судебный произвол. Именно так, нарушением важнейших советских правовых норм, объясняют причины своего воззвания авторы. Оно начато с перечисления правонарушений, допущенных в ходе суда. Единственной приемлемой моделью гражданского поведения видится ультиматум: «Мы обращаемся ко всем, в ком жива совесть и достаточно смелости.

Требуйте публичного осуждения этого позорного процесса и наказания виновных.

Требуйте освобождения подсудимых из-под стражи.

Требуйте повторного разбирательства с соблюдением всех правовых норм и в присутствии международных наблюдателей.

Граждане нашей страны! Этот процесс – пятно на чести нашего государства и на совести каждого из нас. Вы сами избрали этот суд и этих судей – требуйте лишения их полномочий, которыми они злоупотребили»[2]. Очевидна смена риторики с этикетной на обвинительную и поведенческой стратегии – с защитной на наступательную.

---

[1] Процесс четырёх: Сборник материалов по делу Галанскова, Гинзбурга, Добровольского и Лашковой / сост. и коммент. П. Литвинов. Амстердам : Фонд имени Герцена, 1971. С. 262.
[2] Процесс четырёх. С. 262.

Портрет коллективного автора протестных писем в деле Синявского и Даниэля и «процессе четырёх» сохраняет некоторую общность. Например, неизменной остаётся апелляция к авторитету русской литературы и истории освободительного движения: «… мы обращаемся к вам, людям творческого труда, людям, которым наш народ бесконечно верит: поднимите свой голос против надвигающейся опасности новых сталиных и новых ежовых. На вашей совести – судьба будущих Вавиловых и Мандельштамов (сохранено авторское употребление строчных и прописных букв – Е. С.) («К деятелям науки, культуры и искусства» И. Я. Габая, Ю. Ч. Кима, П. И. Якира)[1]. «Со времён Радищева суд над писателями в глазах передовых мыслящих людей всегда был мерзостью» (И. А. Яхимович)[2]. Канон остаётся незыблемым: в литературных и исторических образцах авторы черпают вдохновение для легитимации своего социального поведения, однако на этот раз не защитного, а обвинительного.

При защите закона не столь важно, кто персонально даёт повод для протестов. Осмысливая роль представителей власти в процессе, адресанты дают понять, что те лишь рядовые исполнители. Суды, СМИ, КГБ – государственные институции, их деятели – функционеры, а потому конкретные персоны теряют значимость в ходе полемики. Спор идёт не с людьми, а с властью. Процесс отчуждения либеральной интеллигенции от государства набирает силу.

Эмоционально напряжённое воззвание Л. И. Богораз и П. М. Литвинова программировало активные действия единомышленников. Показательно, что тональность других писем, система аргументации и предъявляемые в петициях требования зачастую прямо отсылают к обращению Богораз и Литвинова (8 текстов из 29) или воспроизводят его без указания первоисточника, но с сохранением духа и сути. Коллективный автор писем формулирует причины своих воззваний следующим образом: невозможность мириться с нарушением важнейших советских правовых норм и Конституции, юридическая несостоятельность обвинений, тенденциозность суда (29 текстов из 29),

[1] Там же. С. 287-288.
[2] Процесс четырёх. С. 276.

недостаток и недобросовестность информации, нарушение гласности в ходе процесса (20 текстов). Писем, взывающих к состраданию и милосердию представителей власти (типичная аргументация авторов открытых писем в предыдущих процессах), немного. Например: «Я не знаю точно, в чём именно обвиняют Гинзбурга и Галанскова и насколько доказана их связь с НТС <…>. Но я уверен, что побуждения Гинзбурга и Галанскова были самыми чистыми, и если они в чём-то преступили закон, то только по юношеской горячности <…>. Скажите эти два слова ("Вы свободны!" – Е. С.) Гинзбургу и Галанскову <…> … и да будут они началом новой гуманистической эры на Руси» (А. Э. Левитин (Краснов))[1]. Но, и сохраняя риторику прежних процессов, автор не избегает юридических аргументов: ему, свидетелю защиты, после дачи показаний не позволили присутствовать в зале заседания, газетные отчёты тенденциозны и пристрастны. Очевидно, что адресант учитывал изменения нарратива, происходившие внутри сообщества нонконформистов, и в соответствии с ним корректировал своё высказывание.

«Литературное дело» Синявского и Даниэля не знало ничего подобного поведению А. Штельмаха. Своё открытое письмо председателю Московского городского суда он снабдил списком 15-ти статей УК РСФСР, нарушенных в ходе процесса. Авторские комментарии не оставляли сомнений в обоснованности претензий к данному судопроизводству. Трудно, однако, предположить, что адресат не владел должной юридической компетенцией и нуждался в чьих-либо разъяснениях. Ясно, что и автор не намеревался просвещать председателя суда. Его цель была обличительная. Подлинным адресатом должны были стать единомышленники, читатели сам- и тамиздата, в очередной раз получавшие подтверждение вопиющих нарушений закона в ходе судебного разбирательства, дополнительный стимул для протестных акций и пример новой, правозащитной, модели гражданского поведения. Как видим, в этом деле формирующееся движение отрабатывало навыки рефлексии и проводило самоидентификацию.

---

[1] Процесс четырёх. С. 315-316.

Ссылаются на обращение Л. И. Богораз, П. М. Литвинова и авторы воззвания «К деятелям науки, культуры и искусства». Солидаризируясь с товарищами в их возмущении беззакониями, учинёнными в ходе суда, И. Я. Габай, Ю. Ч. Ким и П. И. Якир воспроизводят риторические приёмы, успевшие стать традиционными в поэтике защитных писем. Его побудительными мотивами названы «глубокая тревога за судьбу и честь страны», «зловещие симптомы реставрации сталинизма» – одни из самых распространённых обоснований петиционной активности во всех кампаниях. Самыми страшными злодеяниями современного режима названы искалеченные судьбы Синявского, Даниэля, Гинзбурга, Галанскова, Лашковой, Добровольского, недавно освободившегося после 10 лет лагерей Л. А. Ренделя. Деятели науки, культуры и искусства провозглашены наследниками великих гуманистических традиций русской интеллигенции, обязанными предотвратить сползание страны в неосталинизм. Как видим, позиция «защитник» глубоко укоренена в сознании адресантов. Защитная риторика в обращении (как, впрочем, и в тексте Богораз, Литвинова) сочетается с правозащитной: перечисление беззаконных действий властей должно, вероятно, восприниматься читателями как самодостаточный аргумент для ответного противодействия. Дискредитация власти через перечисление допущенных ею нарушений основных правовых норм (друзья не допускаются в зал заседаний, свидетели защиты изгоняются после дачи показаний, нет гласности в освещении процесса и прочее) является частотным приёмом в письмах различных авторов.

Основной фигурой речи выступает антитеза: поведение представителей официальных органов в дни суда противопоставлено действиям друзей осуждённых, попытки власти реанимировать сталинизм – настроениям в обществе. Примеры неосталинизма почерпнуты из разных сфер советской жизни: неблагополучие в общественных науках и искусстве сопрягается с судьбой крымско-татарского народа, апология Сталина с высоких трибун упомянута наряду с унизительной слежкой за свободомыслящими гражданами. Авторы явно стремились к всеохватности для доказательства главной мысли:

думающим людям нельзя медлить, надеяться на самостоятельное оздоровление общества не приходится. Есть лишь один способ честного поступка – сплочённое действенное сопротивление: «Мы понимаем: вы поставлены в такие условия, что выполнение гражданского долга – каждый раз акт мужества. Но ведь и выбора тоже нет: или мужество – или трусливое соучастие в грязных делах; или риск – или присоединение к васильевым и кедриным; или поступиться каким-то благом – или встать в ряд с жёлтыми борзописцами из "Известий" и "Комсомольской Правды", посчитавшими для себя нравственно возможным публичный оговор людей, над которыми учинили расправу <…>.

Помните: в тяжёлых условиях лагерей строгого режима томятся люди, посмевшие думать. Каждый раз, когда вы молчите, возникает ступенька к новому судебному процессу. Исподволь, с вашего молчаливого согласия может наступить новый ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ГОД (выделено авторами – Е. С.)»[1].

Знаковые тексты петиционной кампании – обращения Богораз, Литвинова и Габая, Кима, Якира – зафиксировали смену мировоззренческой позиции коллективного автора. Позитивистское осмысление современности, присущее адресантам 1965-66 годов, сменилось экзистенциальным восприятием времени и себя: проблема нравственного долга и морального выбора личности осмыслена как центральная в системе внутренней мотивации к социальному поступку. Глубоко драматичное переживание происходящего созвучно ощущению неразрешимого кризиса во взаимоотношениях с властью, раз за разом подтверждающей безучастность к попыткам интеллигенции сохранить демократические тенденции в общественной жизни.

Кризисное мироощущение повлекло новую риторику. Спокойный и сдержанный тон писем предыдущего процесса сменился взволнованным и страстным. Авторы пророчествуют, взывают и наставляют. Только такая риторика виделась им адекватной происходящей в стране ресталинизации. На смену просьбам, предложениям, выражениям озабоченности пришли требования и заявления. Письма защиты трансформировались в письма протеста:

[1] Процесс четырёх. С. 288.

«настаиваем на своём праве присутствовать на процессе» (письмо 116-ти. В сборнике «Процесс четырёх» письма наименованы по количеству подписавших. Этот принцип сохранён нами – Е. С.), «настаиваем на точном соблюдении законов о гласности судопроизводства» (заявление 42-х, заявление 31-го). «Требую отмены приговора суда и пересмотра этого дела в обстановки гласности» (Б. Сазонов, А. Штельмах), «пересмотра дела и привлечения к ответственности лиц, виновных в грубых нарушениях законности» (письмо 121-го, Л. Тымчук). «Требуем пересмотра судебных дел по политическим процессам последних лет» (Б. и Ю. Вахтины, С. Желудков), «амнистию политзаключённым» (О. Квачевский). Как видим, коллективный автор воспроизводит перечень требований, прозвучавший в знаковых текстах процесса. В зависимости от идеологических ориентаций авторов и лично их конкретной ситуации к перечню общих претензий добавляются персональные. Жена П. Г. Григоренко требует восстановления мужа в гражданских правах. Священник С. А. Желудков призывает обратить внимание на положение политзаключённых в тюрьмах и недопустимость преследования граждан за религиозные убеждения. Против извращений в национальном вопросе протестует украинская интеллигенция. В одном тексте могут перечисляться все известные автору примеры нарушений прав человека в Советском Союзе.

Расфокусированность внимания выдаёт желание авторов перечислить как можно большее количество примеров, способных возмутить сердца соотечественников, стимулировать их социальное неповиновение, продемонстрировать власть предержащим нравственную стойкость оппозиции и убедить прогрессивные силы Запада в серьёзности нонконформистских настроений в Советском Союзе. При этом существенно меняется аксиология писем. Уравнивая главных персонажей с фигурантами других процессов, зачастую не связанных с «делом четырёх», адресанты расширяют тематику настолько, что у читателя невольно теряются приоритеты. Важны ли конкретные люди – Гинзбург, Галансков, Лашкова, Добровольский, или они, наряду с потерпевшими от других судебных разбирательств, дают всего лишь новый

повод для выражения общественного негодования? Можно обнаружить, что для коллективного автора, выражающего глобальное возмущение, значим сам факт протеста, готовность проявить его в слове и деле.

Мотивируя право восстать на государство, авторы писем используют этическую аргументацию, почерпнутую из нравственного кодекса революционера. Константами выступают самопожертвование во имя социальной справедливости: «Мне необходимо знать (знать, чтобы жить), ведает ли моя Родина об осознанности этого беззакония или опять по неведению судит своих детей, как в недалёком прошлом?

И если это так, если Родина знает и молчит, то я хочу просить мою Родину приобщить меня к делу невинно осуждённых» (Е. Л. Шифферс)[1]; преданность интересам страны и народа: «Мы потеряли отца во времена сталинских массовых репрессий. Он был посмертно реабилитирован. Мы не можем мириться с мыслью, что тот ужас, который пережила наша страна и наш народ в те страшные времена беззакония и зверств, может повториться хоть в малой степени» (Б. Б. и Ю. Б. Вахтины)[2]; духовная преемственность революционным традициям: «мы были голыми, голодными, полунищими, но мы побеждали, потому что на первый план ставили освобождение человека от бесправия, надругательства, беззакония и т. д. И мы можем всё потерять, имея ракеты и водородные бомбы, если забудем, откуда есть пошла Великая Октябрьская социалистическая революция» (И. А. Яхимович)[3]; сопричастность международной коммунистической борьбе: «Мы хотим <…>, чтобы наша общественность имела моральное право требовать освобождения греческих политзаключённых» (И. Я. Габай, Ю. Ч. Ким, П. И. Якир)[4].

Итак, сопоставление образа коллективного автора писем двух процессов выявляет динамику умонастроений либеральной интеллигенции. Сохраняя

---

[1] Процесс четырёх. С. 266.
[2] Там же. С. 267.
[3] Там же. С. 276.
[4] Там же. С. 288.

неизменной декларацию глубокой духовной связи с народом и страной, адресанты переживают отчуждение от государства, разуверяются в жизнеспособности системы.

Анализ внутригрупповой коммуникации активистов «дела Синявского и Даниэля» и «процесса четырёх» позволит уточнить наше представление об этических нормах и правилах, определяющих основные модели личного поведения в сообществе.

Й. Горлицкий выявлял в советском государстве высокие уровни кооперации как в экономической, так и в политической сферах. И хотя «некоторые сегменты такого сотрудничества базировались на институциональном принуждении, другие основывались на межличностном доверии»[1]. В среде нонконформистов социальное взаимодействие было весьма интенсивным, а уровень доверия высоким, что поддерживалось как личными связями, так и мировоззренческим единством. В «деле Синявского и Даниэля» плотность коммуникации во многом объяснялась спецификой профессионального сообщества. Творческая и научная интеллигенция имела тесные деловые и личные контакты: например, литераторы входили в один творческий союз, проживали в писательских домах и дачных посёлках, зачастую вместе проводили свободное время. В едином жизненном пространстве модель товарищеского поведения распространялась как на повседневно-бытовую, так и на профессиональную сферу. Вступиться за коллегу, да ещё и лично знакомого, безусловно, проще, чем за незнакомца, взгляды которого разделяешь.

Во втором случае подсудимые не были известны в научных и творческих кругах. Их место в социальной иерархии (на момент ареста А. И. Гинзбур и Ю. Т. Галансков были рабочими Литературного музея, В. И. Лашкова машинисткой, А. А. Добровольский перебивался случайными заработками), казалось бы, не позволяло им рассчитывать на широкомасштабную поддержку художественного и интеллектуального сообщества. Однако по размаху кампания

---

[1] Gorlizki Y. Structures of Trust after Stalin // The Slavonic and East European Review. 2013. Vol. 91, Is. 1. P. 123.

1967-68 годов превзошла предыдущую. Очевидно, что значимую роль для участия в петиционной кампании играла солидарность не с личностями, а с идеями, высказанными Л. И. Богораз, П. М. Литвиновым и растиражированными благодаря самиздату и радиоэфиру зарубежных станций.

Это в полной мере относится к письму 46-ти учёных из Новосибирска, отправленному 19 января 1968 года, через неделю после суда. Текст подписали сотрудники большинства НИИ Академгородка (тринадцати из четырнадцати), физико-математической школы и Новосибирского госуниверситета. Хотя научная элита (академики и члены-корреспонденты) не приняла участия в акции, состав был представительным: 6 членов партии (И. С. Алексеев, С. П. Рожнова, Л. Г. Борисова, В. А. Конев, Э. С. Косицына, Г. С. Яблонский) 13 кандидатов и 5 докторов наук: математики Ю. Ф. Борисов, А. В. Гладкий, А. И. Фет, биолог Р. Л. Берг, историк М. М. Громыко.

Среди причин, стимулировавших обращение новосибирцев в высшие партийные инстанции, современный исследователь называл усиление давления властных структур на Академгородок, начавшееся после отставки Хрущёва. Закручивание гаек вызвало противодействие, характер которого И. С. Кузнецов оценил, главным образом, не как кульминацию политической активности, а как своего рода жест отчаяния: «Многие научные сотрудники и преподаватели подписали его («письмо сорока шести» – Е. С.), поскольку отказ от участия в данной акции был равносилен политической капитуляции перед властями, признанию своего общественного банкротства»[1]. Значимой причиной послужили также личные связи с московскими диссидентами. Л. И. Богораз в 1964-1965 годах преподавала на филологическом факультете НГУ и сохранила дружеские отношения с бывшими коллегами. Р. Л. Берг указывала на идейное влияние В. Н. Делоне (он в это время учился в НГУ): «Живя в Академгородке, он не терял связи с теми, с кем вместе протестовал против ареста Галанскова, и был в курсе свободолюбивых действий среди молодых и старых. Не будь его, письмо

[1] Кузнецов И. С. Новосибирский Академгородок в 1968 году: «письмо сорока шести»: документальное исследование. Новосибирск : Офсет-ТМ, 2015. 486 с. URL: http://modernproblems.org.ru/hisrory/162 (дата обращения: 1.08.2018)

46-ти, может быть, и не было бы написано никогда»[1]. С. Ларченко называл главным организатором подписей жену А. А. Добровольского, специально для этого приезжавшую в Новосибирск[2]. А. И. Фет и вовсе считал авторами письма оппозиционеров из Москвы. Для такого убеждения основанием могли послужить очевидные текстовые совпадения «письма сорока шести» и обращения «К мировой общественности» Л. И. Богораз и П. М. Литвинова.

Адресат, как у большинства посланий этой кампании, был выбран самый значительный: Генеральный прокурор СССР Р. А. Руденко, Верховный Суд РСФСР, а также Председатели Президиума Верховного Совета Н. В. Подгорный, Совета Министров А. Н. Косыгин, Генеральный Секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев. Весомость властных фигур отражала серьёзность позиции авторов. Вот текст послания из Новосибирска:

«Отсутствие в наших газетах сколько-нибудь связной и полной информации о существе и ходе процесса А. И. Гинзбурга, Ю. Т. Галанскова, А. А. Добровольского и В. И. Лашковой, осуждённых по ст. 70 УК РСФСР, насторожило нас и заставило искать информацию в других источниках – в иностранных коммунистических газетах. То, что нам удалось узнать, вызвало у нас сомнение в том, что процесс проводился с соблюдением всех предусмотренных законом норм, например такой, как принцип гласности.

Это вызывает тревогу.

Чувство гражданской ответственности заставляет нас самым решительным образом заявить, что проведение фактически закрытых политических процессов мы считаем недопустимым. Нас тревожит то, что за практически закрытыми дверьми судебного зала могут совершаться незаконные дела, выноситься необоснованные приговоры – по недоказанным обвинениям.

Мы не можем допустить, чтобы судебный механизм нашего государства снова вышел из-под контроля широкой общественности и снова вверг нашу страну в атмосферу судебного произвола и беззакония. Поэтому мы настаиваем

[1] Берг Р. Л. Суховей. Воспоминания генетика. М. : Памятники исторической мысли, 2003. 527 с. URL: http://modernproblems.org.ru/memo/119- (дата обращения 03. 08.2018)
[2] Ларченко С. Подписанты // Морской проспект. 2007. 1 марта.

на отмене судебного приговора Московского городского суда по делу Гинзбурга, Галанскова, Добровольского и Лашковой и требуем пересмотра этого дела в условиях полной гласности и скрупулёзного соблюдения всех правовых норм, с обязательной публикацией материалов в печати.

Мы требуем также привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушении гласности и гарантированных законом норм судопроизводства»[1]. Как видим, солидарность авторов с обращением «К мировой общественности» продемонстрирована в сути высказанных претензий и требований и риторических фигурах. Неразличимость авторских голосов двух текстов свидетельствует не столько о подражательности новосибирцев, сколько о концептуальной целостности картины мира и общности способов объяснения социальных процессов, сформировавшихся в сознании либеральной общественности вне зависимости от региональной принадлежности.

Появление письма было результатом местной самодеятельности: авторами были И. Н. Хохлушкин и С. Л. Андреев. На этапе сбора подписей к ним присоединились Л. А. Лозовский и В. Е. Захаров. Активисты были сотрудниками различных научно-исследовательских институтов: И. Н. Хохлушкин – Института экономики и организации промышленного производства, С. Л. Андреев и В. Е. Захаров – Института ядерной физики, Л. А. Лозовский – Института геологии и геофизики. Внутри Академгородка существовали крепкие профессиональные и дружеские связи, и вскоре к инициаторам присоединились добровольцы из других НИИ. Установка на всеохватность была задана изначально. Для этих целей было подготовлено 9 «подписантских листов» для работников различных НИИ (один из них «гуманитарный», предназначенный Институту истории, филологии и философии) и собрано, по свидетельству В. Е. Захарова, около 1000 подписей. Осознавая высокую вероятность репрессивных ответных действий, активисты в целях конспирации не называли имён авторов, а помощники их не выясняли: «Такая попытка была бы неправильно понята» (В.

[1] Процесс четырёх. С. 324-326.

Е. Захаров)[1]. Таким образом, авторы изначально исходили из убеждения в невозможности изменить репрессивные действия властей ни в отношении осуждённых, ни во внутренней политике, однако демонстрация гражданской позиции виделась им абсолютно необходимой и самоценной. Р. Л. Берг впоследствии так комментировала своё участие: «Авторам письма я сказала <…>, что ставлю свою подпись, потому что лучше хоть что-то делать, чем не делать ничего. Наша акция содержит элемент лжи. Мы делаем вид, что верим, будто нам есть к кому обращаться за помощью, в то время как мы отлично знаем, что обращаемся с жалобой на нечистую силу к нечистой силе»[2]. Нравственная максима экзистенциалистов на уровне бытовой этики воплотилась в личную потребность участников акции выговорить своё несогласие и знать, что ими в данных обстоятельствах сделано всё возможное.

Убеждённость в неизбежности наказания за демарш повлекла детальную проработку критериев отбора «подписантов». Главным было – не втягивать случайных людей, требование не только этическое, но и прагматическое: утечка информации могла если не сорвать, то затруднить реализацию мероприятия. Кроме того, инициаторы (С. Л. Андреев, Г. С. Яблонский, Л. А. Лозовский, В. Е. Захаров) осознавали, что их товарищи могут руководствоваться различными мотивами, например опасением получить осуждение коллег, поставивших свои подписи: зачастую в лабораториях за примером руководителя следовали и подчинённые. Спустя годы академик С. В. Гольдин признавался: «Я много раз думал, подписал ли бы я его, если бы был в Академгородке? Отказаться было бы трудно»[3]. При массовом участии сослуживцев в акции нежелание человека выпасть из коллектива вполне объяснимо. Активисты принципиально не эксплуатировали в своих интересах законов субординации, в свете предстоящих испытаний особенно значимой была самостоятельность и ответственность поступка. Было решено не привлекать молодых, чтобы не сорвать им карьеру,

---

[1] Кузнецов И. С. Новосибирский Академгородок в 1968 году.
[2] Берг Р. Л. Суховей. URL: http://modernproblems.org.ru/memo/119- (дата обращения 03. 08.2018)
[3] Гольдин С. В. Стихи и формулы. Новосибирск: Параллель, 2009. С. 156-157.

обоих членов семьи во избежание полной потери источника заработка в случае увольнения обоих, перспективных учёных, особенно руководителей, поскольку без работы могли остаться сотрудники возглавляемых ими отделов. Как видим, инициаторы всесторонне продумывали последствия для себя и коллег. В результате было составлено второе письмо, первоначальные списки «подписантов» ликвидированы, заново собраны подписи в значительно меньшем количестве, поскольку «кто подпишет по второму разу, тот уж не покается» (В. Е. Захаров)[1].

Дальнейшие события показали справедливость столь тщательного отбора. Уничтоженные списки сберегли душевный покой многих потенциальных оппозиционеров, а участники акции сохранили лицо: по воспоминаниям В. Е. Захарова, из сорока шести покаялись только двое: профессор Ю. Ф. Борисов, математик, и его жена (документы Института математики содержат также признание Г. П. Акилова в готовности публично признать своё поведение ошибкой и выступить с аналогичным заявлением в печати – Е. С.).

Личные мотивы присоединиться к акции, заведомо обречённой на минимальный практический результат, но чреватой вполне предсказуемыми негативными последствиями для карьеры, спустя годы объяснялись участниками событий по-разному. А. И. Фет в 2005 году заявлял, что в отличие от других «подписантов» он был убеждённым противником существующего строя и считал бессмысленным обращаться к властям с какими-либо ходатайствами. Поэтому к акциям, подобным «письму сорока шести», относился иронически, подписал же его из моральных соображений, чтобы его оппозиционные настроения не остались лишь интеллигентской болтовней. Более обыденное объяснение дал И. Б. Вассерман: «Молодой был, горячий, детей ещё не было»[2]. Заметим, впрочем, что и дистанцировавшись от той давней истории, рассказчик сохранил память о риске, которому себя подвергал.

---

[1] Кузнецов И. С. Новосибирский Академгородок в 1968 году.
[2] Там же.

Тема репрессий в адрес оппозиционеров и сочувствующих настойчиво разрабатывалась диссидентами. Ей посвящены многие страницы «Хроники текущих событий», в книге П. М. Литвинова перечислены фамилии «подписантов», пострадавших от внесудебных мер наказания. Статистические данные свидетельствуют, что число граждан, подвергнутых уголовному преследованию по статьям 70 и 190 УК РСФСР, во второй половине 1960-х-70-е годы сократилось: за период 1961-65 годов осуждено 1072 человека, а с 1966 по 1970 – 679[1]. Такой эффект дал метод профилактики, повсеместно применяемый как средство противодействия крамольным идеям. Предупреждением распространения инакомыслия наряду с КГБ занимались партийные, комсомольские, профсоюзные организации, СМИ. Для усиления эффекта могли применяться исключение из рядов КПСС или ВЛКСМ, из учебного заведения или увольнение с работы. В отношении научных сотрудников действенной мерой было отлучение от преподавательской деятельности, участия в зарубежных конференциях, отсрочка защиты диссертации. Обращаясь к профилактике как средству борьбы с крамолой, власти сокращали количество лиц, подвергнутых уголовному преследованию, и поддерживали идеологический престиж «развитого социализма».

В каждом конкретном случае избирались меры, соответствующие масштабу причинённого урона, определявшегося как прямо пропорциональный зарубежной огласке. Реакция местных властей на «письмо сорока шести» активизировалась через два месяца после публикации текста в газете «Нью-Йорк таймс» от 23 марта. 27 марта послание было оглашено радиостанцией «Голос Америки» с указанием всех фамилий «подписантов», а также их научного и должностного статуса. Зарубежные СМИ заявили о чуть ли не восстании учёных в Академгородке. Местные власти не имели права отмолчаться. Потребность блокировать расползающуюся «антисоветскую заразу» подогревалась другим недавним скандалом – прошедшим в феврале фестивалем бардов, гвоздём

[1] Козлов В. А. Крамола: инакомыслие в СССР при Хрущёве и Брежневе. 1953-1982 годы. По рассекреченным документам Верховного Суда и Прокуратуры СССР. // Отечественная история. 2003. № 4. С. 98.

которого стали выступления А. А. Галича, поддержанные местной интеллигенцией и возмутившие партийную номенклатуру. Официальные органы приняли решение остановить враждебные вылазки.

Однако приходилось учитывать специфику аудитории. Восстановить против себя научную общественность всего Академгородка и Новосибирска означало спровоцировать новый всплеск протестной активности. К тому же надо было считаться с вероятной поддержкой новосибирцев столичной интеллигенцией. Московская математическая элита в это же время доказала свою сплочённость в освобождении из психбольницы А. С. Есенина-Вольпина, одного из «подписантов» той кампании. Прагматические соображения диктовали характер воздействия на учёных. Проводить воспитательную работу предстояло аккуратно. С таким напутствием первый секретарь Советского райкома КПСС В. П. Можин обратился на совещании партактива к директорами и секретарями партийных организаций институтов и университета. В постановлении, принятом по итогам работы, был зафиксирован ряд положений: всем партбюро надлежало принять осуждающие решения, персонально побеседовать с каждым «подписантом», на закрытых партсобраниях обсудить их персональные дела, подкрепить результат на общих собраниях трудовых коллективов. Главная цель этих мероприятий была не «административный разгон» провинившихся, а осуждение самого факта и выработка мер «по усилению идейно-политического воспитания сотрудников Сибирского Отделения АН СССР»[1]. Таким образом, местные партийные власти ориентировали подчинённых на компромисс: осудить, но не переусердствовать, приструнить фронду, но не взращивать потенциальных врагов. Для этих целей достаточным казалось подвергнуть наказанию наиболее значимые фигуры: членов партии, докторов наук, комсомольцев. Так и поступили. Были исключены из комсомола К. П. Ильичёв, из партии – трое коммунистов из шести, подписавших письмо (Э. С. Косицына, С. П. Рожнова, Г. С. Яблонский). Остальные 3 члена КПСС (И. С. Алексеев, Л. Г. Борисова, В. А. Конев) получили выговор с занесением в учётную карточку –

[1] Кузнецов И. С. Новосибирский Академгородок в 1968 году.

взыскание хотя и серьёзное, но временное: спустя несколько месяцев выговор снимался. От работы со студентами были отстранены 8 человек: Г. М. Заславский (Институт ядерной физики), М. М. Громыко, М. И. Черемисина (Институт истории, филологии и философии), Г. П. Акилов, А. В. Гладкий, А. И. Фет (Институт математики), А. Б. Шабат (Институт гидродинамики), Р. Л. Берг (Институт цитологии и генетики). Массово преподавателей вузов старались не увольнять во избежание студенческих волнений. Своеобразному наказанию был подвергнут младший научный сотрудник Института автоматики и электрометрии Е. В. Вишневский. Личность, заметная в общественной жизни городка (президент клуба «Гренада»), он, тем не менее, не состоял ни в комсомоле, ни в партии. Тогда было решено исключить его из рядов ДОСААФ. Некоторые «подписанты» встречали препятствия при публикациях научных работ, защите диссертаций, зарубежных командировках. Сопоставление с московской практикой проведения воспитательных работ среди «подписантов» свидетельствует об универсальности воспитательной стратегии власти, найденных приёмов и методов воздействия.

Были ли решения «проработочных» мероприятий заранее предрешёнными? «Сверху», от партийных руководителей, спускались указания общего порядка, конкретные решения на местах принимали члены первичных парторганизаций и рядовые сотрудники учреждений. Их реакция зависела как от микроклимата в коллективе, так и от поведения виновника события. Например, на одном из заседаний партбюро Института русского языка АН СССР (протокол от 26 мая 1966 года) для загранкомандировки утверждалась характеристика сотрудника, подписавшего письмо в защиту А. Д. Синявского и Ю. М. Даниэля. На вопрос, каким комментарием он снабдит суд над писателями, если интерес к нему проявят иностранные коллеги, Ю. Д. Апресян заявил, что будет отстаивать свои взгляды, изложенные в письме. В результате его характеристика не была утверждена: администрация института не сочла возможным отправлять за рубеж

сотрудника, способного усилить скандальный резонанс процесса[1]. Двумя годами позже в аналогичной ситуации оказалась С. К. Пожарицкая, участница демонстрации на Пушкинской площади и «подписантка» одного из писем по «делу четырёх». Поскольку и она на партбюро (протокол от 16 апреля 1968 года) настаивала на правомочности своих действий, в характеристике ей также было отказано[2]. Как видим, конкурентная стратегия, выражающаяся в декларации своей правоты, вызывала однозначную реакцию, воспринималась как упорство в политических заблуждениях.

В Новосибирске реакция трудовых коллективов и членов партбюро институтов на письмо не была однозначной. В первичных партийных организациях разброс мнений оказался высок: от категоричных – «идёт согласованная идеологическая диверсия против нас, и те, кто подписал письмо, сыграли на руку нашим идеологическим противникам. Таким людям мы не можем доверять учить молодёжь»[3] (профессор С. С. Бацанов, Институт теплофизики), «это <…> политическая и идеологическая диверсия»[4] (полковник Полевой, преподаватель военной кафедры НГУ) – до сдержанных: «Надо осудить тех, кто направил письмо за границу, – если бы оно попало по адресам, то здесь нет ничего плохого»[5] (Е. Б. Бланков, кандидат наук, Институт геологии и геофизики) и даже солидарных: «Привлечь к ответственности тех работников ЦК КПСС, которые не ответили на письмо и допустили, что оно попало за границу»[6] (И. И. Задкова, младший научный сотрудник, Институт геологии и геофизики). Коммунист О. В. Кашменская выступила на общем собрании сотрудников Института геологии и геофизики против решения общего партийного собрания, нарушив тем самым Устав КПСС, за что была исключена

---

[1] Протокол № 13 заседания партбюро ИРЯ АН СССР от 26 мая 1966 года / Архив парторганизации Института русского языка АН СССР // Центральный архив общественно-политической истории Москвы. Ф. 2480. ОП. 3. Д. 7. ЛЛ. 69-72.

[2] Протокол № 11 заседания партийного бюро ИРЯ АН СССР совместно с месткомом от 16 апреля 1968 г. / Архив парторганизации Института русского языка АН СССР // Центральный архив общественно-политической истории Москвы. Ф. 2480. ОП. 3. Д. 8, ЛЛ. 136-139.

[3] Кузнецов И. С. Новосибирский Академгородок в 1968 году.

[4] Там же.

[5] Там же.

[6] Там же.

из партии. Тем не менее, решения партбюро разных институтов содержали традиционные формулировки: «антисоветское выступление» сорока шести человек осуждалось, а решение советского суда в отношении Гинзбурга, Галанскова, Лашковой, Добровольского поддерживалось.

Степень наказания за протестные акции во многом зависела от позиции руководителя организации. Например, сотрудники Института русского языка АН СССР с благодарностью вспоминали В. В. Виноградова, подписавшего заключение об антисоветском характере текстов Синявского и Даниэля, но в своём институте отстаивавшего участников всех подписных кампаний и не позволявшего их увольнять. Так же вёл себя директор Института ядерной физики Академгородка Г. И. Будкер. По воспоминаниям коллег, он сочувствовал «подписантам» «изо всех сил и даже гордился, что его институт на первом месте по наличию совести и гражданской смелости – 10 из 46-ти» (В. Е. Захаров)[1]. Потому к сотрудникам ИЯФа, конечно, были применены административные меры (их лишили премиальных за первый квартал и командировок за границу), но никто не был уволен.

Подытоживая, можно сказать, что из 46 новосибирцев пострадала примерно треть. Это, безусловно, немало, но едва ли может быть названо массовой расправой над «подписантами», как это интерпретировали диссиденты[2].

«Письмо сорока шести» со временем обросло легендами, превратилось в одну из тем академического фольклора, главной сюжетной линией которого стало поведение «провинившихся» на различных «проработочных» мероприятиях. В зависимости от позиции рассказчика – участник или свидетель – и личной аксиологии мемуаристы предлагали различные способы осмысления и артикуляции событий – от героических до анекдотических.

Мемуары Р. Л. Берг представляют первый вариант. В книге «Суховей. Воспоминания генетика» представлена стенограмма закрытого Учёного совета Института цитологии и генетики от 4 апреля 1968 года. Заметим, что И. С.

---

[1] Кузнецов И. С. Новосибирский Академгородок в 1968 году.

[2] Алексеева Л. М. История инакомыслия в СССР: новейший период. М. : Московская Хельсинская группа, 2012. С. 222-223.

Кузнецов, тщательно изучив документы, сохранившиеся в архивах Академгородка, высказал сомнения в аутентичности записи, поскольку не обнаружил подтверждения самого факта данного заседания[1]. Впрочем, отсутствие документа всё же не опровергает события полностью: стенограмма по ряду причин могла не сохраниться. Недоверие учёного к достоверности текста не умаляет его значимости, поскольку интерпретация Р. Л. Берг весьма типична для диссидентского дискурса. Постоянная читательница самиздата, лично присутствовавшая на суде над И. А. Бродским, хорошо знакомая и с записью Ф. А. Вигдоровой, и с «Белой книгой», Р. Л. Берг не нуждалась в поиске образца, дающего модель нарратива её собственному повествованию. Он очевиден: это записи судов над диссидентами, усвоенные как единственно возможный вариант высказывания.

Запись представляет собой фиксацию реплик участников «по голосам», драматургический приём подкреплён центральной метафорой: Учёный совет, на котором происходит расправа над героиней, есть постыдный спектакль с заранее предрешённым финалом. Центральное событие истолковано как противоборство свободолюбивой личности и ортодоксов от науки, не желающих слышать ни единого слова правды, усыпивших гражданскую совесть верноподданническими заклинаниями. «Публичная казнь», стояние «у позорного столба» – такие определения находит рассказчица для описания атмосферы, царившей на совете. Смиряться, просить прощения или каяться она не намерена, напротив, перед лицом опасности демонстрирует несгибаемость и решимость отстаивать свою позицию. Разрешиться примирением сторон мировоззренческий конфликт не может: героиня не отступилась от убеждений, публично осуждённая, поддержанная лишь одной из коллег, победила в нравственном поединке. Идеологические противники сохранили верность системе, но будущие поколения осудят их конформизм. Такая картина мира воссоздаёт узнаваемые приёмы пре-текстов. Именно так осмысливали суды над диссидентами и Ф. А. Вигдорова, и А. И. Гинзбург. В монологах героини узнаются риторические

[1] Кузнецов И. С. Указ. соч.

приёмы, неизменно используемые Л. К. Чуковской в её гневных статьях и открытых письмах. Поведение А. Д, Синявского и Ю. М. Даниэля на суде определяет стратегию героини – непризнание вины, активную защиту своих гражданских прав.

Запись Р. Л. Берг демонстрирует механизмы порождения текстов внутри сообщества: массовое сознание либеральной интеллигенции активно тиражирует идеи и способы артикуляции, уже успевшие себя зарекомендовать как эффективные, нашедшие внутри сообщества своего стабильного читателя и подражателя. Знаковые тексты дают способы объяснения социальных явлений, усваиваются как образцовые и тиражируются. При этом автор не ориентируется на них осознанно, не копирует первоисточник, а воспроизводит как максимально созвучные его собственному видению и нарративу.

В своей записи Р. Л. Берг зафиксировала не оборонительную, а наступательную стратегию поведения. Рассказчица не пассивна перед обвинениями, она нападает: «Если я виновна, за это по кодексу судить нужно, а такие разбирательства сами по себе незаконны и непрофессиональны, и не профессионалы на них права не имеют. Устроили тут судилище!»[1]. Данная модель поведения на официальном мероприятии в 1968 году избиралась нечасто. Вызванные для «воспитательной работы» новосибирцы, как правило, реализовывали стратегию компромисса, не стремились ожесточать репрессии в свой адрес со стороны администрации институтов, не провоцировали нагнетания полемики. Это, впрочем, не лишает зафиксированную Р. Л. Берг модель поведения достоверности. Созданный по горячим следам «проработочной кампании» (И. С. Кузнецов сообщает, что один из его интервьюеров читал запись в том же 1968 году), текст передаёт возможную поведенческую реакцию в ситуации отсутствия выбора. Считая итог собрания предрешённым, «воспитуемый» вполне мог перейти к нападению, руководствуясь желанием

[1] Берг Р. Л. Суховей. Воспоминания генетика. URL: http://modernproblems.org.ru/memo/119- (дата обращения 03. 08.2018)

напоследок высказать в глаза врагу всю правду. Героика борьбы входила в поведенческую этику оппозиционера.

Пример анекдотического дискурса – воспоминания С. Ларченко, не участника, но свидетеля событий. В соответствии с жанром «байки» реальный эпизод получил соответствующую интерпретацию: «Член КПСС N. N. (под этими инициалами, как указывает Кузнецов, скрыт В. А. Конев – Е. С.) работал на кафедре философии НГУ <…>. N. N. вызвали на партком и спросили: каким же образом подпись коммуниста оказалась на антисоветском документе <…>. И тогда препод-партиец "прикинулся шлангом". "Да я, – сказал он, – даже не понял, что за бумагу подмахнул! Я гулял с ребёнком, подбежала женщина, подсунула листочки – и прямо на коляске я и подписал". Словом, препод закосил под кормящего отца – и его не исключили из партии <…> не наказали»[1]. Как видим, автор предложил свою версию защитной стратегии – притворство, вероятно имеющую, по его мнению, ряд достоинств: человек не отступил от принципов, никого не выдал и снял возможное обвинение в «антисоветчине».

В действительности игровые формы поведения весьма ограничены в сфере функционирования: прикинуться, будто не понимал, что делал, можно в бытовом общении, но не в официальном. На парткоме это неприемлемо. Член партии, преподаватель философии вуза (а эта должность была номенклатурной, а значит, при приёме на работу кандидат обязательно аттестовался и утверждался парткомом) не мог демонстрировать легкомыслие. Использовать анекдотические фигуры речи на официальном мероприятии означало бы признать свою политическую незрелость.

И действительно, документы дают иную картину: на партсобрании НГУ от 11 апреля 1968 года, где обсуждались персональные дела коммунистов И. С. Алексеева и В. А. Конева, оба вели себя адекватно ситуации. Объясняя мотивы поступка, использовали типичную для коммунистов риторику: говорили о желании участвовать в демократизации политической жизни, получать больше информации о процессах в стране. Сожалели, что письмо было использовано

[1] Ларченко С. Подписанты. С. 2.

идеологическими врагами, обещали впредь ничего подобного не совершать. В финале благодарили коллектив и старших коммунистов за идейное руководство – такая концовка, как свидетельство полной лояльности, была нормативной в строго регламентированных партийных собраниях. Как видим, документ зафиксировал стратегию компромисса с обеих сторон: обвинители удовлетворились раскаянием «подписантов», не настаивали на более суровом наказании, а те, в свою очередь, продемонстрировали поведение, соответствующее должному. В результате оба получили строгий выговор с занесением в учётную карточку, аннулированный через два года.

Воспоминания участников и свидетелей событий вносят дополнительные штрихи к общей картине. Доктор философских наук Н. Ф. Овчинников рассказывал о влиянии на В. А. Конева авторитета Г. П. Щедровицкого, научный семинар которого тот регулярно посещал по приезде в Москву. На одном из заседаний домашнего кружка обсуждался вопрос, подписывать ли письма в защиту А. И. Гинзбурга и Ю. Т. Галанскова: «Щедровицкий в течение первого часа подробно и обстоятельно, убедительно и эмоционально говорил о том, что никто из кружка ни в коем случае не должен подписывать <…> – а следующий час он так же обстоятельно говорил о том, что сам он, Щедровицкий, обязательно подпишет, и объяснял почему»[1]. Так он и поступил: присоединился к «письму 170-ти» в защиту «четырёх», был исключён из партии и уволен из Института философии. Г. П. Щедровицкий дал пример, казалось бы, двойственного поведения: другим подписывать письмо не рекомендовал, но свою подпись ставил. В действительности это образец глубокой личной ответственности за поступок. Каждый должен согласовать участие в протестной акции с собственной совестью, но руководитель не имеет права подвергать риску будущность студентов и друзей. По свидетельству другой ученицы Г. П. Щедровицкого, Н. И. Кузнецовой, он уговаривал её не подписывать письма и не участвовать в демонстрациях, поскольку необходимо получить высшее образование и работать на интеллектуальную мощь страны. Это наставник

[1] Кузнецов И. С. Новосибирский Академгородок в 1968 году.

считал несоизмеримо более важной задачей, чем публичное выражение оппозиционности[1].

Аналогичные суждения высказывал А. С. Есенин-Вольпин, возражая против привлечения студентов к участию в «Митинге гласности». Лидер новосибирского клуба «Под Интегралом» А. И. Бурштейн, не подписавший «письмо сорока шести», говорил, что руководители общественной организации не имеют права выражать своё личное мнение: «Хотим мы этого или нет, мы ответственны за доверившихся нам членов клуба, которые ни сном, ни духом не ведают о происходящем и не уполномочивали нас распоряжаться их судьбами, никого не спросясь. А то, что судьбы могут быть сломаны на этом, не исключалось»[2]. Социальная потребность – расширение протестного движения – не может быть выше нравственных законов. Эта логика была типичной для массового сознания «шестидесятников».

Поведение «подписантов» в процессе «проработочных» мероприятий определялось решением прагматической и этической задач: надо было минимизировать возможные потери в профессиональной сфере и при этом сохранить личное достоинство и уважение сочувствующих коллег. Первая достигалась тактическими приёмами – сожалением по поводу негативных последствий публикации письма за рубежом и возможности использования его в целях антисоветской пропаганды.

Мотивируя обращение в официальные органы, участники петиционной кампании находили идеологически безобидные формулировки: главная причина письма – неудовлетворённость информацией (К. П. Ильичёв, Г. С. Яблонский, М. И. Черемисина и многие другие). При этом коммунисты могли ссылаться на Устав партии, не запрещающий выступать с коллективными обращениями (Г. С. Яблонский, М. М. Громыко). Например: «Печать не всё и не вовремя освещает на своих страницах» (Э. С. Косицына), «я подписывала письмо из

---

[1] Кузнецова Н. И. Философия в советском андеграунде: практики выживания // Высшее образование в России. 2016. № 5. С. 86.

[2] Бурштейн А. И. Реквием по шестидесятым, или под знаком Интеграла. // ЭКО: Экономика и организация промышленного производства. 1992. № 1. С. 100.

чистых соображений, то есть думала помочь советским гражданам, хотела выяснить непонятный мне вопрос» (С. П. Рожнова). Другой аргумент самозащиты – юридические нарушения в ходе процесса: «… после знакомства с информацией из коммунистических газет Англии и Австрии сформировали мнение о закрытом характере процесса и ошибках судопроизводства» (Л. А. Лозовский, А. М. Шалагин)[1]. Фактически повторяя основные положения письма, «подписанты» подтверждали неизменность позиции, но давали объяснение, соответствующее нормативному: на партсобраниях коммунисты Академгородка регулярно просили от вышестоящих инстанций большей информации о процессах в стране, мотивируя эту просьбу отдалённостью от центра. Значит, побудительные причины не должны были вызывать партийных нареканий. Ответчики не позволяли себе никаких критических и резких замечаний в адрес властей. Напротив, стремились доказать, что их письмо – не вражеская вылазка, а поступок, продиктованный совестью, ответственностью рядового гражданина за действия партии.

Характерно, что одна и та же система аргументов использовалась ответчиками не только в разных учреждениях, но и в географически отдалённых друг от друга регионах. Например, документы Института русского языка АН СССР в Москве сохранили примеры выступлений «подписантов» на партбюро от 7 мая 1968 года. Сотрудники ИРЯ подписали несколько писем и, по признанию одного из коммунистов, «позорно прогремели среди московской партийной организации и заняли первое место по подписке воззваний» (И. Н. Сулимов)[2]. Поведение москвичей отличается большей бескомпромиссностью, но не подкрепляющими его доводами. Ю. Д. Апресян, К. И. Бабицкий, Е. М. Сморгунова, С. С. Белокриницкая, Л. А. Капанадзе, Л. Л. Касаткин и другие отстаивают право защищать свою позицию, отвергают обвинения в антисоветском характере писем. Очевидно, что, избрав конкурентную

---

[1] Кузнецов И. С. Новосибирский Академгородок в 1968 году.

[2] Протокол № 13 заседания партийного бюро ИРЯ АН СССР совместно с Дирекцией от 7 мая 1968 г. / Архив парторганизации Института русского языка АН СССР // Центральный архив общественно-политической истории Москвы. Ф. 2480. ОП. 3. Д. 8, ЛЛ. 141-162.

стратегию, не принимая обвинений в свой адрес, «подписанты» руководствовались не стремлением обострить конфронтацию с коллегами и партийными руководителями, а этическими соображениями. Коллективная акция накладывала на участника моральную ответственность. Подпись под документом в адрес правительства не была результатом минутного эмоционального порыва, а выражала гражданскую позицию, которую надо уметь отстаивать. За убеждения нужно бороться. Публично отречься от первоначальных заявлений означало не только продемонстрировать трусость, но и расписаться в личностной и гражданской незрелости. Социально-нравственный инфантилизм – качества, безусловно осуждаемые сообществом.

Нравственно-этическое наполнение поступка – выражение протеста против несправедливого приговора и нарушений закона в ходе процесса – должно было подкрепляться достойной позицией «подписанта» перед лицом показательного осуждения со стороны трудового коллектива и партактива.

Поведение ответчиков в ходе «проработок» основано на соблюдении универсальных этических правил, именуемых в обыденном моральном сознании порядочностью. Как категория обобщённая, она вбирает в себя не одно свойство личности (доброта, отзывчивость и прочее), а полный набор этических норм, реализующийся через систему самозапретов: нельзя солгать, подвести человека, нарушить данное слово, предать товарища, совершить низкий поступок и так далее. Важно, что порядочность – это не идеал, а норма, ставшая стереотипом, определяющая ежедневное поведение людей и внутригрупповую коммуникацию.

Для интеллигенции соблюдение норм обыденной морали можно считать главным критерием оценки своих и чужих поступков в повседневной практике. Адвокат С. В. Каллистратова, защищавшая в августе 1968 года В. Н. Делоне, запомнила ответ Т. М. Великановой на вопрос прокурора, почему она не удержала мужа, К. И. Бабицкого, от участия в демонстрации протеста на

Красной площади. Та сказала: «Я считала это непорядочным»[1]. Недопустимо, спекулируя на любви к семье, оказывать психологическое давление на близкого человека, отговаривать его от действий, продиктованных гражданской совестью. Это подразумевается как бы само собой, естественно реализуется в поведении и не нуждается в дополнительной аргументации. Л. И. Богораз, подсудимая на том процессе, запомнила ответ К. И. Бабицкого на предложение адвоката переложить на Н. Е. Горбаневскую, освобождённую от суда, часть ответственности. Тот отказался, считая подобное поведение непорядочным[2]. Неприемлемо, пытаясь спастись от уголовного преследования, подставлять под удар друга.

Мотивация «порядочно – непорядочно» особенно актуализируется в ситуациях, предполагающих нравственный выбор. «Мне казалось, что под таким письмом могут подписаться только порядочные люди», – объясняла своё участие в акции новосибирцев Э. С. Косицына[3].

Система этических самозапретов реализовывалась в практических действиях:

– не отрекаться от гражданской позиции, декларированной в письме: свою подпись не отозвал ни один из 46 человек. Более того, в ходе официальных мероприятий многие участники акции подтвердили неизменность взглядов. Например, А. И. Фет заявил, что он подписал бы письмо вторично, так как считает, что осуждённые привлечены к уголовной ответственности неправильно[4]. Ю. Ф. Борисов подтверждал согласие с текстом заявления[5]. Правда, настойчивость в защите убеждений всё же требовала соблюдения ритуальных норм официального этикета – хотя бы частичного признания ошибочности своих действий. Например, на расширенном заседании партбюро Института автоматики и электрометрии рассматривались

---

[1] Заступница: Адвокат С. В. Каллистратова: (1907– 1989) / сост. Е. Печуро. М. : Звенья, 1997. 351 с. URL: https://www.bookol.ru/nauka_obrazovanie/istoriya/4314/fulltext.htm (дата обращения: 10.08.2019)

[2] Богораз Л. И. Из воспоминаний // Минувшее: Исторический альманах. Вып. 2. М. : Прогресс; Феникс, 1990. С. 86.

[3] Кузнецов И. С. Новосибирский Академгородок в 1968 году.

[4] Там же.

[5] Там же.

персональные дела Е. В. Вишневского и Э. Г. Штенгеля. Е. В. Вишневский назвал свой поступок опрометчивым, говорил, что «хотел сделать как лучше, защищал только А. И. Гинзбурга, так как А. А. Добровольского он знает с нехорошей стороны»[1]. Э. Г. Штенгель сожалел, что письмо попало за границу, но не брался судить о целесообразности подобного обращения вообще[2].

– не выдавать друзей: имена товарищей, предложивших присоединиться к акции, как правило, не назывались. Э. С. Косицына: «Мне не предлагали его подписывать, я сама прочла его и попросила разрешить подписать. Я не интересовалась, кто подписал, я считала это делом своей совести»[3]. М. М. Громыко: «Конспирации не было. Вопросы, связанные с тем, кто кому передавал письма, считаю аморальными»[4]. М. И. Черемисина: «Подписывала письмо сама, обдумывала предложенные варианты, подписала»[5]. Коммунист Г. С. Яблонский на партбюро отказался назвать имя человека, давшего письмо, поскольку тот не давал на это разрешения[6].

– не ставить личные интересы выше коллективных. В протоколе заседания партийного бюро Института химической кинетики и горения от 3 апреля комсомолец К. П. Ильичёв назван «участником составления переданного письма»[7]. Однако он не только не входил в число авторов, но не был даже активным сборщиком подписей. Согласиться со статусом составителя письма с его стороны было чистым самозванством. Однако он счёл правильным разделить ответственность за поступок товарищей.

Самопожертвование было довольно распространенной практикой. На «процессе четырёх» Ю. Т. Галансков в ходе следствия взял на себя вину А. А. Добровольского, поскольку хотел смягчить его участь, зная, что «ему

---

[1] Там же.
[2] Там же.
[3] Кузнецов И. С. Новосибирский Академгородок в 1968 году.
[4] Там же.
[5] Там же.
[6] Там же.
[7] Там же.

самому всё равно сидеть за "Феникс"», а у того жена и ребёнок[1]. Партийные документы, несмотря на официальный характер и специфику дискурса, характеризуют человека в различных ситуациях. Например, отвечая на вопрос, при каких обстоятельствах Э. С. Косицына получила взыскание по партийной линии, она рассказала, как под угрозой исключения одного из способных учеников из физико-математического интерната, в котором преподавала, попросила директора оставить мальчика (он не имел отца, а мать была инвалидом), а её, как воспитателя, наказать. Предложение было принято: ей объявили взыскание, а учащийся продолжил обучение. Альтруизм, сострадание и жертвенность входят в норму повседневного поведения порядочного человека.

– не ронять достоинства: «подписанты» не просят мягких наказаний, игнорируют обвинения личного характера, стараются не поддаваться на провокации.

– не совершать низких поступков. Это требование диктовало не только контроль своего поведения, но и этическую оценку действий других людей.

В аксиологии либеральной интеллигенции общечеловеческие нравственные ценности (гуманизм, сострадание, милосердие) занимали приоритетное место над идеологическими. Соответственно, на уровне бытовой морали непорядочным считалось присоединиться к официальной расправе. Современники запомнили реакцию А. А. Ахматовой на известие о причастности к «делу Синявского и Даниэля» уважаемого ею человека: «Я только сейчас узнала, что академик Виноградов участвовал в этой подлости, был председателем экспертной комиссии. А ведь он настоящий учёный, мы пятьдесят лет знакомы, даже дружны. Он интересно писал о моих стихах. Но теперь нельзя подавать ему руки»[2]. «Нерукопожатность» – знак морального остракизма, выражение оценки не только поступка, но и личности, запятнавшей себя бесчестием. Один из экспертов по «делу четырёх» Л. И. Скворцов на закрытом партсобрании ИРЯ АН СССР от 19 апреля 1968 года с возмущением

---

[1] Процесс четырёх. С. 127.
[2] Орлова Р. Д., Копелев Л. З. Мы жили в Москве: 1956-1980. М. : Книга, 1990. С. 291.

рассказывал об отношении коллег к его участию в уголовном процессе: «В сентябре прошлого года по поручению дирекции Института мне вместе с В. П. Даниленко пришлось заниматься лингвистической экспертизой по делу Гинзбурга и других. Для меня это была рядовая работа, обычная экспертиза, каких я немало уже делал. Но почему-то именно это дело и эта экспертиза получили в нашем Институте политическую окраску. В тот момент, когда экспертиза была закончена, по Институту пошли разговоры о том, что ни мне, ни Даниленко не следовало браться за эту экспертизу, что это предательство по отношению к нашему прогрессивному, свободолюбивому коллективу, что пора было бойкотировать действия органов прокуратуры и Комитета государственной безопасности. Валерия Петровна [Даниленко] и я стали "отщепенцами" в глазах этих болтунов. До меня эти разговоры доходили меньше, а вот Валерии Петровне в то время пришлось пережить немало. Впрочем, и ко мне потом приходили разные люди с ультимативными заявлениями о том, что я должен отказаться от ведения экспертизы, что это – начало травли интеллигенции и т. п. Некоторые из этих людей заявили мне потом, что они со мной теперь принципиально не здороваются»[1]. Признание Л. И. Скворцова характеризует типичную в среде интеллигенции поведенческую реакцию на низкий с точки зрения сообщества поступок: человека, утратившего доверие, надлежало изгнать из своего круга. Презрение, как и уважение, предполагало действенное выражение.

Соблюдение норм бытовой этики можно считать поведенческой константой, от которой «подписанты» старались не отступать. Из совокупности свойств, входящих в понятие «порядочность», в кризисной ситуации актуализировались те, что определяли целостность сообщества. Всякая коллективная акция предполагает умение не только эффективно взаимодействовать внутри группы, но и оказывать товарищескую поддержку, что и было продемонстрировано ответчиками в ходе воспитательных мероприятий.

---

[1] Протокол № 6 закрытого партийного собрания ИРЯ АН СССР от 19 апреля 1968 г. / Архив парторганизации Института русского языка АН СССР // Центральный архив общественно-политической истории Москвы. Ф. 2480. ОП. 3. Д. 8, ЛЛ. 15-31.

Отнюдь не только лично пострадавшие от репрессивных действий властей демонстрировали навыки внутригрупповой солидарности. Помощь коллег «подписантам» была традиционна в интеллигентском сообществе. Сборник «Как это было» содержит воспоминания московских философов о микроклимате в их профессиональной среде в те годы: если кто-то попадал в беду, то коллеги, по негласной договорённости, продолжали печатать его статьи. Вот как об этом рассказывал Ю. А. Шрейдер, исключённый из партии за то, что приютил в доме незарегистрированного католического священника: «Лекторский на первой же встрече сказал: "Годик-другой тебе печататься не удастся, а статью, что готовится у нас для первого тома монографии по теории познания, мы переложим на четвёртый – к тому времени всё уляжется". Никто из философов (в большинстве партийных) не был шокирован происшедшим. Их отношение напоминало отношение циркачей к товарищу, свалившемуся с трапеции»[1]. Аналогично ведут себя сослуживцы новосибирцев: академик А. В. Николаев, директор Института неорганической химии, инициирует трудоустройство у себя в институте А. И. Фета, четыре года не имевшего работы. Е. Б. Бланков, заработавший выговор за поддержку «подписантов» на партсобрании, получил приглашение Г. И. Будкера в случае увольнения перейти на работу к нему, в Институт ядерной физики. Директор ленинградского Агрофизического института пригласил на работу Р. Л. Берг, с которой в Академгородке не продлили трудовое соглашение. М. И. Черемисина рассказывала, что в Институте истории, филологии и философии «подписанты» были в изоляции года полтора, и, хотя её официально отстранили от преподавания, с молчаливого согласия декана и директора она продолжала вести занятия «подпольно». Тот же вариант был предложен М. М. Громыко, но она из принципиальных соображений отказалась. Таких примеров неформального отношения к человеку можно привести множество.

---

[1] Как это было: воспоминания и размышления / под ред. В. Лекторского. М. : РОССПЭН, 2010. С. 569.

Из навыков взаимопомощи, определявших в обыденной этике представления о порядочности, слагались приёмы обороны всего нонконформистского сообщества. Рождённые из потребности поддержать людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, они получили в 1970-е годы структурную завершённость в организации разнообразных Комитетов. В 1969 году создана «Инициативная группа по защите прав человека в СССР», трансформированная в ноябре 1970-го в «Комитет прав человека в СССР» (основатели В. Н. Чалидзе, А. Д. Сахаров, А. Н. Твердохлебов), зимой 1973-74 годов – «Русский Общественный Фонд помощи преследуемым и их семьям» (основатели А. И. Солженицын и А. И. Гинзбург). В 1974 – Фонд помощи детям политзаключенных (основатели А. Д. Сахаров и Е. Г. Боннэр). В 1975-ом начала работу советская секция движения «Международная амнистия», в 1976-ом образована «Московская Хельсинская группа» (основатель Ю. Ф. Орлов) и «Христианский комитет защиты прав верующих в СССР» (основатель Г. П. Якунин). В 1977-ом – «Рабочая комиссия по расследованию использования психиатрии в политических целях» (основатель А. П. Подрабинек).

Таким образом, в ходе петиционных кампаний по защите А. Д. Синявского, Ю. М. Даниэля и «делу четырёх» сообщество реализовывало стратегии «защитник» и «правозащитник», обеспечивающие ему социальную мобильность. По справедливому замечанию А. Ю. Даниэля, «в ходе "эпистолярной революции" 1967-го – начала 1968 года отдельные интеллигентские кружки, группы, дружеские компании окончательно сплавились в единое диссидентское сообщество. Конкретный предмет протестов – следствие и суд по «делу четырех» – помог этому сообществу выработать общий язык, и язык этот, естественно, оказался языком права»[1].

Подведём итоги. «Шестидесятники» и диссиденты утверждали ответственное поведение личности как норму социального существования. Способность к поступку в аксиологии нонконформистов оценивалась как действенное

[1] Даниэль А. Ю. Интерьер для неоконченного портрета, или Человек, которого знали все // Александр Гинзбург: русский роман. С. 13-14.

выражение сущности человека, его готовности к гуманистическому преобразованию социума. Сохранив основу понимания поступка, диссиденты внесли коррективы, соответствующие отчуждённому сознанию: рассогласование цели и средств, самодостаточность провокативных акций вошли в семантику социальных действий, сопровождали герметизацию сообщества.

Идентификация себя как активных субъектов общественно-исторического процесса производилась нонконформистами с привлечением литературно-исторических образцов, заимствованных из классической культуры, помогавших осмысливать социальные процессы, моделировать личное и коллективное поведение и артикулировать реакции. Поведенческий образец, признанный внутри сообщества в качестве ценного, усваивался и формировал стандарт речевого и социального поведения. В повседневной практике он реализовывался как норма, обеспечивающая безошибочное узнавание единомышленников и систему внутригрупповой коммуникации. Активно тиражируя эффективные способы объяснения событий, приёмы высказывания, модели поведения, сообщество нонконформистов стремилось расширить сферу функционирования. Внутригрупповая коммуникация в повседневной практике регулировалась принципом порядочности, обеспечивавшим сообществу жизнеспособность и устойчивость.

ГЛАВА III. ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ

3.1. Специфика диссидентского дискурса. Наследие диссидентов как интертекст

Литературно-публицистическое наследие диссидентов весьма велико, по самым приблизительным подсчётам оно исчисляется тысячами текстов. Количество может показаться поразительным, если учесть испытанную авторами степень политического давления и репрессий. Однако удивительная творческая плодовитость имеет своё объяснение: поставленные властью в положение культурных маргиналов, ощущая не только социальную, но и информационную дискриминацию, диссиденты нашли различные формы противодействия, среди которых словесная была весьма эффективной. Статус писателя в обществе был высок, печатное слово самоценно. Апелляция к общественному сознанию через печать, свободную от цензурного гнёта, являлась вполне обоснованной. При этом главным в их самосознании был не порыв к беллетристике, а устойчивое отношение к своей художественной и публицистической деятельности как к факту общественной жизни. Писательская практика в ценностной иерархии приравнивалась к социальной, являлась её инвариантом. Авторские стратегии как внутри текста, так и вне его определялись гражданской практикой.

В литературно-публицистической деятельности диссиденты стремились решить целый комплекс задач:

– интеллектуальную: осмыслить причины неудач социальной политики (ресталинизации и нарушения гражданских свобод), смоделировать возможные варианты развития страны («почвеническую», либерально-демократическую и другие), спрогнозировать перспективы;

– информационную: дать полные сведения о собственных целях и задачах, позволить читателю самостоятельно делать выводы о гражданской и нравственной состоятельности их акций;

– идеологическую: склонить общественное мнение в пользу нонконформистов, лишённых права голоса на страницах официальной печати;

– дидактическую: указать современникам пути оздоровления страны, воспитать последователей;

– нравственно-этическую: разоблачить несправедливый характер обвинений в их адрес как «внутренних врагов», «пособников империализма»;

– социальную: мобилизовать граждан к борьбе за права личности и социальное оздоровление;

– практическую: представить соотечественникам и мировой общественности материал, способный затруднить карательные меры в их адрес. Очевидно, что объём печатной продукции был равно пропорционален социальной значимости автора: именитого диссидента, снискавшего известность на Западе своими публикациями, было труднее уничтожить, нежели безвестного. В таком случае возникал более предпочтительный для обеих сторон выход – высылка виновника многократных скандалов или его добровольно-принудительная эмиграция.

Задачи рождали авторские стратегии – защиту единомышленников, дискредитацию идейных противников, легитимацию нонконформистской модели писательского и гражданского поведения. А значит, текст наделялся в большей степени социальными полномочиями, чем литературными. Этим объясняется высокая степень идеологической заряженности и художественная неоднородность представленных в сам- и тамиздате материалов. Диссиденты, позиционирующие себя не только в качестве общественных деятелей, но и литераторов (Н. Е. Горбаневская, Ю. Т. Галансков и другие), были вынуждены подчинять художественные интенции социальным практикам, не реализовали творческие дарования в полной мере.

Соотношение официальной и неофициальной частей советской литературы в 1960-е и 1970-е годы было различным. В начале «оттепели» они не были жёстко разделены. Напротив, граница была зыбкой и проницаемой: одни и те же авторы (А. И. Солженицын, А. Д. Синявский и другие) могли иметь более или менее благополучную издательскую судьбу и в то же время публиковаться (по доброй

воле или в силу «непроходимости» текстов) в самиздате. Базовые ценности, заложенные в основание литературно-публицистических моделей мира, в этот период также совпадали. И официально признанные, и неиздаваемые литераторы стояли на позициях антропоцентризма, утверждали гуманистическую идеологию. Например, В. Я. Мороз (очерк «Репортаж из заповедника имени Берия», 1967 г.) провозглашал: «История прогресса – это история развития личности»[1]. К этим словам одного из наиболее радикальных представителей украинского национального движения в начале 1960-х годов мог бы присоединиться любой член Союза писателей. Авторы неподцензурной литературы часто признавали мировоззренческое единство с признанными в обществе писателями. Характерную мысль высказала Н. Я. Мандельштам. Рассуждая о значении книги «Люди. Годы. Жизнь» для художественного процесса и общественного самосознания 1960-х годов, она заметила: «Эренбург сделал своё дело, а дело это трудное и неблагодарное. Может быть, именно он разбудил тех, кто стал читателями Самиздата»[2]. Водораздел между двумя культурами, официальной и самиздатской, проходил в сфере поведенческой тактики: каждый из литераторов сам определял границы допустимого, выбирал, отдавать ли рукописи в самиздат или дожидаться разрешения цензуры на публикацию. Неудивительно поэтому, что легальные литераторы и нонконформисты актуализировали одни и те же жанры и приёмы поэтики.

Расцвет автобиографической и мемуарной прозы, вызванный стремлением писателей соотнести собственную индивидуальную жизнь с историей всего народа, переживает и официальная, и самиздатская литература тех лет. Общим приёмом является ориентация на документ, стремление ввести его в ткань художественного или публицистического повествования. Например, С. С. Бойко обратила внимание на отсутствие оппозиции «литературное» –

---

[1] Мороз В. Я. Репортаж из заповедника имени Берия // Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950-е-1980-е: в 3 т. М. : Международный институт гуманитарно-политических исследований, 2005. Т. 2. 2005. С. 268.
[2] Мандельштам Н. Я. Вторая книга // Антология самиздата. Т. 2. С. 156.

«документальное» в жанрово разнообразной «лагерной прозе», принадлежащей перу писателей-эмигрантов второй волны и неподцензурных авторов в России[1].

Потребность в оперативных художественных высказываниях стимулирует расцвет очерка. Дань уважения этому жанру отдали О. Ф. Берггольц, Е. Я. Дорош, В. В. Овечкин, В. М. Песков, В. А. Солоухин, В. Г. Распутин и многие другие литераторы и журналисты. Жанр очерка пластичен, позволяет использовать его для портретных зарисовок современников, путевых наблюдений, философских и нравственно-этических рассуждений. Кроме того, многократно декларируемая «шестидесятниками» преемственность с русской классикой логично приводила их к использованию жанра, достигшего расцвета в демократической литературе 1880-х годов. Социальная ориентированность очерка привлекает и авторов самиздата. При этом жанровое определение «очерк» зачастую даётся ими весьма вольно. «Бесплатная медицинская помощь» Н. Е. Горбаневской, «Бодался телёнок с дубом» А. И. Солженицына, «Процесс исключения» Л. К. Чуковской по сути являются эго-текстами: перед читателем в первом случае дневник с авторскими комментариями, в двух других воспоминания. Однако жанровая характеристика очерк более соответствовала авторской стратегии, в которую входило настойчивое убеждение читателя в безусловной документальности представленного рассказа.

Мировоззренческая близость представителей разных литератур – официальной и самиздатской – реализовывалась в ориентации на одни и те же художественные образцы, ставшие источником для собственных художественных или публицистических высказываний.

Влияние поэтики соцреализма на художественное творчество Л. К. Чуковской выявила С. Форрестер[2]. Исследовательница отмечала жанровую перекличку романа А. М. Горького «Мать» и повести «Софья Петровна»: обе

---

[1] Бойко С. «Лагерная проза» как этап формирования литературы нового типа // Новый филологический вестник. 2015. № 3 (34). С. 65-81.

[2] Форрестер С. «Мать» Горького как источник повести Чуковской «Софья Петровна» // Вопросы литературы. 2009. № 5. С. 241-262.

книги представляют собой роман-воспитания, имеется сходство на сюжетном уровне, совпадение мотивов (в частности, мотива пути героини к осознанию происходящего), некоторых сюжетных линий и отдельных эпизодов. Влияние советской литературы на прозу Л. К. Чуковской очевидно, несмотря на её громогласные декларации собственной художественной оппозиционности.

Другим примером может служить повесть В. Я. Тарсиса «Палата номер 7» (1966 г.), знаковое произведение для диссидентского сообщества, определившее модель осмысления весьма драматичной темы – использования психиатрии в репрессивных целях.

При демонстративной отсылке к русской классике текст воспроизводит типовые образцы романа соцреализма. В центре внимания автобиографической повести, созданной по горячим следам пребывания В. Я. Тарсиса в психиатрической больнице, образ, максимально приближенный к автору – писатель-фронтовик Валентин Алмазов. Чеховская аллюзия даёт центральную метафору: тоталитарное государство безумно, оно подобно сумасшедшему дому. Гражданин, сохранивший в себе личность, осмелившийся на независимую позицию и свободомыслие, обречён на столкновение с режимом. Однако дискурс, заявленный основным конфликтом, осмыслен в логике советской литературы с её героико-романтической традицией.

Крушение старого мира советская литература 1920-30-х годов воспевала в укрупнённых, обобщённо-символических образах. Таков главный герой повести –писатель Алмазов, подвергнутый карательной психиатрии за свободолюбивые идеи. Целеустремлённый, идейный, он нацелен на революционное преобразование действительности, преисполнен жаждой творчества и предстаёт во всей полноте духовно-нравственных возможностей. Его действенный гуманизм основан на убеждённости в совпадении своих субъективных устремлений с ходом истории. Масштаб конфликта видится автору и герою глобальным: сущность исторического момента в борьбе народа с «коммунистическими поработителями», которая непременно завершится рождением нового гармоничного миропорядка.

Героической романтикой овеяно осмысление личных переживаний центральных персонажей (Алмазова и врача Маховой). В трактовке любовной линии, намеченной, но не развёрнутой, угадывается универсальная в эстетике соцреализма мысль о качественном изменении человека под влиянием положительного примера. Возможно, писатель вдохновлялся книгой Н. А. Островского, давшего образец советского воспитательного романа. Герой, казалось бы социально ущемлённый (Корчагин в силу физических увечий, Алмазов по психиатрическим показателям), являет героине образец мужества, стойкости и способствует её духовному росту. Внутренняя гармония достижима при балансе личной потребности в любви и общественно значимых стремлений, потому близкий человек непременно должен быть единомышленником, соратником в борьбе. На этой позиции стоят классик советской литературы Н. А. Островский и оппозиционер В. Я. Тарсис.

Осмысление объективного хода жизненного процесса в романе соцреализма предполагает изображение классовых противоречий. В повести в роли классовых врагов выступают врачи психбольницы, «ничего не смыслящие в психиатрии» и так называемые больные – «действительно здоровые, смелые, несгибаемые, неугодные и непригодные для рабского существования»[1]. Автор стоит на позициях «правдивого, исторически конкретного отражения действительности в её революционном развитии»[2], как того требовал канон соцреализма. Силы исторического прогресса на стороне Алмазова и его соратников, через образы которых раскрывается в полной мере исторический оптимизм автора.

В 1960-е годы, как известно, в литературоведении напряжённо обсуждалась проблема художественного метода. Одним из направлений интеллектуальной рефлексии было осмысление соотношения реализма и романтизма, обозначенное ещё А. М. Горьким. В круг обсуждаемых вопросов попал и такой: является ли романтика как пафос свойством только романтической литературы или может

[1] Тарсис В. Я. Палата № 7. С. 24.
[2] Александрова Л. П. Советский исторический роман и вопросы историзма. Киев: Киевский университет. 1971. С. 23.

быть использована в литературе соцреализма. Этот вопрос мог бы показаться праздным: советская литература неоднократно апробировала на практике приёмы романтического дискурса. В 1920-е годы в осмыслении темы революционного преобразования, в 1930-е в трактовке социалистического созидания, в 1940-е – в героике войны, в 1960 – в романтизации современника «молодёжной» прозой и «эстрадной» лирикой. Однако масштаб дискуссии и участие в нём ведущих специалистов (Г. Н. Поспелова, А. Н. Соколова, А. Я. Гуревича, В. И. Кулешова, А. И. Овчаренко, Л. И. Тимофеева и многих других) свидетельствовали об актуальности проблемы. Подводя итог дискуссии, Г. Н. Поспелов резюмировал: «С середины XIX века возникла романтика нового типа, являющаяся пафосом произведений реалистических по принципу художественного отражения жизни. <...> Романтика революционного искусства социалистического реализма обусловлена идеалом коммунизма, научно обоснованным марксизмом-ленинизмом. Революционный идеал и стремление к нему, лирически выраженные в произведении, сообщают ему романтическое звучание»[1]. Несколько раньше до официальной дискуссии, в 1957 году, своё слово произнёс А. Д. Синявский. Логика статьи «Что такое социалистический реализм» подчинена задаче развенчания «телеологической сущности марксизма» и соцреализма как «нового классицизма». Иронизируя над романтическим пафосом советской литературы, автор пишет: «Как вся наша культура, как всё наше общество, искусство наше – насквозь телеологично. Оно подчинено высшему назначению и этим облагорожено. Все мы живём в конечном счёте лишь для того, чтобы побыстрее наступил Коммунизм»[2]. За хлёсткой оценкой исследователя таится точное наблюдение: автор заметил глубинную связь поэтики соцреализма с мифом, в каком бы обличии он ни возникал – христианском или общекультурном – и каким бы пафосом ни сопровождался – романтическим, героическим или трагедийным.

---

[1] Поспелов Г. Н. Теория литературы. М. : Высшая школа, 1978. С. 216.
[2] Синявский А. Д. Что такое социалистический реализм. // Цена метафоры, или преступление и наказание Синявского и Даниэля. М. : Книга, 1989. С. 426.

Современные исследователи развили эту мысль. Т. А. Круглова представила всесторонний анализ мифологических приёмов в эстетике соцреализма[1]. Е. Б. Скороспелова вычленила основные мифологические сюжеты, задействованные литераторами в конструировании образа советского Космоса: миф о создании нового мира («Как закалялась сталь» Н. А. Островского, «Поднятая целина» М. А. Шолохова, «Бруски» Ф. И. Панфёрова), о победе над Временем («Время, вперёд!» В. П. Катаева), о едином пространстве Страны Советов (очеркисты В. А. Итин, А. И. Колосов, Я. Н. Ильин, И. И. Катаев, М. П. Лоскутов), о защитнике обездоленных и творце нового мироздания, о советском народе (исторические романы «Разин Степан» А. П. Чапыгина, «Емельян Пугачёв» В. Я. Шишкова, «Севастопольская страда» С. Н. Сергеева-Ценского, «Пётр Первый» А. Н. Толстого), романы-биографии о деятелях гражданской войны, создающие пантеон героев: «Кочубей» А. А. Первенцева, «Бауман» С. Д. Мстиславского, «Хлеб» А. Н. Толстого, «Одиночество» Н. Е. Вирты, «Старая крепость» В. П. Беляева, «Мы, русский народ» В. В. Вишневского[2]. Исследовательница справедливо указала на глубинную связь приёмов советского мифотворчества и Серебряного века. Добавим, что очевидно и функциональное различие: литература модерна создала эстетические мифы, не претендуя на реализацию их в политике, советская литература подчинила мифопоэтику решению идеологических задач, направленных на легитимацию идеала коммунизма и формирование человека нового, социалистического типа. Начиная с 1920-х годов (в качестве примеров Е. Б. Скороспелова называет «Неделю», «Завтра» Ю. Н. Лебединского, «Страду», «Недавние дни» А. Я. Аросева, «Железный поток» А. С. Серафимовича, «Чапаева» Д. А. Фурманова, «Разгром» А. А. Фадеева, «Цемент» Ф. В. Гладкова), писатели разрабатывали основные мотивы советского мифотворчества: трактовку революции и гражданского строительства как акта творения, героизацию личности, главными качествами

---

[1] Круглова Т. А. Советская художественность, или Нескромное обаяние соцреализма. Екатеринбург: Гуманитарный ун-т, 2005. 382 с.

[2] Скороспелова Е. Б. Русская проза XX века: от А. Белого («Петербург») до Б. Пастернака («Доктор Живаго»). М. : ТЕИС, 2003. 420 с.

которой являются самопожертвование и мессианство[1]. Т. А. Круглова отмечает значимость в эстетике соцреализма мифологемы «счастливое детство», реализованной в трактовке народа, уподобленного ребенку «в своей чистоте, первозданности, открытости миру», и «нового человека» как «тождества детского и взрослого»[2]. Как известно, героико-романтический компонент был непременным средством мифопоэтики большинства перечисленных произведений 1920-30-х годов.

Выводы учёных позволяют оценить истинные цели использования этого компонента В. Я. Тарсисом: они идеологические, как и у советских литераторов. Изменена трактовка основного мотива: акт творения означает победу над коммунизмом, и только в этом случае восстановится целостный миропорядок. Современный демиург – антикоммунист. Он носитель исконно нравственного и гуманистического мироустройства, ради которого приносит себя в жертву. Его действия укладываются в схему поступков народного заступника, миссия согласует личные и общенародные интересы. Мифопоэтическая причастность практически всем сторонам российской жизни реализуется в безграничности идейного воздействия Алмазова: ни один персонаж не способен избежать его сокрушительного влияния. Врачи, «палачи и душители», боятся авторитета подопечного, больные ищут его защиты, молодёжь тянется к мудрости наставника. И даже сам академик Нежевский (прототипом явился автор теории вялотекущей шизофрении академик А. В. Снежевский, фигура зловещая для многих диссидентов – Е. С.) делится с ним потаёнными мыслями.

Герой удручающе многословен, его монологи пересыпаны цитатами и аллюзиями из христианства, буддизма, мировой литературы и философии (от Платона до Ницше и русских религиозных философов). Эклектика из чужих идей и слов становится элементом вторичного культурного мифа. Мифопоэтические параллели призваны символически возвысить современного демиурга, воплощающего общекультурную логику: коммунизм обречён, он

---

[1] Скороспелова Е. Б. Русская проза XX века.

[2] Круглова Т. А. Советская художественность, или Нескромное обаяние соцреализма. Екатеринбург: Гуманитарный ун-т, 2005. С. 126-127.

падёт, Россия вернётся к гармоничному мироустройству «святой Руси». Будущее как восстановленное прошлое реализует циклическое представление о времени, свойственное мифу и декларируемое В. Я. Тарсисом в качестве идеала. Как видим, писатель-антикоммунист использует те же приёмы мифопоэтики, что и официальные авторы, но только в зеркальном варианте.

Скрытое или явное использование повествовательных моделей романа соцреализма с его героико-романтическом пафосом можно обнаружить во многих художественных образцах диссидентской литературы. В. Я. Лакшин, А. Т. Твардовский, как известно, указывали на дебютный рассказ А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» как на образцовый в этом отношении. Современная исследовательница Я. В. Солдаткина доказала мифопоэтическую природу «малого эпоса» писателя («Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор»). Она выявила мифопоэтический идеал – восстановление единого «соборного духа», мифологию центральных мотивов – «границы» как рубежа между символическими пространствами, «пути» из замкнутого мирка зоны или деревни в большой мир идеального общинного труда, преодолевающего людскую самость, разобщённость, лень и гордыню[1]. Наблюдения учёной кажутся нам совершенно справедливыми, тем более что сам литератор в «Телёнке», повествуя о первых художественных опытах, не скрывал ориентации на образцы советской литературы[2]. Совпадение способов осмысления и артикуляции событий своей жизни А. И. Солженицыным и В. Я. Тарсисом – свидетельство не подражания одного другому (Тарсис написал повесть в 1966 году, Солженицын издал воспоминания в 1975-ом), а синхронное обращение к техникам письма, кажущимся наиболее адекватными для решения схожих авторских задач.

На примере названных произведений можно обнаружить специфику диссидентской позиции и дискурса. Она, как видим, заключается в

---

[1] Солдаткина Я. В. Мифопоэтика русской эпической прозы 1930-1950-х годов: генезис и основные художественные тенденции / Я. В. Солдаткина. М. : Экон-Информ, 2009. 356 с.
[2] Солженицын А. И. Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни. Собр. соч.: в 30 т. М. : Время, 2018. Т. 28. С. 15.

корректировке существующих идеологем при сохранении типологических свойств картины мира и универсальных эстетических приёмов соцреализма. И это закономерно. Авторы стремятся вычленить гуманистические константы бытия, коренящиеся в универсальных основаниях культуры: ценности личности, права человека на независимость суждений и свободу творчества, чувстве сопричастности персональной судьбы общенародной и других общечеловеческих ценностях. Гармоничный мир, имеющий незыблемые константы и смысл – достояние классической картины мира, не только европейской и русской, но и советской в её идеале. Позиция подлинного гуманизма согласно соцреализму требует от художника активного отношения к действительности, при которой читатель осознаёт эстетический идеал художника, и ответственности автора за идейное воздействие своих произведений, утверждали в 1967 году В. Н. Ермолаева и В. И. Толстых[1]. Эти мировоззренческие и эстетические принципы безусловны для поколения «старших шестидесятников». Владение официальными техниками письма и способами объяснения мира свидетельствует о ментальной принадлежности авторов самиздата советской культуре при декларированном поиске нового дискурса и иных оснований идентификации личности и общества.

Сохраняя основные позиции в официальной картине мира и человека, диссиденты по-новому расставляют акценты.

Самым непримиримым видится конфликт «личность – государство». В отечественной литературе 1930-50-х годов его трактовка носила ретроспективное толкование: государство досоциалистического периода истории враждебно личности (В. Я. Шишков «Угрюм-река», «Емельян Пугачёв», А. П. Чапыгин «Гулящие люди», С. П. Злобин «Степан Разин», «Салават Юлаев» и другие). Советское государство, как социально ориентированное, способствует наилучшему развитию личностных качеств. Дискуссии в критике «оттепели» о необходимости преодоления приукрашивания, «лакировки действительности»,

[1] Ермолаева В. Н., Толстых В. И. Социалистический реализм и штампы буржуазной эстетики. Полемика. М. : Советский художник, 1967. С. 130.

тенденций к иллюстративности и бесконфликтности литературы углубили эстетическое осмысление и художественное решение проблемы «личность – государство». В книгах Ф. А. Абрамова, В. Г. Распутина, Б. А. Можаева и многих других она приобрела драматичное звучание. Однако в текстах диссидентов конфликт заострён: государство, объявившее себя общенародным, беспощадно уничтожает инакомыслящих – лучшую часть граждан.

Специфика дискурса определяет постоянный набор коннотаций для характеристики каждой из сторон. Личность – вольнолюбивая, духовно свободная, бескомпромиссная, готовая к открытой борьбе за гражданские права, осознающая всю неизбежность политических преследований, готовая к самопожертвованию. Государство – тоталитарное, антигуманное, истребляющее лучших граждан с помощью всех существующих институтов: властных структур, исполнительных органов, в первую очередь КГБ, «карательной медицины» (название книги Подрабинека[1] – Е. С.), творческих союзов. Неудивительно, что для практической реализации данных идеологических установок художникам и публицистам понадобился мифологический код.

Оппозиционная пара «интеллигенция – народ» имеет неоднозначное толкование. С одной стороны, диссиденты исходят из непреложного убеждения в ответственности просвещённой личности перед народом, с которым она связана родовыми связями и единой судьбой. Миссия интеллигенции заключается в освобождении сознания современников от рабской покорности и страха, пробуждении гражданского самосознания. Г. С. Померанц возлагал на интеллигенцию великую цивилизационную роль: «Там, где интеллигенция свободна, всем открыт доступ к свободе. Там, где интеллигенция в рабстве, все рабы. <…> если не решена проблема интеллигенции, страна в целом останется во тьме» («Человек ниоткуда», 1967-1977 гг.)[2]. С другой стороны, интеллигенция неоднородна. В ней действуют как консерваторы, так и прогрессивные деятели. Между этими лагерями существуют непреодолимые идейные противоречия,

[1] Подрабинек А. П. Карательная медицина / под ред. Л. М. Алексеевой. Нью-Йорк : Хроника, 1979. 194 с.
[2] Померанц Г. С. Человек ниоткуда // Самиздат века. М. : Полифакт, 1999. С. 97.

исход борьбы определит будущее страны, а значит, свободолюбивые силы должны сплотиться для активного противодействия сталинизму. На этих позициях стоят «старшие шестидесятники». Л. К. Чуковская в статье «Гнев народа» (1973 г.) изображает градацию внутри творческих союзов. Худшие – профессиональные предатели, лучшие – соглашатели: «Они не домысливают: нельзя без конца вырезывать фестоны из собственного сердца – оно перестаёт плодоносить. Не знаю, как в математике или в музыке, но в литературе – в слове – нельзя. Пишите ваши повести, ваши стихи и рассказы, печатайтесь! Вас больше нет»[1]. Как видим, литератор адресует конформистам приговор в творческой смерти, вынесенный ею несколькими годами раньше М. А. Шолохову. Показательна и категоричность, с которой автор причисляет всех действующих членов творческих союзов к предателям и соглашателям. Напомним, что к 1973 году исключения из ССП за инакомыслие стало обычной практикой. Сама Л. К. Чуковская в том году пополнила список изгнанных, о чём поведала в очерке «Процесс исключения», и противопоставление «лакейской» литературы, где официально признанные писатели – чиновники, но не творцы, и «свободной», в которой авторы самиздата – истинные художники, стало общим местом в литературно-публицистических высказываниях диссидентов. Сегодня это утверждение кажется столь же категоричным, сколько и неточным. Однако в тот момент атака в полемике виделась Л. К. Чуковской единственно действенным типом речевого поведения.

Неожиданную трактовку получил образ интеллигенции в повестях Ю. М. Даниэля «Говорит Москва» (1962 г.) и «Искупление» (1964 г.). В повести «Говорит Москва» автор предложил аллегорическое осмысление недавнего прошлого, когда уничтожение сограждан носило массовый характер и проводилось государством при активном содействии общества. Нормальное поведение в абсурдной ситуации – неучастие в массовых расправах – потребовало от главного героя мобилизации душевных сил, способности

[1] Чуковская Л. К. Гнев народа // Соч. : в 2 т. М. : Гудьял-Пресс, 2000. Т. 2. С. 164.

противостоять общему безумию, которому с лёгкостью поддались его друзья, милые, образованные, интеллигентные люди.

Центральный персонаж повести «Искупление», художник Виктор Вольский, необоснованно обвинён в доносительстве. В результате жертва Феликс Чернов и предполагаемый палач Виктор Вольский меняются местами: по ложному обвинению бывшего заключённого от героя отворачиваются друзья, знакомые, коллеги. Оказавшись в полной изоляции, герой прозревает и свою вину в злодеяниях режима. Она заключается в былом безучастном равнодушии, молчаливом потворстве. Позиция автора выдержана в духе экзистенциальной философии: ответственность за происходящее в стране лежит на каждом гражданине, преступно успокаивать себя мыслью о непричастности к действиям власти. Но и сегодня, убеждает читателя автор, общественное мнение так же легко управляемо, как и в прежние зловещие времена. И так же просто погубить человека с помощью коллективного суждения. Этот вывод выдержан в духе экзистенциальной прозы европейских (Ф. Кафки, Ж-П. Сартра, А. Камю) и современных советских прозаиков (В. В. Быкова, Ю. В. Трифонова, В. Г. Распутина). Ю. М. Даниэль в повестях выявил в массовом сознании советского интеллигента те же черты бездумного соглашательства, рабской покорности, низкий критицизм мысли, которые в русской литературе традиционно приписывались «толпе» и «черни».

Трактовка образа народа сложна и неоднозначна. Семантика понятия включает два значения – народ как нация и народ как социальная общность. У В. Я. Тарсиса один из героев рассуждает: «Тысячи и тысячи людей по-прежнему томятся в сумасшедших домах, лагерях и тюрьмах. Но зато окрепла и решимость народа сбросить это страшное ярмо»[1]. В данном случае порабощённый народ – социальная общность, «масса» советских людей. В глубинах национального сознания, согласно автору, кроется «святая Русь» с её исконной религиозностью, правдивостью, состраданием к слабым и обиженным. Ту же трактовку встречаем в публицистике Н. Е. Горбаневской. Рассказывая в автобиографическом очерке

[1]Тарсис В. Я. Палата № 7. С. 10.

«Бесплатная медицинская помощь» (1968 г.) о своих злоключениях в психбольнице, она идёт по стопам В. Я. Тарсиса в обрисовке образов младшего медперсонала: «… нянечка и медсестра, принимавшие вещи, очень умилялись ("Умница какая", – сказала нянечка; их, видимо, особенно трогает, что вот, мол, молодая, образованная, а, поди ж ты, от веры не отступает) и, когда я сказала: "Лишь бы это не пропало" (речь идёт о нательном крестике и образке – Е. С.), ответили: "Что вы, разве такие вещи пропадают!" Утешение не в том смысле, что не пропадут, а в более важном»[1]. Но глубинная нравственность, по мнению В. Я. Тарсиса и Н. Е. Горбаневской, живёт в народе подспудно. Большая часть народонаселения советской страны давно превращена в массу безропотных рабов, бездумно повторяющих идеологические заклинания газетных передовиц. Возмущение свободомыслящей героини внушаемостью «трудового народа» – социально-классовое прочтение образа, типичное для революционной демократии XIX века. Те же коннотации находим в статье Л. К. Чуковской «Гнев народа»: масса советских людей одурманена пропагандистской ложью в адрес лучших сынов отечества – Б. Л. Пастернака, А. Д. Сахарова, А. И. Солженицына. «Простой человек» «не прост и уж вовсе не глуп, – убеждена публицистка, – но он несведущ. Он введён в заблуждение. Неведение его роковое. И для него, и для нас»[2]. Отталкиваясь от просвещенческой парадигмы Нового времени, трансформированной русской культурой, в частности демократической мыслью, нонконформисты развивают дихотомию: народ как нация потенциально талантлив, умён, наделён природной нравственностью. Однако одарённость сочетается в нём с отсутствием навыков самостоятельного мышления, потому он легко управляем властью. «Массу» необходимо воспитывать, тогда она станет «народом» во всей полноте этого понятия. Ответственность за судьбу страны предполагает умение высвободить разум «простого человека» из-под гнёта казённых догм, воспитать в нём гражданина, способного к критическим оценкам и действенному сопротивлению режиму. Пока же систематическая газетная

[1] Горбаневская Н. Е. Бесплатная медицинская помощь // Самиздат века. М. : Полифакт, 1999. С. 203.
[2] Чуковская Л. К. Гнев народа. С. 164-165.

клевета на инакомыслящих провоцирует в рядовом труженике низменные чувства. Следовательно, гласность, свобода слова – ценности, за которые интеллигенция должна бороться ради духовного развития народа. Это нелёгкое дело – раскрепощение современника, высвобождение его скрытых внутренних сил – и есть главная обязанность просвещённых, свободолюбивых людей. Таким образом, народ в умопостроениях «шестидесятников» и диссидентов всегда – объект воздействия просвещённого разума. Эта позиция «сверху – вниз» предполагает тот же тип директивных отношений, на котором базировалась официальная идеология.

Базовые принципы картины мира, найденные «старшими шестидесятниками» (антропоцентизм, гуманизм, неприятие сталинизма, провозглашение свободы слова и инакомыслия как неотчуждаемых прав личности) сохранялись молодым поколением. Однако в 1970-е годы в условиях ожесточившейся конфронтации сторон и дальнейшей профессионализации диссидентства в «единый смысловой строй» (выражение Л. Я. Гинзбург) включались новые коннотации. В частности, усиливалась бинарность мировосприятия, типичная для всех авторов самиздатских текстов. Как известно, Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский называли бинарность типологическим свойством русской культуры в целом. В их работе 1977 года «Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века)»[1] эта мысль носила характер критической рефлексии и опосредованно свидетельствовала о напряжённом осмыслении учёными современного им состояния русской культуры. Сегодня социальные психологи (Г. М. Андреева, А. Я. Анцупов, С. Н. Ениколопов, А. И. Шипилов и другие)[2] дают своё объяснение механизмам формирования бинарного мировосприятия: оно закономерно возникает в сознании людей, вовлечённых в конфликт. По мере

---

[1] Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века) // Труды по русской и славянской филологии. Тарту, 1977. Т. 28. С. 3-36.

[2] Андреева Г. М. Социальная психология. М. : Аспект Пресс, 1999 375 с.; Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология : Учебник для вузов. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 591 с.; Ениколопов С. Н., Цибульский Н. П. Изучение взаимосвязи лигитимизации насилия и склонности к агрессивным формам поведения // Психологическая наука и образование. 2008. №1. С. 90-98.

нагнетания противоборства стороны всё категоричнее оценивают происходящее в чёрно-белом свете, однозначность взаимных оценок свидетельствует о непримиримости позиций. Суждения конфликтологов объясняют причину демонстративной бинарности мировосприятия диссидентов.

Показательна в этом смысле поэтика очерка Н. Е. Горбаневской «Бесплатная медицинская помощь» – пример не только бинарной картины мира и человека, но и трансформации основных мотивов самизата.

Фабулу составляет борьба рассказчицы, помещённой в отделение патологии роддома с угрожающим для беременности диагнозом, за право выписаться из больницы. Ситуация изначально получает диссидентский дискурс: эпизод частной жизни имеет социально-политическую интерпретацию. Противостояние героини врачам осмыслено как борьба личности за гражданские права. В эпиграфе заявлено об угрозе обществу со стороны государства: «"Пока этот произвол не остановлен и не осуждён, никто не может чувствовать себя в безопасности" Из письма по поводу процесса Галанскова, Гинзбурга, Добровольского и Лашковой»[1]. Основная в поэтике диссидентов оппозиционная пара «личность – государство» обозначена уже в эпиграфе и реализована в сюжете.

Повествование открыто рассказом о письме 170 граждан в защиту А. И. Гинзбурга, Ю. Т. Галанскова, А. А. Добровольского и В. И. Лашковой, отправленном за 10 дней до описываемых событий в адрес властных структур. Пять человек (А. С. Есенин-Вольпин, И. Я. Габай, Н. Е. Горбаневская, В. А. Красин, Б. М. Ратновский) указали свои адреса и фамилии для возможного обратного ответа, взяв таким образом на себя ответственность за составление послания. Двое, А. С. Вольпин и Н. Е. Горбаневская, имеют давний диагноз «шизофрения», он помещён в психбольницу, рассказчица ждёт той же участи и воспринимает удержание себя в роддоме как подтверждение её неотвратимости. (Заметим, что Вольпин в тот раз не считал причиной своего помещения в

[1] Горбаневская Н. Е. Бесплатная медицинская помощь // Самиздат века. Москва : Полифакт, 1999. С. 201.

психбольницу участие в подписной кампании. По его версии, это была реакция на его обращение в посольство США за визой для поездки на научную конференцию в Баффало: «Ко мне просто применили ту инструкцию, которую применяли в то время к посетителям посольств», а подписи – так «мало ли кто их собирал»)[1].

Поведение героини обусловлено тактикой сопротивления, в которую включаются друзья, активно ходатайствующие об её освобождении. Вскоре она, действительно, направлена в психбольницу на консультацию. Это событие безоговорочно расценено как карательная акция, и благополучная развязка – заключение психиатров о ее здоровье и выписка домой – не убеждают рассказчицу в отсутствии «руки КГБ». На примере частного случая демонстрируются наиболее общие законы социальности – повсеместное нарушение свободного волеизъявления граждан, планомерность репрессий в адрес инакомыслящих.

Предложенная трактовка событий может показаться стороннему читателю неубедительной. Более вероятной видится другая версия. Врачам, не посвящённым в подробности диссидентской активности пациентки и причины её страхов, требование немедленной выписки должно было показаться необоснованным. Медики, видя взвинченное состояние больной, игнорирующей явную угрозу потери ребёнка, получили из женской консультации сведения о её психической патологии (обычная практика медучреждений такого рода) и решили подстраховать себя на случай драматичного развития событий: отправили на консультацию к специалисту. Диагноз психиатров свидетельствует о независимости принятого решения. Давление КГБ в данном случае видится сомнительным. Зато о госпитализации дочери в психбольницу в тот момент просила мать Горбаневской, с которой та состояла в ссоре. Семейный конфликт вынудил дочь уйти на съёмную квартиру, определить старшего сына в детский сад на пятидневку и справляться с жизненными трудностями самостоятельно.

---

[1] Памятка для не ожидающих допроса. Беседа с Александром Есениным-Вольпиным // Неприкосновенный запас. 2002. № 1(21). С. 77.

Безусловно, участие матери в этой истории должно было глубоко ранить дочь, ничего о том не подозревавшую во время создания очерка. Но, и узнав все обстоятельства дела, она не сочла нужным редактировать текст и разрушать выстроенную концепцию, в основе которой лежит максимально заострённый конфликт «личность – государство». Аналогичным образом поступит несколькими годами позже А. И. Солженицын в книге «Бодался телёнок с дубом». Излагая историю своих взаимоотношений с редакцией «Нового мира» и А. Т. Твардовским, он отредактирует подлинные события и создаст по сути фальсифицированный, но концептуально точный и убедительный рассказ о героическом сопротивлении борца-одиночки тоталитарному государству. Н. Е. Горбаневская практически реализует способы толкования событий, проходящие в это время апробацию в диссидентской среде.

Безоговорочно принять позицию рассказчицы читателю мешает выбранный автором тип нарратива, реализованный в концепции очерка: его в силу эмоциональной чрезмерности можно, пожалуй, назвать истерическим. Индивидуальная травма осмыслена как общественно значимая: в государстве, где насилие над личностью возведено в норму социальной практики, каждый гражданин уязвим и незащищён. Её манера артикуляции свидетельствует о стремлении сохранить интеллектуальный и психо-эмоциональный контроль над ситуацией, всё очевиднее утрачиваемый по мере развития событий.

Текст составлен из записок, отправленных из больницы друзьям. Каждая, в свою очередь, разбита на дополнительные части (дневниковые записи одного или нескольких дней, сиюминутные ощущения, рассуждения и прочее), визуально отделённые друг от друга. Фрагментарность текста отражает раздробленность картины мира, с трудом поддающегося рационализации. Рассказчица описывает происходящее с чрезмерными подробностями, что свидетельствует о затруднениях с оценкой масштабов событий: каждая мелочь разрастается в её восприятии до глобальных размеров, требующих фиксации внимания и усилий осмысления. Детализированность повествования сопровождается эмоциональной насыщенностью. Постоянные эмоции –

раздражение, тревога и страх – перемежаются недолгим спокойствием и вновь сменяются крайней нервозностью.

Эмоциональные сбои проходят на фоне смысловой «смещённости»: преобладающая риторика жалобы, плача совмещается с резонёрством, внезапно возникающей лирической интонацией. При этом в пределах одного фрагмента мысль скачет с одной темы на другую. Овладеть собой, а значит, и ситуацией героине явно не удаётся.

Безусловно, негативизм в оценке повседневной советской реальности является корпоративной эмоцией нонконформистов. Однако в её реализации различается и степень, и авторская стратегия. Например, в публицистике Л. К. Чуковской или А. И. Солженицына преобладает гнев, имеющий всегда конкретную причину – цензуру (А. И. Солженицын «Открытое письмо Секретариату Союза писателей РСФСР», Л. К. Чуковская «Не казнь, но мысль. Но слово», «Прорыв немоты»), карательную психиатрию (А. И. Солженицын «Вот как мы живём»), конформизм профессионального сообщества (Л. К. Чуковская «Открытое письмо Михаилу Шолохову, автору "Тихого Дона"», А. И. Солженицын «Поминальное слово о Твардовском»). Гнев, как концентрированная эмоция, точно соответствует классической поэтике. «Старшие шестидесятники», выдержав статьи в традициях ораторского искусства, дали образцы «высокого стиля» гражданской публицистики и реализовали стратегию преодоления травмы: мир в их текстах сохраняет устойчивость, автор как субъект – целостность, а письмо – стабильность. Н. Е. Горбаневская реализует негативизм в гораздо более сниженном, «бытовом» варианте. В тексте господствует бессубъектное раздражение, распространяющееся на всех и вся: соседок по палате, врачей, случайных соучастников драмы, больничную одежду, бытовые реалии, и прочее, и прочее. За всепоглощающим раздражением рассказчицы скрывается страх перед вероятным вмешательством КГБ в её участь. Оценка происходящего с ней ведётся по аналогии с судьбой А. С. Вольпина (его отправили в психбольницу – значит, посадят и её), опорой становятся не столько факты, сколько собственное

представление о реальности, что подтверждает неспособность освоить травматический опыт. Состояние крайнего ужаса охватывает рассказчицу в момент насильственного перевода в психдиспансер и порождает типичное для стрессовой ситуации «отставание» репрезентации: не находя сил для немедленной артикуляции, она излагает события только через 3 дня[1].

Как видим, специфика речи (фрагментарность, детализированность, эмоциональная избыточность, смысловая «смещённость», риторическое «отставание») выдаёт глубочайшее душевное потрясения. Удаётся ли при этом героине сохранить личностную целостность? Или мы являемся свидетелями разрушения идентичности?

Самоидентификация рассказчицы двойственна: она «беременная» и «диссидентка». Каждая из позиций предполагает разные ценностные приоритеты и диктует свою поведенческую тактику. Патологическая беременность требует заботы о здоровье ребёнка и подчинения врачам, диссидентка обязана активно отстаивать гражданские права и бороться с любой формой беззакония. Поведение героини свидетельствует о первоначальном доминировании в самооценке образа «диссидентка»: в своей социальной активности она видит подлинные причины насильственного удержания в роддоме и борется с врачами как с представителями власти: «… я всё более привыкаю видеть во враче почти такого же противника, как в гебешнике»[2]. Диссидентский дискурс диктует бинарную картину мира: «жертва беззакония» и «палачи», то есть она сама и вездесущее КГБ; «свои» и «чужие» – единомышленники и врачи; духовно свободные нонконформисты и одурманенная идеологией толпа; рефлексирующая героиня и бездумно действующие преследователи и так далее.

Логика повествования подчинена концепции: в рассказ о злоключениях в больнице вживлены рассуждения о важнейших для диссидентов темах: неизбежность столкновения свободолюбивой личности с властью, взаимоотношения интеллигенции и народа, нравственное превосходство жертвы

---

[1] Горбаневская Н. Е. Бесплатная медицинская помощь. С. 209.
[2] Там же. С. 204.

над палачами, необходимость вмешательства международной общественности в защиту репрессированных. В своём новом статусе – беременная – она видит лишь подтверждение аксиомы: государство враждебно личности, насилие в данном случае особенно возмутительно, поскольку свершается с женщиной в момент её наибольшей уязвимости. Однако по мере развития событий идентичность «диссидентка» утрачивается. В претензиях рассказчицы к врачам всё явственнее звучит голос испуганной женщины, нуждающейся в защите. По мере ужесточения ситуации идентичность «беременная» вытесняет прежнюю. Её поведением в психдиспансере руководит ужас за себя и страх за ребёнка.

Восстановление первоначальной самооценки происходит, когда опасность минует. Очерк завершается декларацией неизменности диссидентской гражданской позиции, не поколебленной пережитым испытанием: «Если меня хотели запугать, выбить из колеи, психически травмировать – из этого ничего не вышло. Я спокойна, я спокойно жду ребёнка, и ни ожидание, ни рождение его не помешают мне заниматься тем, чем я пожелаю, – в том числе участвовать в каждом протесте против каждого проявления произвола»[1]. Показательно, что личностная стабилизация произошла с рассказчицей не за счёт мобилизации внутренних сил и душевных резервов, а вследствие благополучного разрешения ситуации извне. Однако победного финала требовала специфика диссидентского дискурса: способность вытерпеть насилие государства представлена как испытание, через которое необходимо пройти для подтверждения оппозиционного статуса.

В этой трактовке пережитого обнаруживается мифологический код: автор представляет читателю архетипический мотив инициации – обряда посвящения ребёнка в статус взрослого. Символизируя «хаос» – стадию перехода из одного космического цикла в другой, инициация предполагает ряд опасностей, подвергающих жизнь испытуемого нешуточному риску. Временная смерть для возрождения к новой жизни, уже в ином качестве, запрограммирована в сценарий обряда. Соответственно, ощущение конца жизни – обязательная

[1] Горбаневская Н. Е. Бесплатная медицинская помощь. С. 213.

характеристика психо-эмоционального состояния его участника. Переход в следующий жизненный цикл герой должен совершить самостоятельно, потому сочувствующие сородичи отделены от испытуемого, что соотносимо с позицией адресата записок. «Возрождённый» сохраняет следы ритуальных увечий (проговорённая память о пережитой травме) как доказательство честно пройденных испытаний. Финальный монолог демонстрирует благополучное завершение инициации.

Тип нарратива очерка соответствовал провокационной авторской стратегии: Н. Е. Горбаневская стремилась отразить психологическое состояние человека, подвергнутого репрессиям. Крайний ужас и отчаяние, испытанные ею, воплощались в соответствующей повествовательной манере. В авторскую стратегию входила аккумуляция защитных сил общественности для противодействия государственному насилию. Массовый читатель должен был ужаснуться, возмутиться и подняться на протест. Сильные эмоции автора могли бы спровоцировать аналогичные эмоции читателя. Однако истерика раздражает, но не убеждает. Истерический нарратив оказывает чрезмерное психологическое давление на читателя, от которого тот старается защититься недоверием к изложенным фактам или неприятием текста как такового.

Н. Е. Горбаневская, как литератор, тонко чувствующий слово, вероятно, ощутила эмоциональную избыточность как художественный изъян и отвергла её. Ни в «Хронике», ни в «Полдне» она не позволит себе ничего подобного. Первый выпуск «Хроники текущих событий» от 30 апреля 1968 года (он назывался «Год прав человека в Советском Союзе») вышел через два месяца после происшествия. По признанию И. Р. Максимовой, для бюллетеня «первые годы она (Горбаневская – Е. С.) все заметки и комментарии писала сама»[1]. По сообщению Е. М. Сморгуновой, Н. Е. Горбаневская подготовила 11 номеров журнала[2], её редакторство закончилось арестом 24 декабря 1969 года за издание книги «Полдень» в издательстве «Посев» (ФРГ).

[1] Поэтка. Книга о памяти: Наталья Горбаневская / авт.-сост. Л. Улицкая. М. : АСТ, 2014. С. 269.
[2] Там же. С. 271.

Вот как рассказана недавняя история в «Хронике»: «Н. Горбаневская, без предупреждения и без ведома родных, 15 февраля была перевезена из 27 роддома, где она лежала на сохранении беременности, в 27 отделение больницы им. Кащенко. Решение о переводе было принято с участием дежурного психиатра Тимирязевского района, а основанием для перевода были названы просьбы больной о выписке. 23 февраля Горбаневская была выписана из больницы им. Кащенко, так как психиатры признали, что она не нуждается в лечении»[1]. Как видим, в данном случае избран иной способ артикуляции – эмоционально сдержанный, бесстрастный, при этом гораздо более убедительный, чем в очерке. Характерно, что информация помещена в сообщение о лицах, пострадавших от репрессий властей. Следом рассказано о заключении в психбольницу А. С. Есенина-Вольпина и борьбу за его освобождение коллег-математиков. Эта информация косвенно подтверждает версию Н. Е. Горбаневской о «руке КГБ» в её случае. Вновь приём аналогии (с ним поступили так же, как с ней) работает на убеждение читателя. Иная версия не допускается к рассмотрению диссидентским сообществом.

Через два года после описанных событий, в 1971 году, П. М. Литвинов поместит этот выпуск «Хроники» в книгу «Процессе четырёх» и тоже не подвергнет информацию корректировке[2]. В том же году очерк «Бесплатная медицинская помощь» войдёт в сборник «Казнимые сумасшествием», изданный во Франкфурте-на-Майне издательством «Посев». Для возмущения на этот раз уже мировой общественности вновь потребуется способ артикуляции, найденный в очерке.

Корпоративная солидарность в интерпретации происшествия 1968 года объясняется репрессиями в адрес «подписантов». П. М. Литвинов привёл следующие данные: из 700 защитников А. И. Гинзбурга, Ю. Т. Галанскова, А. А.

---

[1] Судебный процесс по делу Галанскова, Гинзбурга, Лашковой, Добровольского. Репрессии к участникам движения протеста // Год прав человека в Советском Союзе. Хроника текущих событий. 1968. Вып. 1. 30 апреля. URL: https://www.1000dokumente.de/?c=document_ru&documen t=0016_chr&object=translation&l=ru

[2] Процесс четырёх. С. 497.

Добровольского и В. И. Лашковой более 130 человек были подвергнуты различным мерам воздействия. Принудительное лечение в спецпсихбольницах было одной из них, практикуемых до и после описанных событий. Каждый подобный факт становился объектом пристального изучения диссидентов. В 1966 году два «фигуранта» «дела четырёх», Ю. Т. Галансков и А. А. Добровольский, были помещены в психлечебницу. Н. Е. Горбаневская была дружна с Ю. Т. Галансковым, посвятила этому событию стихи и принимала активное участие в его судьбе. А в 1969 году за участие в демонстрации протеста на Красной площади и составление сборника «Полдень» она сама будет помещена в СПБ. В 1970-е годы использование психиатрии в репрессивных целях подтолкнёт правозащитников С. Ф. Глузмана (врач-психиатр) и В. К. Буковского к изданию специальной памятки «Пособие по психиатрии для инакомыслящих» (1974 г.) и созданию неофициальной «Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях» (1977-1981 гг.). В свете этого знания опасения Н. Е. Горбаневской, высказанные в очерке, выглядят не такими уж безрассудными. Социальный контекст объяснил причины способа рассказывания истории, хотя и сохранил одномерность картины мира, свойственную диссидентскому дискурсу.

Обращение к мифу – частотный элемент поэтики нонконформистских текстов. В очерке Л. И. Богораз «Об одной поездке» (1967 г.) разрабатывается другой архетипический мотив – катабасис (сошествие в ад). В мифе смертные, решившиеся на путешествие в потусторонние пределы, преследуют различные цели: сватовство к невесте из иного мира (Вяйнямёйнен, герой «Калевалы»), вызволение друга (Геракл) или жены (Орфей), поиск знаний (Одиссей, Эней). В данном случае перед нами рассказ о поездке на свидание с заключённым мужем. О точности развёрнутой в сюжете метафоры свидетельствовала А. С. Гинзбург, вспоминая о своих впечатлениях от свиданий с мужем А. И. Гинзбургом: «Надо

сказать, что всякий раз возвращаться оттуда в нормальную жизнь – ощущение, что ты побывал в аду и вернулся с того света»[1].

Надежды на благополучный исход – освобождение родной души из преисподней – в этом социальном сюжете бессмысленны, но возможно облегчение участи: подкормить, поддержать. В этом и заключается аксиология путешествия, предпринятого рассказчицей вместе с сыном. Мальчик выступает помощником и свидетелем. Высокое нравственное содержание делает трудный путь осмысленным и необходимым. В нарративе очерка, соответственно, не найти речевых приёмов, фиксирующих чувство страха или беспомощности героев. Дискурс лаконичный и сдержанный. Ужас, возмущение от увиденного глазами героев должны испытать свидетели путешествия в загробный мир, то есть читатели.

В ряде сказаний катабасис предполагает два возможных вектора движения – спуск по вертикали и путешествие по горизонтали. Первый возможен для богов, второй – для смертных. Но всякий вариант содержит указание на чуждость ландшафта. Враждебность топоса обозначена с первых строк: «За этот год, за время многих поездок мы ко многому привыкли: к молчаливым женщинам (реже мужчинам), с мешками и чемоданами, выходящим из поезда на станции Потьма, к "мордовскому такси" – тележке, в неё впрягается мордовка в мужском пиджаке, из-под которого видны зелёные фланелевые панталоны, и за полтинник с "места" везёт вещи на Потьму-2, "столыпинским" выгонам (собственность п/я 385, т. е. Дубровлага), за стеклом решётка, а если открыта дверь, то виден в обе стороны коридор и арестантские "купе", к заборам с колючей проволокой поверху и вышкам, вышкам от Потьмы-2 до самого Яваса, <…> на каждой станции лагерь, два, три»[2]. В Мордовии, куда приезжают герои, располагались преимущественно лагеря для политзаключённых. Перечисление объектов

---

[1] Александр Гинзбург: русский роман / авт.-сост. В.И. Орлов ; вступ. ст. А. Ю. Даниэля. М. : Русский путь, 2017. С. 324.

[2] Богораз Л. И. Об одной поездке // Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950-е-1980-е: в 3 т. М. : Международный институт гуманитарно-политических исследований, 2005. Т. 2. С. 256.

Дубровлага создаёт эффект градации: читатель, как и герои – пришельцы из других земель, должны ощутить безжизненность и бездуховность здешнего мироустройства.

«Край мира» насыщен знаками смерти. В местной гостинице постояльцы проводят ночь без света и воды, что отсылает читателя к символике могилы. Обитательницы «подземного царства» напоминают покойниц: «Когда выйдут все бригады – откроются другие ворота, впустят женщин. Но вид у них! Стыдно глаза поднять. Прохожу мимо, опустив голову. На ногах бахилы, грубые, уродливые, тяжёлые, как гири. День был жаркий, поэтому многие без чулок, и вот эти пудовые ботинки на голых женских ногах. Платья форменные, чёрные или серые, тоже уродливые с жалкой потугой на кокетство: на серых юбках украшения – чёрная полоса по подолу. Лица чёрные от пыли, волосы тусклые, пыльные: некоторые женщины подвиты, подкрашены; это ещё страшнее с этими запылёнными пылью лицами, казёнными платьями …»[1]. В цветовой гамме преобладают серый и чёрный – маркёры земли, пепла, праха. Так из частных зарисовок создаётся панорама мира, в котором нет жизни. Граница между «волей» и «зоной» здесь весьма условна. Страшное духовное оскудение давно сравняло обитателей обоих пространств.

В «царстве мёртвых» мифологический персонаж обречён на тяжёлый путь. Однако рассказчица фиксирует тип нарочито затруднённого пути. Инородцам мешают, воздвигают препятствия: «Не положено по инструкции». Ритуальность действий охранников, надзирателей и прочих служак – знак дурной неизменности заведённых порядков и одновременно обречённости мира, лишённого человечности.

Как видим, традиционная бинарность «свой» – «чужой» представлена в очерке оппозицией «живой мир» – «мёртвый». Герои приехали из пространства «живых душ», где всей общиной снаряжают в дорогу, занимают денег и сопереживают друзьям. В «мёртвом мире» запрещено всё: читать стихи на

[1] Богораз Л. И. Об одной поездке. С. 257.

свидании, передать пару апельсинов (апельсины – знак инородности героев и одновременно образ, отсылающий к античности), отстаивать своё достоинство.

Аналитическая природа очерка реализуется в фактографичности и документализме. Л. И. Богораз приводит имена и фамилии заключённых, содержащихся вместе с Ю. М. Даниэлем, перечисляет факты нарушения прав личности в лагере.

Спуск в загробное царство в мифе совершает взрослый человек, способный освоить травматичный опыт. Психо-эмоциональное состояние рассказчицы не поколеблено, ей свойственно рациональное восприятие увиденного. Мысль движется от частного к общему, из множества примеров выводится закономерность, вывод обобщает наблюдения, он сделан на основе неопровержимых фактов и эмпирических знаний. Как бы ни была возмущена совесть героини, её рассказ сохраняет стабильность, эмоциональные оценки взвешенность, а письмо целостность и логичность.

Рассказчица стремится осмыслить общие вопросы социального бытия, подвергнуть анализу противоречия общественной жизни, выявить процесс личностной деформации советского человека, обречённого на проживание в месте, где нет другого производства. Творческий труд, раскрывающий в личности потенциал её духовных возможностей, немыслим здесь не только для заключённых, но и для сотрудников лагеря и членов их семей. И если диссидентам психологически выстоять помогает сознание нравственной правоты своего дела, то тюремщикам всех мастей приходится служить антигуманному государству. Вынужденная включённость в бесчеловечную исполнительную систему разрушает сознание, опустошает душу. Рассуждения автора убеждают читателя в том, что политзаключённые нравственно превосходят своих охранников. Государство, прибегая к жесточайшим методам перевоспитания, может убить, но не способно сломить их волю.

Мифологема пути часто имеет круговую траекторию. Вот и рассказчица вернулась домой, в точку начала дороги, но «зона» напоминает о себе. В телефонном разговоре с полковником КГБ она слышит угрозу мужу, если тот не

смирится и не переменит позиции. Катабасис не всегда заканчивается удачей: Орфей не смог вывести Эвредику из царства Аида, не сумела и героиня облегчить участь родного человека.

В. Н. Топоров отмечает, что «во многих мифопоэтических традициях мифологема пути выступает не только в форме зримой реальной дороги, но и метафорически – как обозначение линии поведения (особенно часто нравственного, духовного), свод правил, <…> своего рода вероучение, религия»[1]. Ценность пути не в том, что он венчается успехом, а в нём самом. Проделать путь – значит совершить нравственное восхождение. Чему же учит путешествие рассказчицу? Её финальный монолог отвечает на этот вопрос: «Полковнику КГБ М. И. Бардину не понять никогда, что никакие "меры воздействия" – голод, БУР, тюрьма и т. д. не заставят Даниэля забыть, что он человек»[2]. Как и Горбаневская, рассказчица, преодолев очередное испытание, утверждается в решимости бороться с бесчеловечным режимом. Её идентичность укрепилась путешествием в преисподнюю. Сарказм, звучащий в последней фразе, – реакция взрослой души. Персональная значимость проделанного пути, как и пережитого Н. Е. Горбаневской, заключалась в подтверждении духовного статуса борца с режимом. Такой вывод соответствует не только диссидентскому дискурсу, но и мифологическому коду, поскольку мотив символической смерти и возрождения героя, как отмечал В. Я. Пропп, является общим для катабасиса и инициации и указывает на генетическую связь обоих сюжетов[3].

Лексическая и семантическая перекличка двух текстов свидетельствует о сформированности основных способов нарратива в сообществе. В авторскую стратегию Л. И. Богораз и Н. Е. Горбаневской входила констатация безальтернативности диссидентской модели поведения, единственно возможной

---

[1] Топоров В. Н. Пространство и текст // Из работ московского семиотического круга. М. : Языки славянской культуры, 1997. С. 497.
[2] Богораз Л. И. Об одной поездке. С. 264.
[3] Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Ленинград : Изд-во Ленинградского гос. ун-та, 1986. С. 162.

для нравственного человека. Мифологизация очерков (включённость в поэтику мотива катабасиса и инициации) – художественный приём, подчинённый решению авторских задач: подтвердить полное и абсолютное игнорирование представителями власти гражданских прав личности в лагерях (Л. И. Богораз) и психбольницах (Н. Е. Горбаневская). Идеологическое воздействие на читателя производилось с помощью мифопоэтических приёмов: Л. И. Богораз старалась убедить, что условия содержания политзаключённых несопоставимы с жизнью. Н. Е. Горбаневская побуждала читателей на борьбу с «карательной медициной».

Как видим, использование мифопоэтики можно считать универсальным приёмом в творчестве нонконформистов разных поколений. Миф в тексте всякий раз играет смыслообразующую роль: определяет семантику произведения, задаёт эмоциональный тон и способы его восприятия. Показательно, что эстетическая природа текстов – художественный (В. Я. Тарсис) или публицистический (Н. Е. Горбаневская, Л. И. Богораз) – в данном случае не важна. Авторы используют арсенал средств, помогающий решать схожие задачи. Единство целей публицистов и писателей определяет обращение к одним и тем же приёмам поэтики. Литераторы и публицисты наделяют фигуру борца с режимом сверхценным значением, оценивают его деяния как судьбоносные для страны. Идеалом целостного, гармоничного мира видится страна с иной государственной системой. Идеологический характер мифопостроений очевиден: диссидентский миф, как и официальный, должен утвердить общественно значимый идеал.

Диссиденты продолжили разрабатывать технические приёмы построения картины мира и человека «старших шестидесятников»: они максимально заострили бинарность мировосприятия, не убоявшись утратить объективность и впасть в одномерность оценок людей и событий. Мотивы «старших шестидесятников»: преобразование социума, творческое созидание, неизбежно встречающее на своём пути противодействие консерваторов, но преодолимое волевым усилием граждан – вытеснены идеей обречённости режима и

неизбежности борьбы с ним. Ю. Ф. Орлов в воспоминаниях констатировал: «… диссиденты были все едины в борьбе с режимом ...»[1].

Трансформация идеи улучшения социализма в «ниспровержение строя» имеет свои аксиологические последствия. Государство, страна, общество, народ – всё наполняется негативным звучанием и постепенно заменяется самоценным и замкнутым на себе процессом разрушения. Борьба теряет социальный контекст, её участник может опереться только на ближний круг – единомышленников и соратников. Противостояние режиму становится средством самоутверждения индивида. Доказывать себе и обществу право именоваться диссидентом приходится, став профессионалом, что влечёт за собой неизбежную психологическую и нравственно-этическую деформацию, соотносимую с той, что отмечала Л. И. Богораз в представителях власти. В книге В. К. Буковского «И возвращается ветер…» читаем: «Давно уже стало ясно, что при нашей системе случайная смерть фюрера не влечёт за собой перемен в политике. <…> Убийство же Хрущёва ничего, кроме ужесточения преследований, дать не могло»[2]. Аргументация, выдвинутая против использования террора, примечательна. Этот метод отвергается как нецелесообразный и малопродуктивный. И только. Нравственного барьера рассказчик, похоже, не ощущает. Известно, что диссиденты категорически отвергали насилие как метод своей борьбы. Об этом неоднократно и настойчиво заявляли Л. М. Алексеева, С. А. Ковалёв и многие другие. То же заявляет и В. К. Буковский, но движет им логика утилитаризма. Безусловно, позиция рассказчика автобиографического романа во многом продиктована образом автора и стратегией, реализуемой в тексте. Однако она демонстрирует направление мысли профессионального диссидента, не замечающего тонкую грань между допустимым и неприемлемым, если результат боевых действий эффективен.

Соответственно принципу утилитаризма в автобиографии «И возвращается ветер…» В. К. Буковский расширяет границы понятия «свои»: к ним

---

[1]Орлов Ю. Ф. Опасные мысли. Мемуары из русской жизни. М. : Захаров, 2008. С. 170.
[2] Буковский В. К. И возвращается ветер… СПб. : Захаров, 2007. С. 147.

причисляется всякий, кто досаждает власти, например уголовные преступники. Так профессиональный диссидент переосмысливает традиционное для «старших шестидесятников» размежевание уголовников и политзаключённых. В. Т. Шаламов в «Очерках преступного мира» (1961 г.) декларировал недопустимость сближения с «блатарями». Самое страшное в них, по мнению литератора, это беспредельная наглость, отсутствие всякой морали, полное равнодушие к чужой жизни, лёгкость на расправу. Писатель считал связь с уголовниками, чем бы она ни была спровоцирована, одним из кратчайших путей к нравственному растлению. Уподобиться «блатарям» в поведении, пусть даже вынужденно, значит позволить власти одержать верх. Она старалась уничтожить личность и смогла это сделать[1]. Категоричность нравственных императивов В. Т. Шаламова подтверждена его многолетним лагерным опытом, трагическим пониманием чрезвычайной хрупкости человеческой культуры и цивилизации. Это позиция стоика, убеждённого в необходимости мужественно сносить страдания, предопределённые личностным выбором, совершаемым осознанно и свободно.

Стоицизм, свойственный значительной части политзаключённых 1930-50-х гг., входил в поведенческий канон молодого поколения правозащитников. В. К. Буковский отдаёт ему дань: «… причины, которые загнали меня в тюрьму, загонят и во второй, и в третий. Они, эти причины, неизменны, как неизменна и сама советская жизнь, как не меняешься и ты сам. Никогда не позволят тебе быть самим собой, а ты никогда не согласишься лгать и лицемерить. Третьего же пути не было»[2]. Источник страданий в человеческой сущности, а значит, они неизбежны, испытания и лишения надо принять как данность и сносить достойно – этот вывод продекларирован ясно и чётко. Однако логика социальной практики, всё же видоизменившаяся со времён Сталина, приводит рассказчика к поиску более эффективных поведенческих моделей и философских оснований. Вот один из показательных эпизодов:

---

[1] Шаламов В. Т. Колымские рассказы // Собр. соч. : в 4 т. М. : Худож. лит. : Вагриус, 1998. Т. 1. 619 с.
[2] Буковский В. К. И возвращается ветер… С. 13.

«– Ну, что, землячок, иди, сыграем? Свитерок у тебя хороший ...

Помотавшись по этапам да по пересылкам, я уже знал немного уголовный мир, его порядки и обычаи. Играть с ними бессмысленно <…>. Но и отказаться теперь значило бы проявить слабость. Не те будут отношения, а мне с ними жить почти три года.

– Давай, – говорю я, – только в преферанс. Народу достаточно, запишем пульку – на всю ночь хватит. Тут уж он смутился. Преферанс – игра не воровская. Сразу видно, что он никогда в неё не играл. Но и отказаться ему позорно – какой же он вор, если играть отказывается?

<…> Сели неохотно – куда им деваться? Естественно, через часок ободрал я их как липку. <…>

– Ну, вот, – говорю я. – Вещи свои заберите, они мне не нужны. А теперь давайте я вас по-настоящему научу, как играть.

И так увлеклись – всю ночь просидели. Лучшие друзья стали»[1].

Реплика уголовника «свитерок у тебя хороший» прямо отсылает к рассказу Шаламов «На представку», в котором именно свитер, приглянувшийся одному из игравших в карты бандитов, стал причиной убийства заключённого, не пожелавшего отдать ему свою вещь, поставленную на кон[2]. Буковский, как видим, переписывает шаламовский сюжет в соответствии с новой философией взаимоотношений когда-то враждебных друг другу страт: «политический» умнее, хитрее, образование даёт ему навыки изобретательности, значит, он может победить в этом маленьком состязании. Для этого надо перейти на язык «блатных» – сыграть в карты, но навязать свою игру. Победа фиксируется символическими жестами: проигранные вещи он себе не забирает, а обучает главаря навыкам игры в преферанс. Совместное существование требует обозначить своё место в социальной иерархии «зоны» с помощью понятных

---

[1] Буковский В. К. И возвращается ветер… С. 284-285.

[2] Бойко С. С. указала на перекличку шаламовского сюжета с рассказом писателя-эмигранта второй волны С. Максимова «На этапе», справедливо отметив «схожесть не только фактурой, но и поэтикой» не сообщающихся между собой литератур, российской и зарубежной / Бойко С. С «Лагерная проза» как этап формирования литературы нового типа // Новый филологический вестник. 2015. № 3 (34). С. 71-73.

уголовникам приёмов. Итогом для «политического» становится позиция доминирования.

Рассказчик убеждён в нравственном превосходстве политзаключённых: в дальнейшем он неоднократно позиционирует себя как просветителя, наставника (обучил кого-то английскому языку, других приохотил читать книжки, всех призывал получать образование) и заступника (помогал писать жалобы в различные инстанции). Страх потерять нравственный иммунитет, о чём предупреждал Шаламов, отсутствует. Не без гордости повествует он о расставании с уголовниками в одном из лагерей: «Жулики мои заварили на прощанье крепкого чаю, и почти каждый, отведя в сторонку, говорил, смущаясь:

– Ну, в общем, сам знаешь... Если чего нужно будет, меня в городе каждый знает. Только спроси – всегда найдёшь. Ну, в бегах если будешь или оружие вам, политикам, понадобится. Или там в квартиру какую залезть нужно. Короче, сделаем.

А некоторые даже осторожно намекали, что и зарезать могут, кого надо. Не проблема.

С такими напутствиями я и вышел за ворота»[1]. Несмотря на явно анекдотический дискурс, ощутимо и удовлетворение рассказчика от статуса авторитета в преступном мире (социальная роль, невозможная для В. Т. Шаламова). Вероятно, В. К. Буковский осознавал этическую двусмысленность подобной позиции и проговорил её причины, обращаясь к предполагаемым моральным резонёрам: «Я спал с ними на одних нарах, под одним бушлатом, делил кусок хлеба, вместе подыхал по карцерам. И я полз по запретке на брюхе, рвал колючую проволоку, обдирая руки, ждал каждое мгновение пулю в спину, только чтобы передать им пачку махорки. Так же, как и они мне. И я не жалею об этом. А что вы знаете о своём народе? Какое к нему имеете отношение? Какое имеете право говорить от его лица?

Я не читал им нравоучений, не проводил политзанятий, не создавал подпольных партий и не учил доносить на товарищей, чтобы "исправиться". Я

[1] Буковский В. К. И возвращается ветер… С. 317.

учил их писать жалобы, надеясь, что, привыкнув обращаться к защите закона, они начнут уважать его. И не моя вина, что этого не случилось. Это ваша вина»[1]. Примечательно определение бандитов как «своего народа» и возвышенно-героический пафос монолога о братских узах «политиков» и уголовников. Он перемежается гневными риторическими вопросами. Агрессия, вероятно, должна была окончательно сокрушить противников морального релятивизма. Суггестивность речи как средство убеждения неоднократно используется В. К. Буковским в автобиографии в качестве неопровержимого доказательства своей правоты. Очевидно, что приёмы ведения идеологического спора заимствованы диссидентом из официального дискурса.

В 1964 году В. Т. Шаламов, отвергая предложение соавторства «Архипелага ГУЛаг», объяснял свою позицию: «Я хочу иметь гарантию, для кого пишу»[2]. А. И. Солженицын, как позже предполагал писатель, уже тогда знал, что пишет для тамиздата. Разная читательская ориентация литераторов старшего поколения «шестидесятников» свидетельствует, что вопрос этот изначально решался неоднозначно. Пробуждать сознание соотечественников, добиваться гуманизации общественной жизни от представителей власти внутри страны или искать адресата на Западе – вопрос принципиальный для определения авторской стратегий. Спустя пять лет А. Т. Марченко в книге «Мои показания» (1969 г.) заявлял: «Я хотел бы, чтобы это моё свидетельство <…> стало известно гуманистам и прогрессивным людям других стран»[3]. Адресат расширен, но не локализован странами Запада. В 1975 г. Ю. Ф. Орлов, стараясь облегчить участь заключённого в психбольницу Л. И. Плюща, подведёт итог сомнениям друзей в направлении поиска реальных помощников: «Единственным способом бороться <…> было – посылать информацию за рубеж»[4].

Адресат определяет характер высказывания. Оно должно быть ясным и простым, чтобы авторский вариант усваивался читателями, не знакомыми с

---

[1] Буковский В. К. И возвращается ветер… С. 318.
[2] Солженицын А. И. С Варламом Шаламовым // Новый мир. 1999. № 4. С. 166.
[3] Марченко А. Т. Мои показания. М. : О.Г.И., 2005. С. 7.
[4] Орлов Ю. Ф. Опасные мысли. С. 173.

реалиями советской жизни. Логика холодной войны требовала учитывать специфику восприятия текстов. Так в книги и статьи проникает тема угрозы, исходящей от СССР. В 1975 году Ю. Ф. Орлов, В. Ф. Турчин и С. Д. Ходорович писали в «Обращении московских учёных»: «Мы хотим предупредить общественность стран Запада, что репрессии против гуманитарных движений, планомерно осуществляемые советскими властями в последнее время, <…> являются шагами в сторону скрытой конфронтации с Западом <…>. Мы призываем вас попытаться понять, <…> что жестокая борьба за установление абсолютного идеологического единства в СССР имеет прямое отношение к вашему будущему»[1]. Привлечение мировой общественности давало тактические результаты: участь многих диссидентов была облегчена. Власть была вынуждена считаться с резонансом международных скандалов, при этом диссидентское слово в пространстве советской культуры по-прежнему оставалось в статусе маргинального.

Подведём промежуточные итоги. Диссидентский дискурс характеризуется типовыми приёмами риторики, тиражируемыми как художественной литературой, так и публицистикой. Анализ поэтики текстов не позволяет выносить их за границы советской культуры. Авторы самиздата воспроизводят технические приёмы и формы официального письма. Их позиция «над» читателем, стремление воспитывать современника и направлять его сознание свидетельствует о дидактической роли, типичной для советской критики и художественной литературы. Идеологический характер дискурса, транслируемая ценностная иерархия, способы осмысления и артикуляции свидетельствуют о глубоко советском сознании диссидентов, несмотря на декларируемое ими неприятие системы. Трансформация мотивов «старших шестидесятников» диссидентами не меняла сущности: дискурс неизменно воспроизводил советские образцы художественного и публицистического высказывания.

---

[1] Обращение московских учёных // Хроника защиты прав в СССР. Нью-Йорк: Хроника. 1975. Вып. 15 (май-июнь). С. 5.

Близость идеологических, нравственно-этических и гражданских позиций авторов, определившая отношение к тексту как к общественному поступку, единство задач, авторских стратегий, признанных сообществом эффективными, общность сферы функционирования письменной продукции, плотная коммуникация внутри диссидентского сообщества, специфика дискурса – всё это определяло взаимопритяжение текстов, способствовало формированию интерпоэтики. Ю. Кристева, отталкиваясь от идей Бахтина, доказала, что любой текст, как открытая структура, всегда является составной частью широкого культурного текста[1]. Следовательно, в эстетическом смысле интертекстуальность – изначальная данность поэтики. Однако в текстах диссидентов это свойство дополнительно стимулировалось внелитературными причинами – маргинальным положением в социуме и художественном пространстве и, как следствие, неизбежно усиливающейся герметичностью сообщества. Статьи и книги создавались публицистами, тесно связанными друг с другом, знакомыми со всем корпусом самиздатских материалов. Сквозь авторское повествование зачастую высвечивает иной текст, не только удержанный в памяти автора и значимый для осмысления конструируемой картины мира и человека, но и освоенный как свой собственный. При этом первоисточник получает новое звучание, позиция его создателя приобретает большую весомость, картина мира – дополнительную объёмность и глубину. Так происходит формирование единого тезауруса, из взаимных отсылок и цитат слагается общий язык, носители которого безошибочно узнают друг друга. Сообщество сплачивается, утверждается в своём праве на существование.

Интертекстуальность реализует себя на различных уровнях. Её самое очевидное проявление – цитирование и аллюзии. Например, Л. М. Алексеева, повествуя об общественной значимости «Хроники текущих событий», писала: «Благодаря "Хронике" советские политзаключённые обрели впервые возможность апелляции к внешнему миру. Прорыв немоты, на которую они

[1] Кристева Ю. Избранные труды; Разрушение поэтики. М. : РОССПЭН, 2004. С. 59.

долго были обречены, оказался необратимым»[1]. Метафора, использованная в высказывании, отсылает к статье Л. К. Чуковской «Прорыв немоты» о книге Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ»[2]. Введённая в рассуждение Л. М. Алексеевой без кавычек, она не только приобретает статус самостоятельного художественного образа, но и расширяет представительность текста за счёт авторитетных в диссидентском сознании имен Л. К. Чуковской и А. И. Солженицына. В. К. Буковский в автобиографии использовал матафору, найденную Л. И. Богораз в очерке «Об одной поездке». О своём пребывании в Мордовском лагере В. К. Буковский говорит: «Действительно, словно в загробное царство спустился»[3]. Он же неоднократно расшифровывал сущность самиздата, расширяя метафору «Самсебяиздат» Н. И. Глазкова: «Сам пишешь, сам редактируешь и цензуруешь, сам издаёшь, сам распространяешь, но и сидишь за всё это тоже сам»[4]. Понятие, становясь общеупотребимым, как бы теряет автора, Буковский, комментируя образ Н. И. Глазкова, ощущал себя вправе не вспоминать о первоисточнике, поскольку аллюзии органичны при общем тезаурусе.

Другой вариант интерпоэтики – создание однотипных жанровых моделей, при котором определяющим механизмом оказывается не «память жанра», а сознательная ориентация автора на текст предшественника (пре-текст). Так, в книгах-отчётах о судах над диссидентами А. И. Гинзбурга, П. М. Литвинова, Н. Е. Горбаневской совершенно очевидна ориентация на образец жанра, данный Ф. А. Вигдоровой в записи суда над И. А. Бродским. Композиционная основа, использованная Ф. А. Вигдоровой – запись процесса, сохранена и дополнена авторскими упоминаниями её имени, как у А. И. Гинзбурга в посвящении к «Белой книге о деле Синявского и Даниэля», или в единых приёмах повествования – через нравственную оценку социальных поступков главных

---

[1] Алексеева Л. М. История инакомыслия в СССР: новейший период. М. : Московская Хельсинская группа, 2012. С. 27.
[2] Чуковская Л. К. Прорыв немоты // Соч. : в 2 т. М. : Гудьял-Пресс, 2000. Т. 2. С. 169-170.
[3] Буковский В. К. И возвращается ветер… С. 371.
[4] Там же. С. 109.

героев. Ориентируясь на пре-тексты и отсылая к ним читателей, диссиденты выстраивали свою родословную, предлагали отличную от официальной литературы ценностную иерархию имён: вместо общепризнанных мэтров авторы гонимые, непубликуемые, но не менее значимые для общественного самосознания.

По мере ужесточения идеологического давления на нонконформистов легальная и нелегальная литературы всё более расходились. Если в начале «оттепели» самиздат пополнялся за счёт «вытесненных» произведений и предполагаемый адресат был чрезвычайно широким, то во второй половине 1960-х-70-е годы ситуация изменилась: «независимая» культура стала формировать «свои установки, критерии и идеологию <…>. Возникающий в результате текст <…> уже не мог быть "возвращён" в традиционную культурную инфраструктуру»[1]. Автобиографии, воспоминания диссидентов, отчёты о судебных процессах над инакомыслящими, очерки, принадлежащие перу нонконформистов, возникли как маргинальные образования в литературном процессе. Их авторы осознавали невозможность пробить тексты такого рода в печать, заведомо соглашались на ограниченный круг читателей, имели в виду особого, близкого по духу адресата. Это вносило корректировку в представление о жанровых функциях, обусловленных решением общих для нонконформистского сообщества задач: эстетическая не являлась определяющей, выступала как вторичная наравне с другими – исторической, социальной, просветительской, дидактической. Историческая: текст диссидента – это документ эпохи; социальная – голос особого сословия, лишённого властью возможности высказаться; просветительская – книга рассказывает правду об инакомыслящих; дидактическая – поддерживает единомышленников, взращивает последователей и учеников. Характерная деталь: зачастую автобиографии и воспоминания (А. Т. Марченко «Мои показания», В. К. Буковский «И возвращается ветер …» и другие) могут быть использованы как

[1] Уваров И. П., Рогов К. Ю. Семидесятые: хроника культурной жизни. // Россия/Russia.: Вып. 1 [9]: «Семидесятые» как предмет истории русской культуры. М : О.Г.И., 1998. С. 30.

своеобразная инструкция, поскольку содержат подробные рекомендации наиболее верного поведения во время следствия, суда, пребывания в тюрьме, взаимоотношений с заключёнными и прочее. Детально прописанные сюжетные вставки такого рода значительно тормозят действие, что не учитывается автором, сосредоточенным на их прагматическом назначении. Подобный инструктаж содержат и произведения других жанров – хроники, очерки, что очевидно свидетельствует об ориентации авторов на жанр памятки, утверждённый в сообществе стараниями А. С. Есенина-Вольпина, В. К. Буковского, С. Ф. Глузмана, В. Я. Альбрехта и других. Это свидетельствует о взаимодополняемости жанров внутри одной системы. Как видим, в основе целостности жанровой системы самиздата лежит не столько художественный принцип, сколько совпадение по функциональному назначению. Все жанры системы поддерживают друг друга и создают единую картину мира и человека.

Многофункциональность текстов зачастую реализовывалась в полижанровой поэтике: мемуары А. И. Солженицына, Л. К. Чуковской, Р. Д. Орловой, Л. З. Копелева, Н. Е. Горбаневской и других синтезируют очерк, агиографию, воспоминания, дневник, документы различного типа. Воспоминания Л. К. Чуковской «Процесс исключения» содержат стенограмму собрания Союза писателей. Книга А. И. Солженицына «Бодался телёнок с дубом» снабжена документами советских организаций, с которыми автор вступал в переписку (документальная часть выделена в специальный раздел). В воспоминания В. К. Буковского, Н. Е. Горбаневской, П. Г. Григоренко и других вживлены выдержки из протоколов допросов, последние слова на судебных процессах и прочее. И если взаимопроникновение приёмов поэтики в эго-текстах (дневниках, воспоминаниях, автобиографиях) объясняется жанровой близостью, то использование документов свидетельствует об универсальном типологическом свойстве – ориентации на «самоговорящую реальность». Читатель не должен был сомневаться в правдивости автора и документальной точности изложенных событий. Факт красноречивее комментария. Читатель способен самостоятельно сделать правильные выводы.

Эта установка нагляднее всего проявилась в поэтике центрального издания диссидентов, бюллетене «Хроника текущих событий» (1968-1973, 1974-1983 гг.). Суггестивности официальной прессы диссиденты противопоставили фактографичность, стараясь добиться большей убедительности и степени воздействия на читателя. Вместо идеологически окрашенных статей официальной прессы, навязывающих читателю способы толкования социальных и политических событий, авторы «Хроники» предложили, на их взгляд, более действенный способ пропаганды собственных воззрений – через факт, лишённый комментариев: «"Хроника" не пыталась быть истиной в последней инстанции, она только собирала сведения. Не давала оценок. Это очень важно было. Принцип этот сохранялся до конца. Безоценочность. Только информация», – вспоминала Н. Е. Горбаневская спустя годы[1].

Полистилистика проявляет себя в структурной организации. Сборник «Горе от ума» В. М. Черновила включал биографические сведения, списки публикаций, выступления на суде, отрывки из лагерных писем украинских интеллигентов, осуждённых за национализм. В финальной части книг Ю. Ф. Орлова «Опасные мысли» и П. М. Литвинова «Процесс четырёх» содержится биографическая справка об участниках диссидентского движения. Выступления подследственных на суде публикуют А. И. Гинзбург («Белая книга о деле Синявского и Даниэля»), Н. Е. Горбаневская («Полдень»), П. М. Литвинов («Процесс четырёх»). Так литературное пространство расширяется за счёт внелитературного контекста. Текст фиксирует не личную, а коллективную идентичность. Авторская представительность приобретает большую легитимность, поскольку подкрепляется авторитетом других членов сообщества, прошедших тот же жизненный путь.

По мере консервации самиздата интертекстуальность меняла свою специфику. «Старшие шестидесятники» (Ф. А. Вигдорова, Л. К. Чуковская, А. И. Солженицын, Л. З. Копелев, Р. Д. Орлова и другие) декларировали в

---

[1] Поэтка. Книга о памяти: Наталья Горбаневская / авт.-сост. Л. Улицкая. М. : АСТ, 2014. С. 279.

конструировании модели мира и человека ориентацию на классическую литературу XIX века. Ф. А. Вигдорова, создавая запись суда над Бродским, разрабатывала традицию романтизма: суд над поэтом представал как расправа власти и подстрекаемой ею толпы с исключительной личностью. Л. К. Чуковская, А. И. Солженицын, Л. З. Копелев, Р. Д. Орлова отсылали читателей к демократическому наследию – мемуарной прозе А. И. Герцена, Н. П. Огарева, творчеству Н. А. Некрасова и прочее. В «Пособии по психиатрии для инакомыслящих» В. К. Буковского и С. Ф. Глузмана читаем: «Быть осторожным, не очень умным, "себе на уме" – значит быть здоровым. А горе – от ума. Остаётся ввести в психиатрию официально новый вид психической патологии под названием комплекса Чацкого»[1]. Те же литературные ассоциации использовал В. М. Черновил для рассказа о политических преследованиях националистов на Украине. Именно так – «Горе от ума» («Лихо з розуму», 1967 г.) он назвал свою книгу.

В текстах молодого поколения нонконформистов (Н. Е. Горбаневской, А. И. Гинзбурга, В. К. Буковского и других) ориентация на классику сохраняется, однако преобладает отсылка читателя к диссидентским идеям и текстам. В. К. Буковский («И возвращается ветер…»), упоминая о знакомстве с А. С. Есениным-Вольпиным, излагает его программу гражданских инициатив. П. Г. Григоренко («В подполье можно встретить только крыс…»), повествуя о своём участии в борьбе крымских татар за возвращение на родину, представляет их лидеров и подробно повествует о методах противодействия режиму и так далее. Сужение круга цитируемых авторов от классической литературы до текстов единомышленников – закономерный результат процесса герметизации сообщества, сопровождающегося выработкой единых способов интерпретации и артикуляции событий.

---

[1] Буковский В. К., Глузман С. Ф. Пособие по психиатрии для инакомыслящих // Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950-е-1980-е: в 3 т. М. : Международный институт гуманитарно-политических исследований, 2005. Т. 3. С. 150.

Во второй половине 1960-х годов в контркультуре в целом завершилось формирование ценностной иерархии имён, необходимой для нонконформистского самосознания. Действительно, осмыслить себя как самостоятельный культурный феномен в условиях нормативной эстетики означало не только отстроить параллельные институции (неподцензурную печать, «квартирные» выставки и спектакли), но и предложить эталонные поведенческие и художественные модели. Диссиденты нуждались в сверхценных, культовых фигурах и текстах. На эти образцы ориентировались другие члены сообщества, формируя таким образом единый тезаурус.

Преобладает по степени частотности употребления А. И. Солженицын. Вживление в собственное повествование текстов гонимого властью Нобелевского лауреата производилось диссидентами разными способами:

– обращение к авторитету личности для подкрепления собственной позиции. П. Г. Григоренко («В подполье можно встретить только крыс…») подробно описывает знакомство с А. И. Солженицыным, признаётся в значительной моральной, а в безденежные годы и материальной поддержке писателя. Неоднократно упоминает писателя Ю. Ф. Орлов («Опасные мысли») – всякий раз как пример бесстрашия и верности долгу. А. Т. Марченко («Мои показания») говорит о Владимирской тюрьме как о «круге ада» (отсылка не только к Данте, но и к роману «В круге первом»), вступает в прямой спор с автором «Ивана Денисовича» в сценах описания работы зэка, многократно упоминает А. И. Солженицына;

– обращение к авторитету текста. В таком случае книги и статьи Солженицына играют смыслообразующую роль. «Архипелаг ГУЛаг» наряду с бюллетенем, выпускаемым крымскими татарами, борющимися за возвращение на родину, может быть назван литературной моделью «Хроники текущих событий». Центральный альманах правозащитного движения развивал принцип изображения, положенный в основу поэтики романа: факты злодеяний власти вскрывали её бесчеловечную сущность. Вывод, к которому приводили авторы журнала своих читателей, звучал в духе книги А. И. Солженицына: нарушения

прав человека при Л. И. Брежневе те же, что и при И. В. Сталине, антигуманный режим не меняет со временем своей сути, а значит, не имеет морального права на существование. Поэтика «Архипелага» угадывается в книге А. Т. Марченко: изображая пытки и истязания заключённых, автор не щадит читателя. Нравственно-этическая оценка событий для него, как и для А. И. Солженицына, важнее эстетического наполнения;

– неосознанная апелляция к А. И. Солженицыну. Его тексты входили в тезаурус диссидентов как обязательный элемент контркультуры, составляли её «код». Скрытые аллюзии и цитаты из А. И. Солженицына выявляют типологию сознания. Одна из метафор В. К. Буковского «медведь и колода» отсылает к «телёнку и дубу». Финал книг В. К. Буковского «И возвращается ветер…», П. Г. Григоренко «В подполье можно встретить только крыс…», Ю. Ф. Орлова «Опасные мысли» открытый, как и в «Телёнке». Имеется, кроме того, множество схожих сцен.

Формирование литературной поведенческой модели диссидентов с помощью текстов писателя сопровождалось встречным движением: их литературно-публицистические материалы влияли на творчество литератора. Например, в статье «Жить не по лжи» (1974 г.) воспроизведены идеи, уже апробированные литературной и поведенческой практикой диссидентов. В частности, в одном из открытых писем в 1969 году П. Г. Григоренко обосновывал свой отказ от участия в избирательной кампании в духе будущей статьи А. И. Солженицына: «У нас нет выборов. <…> … выборы – это пустая комедия[1]. Игнорирование различных политических кампаний к 1970-м годам стало общим положением в среде диссидентов. Очевидно, что созвучие идей и личностных позиций Солженицына и Григоренко определено не заимствованием одного автора у другого, а типологией поведенческой практики, окончательно сформированной к этому времени.

[1] Григоренко П. Г. В подполье можно встретить только крыс… М. : Звенья, 1997. С. 507.

Современный исследователь А. Н. Безруков выявил полифункциональную роль интертекстуальности[1]. Отталкиваясь от наблюдений учёного, можно осмыслить её функции в литературно-публицистическом наследии диссидентов:

– смыслообразующая: с помощью отсылок к пре-текстам создаётся единое смысловое пространство, отрабатываются механизмы восприятия событий и способы артикуляции, укрепляется сообщество;

– стилеобразующая: формируется полистилистика диссидентских текстов;

– информативная: автор вводит в литературный обиход дополнительные тексты и таким образом усиливает представительность собственной позиции;

– символическая: наиболее цитируемые авторы (как, например, А. И. Солженицын) создают диссидентскую ценностную иерархию имён, обязательную для функционирования контркультуры в качестве самостоятельного явления;

– оценочная: авторы пре-текстов выступают, как правило, в качестве единомышленников. Апелляция к ним свидетельствует об ориентации публицистов на абсолютные культурные и художественные ценности, носителями которых в сознании читателей выступают предшественники, на эту роль претендуют и создатели самиздатских материалов;

– эйдологическая: образный ряд произведения расширяется за счёт пре-текста;

– функциональная: новообразованный текст может выступить пре-текстом для последующих использований, что усиливает интеграцию внутри сообщества;

– этикетная: слагается речевое поведение авторов, принадлежащих одному сообществу, что свидетельствует об оформленности контркультуры в самостоятельную систему;

– декоративная: цитаты, ссылки, афоризмы украшают текст, выступают как фигуры речи.

---

[1] Безруков А. Н. Поэтика интертекстуальности: учебное пособие. Бирск: Бирская государственная социально-педагогическая академия, 2005. С. 47.

Интертекстуальность оказывает влияние на читательское восприятие. Адресат постигает не только высказывание автора, но и весь комплекс «прецедентных текстов» (термин Ю. Н. Караулова[1]). В сознании читателя формируется более объёмная картина мира и человека, а позиция создателя новосозданного текста воспринимается как часть общекультурного наследия, прошедшего испытание временем, а значит, безоговорочно ценного и значимого для потомков. Такая апелляция к читательскому восприятию оказывалась дополнительным аргументом диссидентов в их идеологическом и нравственно-этическом противостоянии официальной точке зрения.

Интертекстуальность в поэтике соседствует с метатекстуальностью: автор соотносит текст с собственными предшествующими текстами. Чаще всего этот приём используется в автобиографиях и воспоминаниях – жанрах, предполагающих максимально полное самоописание. Так, Ю. Ф. Орлов («Опасные мысли»), вспоминая причины, толкнувшие его к активной диссидентской деятельности, упоминает о своём письме к Брежневу и излагает его основные тезисы. П. Г. Григоренко («В подполье можно встретить только крыс…») приводит содержание своих открытых писем, дословно воспроизводит речь, произнесённую на похоронах А. Е. Костерина. В. К. Буковский знакомит читателей с идеями, высказанными с С. Ф. Глузманом в «Пособии по психиатрии для инакомыслящих». А. И. Солженицын, Л. К. Чуковская включают в повествование тексты своих выступлений на собраниях Союза писателей и тому подобное. Роль метатекстуальности в произведениях диссидентов не исчерпывается только выражением писательского отношения к собственному творению, она выполняет и другие функции, в частности информационно-просветительскую: представляет читателям воззрения автора во всей полноте, расширяет представления о разнообразии интеллектуальных поисков. Даже случайный читатель, не исключаемый из возможной коммуникации, мог получить максимально полные представления о личности создателя текста.

---

[1] Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М. : ЛКИ, 2007.

Взаимодействие официальной культуры и маргинальной Ю. М. Лотман оценивал как противоборство: контркультура стремится к доминированию[1]. Современный исследователь М. Ю. Берг, продолжая логику учёного, предложил осмысливать структуру советской литературы как многослойную, где каждое сообщество литераторов, социально адаптированное или маргинальное, в борьбе за господство реализует стратегию успеха[2]. Справедливое при самой общей оценке, это наблюдение нуждается в уточнении: всякое сообщество, действительно, транслирует коллективную систему ценностей и находит универсальные, эффективные для самореализации авторские стратегии. Интертекстуальность, как свойство диссидентской литературы, реализуется в однотипных авторских стратегиях. Однако даже в пространстве одного текста может сочетаться несколько авторских стратегий, при анализе произведений различных жанров градация становится ещё более разнообразной. А значит, общего определения «стратегия успеха» для системного осмысления явления недостаточно. Целесообразно осмыслить авторские стратегии с учётом жанровой природы текстов (этому будут посвящены следующие разделы главы).

Итак, нонконформисты, начав с разработки общих приёмов поэтики, типичных для официальной литературы, пришли к самобытному способу высказывания. Мифопоэтика, заимствованная из арсенала советской классики, подчинилась сугубо нонконформистским задачам. Постепенно с социальным оформлением сообщества диссидентов формировался интертекст и метатекст – логичное следствие вынужденной изоляции самиздата от официальной литературы.

---

[1] Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб. : Искусство-СПБ, 2000. 704 с.

[2] Берг М. Ю. Литературократия. Проблема присвоения и перераспределения власти в литературе. М. : Новое литературное обозрение, 2000. 352 с.

3.2. Конкурентная стратегия в мемуарах и автобиографиях

Восприятие эпохи как переходной от одного исторического периода к другому традиционно сопровождается в общественном сознании стремлением соотнести частное измерение времени с большим, общенародным. Проблема исторического поведения личности являлась центральной в рефлексии поколения «шестидесятников» и определяла самоидентификацию и самопрезентацию литераторов, вне зависимости от их места в официальной иерархии или вне её. Потребность произвести самооценку стимулировала расцвет мемуарной литературы, представленной дополняющими друг друга жанрами воспоминаний и автобиографий.

В советских изданиях 1960-70-х годов только воспоминания представлены более сотней названий, в это число не входят публикации в литературно-художественных журналах. Интенсивное развитие мемуаристики активно обсуждалось критикой и стимулировалось неослабевающим читательским интересом. «Люди. Годы. Жизнь» (1960-1963 гг.) И. Г. Эренбурга, «Повесть о жизни» (1962 г.) К. Г. Паустовского или «Алмазный мой венец» (1979 г.) В. П. Катаева становились заметным явлением литературной жизни, вызывали острые споры профессионалов и подогревали интерес читателей к жанру воспоминаний.

Нонконформисты также живо осмысливали историю и собственное место в ней. Расцвет мемуарной прозы в их творчестве пришёлся на 1970-е годы, когда противостояние с властью приобрело необратимый характер. В этих условиях оценить адекватность собственных жизненных стратегий и предъявить их в качестве поведенческого образца казалось особенно важно. Так производилась актуализация диссидентской модели поведения в общественном и личностном сознании: П. И. Якир «Детство в тюрьме: Мемуары Петра Якира» (1972 г.), А. Т. Марченко «Мои показания» (1974 г.), А. И. Солженицын «Бодался телёнок с дубом» (1975 г.), А. А. Амальрик «Записки диссидента» (1978 г.), В. К. Буковский «И возвращается ветер…» (1978 г.), Н. Щаранский «Не убоюсь зла» (1978 г.), Л. К. Чуковская «Процесс исключения» (1979 г.), Л. И. Плющ «На

карнавале истории (1979 г.), П. Г. Григоренко «В подполье можно встретить только крыс…» (1980 г.) М. А. Нарица «После реабилитации: Мемуары» (1980 г.) и многие другие.

В отличие от И. Г. Эренбурга и В. П. Катаева, нонконформисты не могли рассчитывать на широкое читательское внимание. Их мемуары не публиковались нигде кроме сам- и тамиздата. В глазах массового читателя такого рода литература не представляла значимости хотя бы потому, что жизненный путь авторов – аресты, тюрьмы, ссылки и прочее – с точки зрения обыденного сознания иначе, чем катастрофическим, не назовёшь. Привлекательностью подобная судьба в глазах массового читателя обладать не может, а «рассказывание истории, – по справедливому замечанию Н. Н. Козловой, – род действия, направленного на некий эффект. В самом факте повествования о себе присутствует желание повлиять на тех, кому рассказывают, убедить в своей правоте, соблазнить»[1]. Однако творческий импульс диссидентов, взявшихся за написание воспоминаний и автобиографий, определяла та же убеждённость в историчности своей частной судьбы, что и у И. Г. Эренбурга. Их книги должны были утвердить в глазах «прогрессивной общественности» (типичный адресат диссидентов) новую нормативность личностного поведения, особого рода жизненную состоятельность: вместо социального благополучия – сопротивление режиму, вместо государственных наград – суды, ссылки и тюрьмы. Так литературная деятельность превращалась для диссидентов в способ самоутверждения. Писатель реализовывал в тексте конкурентную стратегию: рассказать историю своей жизни означало подтвердить легитимность выбранного жизненного пути, более ценного, чем конформизм, убедить читателя в правомочности личностной модели поведения, укрепить социальный статус. Создание воспоминаний или автобиографии становилось непременным фактом литературного поведения, козырем в игре социальной мобильности. Автор, опубликовавший в сам- и тамиздате свои воспоминания, причислялся к «генералитету диссидентства» (выражение П. Л.

[1] Козлова Н. Н. Советские люди. Сцены из истории. М. : Изд-во Европа, 2005. С. 439.

Вайля и А. А. Гениса), приобретал статус знаковой фигуры в сообществе и мог рассчитывать на большее внимание, а в случае необходимости и поддержку Запада.

Авторская стратегия определяла особенности поэтики. Рассмотрим их на примере книги А. И. Солженицына «Бодался телёнок с дубом». Полижанровая структура текста неоднократно становилась объектом исследования. Учёные выделили признаки очерка, литературных портретов, повести (Л. В. Лукьянова, О. И. Малышкина)[1], документалистики, житийной литературы (П. Л. Вайль, А. А. Генис, Ж. Нива)[2]. А. Голубев считает, что автор «Телёнка» встраивает жанр мемуаров в каноническую структуру исповеди-проповеди[3]. Слияние художественности и публицистичности, по общему мнению, составляет специфику поэтики. Однако незамеченными остались некоторые другие жанровые составляющие – мифологический компонент и роман-воспитание. А главное, не исследовано функциональное назначение жанрового синтеза, его роль в авторской стратегии.

Определение «очерки литературной жизни» указывает на документальную точность в изложении событий в сочетании с анализом общественных отношений и социальной деятельности личности. Опора на факт демонстративно заявлена в книге: её заключительная часть целиком состоит из документов – открытых писем автора, заявлений в различные инстанции, интервью иностранным газетам, стенограмм заседаний писательских организаций и прочее. Сюжетную основу составляет история взаимоотношений автора с редакцией «Нового мира» и Союзом писателей. Однако верная по изложенным

---

[1] Лукьянова Л. В. Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни А. И. Солженицына как художественно-публицистический феномен : дис. ... канд. филол. наук. Ростов-на-Дону, 2002. С. 133-152; Малышкина О. И. Писательская критика в жанровой структуре книги А. И. Солженицына «Бодался телёнок с дубом»: автореф. дис. … канд. филол. наук. Тюмень, 2010. С. 8-12.

[2] Вайль П. Л., Генис А. А. 60-е. Мир советского человека. М. : Новое литературное обозрение, 2001. С. 250-251; Нива Ж. Александр Солженицын: борец и писатель. СПб. : Вита Нова, 2014. С. 143-144.

[3] Голубев А. «Вторичная литература» А. Солженицына («Бодался телёнок с дубом») // Типология литературного процесса и творческая индивидуальность писателя: межвузовский сборник научных трудов. Пермь: Пермский гос. ун-т, 1993. С. 148.

фактам, книга поразила участников описанных событий (В. Я. Лакшина, А. И. Кондратовича, В. А. Твардовскую – дочь поэта) предвзятостью оценок и тенденциозностью суждений, в частности, о сотрудниках «Нового мира» и Твардовском. Осмыслить причины столь парадоксального эффекта можно лишь при оценке авторской задачи и способов её реализации.

В сюжет книги закодирован миф творения, с его обязательными элементами: становлением нового миропорядка в ходе борьбы космоса и хаоса, сопровождающимся рождением культурного героя, способного упорядочить мир. Мифологический персонаж проходит жизненные стадии, аналогичные космическим: его взросление включает инициацию – обряд социализации, борьбу с сакральной фигурой отца, искушение, противостояние инфернальным силам, помощь волшебных помощников, победу над хаосом, символизирующую новый космический цикл.

Мифологическому коду соответствует трактовка социальных явлений и способ самопрезентации героя. Эпоха осмысливается как конец одного исторического цикла и начало, пока не реализованное, а лишь потенциально означенное, другого. Эсхатологическая эпоха нуждается в спасителе. Себя рассказчик позиционирует носителем социального обновления. Для усиления мессианского звучания образа использует архетип культурного героя, знакомый читателю по образу Прометея – спасителя человечества. Современный тираноборец сражается не с деспотом, узурпировавшим власть, а с бесчеловечным режимом. Действия героя сознательны, целенаправленны, требуют особого умения и отваги и получают статус подвига. Самоидентификация производится в категориях борьбы, поединка: «… мне показалось: я выиграл ещё одну фазу сражения»[1]. Погружение в стихию борьбы возможно только после овладения магической силой, в случае А. И. Солженицына – постижения тайны Слова. Публикация первого рассказа трактуется поэтому как инициация – испытание, поставившее автора на грань жизни и смерти: «Обошлось без Лубянки – и спасибо. Проиграл я только то, что

[1] Солженицын А. И. Бодался телёнок с дубом. С. 379.

вообще рассекретился и теперь должен был с тройной осторожностью прятать свои готовые вещи и текущую работу»[1]. Инициация связана с символическим переходом через временную смерть к обновлению: публикация «Ивана Денисовича» повышает социальный статус, но не меняет духовной сущности героя.

Культурный герой подтверждает свою взрослость в борьбе с сакральной фигурой отца. В логике авторского мифа в этой роли выступает Твардовский. Глубинный смысл конфликта трактуется как смена поколений: от литератора, сотрудничавшего с властью, к духовно свободной, независимой личности. Как видим, деформация сути подлинных взаимоотношений Солженицына и Твардовского вызвана концептуальной логикой повествования.

В соответствии с самоидентификацией автора жизненный путь представлен как цепь трудных задач, в ходе решения которых происходит подтверждение героической сущности: «… я и вообразить себе не мог всей истинной силы своей позиции»[2].

Мифологический образ амбивалентен, включает в себя свойства и героя, и трикстера. Героическая модель социального поведения не исключает использования тактических приёмов плута и мошенника. Владение техникой ускользания от преследователей, обмана врагов так же необходимы культурному герою, как навыки прямого столкновения. В борьбе с вражьими силами допустимы любые средства: физический поединок, хитрость, колдовство. По логике трикстера, хаос, вносимый им в стан врагов, – стратегия личного поведения, способ повседневной практики, обеспечивающий устойчивость и жизнеспособность. Из рефлексии исключены сомнения в собственной правоте и оправданности выбранных средств. Духовная целостность при этом сохраняется.

Борьба со старым миром ведётся от имени всего рода-племени – советского народа. Герой олицетворяет интересы общины, противостоящей верховным правителям. Эту мысль в тексте подкрепляет введение фрагментов из писем

---

[1] Там же. С. 32.
[2] Солженицын А. И. Бодался телёнок с дубом. С. 112.

трудящихся в поддержку А. И. Солженицына. Герой, таким образом, гармонизизует мир с человеческими потребностями, заботится о его устройстве для людей.

В благородном деле культурному герою помогают волшебные помощники, в тексте А. И. Солженицына первым из них является жена. Число единомышленников растёт, поскольку в обществе всё очевиднее становится нравственная правота его дела. Стихийная поддержка персонажа, идущая «снизу», не означает торжества хаоса в социуме. Это стадия космического миропорядка, часть общенародной истории, которую разбудил культурный герой.

Стихия мифа оказалась созвучна стремлениям автора создать историю на все времена – о непреходящей ценности борьбы личности за социально-исторический прогресс. А. И. Солженицын усилил авторитетность нонконформистской жизненной позиции, придав собственному поведению статус не просто исторического, но вневременного деяния. Для фиксации символической ценности данной модели поведения автор стремится дифференцировать её, представить как уникальную, для чего усиливает в самопрезентации мотив исключительности. Другие представители нонконформистского сообщества (А. Д. Сахаров, А. Д. Синявский, А. И. Гинзбург и прочие) упоминаются вскользь и составляют для рассказчика выгодный фон, поскольку подтверждают легитимность его поведенческой практики.

Русская литература знала примеры автомифологизации, например, в поэзии Серебряного века, однако в данном случае перед нами миф не эстетический, как у поэтов рубежа веков, а идеологический. Книга была для автора орудием борьбы в идейно-политическом противостоянии режиму.

Миф творения с его обязательным персонажем, культурным героем, в трансформированном варианте вошёл в более поздние жанры – агиографию и роман-воспитание, также задействованные в жанровой модели «Телёнка». Традиции агиографии очевидны в тексте, они отмечены П. Л. Вайлем и

А. А. Генисом: «Эта вещь написана в необычном жанре – автоагиографии. Житие святого, составленное самим святым»[1]. В поведении святого соединяются самоотверженное служение Богу и юродство – видоизменённое трикстерство. Писательство осмыслено в тексте как предназначение, реализация божьего промысла, задающего такую высоту правды и искренности, какую могли себе позволить только юродивые, сознательно выпадающие из общепринятых норм поведения. Мотивы юродства пронизывают сцены ареста, обыска, высылки из страны и многие другие. В самохарактеристику включены также мотивы избранничества, мученичества, служения, типичные для житийной литературы. Агиография оказалась адекватна потребности автора представить свою жизнь как подвиг самоотречения. А. И. Солженицын апеллировал к средневековой традиции, в рамках которой русский писатель представал не создателем текста, а хранителем и транслятором высшей истины. Автоканонизация, усиленная за счёт образа мученика, более узнаваемая читателем, чем миф, позволяла утвердить нонконформистскую систему ценностей как абсолютную, не допускающую сомнений.

От романа-воспитания взято повествование о нравственном становлении в ходе социализации. Правда, героем классического воспитательного романа, как правило, был юный персонаж. Рассказчик «Телёнка» неоднократно подчеркивает свою зрелость. Повествование начинается с момента вхождения героя в литературу в возрасте 43 лет. Первые шаги в профессии интерпретируются как духовное рождение, после которого и начинается подлинная жизнь. Литературное, гражданское и личное поведение представлены в единстве, мотив становления личности сохранён, как того требовала жанровая традиция.

Угадываются в тексте и приёмы поэтики соцреализма, ориентацию на которую Солженицын не скрывает[2]. Личность предстаёт вровень с Историей, в борьбе с социальным несовершенством проявляет всю меру человечности. Герой

---

[1] Вайль П. Л., Генис А. А. 60-е. Мир советского человека. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 250-251.
[2] Солженицын А. И. Бодался телёнок с дубом. С. 15.

способен придать истории антропоцентрическое измерение и, подчиняя свою волю общенародной, выступить выразителем народных чаяний и стремлений. Эти базовые принципы соцреализма сохранены в книге. Декларируя в позднем творчестве (публицистике и романах) категорическое неприятие соцреализма, писатель продуктивно использовал его поэтические приёмы в книге воспоминаний для решения своих стратегических задач.

Характерно, что всякий раз для самоидентификации А. И. Солженицын привлекает традиционную поэтику, соответствующую дискурсу «классика русской литературы» – звание, на которое он претендует.

Таким образом, жанровый синтез произведён автором для реализации главной стратегической задачи – зафиксировать эталон поведенческой модели, утвердить статус писателя-нонконформиста как единственно значимый, превосходящий в системе иерархических ценностей социальное положение конформиста. Конкурентная стратегия определила поэтику текста.

Она дополнена стратегией программирования. А. И. Солженицын убеждён в гносеологической функции литературы: именно искусство слова, по мнению писателя, раскрывает смыслы происходящих социальных процессов и формирует общественное сознание. Писатель в таком случае выполняет функцию просветителя, несёт ответственность за нравственное здоровье и идеологическую сознательность соотечественников. В авторскую задачу входит ориентации читателя на дублирование нонконформистской жизненной и поведенческой модели. Воспитать с помощью литературы новое поколение – такую нравственную задачу ставили перед собой классики как советской, так и нонконформистской литературы.

Критиками был замечен программный характер «Телёнка». Современная исследовательница справедливо отмечала: «Эта книга стала неформальным манифестом идейно-эстетической позиции Солженицына, в которой он изложил свои представления о верном гражданском поведении и нравственном облике

каждого человека, но в первую очередь – писателя»[1]. Действительно, автор придал собственным декларациям характер манифеста. В качестве эталонной заявлена личная модель социального поведения – «борец с тираний», способный отринуть всё житейско-будничное во имя жертвенного служения народу, нуждающемуся в освобождении. Высокий смысл деяний делает героя нравственно безупречным, освобождает от возможных душевных колебаний и сомнений. Авторский дискурс соответствует задаче возвеличивания героя: патетический стиль создаётся с помощью библейских цитат и аллюзий, возвышенной лексики и фразеологии, инверсионного порядка слов. Экспрессивность повествования, насыщенность оценочными эпитетами выражают основные эмоции автора – гнев и сарказм.

В персональном профессиональном поведении литератор точно избрал стратегию властителя дум. Она оказалась востребована общественным сознанием, традиционно ориентированным на идею мессианства русского писателя. Показательно, что в безусловной значимости А. И. Солженицына для советского литературного процесса 1960-70-х годов не сомневались ни его противники, ни сторонники.

Литературное и гражданское поведение А. И. Солженицына осмысливалось либеральной общественностью как сверхценное. Автомифологизация, предпринятая А. И. Солженицыным в «Телёнке», поддерживалась современниками, поскольку реализовывала коллективные эмоции, мысли и чувства. Модель личного и гражданского поведения борца с режимом узаконивалась в качестве образцовой. Подвергаясь тиражированию в текстах инакомыслящих (современников или последователей – не важно), она приобретала статус нормативной, раз за разом констатировала право на существование и склоняла общественное мнение в пользу социальных изгоев.

В этом смысле показательны воспоминания Л. К. Чуковской «Процесс исключения» (1978 г.) – демонстративная ориентация на текст Солженицына,

---

[1] Малышкина О. И. Писательская критика в жанровой структуре книги А. И. Солженицына «Бодался телёнок с дубом». С. 23.

результат творческого и личного диалога литераторов. Писателей связывала многолетняя дружба и глубокое взаимное уважение. В период работы Л. К. Чуковской над воспоминаниями А. И. Солженицын гостил в Переделкине по приглашению Корнея Ивановича и работал над «Телёнком». Литераторы жили в одном доме, читали друг другу написанное, корректировали собственную позицию с учётом ответного восприятия. Результатом стало создание взаимодополняющих друг друга текстов.

Их близость обнаруживается на уровне жанровых определений: «очерк литературных нравов» – у Л. К. Чуковской, «очерки литературной жизни» – у А. И. Солженицына. Обращение к литературно-публицистическим жанрам свидетельствует о стремлении обоих писателей представить картину нравственного и гражданского состояния литературной среды, вскрыть основные тенденции развития общественной жизни на примере одного из её социальных срезов.

Общность задач, единство жанра определили схожую картину мира и человека. Союз писателей представлен как микромодель социума, с жёсткой иерархической вертикалью: его возглавляет чиновно-бюрократический аппарат, выхолащивающий из организации дух творчества, невозможный, по мнению обоих авторов, без свободы слова и самовыражения. Истинный писатель, по справедливому убеждению А. И. Солженицына и Л. К. Чуковской, руководствуется в художественной деятельности и гражданских акциях ответственностью за судьбу страны. Именно она не позволяет оставаться безучастным к судьбе преследуемых нонконформистов, толкает на активное противодействие бесчинствам режима. Восприятие собственной писательской судьбы в категориях борьбы, противостояния, как отмечалось, традиционно для текстов инакомыслящих.

Единство мировоззренческой позиции определило использование одних и тех же приёмов поэтики. Рассказ о собственных издательских злоключениях (у Л. К. Чуковской – о попытках публикации повести «Софья Петровна», у А. И. Солженицына – перипетии с распространением в сам- и тамиздате его

романов) составляют фабульную основу книг. Начальная точка борьбы – столкновение с литначальниками за право свободного и независимого творчества. Главная тема – несостоявшееся исключение писателей из литературного процесса, шире – культуры и социальной жизни своей страны. Кто истинные художники – чиновники из СП или изгоняемые из организации писатели? Ответ обоих авторов однозначен: подлинная литература неподцензурна, она творится в сам- и тамиздате. Незавершённость противостояния художников и власти определила открытые финалы книг: победа правды над ложью, свободы слова над её душителями, в чём не сомневаются оба, ещё впереди. Единство конкурентной стратегии создателей двух книг очевидно.

Ориентируется Л. К. Чуковская на А. И. Солженицына и в моделировании синтетичной жанровой модели, в которой воспоминания облечены в форму очерка и дополнены различного рода документами: стенограммами (у Л. К. Чуковской – сцены исключения её и других нонконформистов из СП[1], у А. И. Солженицына – обсуждение «Ракового корпуса» в Секретариате СП[2], письмами коллег и рядовых советских граждан, фрагментами из статей и прочее. А. И, Солженицын включает в Приложения к «Телёнку» статью Л. К. Чуковской «Прорыв немоты»[3], приводит её поздравительную телеграмму в связи с пятидесятилетием. Она цитирует его письмо-протест против исключения её и В. Н. Войновича из СП[4], воспроизводит обширные цитаты из обращения А. И. Солженицына к IV съезду писателей и прочее. Все события хронологизированы (указаны точные даты, время и место действия), что усиливает ощущение документальности прозы. По мнению авторов, читатель не должен сомневаться в достоверности описанных событий.

Повествуя о днях накануне ареста (начало января 1974 года), Солженицын пишет: «В тот первый вечер затевали и больше, чем звонки (речь идёт о

---

[1] Чуковская Л. К. Процесс исключения. С. 54-77, 137-140.
[2]Солженицын А. И. Бодался телёнок с дубом С. 630-645.
[3] Там же. С. 696.
[4] Чуковская Л. К. Указ. соч. С. 105.

телефонных звонках с угрозами в адрес хозяев дачи и гостя – Е. С.), – кажется, народный гнев: какие-то лица созваны были во двор, и сюда же стянуто несколько десятков милиционеров – охранять[1]. Одна из статей Л. К. Чуковской, посвящённая травле инакомыслящих, в том числе и А. И. Солженицына, называлась «Гнев народа» (1973 г.). Перекличка с репликой рассказчика в «Телёнке» неслучайна. Она усиливает впечатление общности не только текстов, но и судеб писателей-нонконформистов.

Как видим, воспоминания Л. К. Чуковской и А. И. Солженицына, дополняя друг друга, отражают тезаурус инакомыслящих. Всякий раз в источнике можно обнаружить опору автора на пре-текст: для А. И. Солженицына им был архаический миф о культурном герое, для Л. К. Чуковской – книга Солженицына, давшая поколению диссидентов модель художественного осмысления личной биографии в контексте общенародной судьбы, историю персонального противостояния власти как типичной для всякого художника и гражданина, руководствующегося в творчестве и жизни законами правды и совести. В таком случае, по точному замечанию И. Л. Савкиной, «личное свидетельство выполняет функции инструмента сопротивления, в частности, через включение автобиографического "я" в солидарное "мы", то есть, так сказать, через письмо от первого лица множественного числа»[2]. Иными словами, автобиография диссидента фиксирует не только личную, но и коллективную идентичность.

Универсализировать свой жизненный опыт, подкрепляя его примерами литературных судеб как можно большего числа единомышленников, означало для Л. К. Чуковской и А. И. Солженицына настойчиво выводить нонконформистскую модель литературного поведения из маргинального положения в разряд общепризнанных явлений культурной жизни. Читатель

---

[1] Солженицын А. И. Указ. соч. С. 375.

[2] Савкина И. Л. Теории и практики автобиографического письма // Новое литературное обозрение. 2008. № 92. URL: ttp://www.gproxx.com/http://magazines.russ.ru/nlo/2008/92. (дата обращения: 10.08.2018).

должен был осознать зафиксированный в тексте образец не как аномальный, а напротив, как единственно ценный. К этой цели стремились все инакомыслящие. Зачастую этот стратегический приём – осмыслить собственный личный опыт сквозь призму иного, чрезвычайно авторитетного, наделить частную историю статусом универсальной – реализовывался за счёт солженицынского кода. Как отмечалось выше, влияние его текстов и авторитета личности сказывалось в текстах диссидентов на разных уровнях поэтики – жанровой, стилистической, образной, мотивной.

Книга «Бодался телёнок с дубом» оказалась весьма востребованной авторами диссидентских автобиографий и воспоминаний. В мемуарах А. Т. Марченко, П. Г. Григоренко, В. К. Буковского, Ю. Ф. Орлова и других книги писателя-предшественника играли роль пре-текста, помогая осмыслить реальность и выстроить собственную художественную модель по канонам образцовой биографии диссидента. Из частных судеб маргиналов, претерпевших непомерное давление социума, не отрёкшихся от борьбы, слагается история победителей, одолевших даже не власть, а «русский жребий» (А. И. Солженицын).

Неверно было бы утверждать, будто именно А. С. Солженицын сформировал жанровый канон автобиографии диссидента. Он зафиксировал типологию – общие мировоззренческие основания в их логически выверенной форме, артикулировал коллективные ценности в универсальных приёмах нарратива. Солженицын придал жанру автобиографии диссидента концептуальную завершённость, укрепив его авторитетом собственного текста и личности.

Формирование жанровой модели шло постепенно. Как говорилось выше, Н. Е. Горбаневская в очерке «Бесплатная медицинская помощь» (1968 г.) воспроизвела сюжет инициации. Архетипический сюжет найден Н. Е. Горбаневской за несколько лет до А. И. Солженицына и не отрефлексирован в тексте. Публицистка использовала приёмы нарратива, успевшие стать для диссидентов универсальными.

Воспоминания, созданные до и после А. И. Солженицына, транслируют архетип культурного героя даже в том случае, если осознанно не включают в

повествование мифологический компонент. Воспроизводя героическую модель поведения, авторы сохраняют и амбивалентность образа. Акценты расставляются всякий раз с учётом собственного психотипа: П. Г. Григоренко, как военный человек, обладающий боевым опытом, акцентирует в самоидентификации героическое начало. Буковский, как личность авантюрного склада, – трикстерское.

Казалось бы, неповторимая личностная судьба, изложенная в автобиографии, должна породить столь же непохожую сюжетную историю. На первый взгляд так оно и есть.

А. И. Солженицын повествует историю своих взаимоотношений с редакцией «Нового мира» и Союзом писателей. А. А. Амальрик («Нежеланное путешествие в Сибирь», 1970 г.; «Записки диссидента», 1981 г.) описывает злоключения почитателя советской авангардной живописи. А. Т. Марченко («Мои показания», 1969 г.) рассказывает о положении политзаключённых в советских тюрьмах. В. К. Буковский («И возвращается ветер …», 1978 г.) – об использовании психиарии в репрессивных целях, Ю. Ф. Орлов («Опасные мысли», 1990 г.) – о становлении правозащитного движения. П. Г. Григоренко («В подполье можно встретить только крыс…», 1980 г.) – об обращении стойкого коммуниста в диссиденты. Однако при разнообразии тем авторы создают однотипную модель мира, исчерпывающуюся несколькими умозаключениями:

– советское государство бесчеловечно. Оно изобретательно в способах подавления свободной воли и независимого ума;

– советская власть исторически бесперспективна, антигуманная власть обречена;

– современный период советской истории – время стагнации. Колосс на глиняных ногах рухнет при активном сопротивлении граждан;

– советский народ одурманен пропагандой, но начинает медленный путь духовного освобождения и всё активнее поддерживает инакомыслящих в их борьбе;

– мировая общественность и советский народ должны знать борцов с режимом поимённо (обозначение круга единомышленников – обязательный элемент воспоминаний диссидентов);

– история движется поступательно, нравственная правота и социальная справедливость на стороне инакомыслящих, следовательно, победа будет на их стороне.

Безусловно, схожими были обстоятельства жизни диссидентов: власть подавляла – они сопротивлялись. Однако для осмысления специфики жанра важен способ объяснения и артикуляции событий. В основу автобиографии может быть положен рассказ о постижении жизни во всём её многообразии, противоречивости и сложности духовно-нравственных исканий героя. В автобиографии диссидента мы видим биполярный мир, расколотый на два враждебных лагеря – «свой» и «чужой», оценённый с этических позиций. «Чужой» – стан врагов, лживый, враждебный естественной потребности человека в правде и праве на самореализацию. «Свой» – небольшой круг духовно свободных граждан, не вступающих в сделку с совестью. Конфликт сторон представлен как неизбежный и неотвратимый. Авторы вписывают себя в одну систему координат «личность – государство» и создают схожую картину мира, на двух полюсах которого существуют непримиримые враги, а формирование личности есть становление борца. Диалектика характера заменена многократным подтверждением этого статуса в ходе противостояния власти. Сравним названия глав в разных книгах.

А. А. Амальрик «Нежеланное путешествие в Сибирь»: «Интервью для "Ньюсуик"»; «Я бегу из дома…»; «Машина завертелась…»; «У прокурора. Арест. Разговор с судьей…»; <…> «Следствие начинается. "Чёрный ворон"…»; <…> «Бутырская тюрьма»; «Семнадцать часов свободы»; «Суд…» и так далее[1].

[1] Амальрик А. А. Нежеланное путешествие в Сибирь. Нью-Йорк : Harcourt Brace Jovanovich, Inc. 1970. 294 с.

А. И. Солженицын «Бодался телёнок с дубом»: «Писатель-подпольщик»; «Обнаруживаясь…»; «На поверхности»; «Подранок»; <…> «Петля пополам»; <…> «Душат»; <…> «Встречный бой» и в таком роде[1].

П. Г. Григоренко «В подполье можно встретить только крыс…»: <…> «Рывок к свободе»; «За возрождение ленинизма…»; «Первые глотки свободы…»; «Поиски на ощупь…»; «Партизанские бои…»; «Встречное сражение…»; «В осаде…»; «Нам отдых только снится…» и тому подобное[2].

Как видим, история жизни осмысливается в одном варианте, биография слагается из побед и поражений, её этапы фиксируются по архетипической схеме: прозрение (у П. Г. Григоренко – в военной академии, у В. К. Буковского – в школе, у Ю. Ф. Орлова – в институте, у А. И. Солженицына – на фронте); этический позыв вступить в борьбу (неприятие лживой идеологии, потребность остановить реставрацию сталинизма); первый поединок, приведший к крутому повороту судьбы (у Орлова – потере работы, у Буковского – исключению из вуза, у Григоренко – из партии); испытания, укрепившие решимость; нравственная стойкость в заключении и высылка из страны как этап непрекращающейся борьбы с советской властью.

Авторы ориентируют читателя на восприятие автобиографии в контексте других своих работ, для чего использует самоцитирование. Книги представляют собой метатекст. А. И. Солженицын в «Телёнке» упоминает эпизоды «Архипелага ГУЛаг», Ю. Ф. Орлов, П. Г. Григоренко, повествуя о начале правозащитной деятельности, излагают тезисы своих писем Л. И. Брежневу. Органичный в мемуарно-автобиографическом нарративе, такой приём помогает решить информационную задачу: среди читателей могут оказаться новички или случайные люди, не осведомлённые о характере нонконформистской деятельности автора. В таком случае знакомство с автобиографией посвятит их в общий тезаурус диссидентов.

---

[1] Солженицын А. И. Бодался телёнок с дубом. С. 764.
[2] Григоренко П. Г. В подполье можно встретить только крыс… М. : Звенья, 1997. 638 с.

Одним из жанровых признаков мемуарно-автобиографических текстов является «единство в одном лице автора, рассказчика и протагониста» (Ю. Л. Сапожникова)[1]. Однако этот принцип не соблюдается инакомыслящими, что было замечено исследователями на примере «Телёнка». Например, О. И. Малышкина писала о дифференциации образа автора и героя[2]. И хотя исследовательница не развила данное наблюдение, но совершенно справедливо указала на особенность, общую для мемуарно-автобиографических текстов диссидентов: автор, рассказчик и герой не тождественны друг другу. Автор на основе фактов собственной биографии создаёт обобщённый тип диссидента. Самосознание и оценку действительности определяет социальная роль «несогласный». Вот как описывает Ю. Ф. Орлов один из самых драматичных моментов в жизни каждого человека – смерть матери:

«– Вот, обмыли, – сказала соседка. – Отмучилась.

– Когда? Как?

– Сегодня на рассвете. Вскрикнула. Я, как сердце чуяло, вбежала, а она уж не дышит.

<…> Я захоронил материн прах на маленьком кладбище крематория, возле Донского монастыря, внутри которого размещалась кожгалантерейная фабрика имени Международного юношеского дня, на которой мать провела лучшие годы своей жизни. В сотне метров от крематория начинались корпуса станкостроительного завода имени Орджоникидзе, <…> вместе с которым мать эвакуировалась на восток, на уральский станкостроительный завод, которому оставила своё здоровье. <…> А если не переходить моста, то по правую руку увидятся два полукруглых жилых здания, построенных для научной элиты и высших чинов КГБ, с прекрасными паркетными полами, которые настилал после войны ещё не известный тогда миру политический заключённый Александр

---

[1] Сапожникова Ю. Л. Жанр автобиографии: понятие и особенности // Ученые записки Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета. 2012. №. 2. С. 54.

[2] Малышкина О. И. Писательская критика в жанровой структуре книги А. И. Солженицына «Бодался телёнок с дубом». С. 12.

Солженицын»[1]. Как видим, непосредственная реакция на горестное известие быстро сменяется обвинительным монологом в адрес бесчеловечного режима, враждебного к судьбе всякого рядового человека – от простого рабочего до будущего Нобелевского лауреата. Умершая женщина – всего лишь одна из жертв антигуманного государства. Индивидуально-личное переживание в эпизоде вытеснено типологическим – диссидентским.

Для создания образцовой биографии реальную надо подвергнуть корректировке: отдельные события замалчиваются, другие получают интерпретацию, соответствующую не фактам, а логике текста. Например, А. Т. Твардовский зафиксировал в дневнике первую восторженную реакцию А. И. Солженицына на известие о поддержке Н. С. Хрущёвым «Ивана Денисовича»:

«– А я знал, что Хрущёву понравится. Знаете, он всё-таки изо всех них – один. Человек. Так я и знал, что это должно понравиться вам и ему. На две эти точки опирался – на вас и на него.

– Ну, я и он – это "точки" на слишком разной высоте.

– Для меня на одинаковой, примерно. И я знал, что без вас это до него не дойдёт…»[2]. Очевидно, что эта реакция никак не соответствует зафиксированному в тексте образу «писателя-подпольщика», с первых шагов в литературе избравшего положение оппозиционера. Однако образ борца с тиранией требовал иной интерпретации события. Её и предлагает автор «Телёнка». «Как мог я, ничем не понуждаемый, сам на себя отдать донос»[3], – размышляет рассказчик после передачи рукописи Твардовскому.

Модель жизни, очищенной от колебаний и сомнений, даёт каноническую биографию, многократно растиражированную другими диссидентами. Для этого из рефлексии исключаются мотивы, способные разрушить образ борца, не знающего сомнений и колебаний. В частности, в самоанализе отсутствует тема кризиса идентичности, неизбежного, казалось бы, в случае потери социального

[1] Орлов Ю. Ф. Опасные мысли. Мемуары из русской жизни. М. : Захаров, 2008. С. 125-126.
[2] Твардовский А. Т. Новомирский дневник : в 2 т. М. : ПРОЗАиК. 2009. Т.1. С. 129.
[3] Солженицын А. И. Бодался телёнок с дубом. С. 20.

статуса. Правда, молодое поколение диссидентов зачастую не получало возможности социализироваться, как А. А. Амальрик, В. К. Буковский, Ю. Т. Галансков, А. И. Гинзбург, исключённые из вузов за инакомыслие. Но старшее поколение, как правило, к моменту начала диссидентской активности обладало определённым социальным статусом: Ю. Ф. Орлов был доктором физико-математических наук, академиком Армянской Академии Наук, П. Г. Григоренко – генералом, заведовал кафедрой в Военной академии имени Фрунзе. Да и как бы ни разнилось социальное положение участников диссидентского движения, трудно предположить, что репрессии не вызывали у них психологического кризиса, сопряжённого с потребностью найти себя в социальном статусе изгоя, провоцирующего желание восстановить утраченные позиции. Однако ничего подобного нет в мемуарах, напротив, настойчиво декларируется мысль о добровольном, осознанном выборе положения маргинала, нравственно более ценном и предпочтительном, чем конформизм. Вероятно, субъективно нарратив преодоления можно объяснить попытками выстроить психологическую защиту: осмыслить асоциальность в категориях бескомпромиссности, самопожертвования и нравственной победы значило её пережить. Кроме того, такая самоидентификация соответствует художественной задаче: выявляет стремление автора зафиксировать модель поведения, годную к тиражированию. Читатель должен был понимать, как делается жизнь диссидента, ориентироваться на предложенную поведенческую схему как на образец для подражания. Действительно, для привлечения читателя на свою сторону необходимо акцентировать этическую составляющую оппозиционной деятельности, вызвать уважение к нравственному выбору героя в пользу правды и совести в ущерб социальному благополучию.

Итак, образ главного героя моделировался в соответствии с общей концепцией текста и конкурентной авторской стратегией, суть которой заключалась в героизации жизненной позиции и поведенческой практики диссидента, утверждении её как единственной нравственно и социально значимой, превосходящей в ценностной иерархии положение обласканного

властью приспособленца. Эта стратегия включала в себя реализацию дополнительной задачи – тиражирования поведенческой модели, предложенной читателю в качестве образца.

При угрозе получить уголовное наказание за хранение и распространение антисоветской литературы данные тексты имели довольно постоянную аудиторию. В неё входили сами диссиденты, помогавшие друг другу издавать рукописи в самиздате и переправлять их за рубеж, сочувствующие граждане и узкий круг иностранных читателей. Замкнутость среды формировала герметичное сознание, воспроизводящее общий набор приёмов нарратива и способов самоидентификации автора. Однотипные способы осмысления и артикуляции, многократно повторенные различными авторами, утверждали образец в качестве нормы: архетип, когда-то зафиксированный Солженицыным, приобретал статус нормативного нарратива. Тиражирование нормативной жанровой модели, с присущим ей типом повествования, способствовало сплочению сообщества, укрепляло внутригрупповые связи.

Чаще всего тексты издавались на Западе: А. Т. Марченко «Мои показания» – в Мюнхене, Л. И. Плющ «На карнавале истории», П. И. Якир «Детство в тюрьме» – в Лондоне, А. И. Солженицын «Бодался телёнок с дубом», Л. К. Чуковская «Процесс исключения», В. К. Буковский «И возвращается ветер…» – в Париже, А. А. Амальрик «Нежеланное путешествие в Сибирь» – в Анн-Арборе, «Записки диссидента» – в Нью-Йорке. Обстоятельства места имели значение. Если в момент издания автор проживал в Советском Союзе, этот решительный жест в очередной раз демонстрировал его стремление дистанцироваться от господствующих в советской практике правил поведения писателя, зафиксировать своё символическое место в контркультуре, объединиться с группой единомышленников.

Если же он уже был выслан, то карьера диссидента оставалась в прошлом. В ином социальном пространстве, выключенный из противостояния советской власти, оппозиционер переставал быть исторической персоной и наделялся статусом частного лица. В таком случае рассказывание собственной жизни

позволяло диссиденту приобщиться к прошедшему жизненному опыту, преодолеть отчуждение от Истории и себя подлинного. А значит, автор решал в процессе создания текста ещё одну задачу – подтверждение личной идентичности, чрезвычайно важную в условиях частичной изоляции от своей референтной группы.

Оказавшись на Западе, диссидент должен был реализовывать стратегию адаптации: ему предстояло утвердиться в ином социокультурном пространстве. Автобиография, изданная по горячим следам за депортацией, являлась прекрасным способом знакомства: героическая судьба вызывала симпатию читателей, логически чёткие умопостроения автора легко усваивались, а мифологизированная история героической борьбы с режимом без труда вписывалась в логику холодной войны. Интерес западного обывателя к личности диссидента подогревался международным скандалом, как правило сопровождавшим его высылку из страны.

Завоевать внимание удавалось не всем. Не увенчались успехом попытки В. Я. Тарсиса. За 16 лет жизни за рубежом (с 1967 по 1983 гг.) он смог опубликовать 3 романа и 1 сборник рассказов из 12 написанных томов[1].

Автор должен был учитывать специфику новой аудитории и её эстетические пристрастия. Автобиография диссидента, как синтетичный жанр, оказалась вполне жизнеспособна при сознательной ориентации автора на иного читателя. Жанровая мобильность проявилась в способности к трансформации базовой структуры, основанной на мифологической модели.

Примером может служить книга В. К. Буковского «И возвращается ветер…» (1978 г.), в которой каноничная жанровая модель дополнена элементами авантюрного романа и приёмами модернистского потока сознания. Казалось бы, это взаимоисключающие тенденции: одна предполагает стремительность развития действия, другая до предела обостряет внимание к субъективному началу и замедляет сюжет. Центральный персонаж авантюрного романа – плут, более поздний вариант мифологического трикстера, нацелен на преодоление

[1] Казак В. Лексикон русской литературы XX века. М. : РИК Культура, 1996. С. 414.

жизненных преград и не склонен к глубокой рефлексии. Поток сознания предполагает сосредоточенность на переживании и осмыслении своей субъективности. Универсум души самодостаточен и самоценен, важнее объективной реальности. Однако пластичная по природе романная форма позволила автору соединить оба начала.

Фабульную основу составляет депортация героя, для него совершенно неожиданная, провоцирующая тревожные ожидания и подведение итогов. Его душевное состояние передают приёмы потока сознания: текст не имеет глав, фрагменты, повествующие о депортации, выделены курсивом и перебиваются воспоминаниями и внезапными ассоциациями. Смещение временных пластов переносит читателя в различные отрезки жизни героя и даёт возможность представить картину советской жизни. Внутренний монолог тормозит действие, но не разбивает традиционной повествовательной структуры эго-текста, в котором панорама жизни народа и страны даётся сквозь призму частной биографии.

Использование техники модернистского повествования позволяет автору решить несколько задач: избежать упрёков в очевидной субъективности оценок социальной действительности и дать западному читателю знакомую эстетическую модель.

Однако массовый читатель восприимчив к занимательному сюжету, захватить его внимание можно приключениями деятельного и энергичного героя. Доминирующей формой становится авантюрный роман, с главным героем – плутом.

В. К. Буковский не претендовал на звание классика русской литературы, как А. И. Солженицын, но должен был подтвердить статус одного из лидеров советского освободительного движения, соотносимого с масштабом руководителя коммунистической партии (как известно, Буковский попал в Англию в результате обмена на Л. Корвалана). Соответственно, в размышлениях о советской действительности автор стремится к всеохватности, свойственной суждениям политического деятеля. Всё прогнило в советском государстве,

убеждает читателя Буковский: во внутренней политике партноменклатура боится реформ; в искусстве подлинная художественная жизнь, стеснённая цензурой, реализуется в подпольных выставках художников, чтении стихов у памятника Маяковскому, самиздате; в экономике КГБ пытается задавить стихийно развивающийся частный капитал – оппозицию госсобственности; в психиатрии концепция профессора А. В. Снежневского о вялотекущей шизофрении есть способ борьбы КГБ с инакомыслящими. Казалось бы, крупномасштабность изображения советского общества предполагает его анализ. Но автор не стремится аргументировать свою позицию, довольствуется констатацией факта: прогнивший социальный строй улучшению не поддаётся. Это аксиома. Доказывать или обсуждать здесь нечего.

Государственная машина даёт сбои, но остаётся по сути неизменной. Сталин равен Ленину, Хрущёв неотличим от Сталина, система всегда верна своей репрессивной сущности. Реформирование строя бессмысленно – вывод, рождённый в 1970-е годы, приписывается автором советскому общественному сознанию 1960-х: «Вдруг стала очевидна нежизнеспособность всей системы, некомпетентность руководства. <…> Думаю, он (Хрущёв – Е. С.) был последним коммунистическим правителем, который действительно верил в возможность построить коммунизм и пытался осуществить это. Но никому его коммунизм был уже не нужен, никто, кроме него, в такую возможность уже не верил. Всем был настолько очевиден обман, что даже кроты прозрели»[1]. Разъяснение логики истории ведётся в авантюрном духе: тенденции развития социума непредсказуемы, события происходят «вдруг». Случай как проявление общей закономерности определяет логику истории. Внушение заменяет автору доказательства, а в речевое поведение органично входят комические приёмы – насмешка, ирония.

Состояние общества, по мнению В. К. Буковского, таково: обречённость режима осознают даже представители власти, многие из которых в глубине души сочувствуют диссидентам, но продолжают выполнять служебные

[1] Буковский В. К. И возвращается ветер… СПб. : Захаров, 2007. С. 129.

обязанности из страха репрессий. Борцы-одиночки, решившиеся на борьбу, вызывают уважение у рядовых граждан. Наряду с травлей в официальной печати диссиденты получают письма поддержки со всех концов страны, в тюрьмах уголовники уважают политзаключённых, среди юристов появляются честные адвокаты, специализирующиеся на защите инакомыслящих, психиатры начинают осознавать, что участвуют в травле непокорных и всё чаще проявляют принципиальность и отменяют клеветнические диагнозы коллег-конформистов. А значит, история всё же движется поступательно, от тоталитаризма к демократии (идея «старших шестидесятников»). Эта внутренняя логика повествования расходится с многократно продекларированной в тексте статичностью советской истории, а шире – неизменностью российской истории в целом. Казалось бы, рассказчик сбивается и путается. Однако соединять несоединимое, подменять анализ внушением свойственно плуту и мошеннику.

Позиция трикстера реализуется в специфическом дискурсе: основным средством доказательства собственной позиции является высмеивание позиции оппонента. Обличительному пафосу соответствует поэтика памфлета, фельетона и анекдота: «А зэки – те додумались даже в Мавзолей Ленину жалобы писать! Вы ж говорите, он вечно живой, – пусть разбирается. И ничего, аккуратно извещает комендатура Кремля, что жалоба переслана по принадлежности. Ответ обычно приходит из районной прокуратуры. Обычный ответ, что всё по закону и жаловаться не на что»[1]. Цинический разум трикстера не знает святынь и всё подвергает осмеянию. Создание сатирической дистанции по отношению к советскому образу жизни позволяет автору продемонстрировать полное отчуждение от него, зафиксировать своё символическое место в ином типе культуры – западном.

Как и в книгах «старших шестидесятников», Буковский осмысливает современный исторический период как эсхатологичный. Но эсхатологизм Солженицына был рождён ощущением рубежности эпохи. Новое время рождается в муках, требует общенародных усилий, которые герой и воплощает.

[1] Буковский В. К. И возвращается ветер… С. 63.

Эсхатологизм Буковского иного свойства: советская эпоха обречена, разрушается, и он помогает ей скончаться. В его фельетонных зарисовках действует не народ, а массовый человек, отношение к которому вполне однозначно: «Презирал я советского человека. Не того, который изображён на плакатах или в советской литературе, а того, который существовал на самом деле, у которого нет ни чести, ни гордости, ни чувства личной ответственности, который может один на медведя с рогатиной ходить, а мимо милиции идёт – робеет, аж пот его прошибает. Который предаст и продаст отца родного, лишь бы на него начальник кулаком не стучал»[1]. Позиция трикстера определила точку зрения на мир и человека: осмеяние, сарказм характеризует дискурс героя. Использование одного из самых банальных стереотипов западного сознания (советский человек «может один на медведя с рогатиной ходить») ясно указывает подлинного адресата книги – западного читателя, которого, впрочем, плут морочит и дурачит. Безусловно, мошенничество, обман – никак не цель автора. Это лишь средство упрочения собственного статуса в новом социокультурном пространстве.

Создавая квазиисторию страны и человека, Буковский воспроизводит наиболее распространённые стереотипы диссидентского массового сознания, значительно упрощающие восприятие авторской концепции западной аудиторией.

В духе авантюрного романа трактуется противостояние власти и диссидентов: это непрерывное состязание с переменным успехом каждой из сторон. Тактика диссидента сводится к парадигме протеста: участие в уличных акциях и демонстрациях, составление или подписание писем протеста, неподчинение распоряжениям КГБ, отказ сотрудничать со следствием, жалобы на бесчинства администрации тюрем в вышестоящие инстанции, голодовки, привлечение внимания западных СМИ и прочее. Со своей стороны власть действует в соответствии с парадигмой репрессий: вызов на допрос/беседу в КГБ, увольнение с работы/исключение из вуза, арест, суд, тюрьма/лагерь,

[1] Буковский В. К. И возвращается ветер… С. 74.

психбольница, и в итоге, как признание собственного нравственного бессилия, – высылка инакомыслящего из страны. В этой перманентной войне власть можно переиграть тактически, изнурить в бесконечных тяжбах. Воспоминания о выживании в психбольнице, тюрьме и прочее преподносятся зачастую как нечто смешное, хотя и чреватое риском для жизни. Конструирование образа удачливого и ловкого хитреца, рассказы о необыкновенной изобретательности при установлении контактов с иностранными журналистами, отрыве от слежки КГБ – словом, о поистине трикстерских способах преодоления опасности задаёт эмоциональные доминанты нарративизации советской жизни, которые можно назвать анекдотической и авантюрно-приключенческой. Очевидно, что они наиболее доступны для восприятия зарубежного читателя, не имеющего опыта жизни в социалистическом обществе.

Амбивалентность образа сохраняется: героическая составляющая из самоидентификации не изымается. Автор, как и его предшественники, видит лишь две возможные модели поведения: служение режиму или сопротивление ему. Борьба – единственно возможная для честного человека модель личного поведения. Её цена – положение вне социума. Изгойство оценивается старшим и младшим поколением нонконформистов неравнозначно. Убеждённые в исторической и нравственной обречённости неосталинизма, «старшие шестидесятники» переживали гонения как факт величайшей социальной несправедливости. А. И. Солженицын и Л. К. Чуковская с предельной серьёзностью убеждали читателей в значимости и нравственной безупречности гражданской позиции нонконформиста.

Осмысление В. К. Буковским собственной маргинальности не лишено драматизма, однако самоидентификация включает в себя и явно выраженный игровой момент. Государство сделало героя изгоем, зато не может лишить работы – её и так нет. Его профессия – диссидент, а потому герой не стремится социализироваться. Асоциальность не вызывает глубокого душевного дискомфорта. Напротив, он настаивает: позиция изгоя – единственный вариант неучастия во всеобщей лжи. Как видим, идея А. И. Солженицына, положенная

им в основу манифеста «Жить не по лжи», воспроизведена В. К. Буковским как необсуждаемая. Читателю вновь предложена констатация очевидных для диссидентов истин.

Не является источником мучительных размышлений автора и отсутствие семьи. Вопросы экспертов-психиатров о причинах несостоявшейся семейной жизни вызывают у автора очевидную иронию. Логика политической борьбы, согласно Буковскому, требует готовности ни с кем не сближаться, никому не доверять. Тревога за близких – тяжкий груз, она лишает мобильности, делает борца уязвимым. Семья – либо непозволительная роскошь, как в его случае, либо боевая единица (такую трактовку встречаем, например, у Солженицына и Григоренко). И здесь перед нами уже не социальная, а бытийная неукоренённость, не осмысленная В. К. Буковским как психологическая драма, воспринятая как норма жизненного поведения. Действительно, власть стремится любыми средствами расправиться с непокорным. А если человек не имеет ни работы, ни семьи, он силён или слаб? В состязании «кто кого?» он свободен и неуязвим. Так в игровой логике трикстера маргинальность из недостатка превращается в преимущество, в частной борьбе с режимом аутсайдер ведёт и выигрывает. В. К. Буковский в самопрезентации утверждал новый тип личности – модерный, динамичный, преодолевающий любое давление социума.

Самоанализ предполагает осмысление причин, сформировавших непокорный характер героя. «Старшие шестидесятники» указывали истоки своего свободолюбия в традициях русской литературы с её жёстким нравственным императивом. Трикстер, как герой, низвергающий любые ценности, не укоренён в традициях. Бунтарство трактуется как изначально данное свойство: из детства и юности выбираются эпизоды, подчёркивающие буйный нрав и своеволие персонажа. Такой способ объяснения личностных качеств исключает вопрос, как в стране рабов появился духовно свободный гражданин. Вольнолюбие – природное свойство, не заглушённое режимом. Кипучая человеческая натура находится в оппозиции к догматизму, социальным законам и ограничениям.

Установка на факт, традиционная в текстах нонконформистов, сохраняется В. К. Буковским. Автор называет имена реальных лиц, включает фрагменты подлинных документов: приговоры судов, приказы МВД, фрагменты психиатрических экспертиз и прочее. Читатель должен знать, что автор способен документально подтвердить каждое слово своей истории. При этом принцип подбора фактов и способ их интерпретации весьма показательны. Например, знакомя читателей с обитателями Ленинградской спецпсихбольницы, он замечает: «Здесь же сидел Михаил Александрович Нарица, первый писатель, передавший свою рукопись для публикации за границу[1]. Действительно, с 1961 по 1965 годы М. А. Нарица содержался в этой психбольнице. Это факт. Но рукопись повести «Неспетая песня» он передал на Запад в конце 1960-го года и никак не был первым. Неверное заявление показательно. Оно указывает, откуда ведёт начало литературного летоисчисления автор – от становления сам- и тамиздата как массового явления. Подлинное искусство неподцензурно. Мысль, требовавшая весомых доказательств в текстах А. И. Солженицына и Л. К. Чуковской, у В. К. Буковского звучит как само собой разумеющийся факт.

В условиях идеологического противостояния с официальной властью авторы жанра автобиография диссидента создавали конкурентную модель персонального поведения, способствовали сохранению единства сообщества и его воспроизводству: универсализировали частную историю и формировали коллективную память, противостоящую ценностной иерархии официальной власти.

Политическая система, где ложь возведена в главный идеологический принцип, нравственно обречена и исторически бесперспективна – этот этический императив «шестидесятников» реализовывался у А. И. Солженицына и Л. К. Чуковской в позиции нравственного ригоризма. Их отношение к социальным порокам беспощадно, непримиримо и бескомпромиссно. В представлениях о морали они следовали за И. Кантом и признавали нравственными лишь те поступки, которые совершены по велению долга. В их случае долг перед страной

[1] Буковский В. К. И возвращается ветер… С. 203.

и народом означал беспощадную борьбу с неосталинизмом, в какой бы форме он ни реализовывался – цензурных запретах, конформизме коллег или идеологической слепоте соотечественников.

В. К. Буковский, казалось бы, придерживается тех же принципов. Однако в его зарисовках советской действительности нет яростного пафоса. Напротив, автор настойчиво подчёркивает, что не испытывает гнева или обиды к кому бы то ни было из своих преследователей. За этим равнодушно-отстранённым отношением стоит ясное понимание механистичности поступков всякого функционера государственной системы. Массовый человек, какую бы должность в госаппарате ни занимал, действует бездумно, не соотносит свои поступки с категориями добра или зла.

Но всегда ли сам герой считает нравственные нормы обязательными? Трикстер в мифе – антигерой, опровергающий любые ценности, противопоставляющий свою волю власти богов. Хитрость, обман, ловкость – непременные условия его выживания во враждебном окружении. Герой В. К. Буковского использует те же приёмы в социальном поведении, демонстрирует пренебрежение нравственными запретами, разрушает иерархию ценностей, утверждает в качестве нормы этический релятивизм. В стане «своих» наряду с друзьями-единомышленниками оказывается любой, кто испытал репрессии со стороны государства, например, уголовные или военные преступники. Критерием нравственности выступает не долг в его кантианском толковании, а эффективность боевых действий. Средства борьбы приемлемы любые, границы допустимого отсутствуют.

И вновь возникает вопрос, является ли позиция трикстера с типичным для него этическим релятивизмом свойством художественного образа или характеризует самого автора. Едва ли можно считать однозначной жизненную позицию столь неординарной личности, как В. К. Буковский. Сквозь маску трикстера просматривается личность мужественного, решительного человека, точного в реакциях, быстрого в принимаемых решениях. В книге действует

персонаж, образ которого откорректирован в соответствии с общепринятой в диссидентской среде концепцией и авторской стратегией.

Но и реальные обстоятельства жизни диссидента формировали навыки изворотливости и ловкости в личностном, гражданском и профессиональном поведении. В этом смысле показательно литературное поведение А. Д. Синявского, избравшего в качестве псевдонима образ карманника и вора, героя одесского блатного фольклора 1920-х годов. И если применительно к художественным текстам можно сказать, что литератор выбирал для прикрытия от глаз КГБ диаметрально противоположный себе образ, то в отношении эссе «Прогулки с Пушкиным», «В тени Гоголя», «Голос из хора» и других, созданных под именем Абрама Терца, этого не скажешь. Читатель имеет дело с редким примером ролевого литературоведения с непременными приёмами цинического переворачивания устоявшихся культурных норм и традиций. По замечанию современного исследователя, «как бы мы ни пытались "отдалить" друг от друга Синявского и его псевдодвойника Терца, невозможно сказать, что Синявский "резко не согласен" с точкой зрения, выраженной в <…> книге. Релятивизм для Синявского – это, с его точки зрения, очень хороший и красивый выход из чрезвычайно трудной ситуации тоталитарной несвободы <…>. Именно в релятивизме Синявский и его либеральные писатели-современники, такие как Вен. В. Ерофеев, И. С. Холин, В. П. Аксёнов, увидели подлинное, как им казалось, спасение от всевластного советского тоталитарного монолога»[1]. Эта характеристика может быть применена и к В. К. Буковскому. Абсолютизация духовной свободы, не только провозглашённой как эстетический принцип, но и реализованной в поведенческой практике, приводила его к релятивизму.

Показательный эпизод зафиксировал в своих воспоминаниях М. В. Ардов: «В конце 1976 года произошло примечательное событие. Узника, диссидента Владимира Константиновича Буковского обменяли на чилийского коммуниста Луиса Корвалана. Разумеется, в советской печати об этой сделке не сообщалось,

---

[1] Спиваковский П. Е. Постмодернистский миф о Пушкине. Версия Синявского // Новый мир. 2010. № 5. С. 161-162.

но западное радио уделило ей много внимания. Мне запомнилась одна деталь. Обмен происходил на аэродроме в Цюрихе, и, как только Буковский оказался на свободе, ему устроили пресс-конференцию. Один из вопросов был такой:

– Сегодня – день рождения Леонида Ильича Брежнева. Что бы вы хотели ему пожелать?

Владимир Константинович ответил не задумываясь:

– Чтобы его обменяли на Пиночета»[1]. Как видим, внелитературное поведение Буковского мало отличается от его текстового двойника. Мы вновь слышим голос трикстера, в речевом поведении с лёгкостью соскальзывающего на анекдот.

Очевидно, что образ в эго-тексте выбирался по принципу наибольшего соответствия позиции автора. Мировосприятие В. К. Буковского было свойственно молодому поколению нонконформистов, утратившему иллюзии гуманизации социализма, духовного и идеологического пробуждения соотечественников. Крушение надежд сформировало кризисное сознание, подвергнутое профессиональной деформации, в том числе в вопросах этики. Надежды на Запад, который теперь безоговорочно воспринимался как гарант свобод и главный помощник в борьбе с внутренним врагом, продиктовали выбор авторской стратегии в мемуарно-автобиографическом высказывании – стратегию адаптации, с апелляцией к ценностной иерархии новой культурной среды, определили самоидентификацию автора – демократ западного типа.

В. К. Буковский признавался, что, оказавшись в Англии, он должен был по договорённости с издательством написать книгу очень быстро, за 4 месяца. Требование заказчика было продиктовано, вероятно, необходимостью удовлетворить интерес читателя к персоне, недавно прибывшей на Запад в статусе лидера антикоммунистов. Задача издательства совпадала с внутренней мотивацией автора. Для скорейшего выполнения заказа в качестве редактора и помощника была приглашена Н. Е. Горбаневская, к этому времени также высланная из Советского Союза. Совместные усилия дали результат – книга

[1] Ардов М. В. Довески // Новый мир. 2010. № 8. С. 112.

была написана в срок[1]. Адаптация в новом культурном пространстве, признанная автором как весьма значимая цель творчества, подтверждена западными исследователями, признавшими Буковского значимой фигурой советского диссидентства, именующими его «убежденным противником сталинизма» (Ф. Бубайер)[2] и «первопроходцем гласности» (Р. Хорват)[3].

Однако какова эстетическая природа автобиографии диссидента? Является ли она художественным или публицистическим высказыванием?

С одной стороны, ориентация на литературные жанры, дистанция между автором и героем-рассказчиком, вольное обращение с фактами (исключение, фильтрация, демонстративно субъективное толкование) свидетельствуют о художественной природе текстов. С другой – в художественном тексте авторская стратегия направлена на изображение жизни в её неоднозначности и биографии героя как потенциально многовариантной. Открытый финал (обязательное свойство жанра) соответствует не только правде факта (жизнь рассказчика продолжается и после окончания сюжета), но и убеждённости автора в неисчерпаемости процесса самопознания. Духовная жизнь неостановима, осмыслить себя и представить как некую завершённую сущность невозможно.

Очевидно, что создателями диссидентских автобиографий руководила другая логика. Основной темой является не «я» и бытие, как в художественном тексте, а «я» и социальная история, что определило объяснение механизмов, сформировавших данную жизненную позицию, и констатацию неизбежности выбранной поведенческой модели. Авторская стратегия направлена на утверждение собственной модели жизни как детерминированной социальной историей и единственно возможной в данных реалиях. Именно в публицистическом тексте обнаруживается потенциальная возможность перейти от сочетания документальности и фикциональности, вообще типичной для

---

[1] Буковский В. К. Париж стал скучным… // Поэтка. Книга о памяти: Наталья Горбаневская. М. : АСТ, 2014. С. 215-216.

[2] Boobbyer P. Conscience, dissent and reform in Soviet Russia. London; New York: Routledge, 2005. P. 102.

[3] Horvath R. The Dissident Roots of Glasnost / Challenging Traditional Views of Russian History. London: Palgrave Macmillan, 2002. P. 186.

жанра автобиографии, к документальности и концептуальности. Концептуальная заданность мемуарно-автобиографических текстов диссидентов заставляет отнести их к публицистическому высказыванию, в котором приёмы художественного построения находятся в подчинённом положении.

Подведём итог. А. И. Солженицын, синтезировав различные жанры (миф, агиографию и другие), канонизировал жизненную модель борца с режимом, зафиксировал эталон жанра автобиография диссидента. Многократно повторенный (Л. К. Чуковская, Ю. Ф. Орлов, П. Г. Григоренко и многие другие), образец приобрёл статус нормы. Поведение, осмысленное А. И. Солженицыным как исключительное, благодаря усилиям его последователей стало толковаться диссидентами как единственно достойное всякого честного человека. Жанровая модель, включающая в себя мифологическую составляющую, тип нарратива также оказались нормативными для сообщества. Норма трансформировалась в стереотип, что свидетельствует о сформированности тезауруса.

3.3. Стратегия защиты в книгах-отчётах о судах над диссидентами

Социальная ориентированность писательской практики диссидентов определила мобильность жанровой системы: в ней интенсифицировались те жанры, что казались в данный момент наиболее эффективными. Одним из них явился отчёт о суде над диссидентом. С 1956 по 1987 годы в СССР по «диссидентским статьям» было осуждено 8124 человека[1]. Только за пять лет, с 1965 по 1970 годы, по свидетельству Г. Ц. Свирского, состоялось 50 процессов над инакомыслящими[2]. Наиболее значимые из них освещались как в официальной прессе, так и в самиздате. Медиастратегия официальной власти в отношении «внутренних врагов» сформировалась в 1930-1950-е годы и не подверглась качественному изменению в 1960-1970-е: судам над

[1] О массовых беспорядках с 1957 года: Записка В. Чебрикова 1988 г. // Источник. 1995. № 6. С. 151.

[2] Свирский Г. Ц. На лобном месте. Литература нравственного сопротивления 1946-86 г. Лондон: OVERSEAS, 1979. 123 с. URL: http://members.rogers.com/gsvirsky/ (дата обращения: 10.08.2019).

инакомыслящими предшествовала публикация обличительных фельетонов в периодической печати. Сопровождали процессы статьи под рубрикой «Из зала суда» – отчёты-хроники, призванные подтвердить морально-нравственную и юридическую правомочность выносимых приговоров. Массированная идеологическая атака официальной прессы была призвана деморализовать противника, подготовить массовое сознание к идеологически выверенной оценке процесса, сплотить общество в борьбе с новым «внутренним врагом». Книга-отчёт, составленная диссидентами, являлась весомым контраргументом в информационной битве. Однако конкурентная стратегия являлась вторичной в сравнении с главной – стратегией защиты. Автор стремился в первую очередь защитить единомышленника: опротестовать приговор суда или смягчить участь обвинённого. Решение этой практической задачи предполагало апелляцию не только к власти, но и к отечественному и зарубежному общественному мнению. А значит, было необходимо дать читателям полные сведения о судебном разбирательстве, склонить общественность в пользу осуждённых, выявить нравственную и правовую несостоятельность обвинений и предрешённость вынесенных приговоров.

Жанровые принципы формировались постепенно. По признанию П. М. Литвинова, сделанному в 1971 году, в ходе работы над материалами по «делу четырёх», «… ещё недостаточно разработана метода составления подобных сборников»[1]. Действительно, каждый из составителей искал свои, на его взгляд, наиболее действенные приёмы нарратива. Однако основу книги-отчёта, ядро жанра, всегда составляла судебная хроника. Составители сохраняли её базовые конструктивные элементы: процесс осмысливался как явление социально значимое, показательное в нравственно-этическом и правовом отношении, время линейное – события разворачивались в хронологической последовательности. Повествование носило экстенсивный характер: изображение расширялось от зала судебного заседания до масштабов страны,

[1] Процесс четырёх: Сборник материалов по делу Галанскова, Гинзбурга, Добровольского и Лашковой / сост. и коммент. П. Литвинов. Амстердам: Фонд имени Герцена, 1971. С. 3.

запись преобладала над рассказом. Состязательный характер процесса был представлен позицией противоборствующих сторон, что выражалось в диалогической форме повествования. Автор находился позади событий, его точка зрения была представлена в комментариях. Речи персонажей имели самодовлеющее значение для характеристики героев.

Ориентация на фактографическую точность, вообще свойственная текстам диссидентов и, как было показано выше, нарушаемая ими во имя концептуальной целостности, в данном случае приобретала свойства жанрообразующего принципа. Ф. А. Вигдорова составила запись суда над Бродским. А. И. Гинзбург, собрав материалы уголовного преследования Синявского и Даниэля, выбрал модель Белой книги. П. М. Литвинов именовал себя составителем сборника «Процесс четырёх», заявлял в предисловии, что стремился к максимальной объективности[1]. Н. Е. Горбаневская дала книге подзаголовок «Дело о демонстрации 25 августа 1968 года на Красной площади»[2]. Цель была достигнута: референтная группа воспринимала материалы судов, зафиксированные авторами, как стенограммы процессов. Такая жанровая характеристика на долгие годы закрепилась за записью Вигдоровой. Г. Ц. Свирский называл стенограммой книгу Н. Е. Горбаневской[3]. В действительности Ф. А. Вигдорова, не обладавшая навыками стенографии, составила именно запись на основании материалов нескольких записных книжек, в которых фиксировала судебный процесс. Н. Е. Горбаневская представила авторскую версию событий. Ошибка читателей была спровоцирована авторами: сделав судебную хронику основой собственных текстов, они избежали читательских сомнений в документальности представленных материалов.

Отойти на задний план, уступить место «самоговорящей реальности» и, тем не менее, высказать своё отношение к запечатлённому судебному процессу, смоделировать общественную поддержку осуждённых – эту общую

---

[1] Процесс четырёх. С. 3.
[2] Горбаневская Н. Е. Полдень: Дело о демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 года. М. : Новое издательство, 2007. 304 с.
[3] Свирский Г. Ц. На лобном месте.

стратегическую задачу каждый из авторов решал самобытными средствами, для чего вносил модификации в жанр судебной хроники.

Суд над И. А. Бродским пришёлся на 1964 год. Тактика властей в сфере культуры в это время напоминала качели: запретные акции чередовались послаблениями режима. Либеральная интеллигенция, убеждённая в необходимости демократизации общественной жизни, руководствовалась в поведении с властью тактикой «заезженной пластинки»: добиваться ослабления идеологического гнёта путём многократного, настойчивого и неотступного разъяснения своей позиции, преодолевать сопротивление ортодоксов коллективными усилиями. Борьба за пересмотр вынесенного поэту приговора была первым опытом сплочённой защиты. Методы и способы искались эмпирическим путём, главным был диалог с властью. При этом важным оказывался личный контакт. Апелляция не к социальному институту, а к его конкретному представителю свидетельствует о ясном понимании «шестидесятниками» специфики взаимоотношений власти и творческой интеллигенции. Патерналистский характер руководства определял возможность вариативности решений, при которой действовал не столько закон, сколько воля руководителя, а общие идеологические установки могли значительно смягчаться или, напротив, ужесточаться в зависимости от личного отношения должностного лица к ходатаю. Воспоминания Л. К. Чуковской[1], Е. Г. Эткинда[2], Р. Д. Орловой[3], Я. А. Гордина[4] и других содержат подробный рассказ о телефонных звонках, встречах, беседах, настойчивых обращениях к властным фигурам различного уровня: от В. С. Толстикова (первый секретарь Ленинградского обкома партии) до Р. А. Руденко (Генеральный прокурор СССР), И. С. Черноуцана (Заместитель заведующего Отдела культуры ЦК), А. И. Микояна (Председатель Президиума Верховного Совета СССР) и Л. И. Брежнева (Генеральный секретарь ЦК КПСС).

---

[1] Чуковская Л. К. Отрывки из дневника. Иосиф Бродский // Чуковская Л. К. Соч. : в 2 т. М. : Гудьял-Пресс, 2000. Т. 2. С. 268-306.
[2] Эткинд Е. Г. Процесс Иосифа Бродского. Лондон : Overseas Publications Interchange Ltd, 1988. 178 с.
[3] Орлова Р. Д., Копелев Л. З. Мы жили в Москве: 1956-1980. М. : Книга, 1990. 447 с.
[4] Гордин Я. А. Дело Бродского // Нева. 1989. № 2. С. 134-166.

Представительствовать от лица литературной общественности должны были «тяжеловесы»: К. И. Чуковский, С. Я. Маршак, А. Т. Твардовский, Д. Д. Шостакович. Всё ещё не вполне благонадёжная А. А. Ахматова оставалась «за кулисами», боясь повредить делу своим вмешательством. Привлечение внимания мировой общественности в лице Ж-П. Сартра и Г. Бёлля первоначально не входило в план защитных действий, стало мерой дополнительной, способной ускорить благополучное решение дела. За Сартром и Бёллем укрепилась репутация друзей Советского Союза, их голоса должны были убедить руководство в ущербе для престижа страны «дела Бродского». Как видим, идеологический фактор учитывался и интенсивно использовался «шестидесятниками». Однако в действиях защитников поэта не было явного пафоса конфронтации с властью. Они настойчиво просили исправить ошибку, чреватую драматичными последствиями.

Для власти этот суд был продолжением кампании по борьбе с «отдельными мелкобуржуазными элементами», тормозящими движение советского народа к коммунизму. Для интеллигенции – восстановлением преступных методов сталинского судопроизводства, когда осуждение по клевете или доносу, вопреки доводам разума, социальной справедливости и юридического права было нормой общественной жизни. На той же позиции стояла Ф. А. Вигдорова. Её запись суда над Бродским адресована самому широкому читателю – от рядовых граждан до представителей власти. Первые должны были сплотиться в борьбе за невинно осуждённого. Вторые осознать очевидные нарушения закона, отказаться от гибельной для общества практики «заказных» процессов.

Социальный контекст определил авторскую стратегию. «Заказной» характер происходящего был для Ф. А. Вигдоровой очевиден, а значит, запись процесса должна была стать его разоблачением. Журналистка солидаризировалась с линией защиты на суде. Обвинения И. А. Бродского, поэта и переводчика, в тунеядстве неправомочны: стихосложение – это труд, юридических оснований для карательных мер нет. Записать суд, по убеждению Ф. А. Вигдоровой, значило его осмыслить. Рефлексия предназначалась для социального поступка,

становилась им и предполагала восстановление подлинной иерархии ценностей, в которой талант, творчество, культура стоят выше идеологии и пропаганды. «Этой записью я надеялась спасти его», – говорила она Л. К. Чуковской[1].

Важная подробность: сопоставить текст Ф. А. Вигдоровой с подлинной стенограммой суда сегодня не представляется возможным. Дочь Ф. А. Вигдоровой, А. А. Раскина, сообщала в 2014 году: «Стенограммы нет и сейчас – с наступлением гласности нам сообщили, что она якобы сгорела»[2]. О. В. Эдельман уточнила причину вероятного уничтожения документа: материалы административного дела (а именно таким был юридический характер дела Бродского) подлежали лишь временному хранению[3]. В Государственном архиве Российской Федерации, в архивном фонде Прокуратуры СССР, сохранились в двух томах материалы надзорного дела, проведённого Отделом по надзору за следствием в органах государственной безопасности Прокуратуры СССР. Но и там в качестве документальной основы судебного процесса фигурирует запись Ф. А. Вигдоровой[4].

Фабульную основу текста составляет судебный процесс. Документальность, принципиально важное свойство, дополняется литературным компонентом, замеченным некоторыми современниками. Л. К. Чуковская называла текст литературным шедевром, а председатель КГБ В. Е. Семичастный утверждал, что журналистка составила «необъективную стенографическую запись хода процесса» и обвинял её в «тенденциозном подборе материалов»[5]. При очевидной разнице эмоциональных оценок они совпадают в констатации наличия авторской стратегии, определившей характер читательского восприятия.

---

[1] Чуковская Л. К. Памяти Фриды // Чуковская Л. К. Соч. : в 2 т. М. : Гудьял-Пресс, 2000. Т. 1. С. 371.
[2] Раскина А. А. Фрида Вигдорова и дело Бродского: мифы и реальность // Вигдорова Ф. Право записывать. М. : Изд-во АСТ, 2017. С. 261.
[3] Эдельман О. В. Процесс Иосифа Бродского // Новый мир. 2007. № 1. С. 153.
[4] Там же. С. 155.
[5] Записка КГБ при Совете Министров СССР в ЦК КПСС о процессе над И. Бродским // История советской политической цензуры. Документы и комментарии. М. : РОССПЭН, 1997. С. 142, 143.

Художественное начало реализует себя в моделировании текста по литературным схемам. Образ главного героя сконструирован по образцу «поэтической биографии»: поэт относится к особой породе людей – художникам. Его бытовое поведение подчинено творчеству: восьмичасовой рабочий день на предприятии лишает возможности заниматься поэзией, стремление к заработку отвлекает от малодоходного, но важного занятия – поэтического перевода. Бродский аскетичен в быту, равнодушен к сиюминутному успеху, абсолютно предан ремеслу – эти обязательные в литературной модели художника свойства выделены в личности подсудимого. Даже упоминание о пребывании И. А. Бродского в психиатрической лечебнице вписывается в концепцию творческой личности как свидетельство тонкой душевной организации. В его манере отвечать на вопросы выявляется симптоматика нормативного поведения поэта:

«Судья: А вообще какая ваша специальность?

Бродский: Поэт. Поэт-переводчик.

Судья: А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?

Бродский: Никто. (Без вызова): А кто причислил меня к роду человеческому?

Судья: А вы учились этому?

Бродский: Чему?

Судья: Чтобы быть поэтом? Не пытались кончить вуз, где готовят... где учат...

Бродский: Я не думал, что это даётся образованием.

Судья: А чем же?

Бродский: Я думаю, это (растерянно)... от Бога...»[1]. Беззащитность поэта – знак его инородности повседневно-будничному измерению жизни. Истинное пространство существования художника – мир творчества, подлинная мера – степень одарённости. Конфронтация с общественными законами – непреднамеренный, но неизбежный итог жизненной позиции.

---

[1] Вигдорова Ф. А. Судилище // Вигдорова Ф. А. Право записывать. М. : АСТ, 2017. С. 212.

Те же акценты в характере И. А. Бродского расставляли и другие защитники поэта. Л. З. Копелев в письме к заместителю председателя Верховного Суда СССР В. И. Теребилову напишет: «… Бродский не пьёт, не курит, крайне воздержан и непритязателен в быту. Он по-настоящему бескорыстный литературный труженик, фанатично одержимый стихами и книгами»[1]. В том же духе ходатайствовал перед председателем Верховного суда РСФСР Л. Н. Смирновым К. И. Чуковский: «Я глубоко убеждён, что несправедливый и жестокий приговор по делу Бродского будет наконец отменён и молодой поэт возвратится в Ленинград, в литературную среду, необходимую для его профессиональной работы»[2].

Суд в трактовке Вигдоровой – факт поэтической биографии. Здесь сталкиваются поэт и власть, поэт и чернь.

Автор определяет характер читательского восприятия событий. В ходе процесса акцентированы моменты, способные вызвать литературные ассоциации: конфликт, драматично разыгрывающийся перед читателем, трактуется как соответствующий традиции. В литературном контексте происходящее – очередная расправа с поэтом, не первая в отечественной истории, но, как всегда, постыдная и безнравственная.

Очевидно, что Ф. А. Вигдорова создала романтизированный образ И. А. Бродского, ставший впоследствии каноничным в читательском восприятии поэта, показала жизнетворческий сплав искусства и судьбы, на чём неоднократно настаивал и сам И. А. Бродский: «Если система вас ломает как индивидуума, – говорил он С. М. Волкову, – это свидетельство вашей собственной хрупкости»[3]. Поэт, убеждён И. А, Бродский, остаётся художником в любых обстоятельствах жизни, творчество выше политических или житейских реалий. Философия жизнетворчества (модернистский вариант романтической парадигмы) играла существенную роль в самоидентификации будущего Нобелевского лауреата. При этом Ф. А. Вигдорова не была лично знакома с И.

[1] Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой: в 3 т. М. : Время, 2013. Т. 3. С. 464.
[2] Там же. С. 448.
[3] Волков С. М. Диалоги с Иосифом Бродским. М. : Эксмо, 2004. С. 192.

А. Бродским и не имела возможности выяснить его философию и эстетику, к тому же не вполне сформированную к 1964 году. Но она, благодаря собственному литературному прочтению ситуации, сумела точно выделить мировоззренческие основания жизненной и художественной позиции поэта. Выстраиваемые ею литературные параллели легко распознавались широким читателем, знакомым со школьной скамьи с романтизированным образом поэта-изгоя, поэта-пророка.

Журналистка усилила контраст процессуальных стратегий и поведенческих моделей обвинения и защиты. В зале суда столкнулись не разные мнения, а два мира. Власть и интеллигенция существуют в разных хронотопах: вершащие неправедный суд – в сталинском прошлом, защитники – в историческом будущем, где ценность творческой личности, свободы слова и волеизъявления не требуют доказательств. Сторона обвинения являет собой персонифицированное воплощение судебного произвола. Косноязычию общественных обвинителей, их агрессивности и невежественности противостоит взвешенная, продуманная позиция защиты. Апелляция к здравому смыслу – вечный довод людей культуры. Политическая демагогия – тактика власти и её марионеток.

Вигдорова активизирует литературно-общественную память читателей. Речи свидетелей обвинения: Логунова, Николаева, Смирнова, Воеводина, Ромашовой – начинаются с характерного заявления: «Я лично с Бродским не знаком»[1]. Далее следует признание в весьма приблизительном знакомстве и с творчеством поэта. В сознании «шестидесятников» это рождало воспоминания о другой недавней травле и типовой фразе: «Я Пастернака не читал, но скажу…». Автор добивается внелитературного эффекта – стремится воззвать к памяти и пробудить гражданскую активность читателей. Суд над поэтом – политический спектакль с заранее предрешённым концом. Предвзятость судьи и свидетелей обвинения красноречиво убеждает в безнравственности происходящего. Ясно, что Бродский будет осуждён, насколько бы ни были убедительны аргументы защиты.

[1] Вигдорова Ф. А. Судилище. С. 231, 235, 237.

Журналистка вскрыла законы социальности: политическая конъюнктура сильнее доводов разума, закон защищает не человека, а идеологические догмы.

Запись завершается открытым финалом: «Дружинники (проходя мимо защитницы): Что? Проиграли дело, товарищ адвокат?»[1]. Эта концовка производит сильное эмоциональное воздействие. Автор подводит читателей к выводу: честные люди должны сплотиться в борьбе за человека, дать отпор судебному произволу, восторжествовавшему и на этот раз. Случившееся не частный эпизод социальной жизни, не факт персональной судьбы, а новый вызов реакционных сил историческому и социальному прогрессу. Возможно ли оздоровление общества? На этот вопрос нужно ответить не словом, а делом. Если ты истинный гражданин и порядочный человек, поймёшь, что от твоей воли и решимости зависит будущее страны, воспримешь «дело Бродского» как своё личное и включишься в борьбу за него. Литературный приём – открытый финал – усиливает внелитературную семантику произведения.

Итак, художественное начало в материалах Ф. А. Вигдоровой реализует себя в моделировании текста по литературным схемам: конструировании образа главного героя по образцу поэтической биографии, апелляции к литературной памяти читателей, в дополнительном, литературном звучании юридического прецедента. Вигдорова добивается эстетической значимости текста за счёт «отбора и творческого сочетания элементов, отражённых и преображённых словом» (Л. Я. Гинзбург). Художественные приёмы в поэтике публицистического текста позволили автору мастерски смоделировать характер читательского восприятия, являлись элементом авторской стратегии.

У записи Ф. А. Вигдоровой был широкий адресат: власть, литературное сообщество, общественность. Представители власти, к которым апеллировали после суда друзья И. А. Бродского, должны были увидеть очевидную абсурдность обвинения и вынесенного приговора. При этом механизм проведения политических кампаний по борьбе с очередным «внутренним врагом» внутри профессиональных сообществ к 60-м годам устоялся. Власть

[1] Вигдорова Ф. А. Судилище. С. 247.

определяла направление движения – спускала директиву, постановление, резолюцию, а реализовывали их конкретные люди – руководители творческих союзов и вчерашние друзья новоявленных изгоев. Ритуальной формой остракизма было объявление книг писателя буржуазными, несоветскими, враждебными советскому искусству. С такими характеристиками уничтожались, как известно, не только отдельные явления, личности, но и целые направления искусства и науки. Б. Л. Пастернак, обращаясь к литераторам накануне своего исключения из Союза писателей, заявлял по этому поводу: «Я ещё и сейчас, после всего поднятого шума и статей, продолжаю думать, что можно быть советским человеком и писать книги, подобные "Доктору Живаго". Я только шире понимаю права и возможности советского писателя и этим представлением не унижаю его звания. <…> Обстоятельства могут вас заставить в расправе со мной зайти очень далеко, чтобы вновь под давлением таких же обстоятельств меня реабилитировать, когда будет поздно. Но этого в прошлом уже было много! Не торопитесь, прошу вас. Славы и счастья вам это не прибавит»[1]. Тогда коллег это не остановило. В деле И. А. Бродского журналистка видела индикатор нравственного состояния творческого сообщества. Литераторы должны отказаться от практики профессионального предательства, не помогать власти уничтожать неугодных, а спасать «своих». Писатель – совесть и голос нации. Журналистка убеждена в действенности и вневременной справедливости этой нравственной максимы. Достанет ли у коллег Бродского мужества восстать против беззакония, свершающегося в очередной раз над одним из них? Если да – значит, пробуждение интеллигенции от мертвящего страха сталинизма свершилось и обновление страны возможно. Если нет – этого нельзя ждать от «простых советских людей», привыкших доверять пропагандисткой лжи. Ф. А. Вигдорова убеждена в просветительской миссии и историческом предназначении интеллигенции – вести за собой общество.

---

[1] Письмо Б. Л. Пастернака в Президиум Правления Союза писателей СССР в связи с общемосковским собранием писателей // «А за мною шум погони…» Борис Пастернак и власть. 1956-1972. : Документы. М.: РОССПЭН, 2001. С. 153-154.

Реакция литераторов показала, что Ф. А. Вигдорова попала в общую болевую точку: К. И. Чуковский, С. Я. Маршак, А. Т. Твардовский и многие другие поднялись на защиту незнакомого поэта. Показательно, что при личном знакомстве, после возвращения из ссылки, И. А. Бродский разочаровал и К. И. Чуковского, и А. Т. Твардовского: показался мельче художественного воплощения. Такова была убедительность литературного образа, созданного Ф. А. Вигдоровой.

Стать толчком к действию мог только эмоционально заряженный текст. В записи ощущается глубоко драматичное восприятие происходящего автором. Суд над Бродским журналистка ощутила как индивидуальную и коллективную травму. Во время обсуждения в 1956 году в ЦДЛ романа В. Д. Дудинцева «Не хлебом единым» К. Г. Паустовский напомнил собравшимся имена репрессированных в годы сталинизма писателей. Ф. А. Вигдорова конспектировала и распространяла в самиздате эту речь, произведшую на неё колоссальное впечатление. Ситуация с И. А. Бродским виделась ей, как и многим коллегам, продолжением сталинских репрессий в отношении интеллигенции. Записать, побудить к действию других, сделать самой всё возможное для спасения поэта означало для Ф. А. Вигдоровой изжить свою боль, выговорить травматичный опыт произошедшего: «… я никогда не забуду, как он стоял в этом деревянном загоне под стражей. И может быть, всё будет хорошо, и он выйдет на дорогу и станет большим поэтом, а я всё равно не забуду, как он смотрел – беспомощно, с изумлением, с насмешкой, с вызовом – всё разом»[1].

Вигдорова создала «литературный факт» – событие, вошедшее в структуру литературной и общественной жизни 1960-х годов. Её текст сыграл программную роль в становлении жанра судебной хроники, методах ориентации «шестидесятников» в общественной ситуации, формировании тезауруса самиздата, активизации защитных сил внутри литературного сообщества, моделировании поведенческих схем и стратегий выживания нонконформистов.

---

[1] Чуковская Л. К. Памяти Фриды. С. 369.

Семантика текста выходила за его границы. Она пополнялась за счёт литературно-общественных событий: разгрома Н. С. Хрущёвым выставки в Манеже, встреч руководства страны с творческой интеллигенцией 1963 года, на которой глава государства громил авангардных художников, джазовых музыкантов, обвинял в «антисоветчине» А. А. Вознесенского и В. П. Аксёнова. Эти факты усиливали обеспокоенность творческой интеллигенции собственной будущностью и политическими тенденциями современности. Запись суда над И. А. Бродским была для Ф. А. Вигдоровой попыткой предотвратить возвращение наихудшего периода отечественной истории. Перевести конкретный факт социальной жизни в масштаб истории означало для неё и других нонконформистов осознать себя ответственными за будущность страны. Осмысление момента как судьбоносного, исторического становилось способом преодоления его бесповоротности, шагом к победе либеральных сил над консервативными. Такая трактовка истории определяла их жизненные и творческие практики. Реакция на текст Ф. А. Вигдоровой подтверждает это: «Вчера в Доме журналистов на диспуте "Мораль и суд" выступал Тендряков и сказал, что дело Бродского волнует людей во всех углах страны, что он читал запись Вигдоровой и, если это правда, – надо судить Суд…»[1].

Внелитературный контекст трансформировал запись из литературно-публицистического высказывания в форму художественной деятельности. Текст стал гражданским поступком Ф. А. Вигдоровой, запустив в нонконформистском сознании механизм мифологизации уже её собственного образа (например, в очерке Чуковской «Памяти Фриды»).

Борьба за пересмотр приговора И. А. Бродскому объединила литературную общественность Ленинграда и Москвы, продемонстрировала способность либеральной интеллигенции к сплочённым действиям, подтвердила поколенное единство как регулятор социальной активности.

Изменение приговора поэту породило в общественном сознании «шестидесятников» эйфорию, помешавшую оценить подлинные причины

[1] Чуковская Л. К. Отрывки из дневника. Иосиф Бродский. С. 284.

принятого решения. В «деле Бродского» было несколько юридических нюансов, весьма значимых для его пересмотра. Оно разбиралось в административном порядке. Поэта судили не по статье Уголовного кодекса, а по Указу «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими паразитический образ жизни» от 1961 года, следствие не проводилось, не было и соответствующего дела прокурорского надзора на местном, районном уровне. Суд сам запрашивал нужные справки, вызывал свидетелей и выносил вердикт. Это дало основание защите доказывать ошибочность принятого решения. Верховный Суд также имел возможность для манёвра: заключение народного суда, принятое без предварительного расследования и участия в процессе прокурора, можно пересмотреть, что и было сделано под давлением отечественной и мировой общественности. При этом И. А. Бродский не был амнистирован. Это позволило власти сохранить лицо: идеологическая составляющая приговора осталась в силе, клеймо тунеядца с поэта не было снято. Однако с ним поступили якобы гуманно, заменив 5 лет ссылки реально отбытым к моменту пересмотра дела сроком – 1 год и 8 месяцев. Кроме того, на решение повлияло желание Москвы приструнить ленинградскую верхушку, инициировавшую процесс и проведшую его с явными процессуальными нарушениями: «Дело было <…> в проблеме взаимоотношений центра и влиятельных регионов в послевоенное советское время (тем более – на стыке хрущёвской и брежневской эпох, когда происходило перераспределение власти и влияния)»[1]. Однако литературной общественностью это событие было воспринято как победа антидогматических сил, подтверждающая продуктивность борьбы за восстановление социальной справедливости.

Последующие суды над инакомыслящими имели иной характер: «антидиссидентские статьи» предполагали гораздо более строгие наказания: статья 70 (антисоветская агитация и пропаганда) УК РСФСР лишала свободы на срок от шести месяцев до семи лет или допускала ссылку на срок от двух до пяти лет. Статья 190[1] (распространение заведомо ложных измышлений, порочащих

[1] Эдельман О. В. Процесс Иосифа Бродского. С. 165.

советский государственный и общественный строй) наказывала лишением свободы на срок до трёх лет, или исправительными работами до одного года, или штрафом до ста рублей. Статья 190^2 (надругательство над Государственным гербом или флагом) подразумевала лишение свободы на срок до двух лет, или исправительные работы до одного года, или штраф до пятидесяти рублей. Статья 190^3 (организация или активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок) – на срок до трёх лет, или исправительные работы до одного года, или штраф до ста рублей. Осуждённый по этим статьям мог рассчитывать на помилование, условно-досрочное освобождение или амнистию. Пересмотр приговора оставался, скорее, теоретической возможностью. О помиловании, как правило, не просили сами диссиденты, поскольку вины своей на суде не признавали.

Политический характер статей определял жёсткую позицию власти. Соответственно менялась тактика поведения диссидентов и составителей судебных хроник. Их основной задачей было не только достучаться до власти, но и доказать моральную ущербность вынесенных приговоров, идеологическую состоятельность социальной позиции осуждённых. Соответственно, наряду со стратегией защиты актуализировалась конкурентная стратегия.

Составители последующих судебных хроник – А. И. Гинзбург, П. М. Литвинов, Н. Е. Горбаневская – следуют поведенческой модели, признанной эффективной:

– записать судебный процесс, предать гласности материалы суда для мобилизации единомышленников в деле защиты осуждённых;

– апеллировать к власти, ссылаясь на нарушения закона в ходе процесса;

– привлекать самые широкие круги общественности как внутри страны, так и за рубежом для давления на власть.

Текст Ф. А. Вигдоровой выступал в качестве образца: сохранён закон целостности изображения – о событии рассказано от начала и до конца, читателю не приходится домысливать изображённое. Время однонаправленно: повествование не забегает вперёд и не возвращается назад. Автор следует за

событиями, не нарушая их последовательности, достигает панорамности картины.

Потребность в максимальной информативности приводит авторов к созданию жанра книги-отчёта, в которой зафиксированы все этапы развития судебного процесса: от предыстории до судебной хроники и отчёта о резонансе уголовного процесса в советской и иностранной прессе.

Как известно, название «Белая книга» сборнику о «деле Синявского и Даниэля» дали западные издатели[1], точно определившие жанровую модель, лежащую наряду с судебной хроникой в основании текста А. И. Гинзбурга. Белая книга – жанр документальной публицистики, сборник документов, посвящённый одной социально-политической проблеме. Возникнув в XIX веке, в XX-ом Белая книга получила широкое распространение. В 1950-е годы Белые книги издавали общественные организации ГДР и ФРГ. В отличие от судебной хроники, где позиция автора выявлена в комментариях, автор Белой книги стремится к объективности и беспристрастности. Он только составитель сборника документов.

Вероятные причины обращения А. И. Гинзбурга к жанру Белой книги косвенно назвал современный исследователь, заметивший в культуре 1960-1970-х годов повышенное внимание общественности, как европейской, так и советской, к вопросам права. Соблюдение духа и буквы закона виделось в Европе гарантией от рецидивов фашизма, а в Советском Союзе – от повторения сталинизма[2]. Продолжая логику исследователя, легко понять, что Гинзбург двигался в русле общекультурных тенденций. Белые книги традиционно составлялись по поводу политических событий. Таким политическим событием видится автору суд над писателями. Кроме того, язык документов был адекватен духу уголовного процесса, позволяя составителю вести повествование, оставаясь в правовом поле.

---

[1] Александр Гинзбург: русский роман / авт.-сост. В.И. Орлов. М. : Русский путь, 2017. С. 197.
[2] Козлов Д. Ю. Наследие оттепели: к вопросу об отношениях советской литературы и общества второй половины 1960-х годов // Новое литературное обозрение. 2014 № 1. С. 189.

Гинзбург мог вдохновляться вполне конкретным примером: в 1956 году Информационным бюро Совмина Венгерской Народной Республики была опубликована Белая книга о событиях в Венгрии, в 1957 году она была переиздана на русском языке в Москве[1]. Тот факт, что просоветский по идеологическому характеру источник мог послужить моделью книги, неудивителен. А. И. Гинзбург, во-первых, не считал свой труд антисоветским, напротив, был убеждён в позитивном значении своей работы для советского общества, а во-вторых, использовал базовый принцип Белой книги – говорить о юридическом прецеденте языком документов, самодостаточных для оценки событий, предоставить читателям максимально полную картину произошедшего. Авторский комментарий при этом сведён к минимуму. В таком случае гражданская и личная позиция составителя сборника реализует себя в характере собранных документов.

Композиция книги трёхчастная: первая часть – материалы, относящиеся к периоду следствия; вторая – документы, посвящённые судебному процессу; третья – документы, возникшие после процесса. В примечаниях содержатся отклики мировой и отечественной прессы на публикации о процессе. Замыкают сборник заметки о судьбе свидетелей защиты, активистов, инициировавших общественное движение по защите подсудимых.

«Белая книга о деле Синявского и Даниэля» имеет посвящение Ф. А. Вигдоровой, что указывает на неразрывную связь двух процессов, отсылает к записи суда над И. А. Бродским как к пре-тексту, тексту-прецеденту, определяющему нравственно-этический характер восприятия данного суда, задаёт читателю систему нравственных координат в оценке суда над писателями, диктует поведенческую парадигму по защите литераторов – действовать так же решительно и сплочённо, как и в «деле Бродского». Возможно, текст Ф. А. Вигдоровой отчасти подсказал и идею создания Белой книги. Действительно, в записи суда над Бродским неоднократно упоминается статья

[1] Контрреволюционные силы в венгерских октябрьских событиях : в 5 ч. / Информационное бюро Совета Министров Венгерской Народной Республики. М. : Изд-во иностранной литературы, 1957. Ч. 3. 155 с.

«Окололитературный трутень», но её содержание не фигурирует в тексте Ф. А. Вигдоровой и может быть незнакомо читателю. Гинзбург избегает семантических лакун, включив в книгу не только обвинительные статьи З. С. Кедриной «Наследники Смердякова» и Д. И. Ерёмина «Перевёртыши», предварявшие процесс, но и представив широкий спектр международных и отечественных откликов на суд. Автор стремился дать полную картину социальной действительности, представить суд как «микрокосм», в котором отражён «макрокосм» советского общества, вскрыть специфику индивидуальной и массовой психологии, выявить типовые поведенческие модели.

Основные аргументы защиты обвиняемых, найденные массовым сознанием либеральной интеллигенции и зафиксированные А. И. Гинзбургом, повторяют доводы Ф. А. Вигдоровой: недопустимо судить писателей за их литературный труд, идеологизированная оценка творчества искажает подлинный смысл писательской позиции. При этом А. И. Гинзбург апеллировал к руководству страны, ссылаясь на негативный международный резонанс процесса. Считая власть одним из основных адресатов текста, А. И. Гинзбург выражал типичную для защитников А. Д. Синявского и Ю. М. Даниэля надежду на возможность смягчения приговора, то есть двигался по пути, проложенному Ф. А. Вигдоровой.

Однако обращение за поддержкой к мировому сообществу не предполагалось журналисткой. Запись попала за границу благодаря усилиям её друзей (Л. З. Лунгина передала её французскому исследователю античности Ж-П. Ренану, Л. А. Зонина – Ж.-П. Сартру, Л. З. Копелев – Г. Бёллю)[1]. И хотя Ф. А. Вигдорова, безусловно, знала о переправке материалов за границу, воспринимала вмешательство зарубежных коллег в отечественное дело как дополнительную меру. В её задачу входил поиск объединяющих мотивов, способных сплотить нонконформистские силы внутри страны. Ф. А. Вигдорова их нашла – память о коллективной травме, страх возобновления сталинских репрессий. Не допустить возвращения худших времён, по её мнению, могла

[1] Раскина А. А. Фрида Вигдорова и дело Бродского: мифы и реальность. С. 270-271.

только сама советская общественность. Запад в этих умопостроениях не учитывался. Её позиция – не только проявление изоляционизма, в целом типичного для советских людей на рубеже 1950-1960-х годов, но и проявление высокой нравственной требовательности к современникам.

А. И. Гинзбург открыл книгу откликами мировой прессы на известие об аресте Синявского и Даниэля. 24 документа (статьи из газет, открытые письма и телеграммы в адрес членов советского правительства и руководителей Союза писателей) семантически тождественны: мировая общественность взволнована арестом писателей. Количество должно было стать дополнительным аргументом: если писатели и журналисты различных стран повторяют одни и те же доводы защиты, к ним стоит прислушаться. Особый акцент сделан составителем на отзывах писателей-коммунистов – друзей Советского Союза, которых невозможно заподозрить в политической предвзятости. Так автор, составивший сборник после вынесения приговора, выявлял изначальную ошибочность проведённого процесса.

В отношении к Западу А. И. Гинзбург демонстрировал большую открытость позиции, чем предшественница: общественность внутри страны может и должна опереться на мировое общественное мнение, поскольку с ним считается власть. Едва ли стоит оценивать эту точку зрения как прозападную. Гинзбургом двигали прагматические мотивы: он стремился убедить руководство страны в нежелательных политических последствиях уголовного преследования писателей.

Отдельную сюжетную линию первой части составляют письма в адрес М. А. Шолохова. Арест А. Д. Синявского и Ю. М. Даниэля совпал с присуждением писателю Нобелевской премии. Приехав в Стокгольм на церемонию награждения, М. А. Шолохов столкнулся с настойчивым желанием западных журналистов и литераторов выяснить его отношение к произошедшему. Документы «Белой книги» свидетельствуют о стремлении писателя уклониться от интервью и встреч с зарубежными коллегами, избежать выражения своей позиции. В третьей части содержится

фрагмент его выступления на XXIII съезде партии, выдержанного в духе ярого сталиниста, и ответ Л. К. Чуковской, предавшей М. А. Шолохова остракизму за отступничество от великих идеалов русской литературы. Её гневная отповедь коллеге, дискредитировавшему себя в глазах либеральной общественности, композиционно закольцовывает «линию Шолохова» и выражает позицию составителя сборника: каковы бы ни были мотивы – партийная дисциплина, взявшая верх над солидарностью, страх потерять статус в профессиональной номенклатуре или идеологические догмы, ставшие мировоззрением, – писатель не имеет права забывать о своём высшем назначении – служить правде, защищать гонимых. М. А. Шолохов дал образец недостойного профессионального поведения. А. И. Гинзбург стремился этим антипримером стимулировать движение защиты внутри литературного сообщества.

Анализ документов первой части позволяет выявить весь спектр аргументов защиты, использованных на этапе следствия. Главный – уголовное преследование писателей наносит удар престижу страны на международной арене. Обращение к нормам советского права также давало основания надеяться на освобождение литераторов, поскольку в законодательстве нет статей, предусматривавших уголовную ответственность за публикацию художественных произведений за границей. Общим доводом является также утверждение презумпции невиновности, необходимость применения которой широко обсуждалась в те годы в советской прессе. Разоблачить юридическую несостоятельность предъявленных обвинений, как думалось многим, означало победить. В аргументах интеллигенции защитная риторика дополнена правозащитной.

Количество документов с выражением возмущения советской творческой интеллигенции арестом писателей в книге Гинзбурга велико (10 против 5, поддерживающих обвинения Д. И. Ерёмина и З. С. Кедриной) и позволяет сделать вывод, что на этапе следствия у либеральной общественности сохранялась явная надежда на возможность отмены уголовного преследования. Н. А. Воронель так характеризовала общее настроение друзей литераторов: «… у

нас было ощущение, что мы можем остановить этот процесс. Не только не пойти по этапу вслед за ними, но даже их самих вытащить. Мы вообразили, что если сумеем настоять, сумеем сплотить свою группу – учёных, интеллигентов, – то, может быть, наше противостояние остановит необратимое сползание к сталинизму. Мы были уверены, что начинается возврат к сталинизму»[1]. Мемуаристка вскрыла главную движущую силу, определявшую движение защиты – страх рецидива сталинизма. Внутренне примириться с возрождением режима, не имевшего нравственного оправдания, нельзя – значит, надо отвоёвывать пространство нравственной и духовной свободы, опираясь на свод законов международного и отечественного права. Это нонконформисты и делали.

Но означает ли широкое защитное движение безоговорочную поддержку литературной общественностью писательского поведения А. Д. Синявского и Ю. М. Даниэля? «Белая книга», казалось бы, даёт однозначный ответ на этот вопрос. В первой части преобладают письма защиты. Однако современный исследователь, проанализировав отклики, хранящиеся в 3 архивах – «Нового мира», в отделе группы писем ЦК ВЛКСМ и следственном деле Синявского и Даниэля, отмечает, что мнения их авторов распределились следующим образом: из 85 писем 47 носили осуждающий характер и 34 – письма поддержки. Таким образом, писем-осуждений было несколько больше[2].

Воспоминания современников также заставляют откорректировать представление о массовой поддержке литераторов, возникающее в процессе знакомства с данным корпусом документов. Например, А. Т. Твардовский невысоко оценивал как художественные достоинства прозы Синявского – «муренция»[3], так и нравственное значение поступка. По его мнению, опубликованные за границей тексты могли стать орудием пропаганды, направленной против СССР. Убеждённый в высокой ответственности

---

[1] Воронель Н. А. Без прикрас. Воспоминания. М. : Захаров, 2003. 432 с. С. 144.
[2] Козлов Д. Ю. Наследие оттепели: к вопросу об отношениях советской литературы и общества второй половины 1960-х годов // Новое литературное обозрение. 2014. № 1. С. 204.
[3] Твардовский А. Т. Новомирский дневник: в 2 т. Т.1. С. 403.

художника за своё творческое поведение, редактор «Нового мира» не оправдывал легкомыслия и недальновидности. Недопустимо играть на руку врагам, какими бы благородными внутренними позывами ты при этом ни руководствовался.

В условиях неутихающей холодной войны такими мотивами определялась неприязнь многих современников. В «Белой книге» ту же позицию демонстрировал на суде один из свидетелей защиты писатель Ю. С. Хазанов. Он был убеждён, что печататься надо в своей стране, не давая повода зарубежным пропагандистам использовать произведения в антисоветских целях[1]. Очевидно, что отбор текстов производился А. И. Гинзбургом в соответствии с главной авторской концепцией – изобразить нравственный и идеологический разлом в обществе, представить позицию консерваторов, затеявших процесс, как исторически обречённую, хотя и довольно действенную.

Попробуем разобраться во внутренних мотивах поведения А. Д. Синявского и Ю. М. Даниэля. Необходимо различать жизненные принципы и поведенческую практику. Свобода творчества, независимость писательской позиции – незыблемые жизненные принципы для писателей. Настаивая на самоценности художественного образа, А. Д. Синявский и Ю. М. Даниэль и свою поведенческую модель строили по литературному образцу. При этом способом их реализации стали те же трикстерские приёмы, что мы наблюдали в самоидентификации В. К. Буковского. Рубежные эпохи (именно так своё время осмысливали нонконформисты) зачастую актуализируют модерный тип личности – индивидуалистический, мобильный, включающий в поведенческий арсенал манипуляции в качестве средства достижения цели. М. Н. Липовецкий называл трикстерство «константой русской культуры XX века»[2], имея в виду не только трансформацию мифологического образа в советской литературе (Хулио Хуренито, Беня Крик, Остап Бендер, Сандро из Чегема и др.), но и ориентацию

---

[1] Белая книга о деле Синявского и Даниэля. С. 260.

[2] Липовецкий М. Н. Трикстер и «закрытое общество» // Новое литературное обозрение. 2009. № 6. URL: https://magazines.gorky.media/nlo/2009/6/trikster-i-zakrytoe-obshhestvo.html (дата обращен. 12.11.19)

многих деятелей культуры на архетипическую модель поведения. Причиной едва ли не массового трикстерства исследователь считал «закрытость» советского общества, с его постоянно меняющимися, непрозрачными законами социальности, провоцирующими человека к игровым поведенческим навыкам и цинизму как средству выживания.

Особенно явно эту стратегию реализовывал, как говорилось выше, в своём творческом поведении А. Д. Синявский. Характерный эпизод произошёл во время работы критика над статьей о Б. Л. Пастернаке. Не желая идти на уступки цензуре и в то же время не намереваясь отказываться от работы (нужны были деньги для строительства кооперативной квартиры в писательском доме), А. Д. Синявский избрал метод затягивания срока исполнения. Когда же лимит времени был исчерпан, он предложил издательству «простой выход» – заменить автора вступительной статьи, поскольку его трактовка творчества поэта не устраивает редактора. Тогда эта хитрость сработала: статья была принята фактически без купюр. Игровые тактики непонимания, ускользания от преследования, переворачивания ситуации в свою пользу применялись им и впоследствии. Как известно, познакомившись с Э. Пелетье-Замойской, писатель вскоре получил предложение от КГБ информировать органы о содержании бесед с дочерью французского военно-морского атташе. Согласие было им дано, о чём А. Д. Синявский информировал объект наблюдения. И уже вместе с Э. Замойской они решали, какого рода информацию стоит поставлять в КГБ. Амбивалентность и внеморальность трикстера, как отмечал М. Н. Липовецкий, органичны навыкам комического преодоления границы между официальным и неофициальным планом советского общества[1]. Избирая позицию вненаходимости, обыгрывая внутренние противоречия системы, Синявский в соответствии с логикой архетипического характера разрушал внутреннюю иерархию и стратификацию, переворачивал поведенческую нормативность официальной культуры.

---

[1] Липовецкий М. Н. Трикстер и «закрытое общество».

М. М. Бахтин выявлял художественное значение позиции трикстера, подчеркивал его способность создавать вокруг себя эстетическое пространство[1], что выражается в театральных поведенческих приемах: переодевании, использовании «маски» – в данном случае псевдонима. Выбрав его из одесского блатного фольклора, А. Д. Синявский в писательском поведении и повседневной практике не расстался с приёмами художественного образа Абрама Терца – карманника, мошенники и плута. Без сомнения, литератор хорошо осознавал степень риска, передавая рукописи за границу для публикации. Пример расправы с Б. Л. Пастернаком, однако, не остановил ни его, ни последовавшего его примеру Ю. М. Даниэля.

Нарушение границ и переворачивание социальных и культурных норм – важнейший метод действия трикстера. Свобода, абсолютная и безусловная ценность, реализуется в цинических приёмах поведенческой тактики – непочтительности, наплевательства, непринадлежности. Негативные ценности приобретают первостепенное значение. Пойти наперекор запретам и высказать потаённые мысли в текстах, заведомо «непроходных» в подцензурном пространстве, – значит продемонстрировать умение обмануть власть и добиться свободы самовыражения. Дух непочтительности к культурным нормам не мешает трикстеру потреблять ценности отвергаемого им общества: получать образование, успешно социализироваться и прочее. Однако в игровом мироощущении это уживается с потребностью пустить всё коту под хвост, рискнуть всем.

Трикстерство стало неотъемлемой частью писательской субъективности Синявского, способом самоутверждения в условиях несвободы от жёстких норм и правил существования. Однако надеть маску трикстера писателей заставило не желание погрузиться в эстетическое пространство, а потребность укрыться от возможных репрессий. Жизнетворчество, продиктованное политическими причинами, оказалось психологически и эстетически ущербным: оно спровоцировало неприятие их писательского поведения значительной частью

[1] Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Худож. лит., 1975. С. 309.

либеральной интеллигенции, а также идеологические ярлыки «двурушников», «отщепенцев», «людей с двойным дном» со стороны официальной власти. В художественном творчестве помешало обоим: Ю. М. Даниэль не смог полностью раскрыть свой талант (после заключения он уже не брался за перо), литературоведческая и писательская палитра А. Д. Синявского сузилась до использования найденных для поэтики Абрама Терца приёмов остранения, иронии, ёрничества.

Думается, что практически всеобщее восхищение либеральной интеллигенции позицией А. И. Солженицына в эти же годы продиктовано принципиально иной ролевой стратегией литератора. Моделирование собственного писательского образа по схеме культурного героя, с непременными приёмами открытого протеста официальным ценностям, сопротивления психологическому и социальному давлению, тактикой нанесения опережающего удара и прочее, оказалось созвучно мироощущению советской интеллигенции, воспитанной литературой и пропагандой на героических поведенческих образцах.

А. И. Гинзбург осознавал предпочтительность для общественного мнения героической модели поведения и стремился переломить восприятие современников с негативного на положительное через героизацию А. Д. Синявского и Ю. М. Даниэля. Для этого поместил в сборник статьи и отзывы, трактующие их деятельность именно с этих позиций. Одним из таких текстов явилась статья Э. Замойской («Монд», 1966 год, 17-18 апреля), где она, размышляя о мировоззренческой эволюции, совершённой поколением «шестидесятников» под влиянием доклада Н. С. Хрущёва на XX съезде, пишет: «Мои бывшие товарищи по университету внезапно почувствовали угрызения совести за трагедию, которую пережили миллионы невинных людей в концлагерях, почувствовали свою личную ответственность и соучастие в этих преступлениях, ибо во имя патриотизма, понятого как конформизм, они позволяли совершаться этим преступлениям. Стыд породил желание больше не оставаться пассивными, т. е. равнодушными к любой самой малой

несправедливости. Те, у кого было редкое мужество не подчинить свою совесть лозунгам дня, стали героями. У этого поколения утверждалось новое понимание советского патриотизма. Такова же была реакция А. Д. Синявского и Ю. М. Даниэля, толкнувшая их писать»[1].

В том же духе высказался В. Т. Шаламов в «Письме старому другу»: «Синявский и Даниэль поверили правде <…>. Поверили и стали её укреплять, ибо с трибуны XX и XXII съездов партии повести Синявского и Даниэля не могут быть осуждены <…>.

Нужно помнить, что Синявский и Даниэль первыми принимают бой после чуть ли не пятидесятилетнего молчания. Их пример велик, их героизм бесспорен»[2]. Мнение В. Т. Шаламова соответствовало позиции значительной части либеральной интеллигенции.

Центральную, кульминационную, часть книги составляет судебная хроника. Она семантическое ядро текста. В ней выявляется отличная от дела И. А. Бродского стратегия власти, жизненные принципы обвиняемых и их практическая реализация.

Власть воспринимала пересмотр «дела Бродского» как своё идеологическое и политическое поражение и подготовилась к новому процессу более основательно, чем к предыдущему. Это было вызвано не личностью подсудимых, а новой идеологической стратегией, утвердившейся в обществе во второй половине 1960-х годов. Период между 1965 и 1970 годами ознаменовался рядом крупных юбилеев: двадцатилетием Победы (1965 г.), пятидесятилетием Октябрьской революции (1967 г.), пятидесятилетием Советской армии (1968 г.) и столетием со дня рождения Ленина (1970 г.). Юбилейные торжества имели большое политическое значение: они позволяли сместить акценты в общественном сознании с воспоминаний о коллективной национальной травме сталинизма на идею поступательного движения советской истории, двигающейся от одного завоевания к другому. Соответственно, примерно к 1966

---

[1] Белая книга о деле Синявского и Даниэля. С. 281-282.
[2] Белая книга о деле Синявского и Даниэля. С. 407.

году прямые упоминания о государственном насилии сталинской эпохи практически исчезли из средств массовой информации[1]. На этом фоне критическая позиция по отношению к советскому прошлому, по-прежнему занимаемая либеральной интеллигенцией, не вписывалась в новую идеологическую концепцию, раздражала и провоцировала на решительные действия. Не соответствовали ей и нонконформистские настроения, проявлявшиеся всё явственнее. Надо было остановить интенсивный сам- и тамиздат, поэтические вечера на площади Маяковского принимали неуправляемый характер, много хлопот доставлял А. И. Солженицын, международный скандал учинил повестью «Палата № 7» о применении психиатрии в карательных целях В. Я. Тарсис, в художественной среде возник феномен невозвращения на родину из творческих командировок – словом, властью было решено провести «показательный процесс» для блокирования инакомыслия в обществе. А. Д. Синявский и Ю. М. Даниэль казались подходящими мишенями: в литературной иерархии фигуры не первой величины, публикацию за границей под псевдонимом легко выдать за заигрывание с Западом. Едва ли можно было ожидать их массированной поддержки в обществе.

Следствие и ход суда контролировали высшие органы власти – Секретариат и Политбюро ЦК КПСС, включая Генерального секретаря Л. И. Брежнева. О серьёзной политической и идеологической значимости процесса свидетельствует выбор судьи – вёл процесс председатель Верховного суда РСФСР Л. Н. Смирнов. Для чего понадобилось столь высокое представительство, догадаться нетрудно: приговор, вынесенный высшим представителей юридической власти республики, не только обладает серьёзным весом, но – и это, пожалуй, главное – не допускает подачи кассационной жалобы. Кроме того, Л. Н. Смирнов обладал репутацией профессионала высокого класса. На его счету было участие в Нюренбергском процессе, ведение ряда громких уголовных дел. Не менее важным был опыт работы в открытых уголовных процессах: в 1956 году он

[1] Козлов Д. Ю. Наследие оттепели. С. 183-184.

председательствовал на суде над первым секретарём Компартии Азербайджана М-Дж. Багировым, приговорённым к расстрелу. Суд освещался в прессе. Личность и статус председателя суда должны были устранить в обществе все кривотолки в отношении компетентности судопроизводства и убедить взволнованный Запад в объективности и беспристрастности суда.

Важно и следующее обстоятельство: именно Л. Н. Смирнов, как глава республиканского суда, направлял ходатайство в Верховный суд СССР о пересмотре «дела Бродского». Текст Вигдоровой был хорошо знаком Л. Н. Смирнову (запись входила в материалы Прокурорского надзора). Он, без сомнения, осознавал, что манера ведения процесса Бродского судьёй Савельевой явилась дополнительным раздражающим фактором, сплотившим литераторов в борьбе за пересмотр дела. Знал он и отзыв Н. С. Хрущёва – «суд вёлся безобразно»[1]. Манера ведения процесса, как осознавал Л. Н. Смирнов, должна была быть безупречной с юридической и этической точек зрения. Тактика, избранная им, свидетельствует о принципиально ином, нежели судьёй Савельевой, понимании своей роли: та вела народный суд над тунеядцем И. А. Бродским и как бы персонифицировала возмущённую общественность. Её чрезмерная эмоциональность, зафиксированная Ф. А. Вигдоровой, соответствовала социальной роли. Л. Н. Смирнов воплощал беспристрастный, объективный и взвешенный голос закона. Он, в отличие от коллеги, не позволял себе очевидной бестактности и грубости. А. И. Гинзбург зафиксировал подчёркнуто корректное поведение судьи: он не прерывает выступлений обвиняемых или свидетелей защиты, делает замечания прокурору в ответ на некоторые явно провокационные реплики и вопросы, отдаёт распоряжение не вносить в протокол заявление общественного обвинителя З. С. Кедриной об антисемитском духе произведений А. Д. Синявского – словом, ведёт процесс обдуманно и аккуратно. В частности, не было запретов на конспектирование хода суда, как в случае с Ф. А. Вигдоровой. Ни Л. И. Богораз, ни М. В. Розанову, ни Б. Б. Вахтина из зала суда не изгоняли. Н. А. Воронель, жена одного из

[1] Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой: в 3 т. М. : Время, 2013. Т. 3. С. 521.

свидетелей защиты А. В. Воронеля, с удивлением замечала спустя годы: «Охрана видела, что она (Богораз – Е. С.) записывала каждое слово, но её почему-то никто не останавливал»[1]. Очевидное игнорирование Л. Н. Смирновым добровольцев-стенографистов при безусловном понимании цели их действий означало, что власть не воспринимает утечку информации как опасность: ничто не может изменить ход процесса или оказать психологическое давление на суд. Кроме того, он учитывал внимание западных журналистов, не допущенных в зал суда, но внимательно наблюдавших за его ходом, и демонстрировал открытость позиции.

Эта тактика возымела действие: возмущение либеральной общественности было вызвано сутью предъявленных обвинений, чрезмерной суровостью приговора, но не манерой проведения суда, как в случае с Бродским.

А. И. Гинзбург хорошо осознавал тактику поведения Л. Н. Смирнова. В заключительной части книги помещено «Письмо старому другу» (авторство В. Т. Шаламова в тот момент оставалось неизвестным или тщательно скрывалось), в нём содержалась трезвая оценка тактики власти, ещё одно разоблачение не формы, а сути процесса, прозвучавшее из уст человека, прошедшего сталинский лагерь и безошибочно узнавшего в деле А. Д. Синявского и Ю. М. Даниэля свойства прежних политических процессов. Поместить в книгу этот текст означало для А. И. Гинзбурга в очередной раз предупредить общество о подлинном масштабе произошедшего в зале суда: расправа с писателями – не частный эпизод, а симптом серьёзной беды – возвращения сталинских методов управления страной.

Вторая часть, судебная хроника, в большей степени, чем две другие, может быть названа идейным продолжением записи Ф. А. Вигдоровой. А. И. Гинзбург использует те же авторские приёмы: следуя за событиями, акцентирует моменты процесса, выигрышные для защиты обвиняемых, создаёт завершённую концепцию суда, выявляет его морально-нравственную и правовую несостоятельность.

---

[1] Воронель Н. А. Без прикрас. Воспоминания. М. : Захаров, 2003. С. 147.

В отличие от Ф. А. Вигдоровой составитель «Белой книги» достаточно активен в комментариях к происходящему. Роль фиксатора событий не мешает ему сопровождать выступления участников процесса собственными разъяснениями. Например, он высказывает сожаления о том, что обвиняемые не отвечали на вопросы обвинения письменно. Это могло бы уберечь их от излишней разговорчивости: называя в ходе допросов имена друзей, знакомых с их творчеством и не информировавших органы, ответчики могут им навредить. Комментарий необходим для разъяснения читателям психологического состояния подсудимых, так как их поведение может быть неверно истолковано как слабость или предательство.

Автор моделирует восприятие своего текста: предваряет выступления свидетелей биографическими справками, фиксирует их манеру отвечать на вопросы. Например, допрос Ю. С. Хазанова сопровождается ремарками «говорит что-то невразумительное», «подходит, еле живой, к судье», «что-то бормочет»[1]. Из этих комментариев слагается психологический портрет эмоционально и психологически неустойчивого человека, запуганного властью. Информация о некоторых свидетелях носит разоблачительный характер. Сообщается, что Хазанов написал на Синявского донос в КГБ, а С. Хмельницкий явился виновником ареста в 1949 году своих друзей. Эти сведения определяют характер восприятия их показаний на суде. Гинзбург убеждён, что читатель должен знать не только героев, но и антигероев нонконформистского движения. Скрывать подобную информацию от общественности преступно. Уже в середине 1980-х, после эмиграции в Израиль, А. В. Воронель опубликует в редактируемом им журнале «22» (№ 48) исповедь С. Хмельницкого, где тот подробно расскажет, как и когда был завербован КГБ[2]. В 1967 году этот факт не был известен, но личность свидетеля благодаря информации о его прошлом получила однозначную характеристику.

---

[1] Белая книга о деле Синявского и Даниэля. С. 365.

[2] Хмельницкий С. Из чрева китова // 22. 1986. № 48. URL: http: berkovich-zametki.com/ Nomer44/ SChmelnicky1.htm (дата обращения 15. 07.2019)

Кульминация второй части – последнее слово подсудимых. Литераторы вновь, как и в течение всего процесса, подтвердили чёткость своей писательской и гражданской позиции. Они отвели все обвинения в антисоветском характере собственных сочинений. А. Д. Синявский: «Я не отношу себя к врагам, я советский человек, и мои произведения – не вражеские произведения»[1]. Ю. М. Даниэль: «Никакие уголовные обвинения не помешают нам, Синявскому и мне, чувствовать себя людьми, любящими свою страну и свой народ»[2]. Более того, тон выступлений обоих литераторов свидетельствует о наступательной позиции, избранной ими. Они не оправдываются, не просят о смягчении приговора, а отстаивают право художника на свободное от идеологических препон творчество. Писатели продолжали настаивать на эстетическом, отнюдь не политическом прочтении своих текстов как единственно верном.

Использовав последнее слово как возможность продемонстрировать свои мировоззренческие и творческие принципы, литераторы зафиксировали в сознании либеральной интеллигенции модель поведения, избранную впоследствии на судах над диссидентами: не обороняться, а нападать. Осознавая предопределённость приговора и нежелание суда слышать твои доводы, всё же излагать свою гражданскую и личностную позицию в расчёте на возможный отклик в сердцах и умах современников внутри страны и за рубежом.

Запись процесса по дням перебивается документами, представляющими кампанию в СМИ. Это позволяет оценить масштабы работы по дискредитации писателей, подтверждает неоднократно звучавший в «Белой книге» тезис о неразрывной связи процессов сталинской поры и нынешнего. Методы обработки сознания общественности остались те же – идеологические заклинания вместо рационального осмысления происходящего. А. И. Гинзбург представляет цикл статьей из зала суда с характерными названиями: «Изобличение», «Пора отвечать» (Ю. Феофанов «Известия»), «Удел клеветников» (Б. Крымов «Литературная газета»), «Факты обличают», «Именем живых и погибших» (И.

---

[1] Белая книга о деле Синявского и Даниэля. С. 306.
[2] Там же. С. 327.

Конетко «Советская Россия»), «Поставщики антисоветской кухни» (корр. ТАСС), «Люди с "двойным дном"» (А. Набоков «Вечерняя Москва»). Различные журналисты из разных СМИ зачастую почти дословно цитируют друг друга, полностью солидаризируются с общественным и государственным обвинителями. К ним семантически примыкают письма трудящихся в газету – непременное дополнение ко всем пропагандистским кампаниям по борьбе с «внутренним врагом». Поскольку обвиняемые – люди творческой профессии, в данном случае письма с осуждением писателей должны были исходить от интеллигенции. Что и было сделано: сборник содержит обвинительные послания от народной артистки СССР Е. Н. Гоголевой, профессоров и преподавателей филологического факультета МГУ, где трудился один из фигурантов, дана информация об исключении А. Д. Синявского из Союза писателей. В третью часть включено письмо писателей Узбекистана, поддерживающих приговор, письмо деятелей искусства из Воронежа и другие. «Все говорят о деле Синявского, во всех лит. учреждениях выносят ему порицания по воле начальства, хотя никто из осуждающих не видел его крамольных произведений», – записал в дневнике в эти дни К. И. Чуковский[1].

Эффект полной психологической изоляции подсудимых усиливает отсутствие защитных документов, исходящих в дни процесса от коллег по литературному цеху. Сборник содержит лишь две статьи зарубежных авторов: Э. Пелетье-Замойской («Монд») и американского журналиста, известного критическими работами о правительстве своей страны А. Бухвальда. Это создаёт впечатление выжидательной позиции, занятой либеральной интеллигенцией во время суда.

Трактовка процесса А. Д. Гинзбургом выдержана в том же духе, что и в тексте Ф. А. Вигдоровой. Суд – театр абсурда, здесь не вершится социальная справедливость, облечённая в закон, а происходит новое травмирование общества, юридически бессодержательное, обусловленное идеологическим

[1] Чуковский К. И. Дневник. 1901-1969: в 2 т. М. : ОЛМА-ПРЕСС Звёздный мир, 2003. Т. 2. С. 457.

заказом. Судьи, сторона обвинения являют не правовой, а идеологизированный подход к делу. В результате правовыми средствами закрепляется травма сталинизма.

Приговор – за 3 антисоветских рассказа А. Д. Синявскому 7 лет лагерей, а за 1 произведение Ю. М. Даниэлю 5 лет лагерей – потряс общественность своей неадекватной суровостью. Чрезмерность была столь очевидна, что потребовала от властей новой волны пропагандистской риторики, заимствованной из лексикона времён Гражданской войны. Ситуация вокруг приговора усугублялась начавшимся через месяц XXIII съездом партии. Обязательный в таких случаях тезис о преемственности революционных традиций повлёк за собой новый всплеск разглагольствований о решительном отпоре «наймитам империализма», подстроившим очередную идеологическую диверсию. Славное революционное прошлое требовало от современников доказательств их классового чутья. Упоминание в речи М. А. Шолохова на съезде революционного правосознания первых лет революции, в духе которого надо было покарать преступников, соответствовало стратегии власти: утвердить в общественном сознании трактовку суда и его итог как исторически значимое деяние, подтверждающее связь эпох, прежнюю нетерпимость к скрытой контрреволюции.

Съезд был использован и защитниками фигурантов, поскольку казался прекрасной возможностью обратиться напрямую к высшему руководству страны, минуя множество низших инстанций. Кроме того, торжественно-праздничная атмосфера, обычно создаваемая в обществе в дни крупных политических мероприятий, могла поспособствовать благополучному исходу акций. Показательно, что либеральная интеллигенция действовала в соответствии с тактикой, найденной в ходе «дела Бродского»: именно его литераторы, по предложению исполняющего обязанности Генерального прокурора СССР М. П. Малярова, пытались «взять на поруки». «Поручительство» подписали тогда 13 человек: К. И. Чуковский, К. Г. Паустовский, А. А. Ахматова, Л. К. Чуковская, Ф. А. Вигдорова, Н. И. Грудинина, Б. Б. Вахтин, Э. Л. Линецкая, В. Г. Адмони, Т. Ю.

Хмельницкая, Н. Г. Долинина, Е. А. Гнедин, Г. В. Семёнов. Теперь с подобным предложением в адрес Президиума съезда и Президиумов Верховных Советов СССР и РСФСР выступило 62 писателя, некоторые из них были ходатаями и в первом случае (К. И. Чуковский, Л. К. Чуковская). Однако, как справедливо отмечал А. И. Гинзбург в «Белой книге», этот поступок вызывал уважение, но был бесполезен с прагматической точки зрения: статья 52 УК РСФСР предусматривает возможность «передать на поруки» лишь признавших свою вину и раскаявшихся преступников. Ни А. Д. Синявский, ни Ю. М. Даниэль этого не сделали. Инициатива литераторов оказалась безрезультатной.

Материалы сборника содержат протестных выступлений меньше, чем тех, где приговор одобрен (поддерживают решение суда 21-а корреспонденция, осуждают 12). Вновь соотношение голосов семантически значимо, передаёт накал агрессии в адрес осуждённых. Собранные воедино статьи из советских газет, письма трудящихся демонстрируют стереотипность обвинений, стандартизированность мышления авторов, выдают «утверждённый» характер публикаций. Современный исследователь писем трудящихся по «делу Синявского и Даниэля» заметил большую эмоциональность защитных посланий, чем обличительных[1]. Текст «Белой книги» не даёт оснований для таких выводов. Письма с обращением в различные властные структуры или членам правительства не эмоциональны, а рациональны. Они написаны образованными людьми, привыкшими ясно мыслить и убедительно аргументировать свои суждения. Их письменная речь отличается раскованностью, свободой, лишена штампов и клише и потому производит большее впечатление. Однако власть отдавала предпочтение письмам гнева и презрения, гораздо более соответствующим её собственной позиции в этом деле.

Эмоциональны были не письма, а действия сторонников писателей: демонстрация протеста на Пушкинской площади, петиционная кампания, стоившая некоторым «подписантам» увольнения с работы, исключения из партии. О судьбе друзей литераторов повествует составитель сборника.

[1] Козлов Д. Ю. Наследие оттепели. С. 204.

Свидетели защиты подверглись различного рода воспитательным мерам: И. Н. Голомшток был приговорён судом к административному наказанию в течение полугода, Я. Л. Гарбузенко несколько месяцев не мог устроиться на работу, доцент филфака МГУ В. Д. Дувакин уволен (по этому поводу 18 преподавателей и 100 научных работников подали протест в Президиум съезда партии), А. С. Есенин-Вольпин дал объяснения в КГБ. Рассказ о судьбе свидетелей защиты после процесса выявляет методы устрашения, применяемые властью по отношению к инакомыслящим.

Неизжитая коллективная травма сталинизма требовала от нонконформистов действенного метода противодействия террору. Этим орудием сопротивления духовному, а теперь уже и физическому давлению казалось обращение к мировому сообществу – издание «Белой книги» за рубежом. Однако до печати в журнале «Грани» и издательстве «Посев» составитель собственноручно отнёс её в канцелярию председателя Президиума Верховного Совета СССР Н. В. Подгорного, председателя Совета министров СССР А. Н. Косыгина, приёмную КГБ на Кузнецком мосту с предложением обменять публикацию сборника за границей на досрочное освобождение осуждённых. Однако попытка договориться не удалась. Напротив, через три месяца, 22 января 1967 года, за составление «Белой книги» и издание её за рубежом, а главное – за публикацию её в «Посеве», издательстве антисоветской организации Народно-Трудовой союз, он был арестован и в 1968 году приговорён к 5 годам лагерей. Кроме того, именно с сентября 1966 года Указом Верховного Совета РСФСР Уголовный кодекс пополнился 190-ой статьёй. Это был ответ на демонстрацию протеста 5 декабря 1965 года на Пушкинской площади и несмолкаемый ропот «Маяковки».

Сегодня даже некоторым непосредственным участникам процесса Синявского и Даниэля он кажется непропорционально шумным (Н. А. Воронель)[1]. Тогда же суд над писателями запустил механизм цепной реакции, определил политические стратегии власти и нонконформистов: она будет

[1]Воронель Н. А. Без прикрас. Воспоминания. С. 172.

запугивать и давить – они станут на каждое действие отвечать ещё более широкомасштабными контрдействиями.

В полной мере эффект «снежного кома» проявился в демонстрации против ввода советских войск в Чехословакию, проведённой 25 августа 1968 года. Её участники – Л. И. Богораз, Н. Е. Горбаневская, Т. А. Баева, П. М. Литвинов, В. Н. Делоне, К. И. Бабицкий, В. А. Дремлюга, В. И. Файнберг – реализовали потенциал средств, накопленный в ходе предварительных протестных акций. Форма протеста – демонстрация – апробирована в «деле Синявского и Даниэля» и «процессе четырёх». Способ артикуляции – книга-отчёт, вариант Белой книги – легитимирован трудами не только Ф. А. Вигдоровой и А. И. Гинзбурга, но и В. М. Черновила, П. М. Литвинова, А. А. Амальрика. Модель поведения участников определена предыдущими судебными процессами.

Н. Е. Горбаневской в книге «Полдень» сохранена семантика текстов предшественников и жанровые принципы книги-отчёта: повествованию о демонстрации предшествует корпус документов, составленный из статей иностранных и советских газет, центральная часть – рассказ о демонстрации различными участниками и очевидцами. Затем – судебная хроника в её традиционной форме (запись по дням с соблюдением диалогической формы изложения, дополненная выдержками из СМИ). В финале – рассказ о судьбе фигурантов после суда. Однако, будучи непосредственной участницей событий, она не могла ограничиться ролью стороннего, пусть и сопереживающего наблюдателя. Н. Е. Горбаневская разъясняла мотивы поведения демонстрантов, сопоставляла своё видение событий с восприятием других участников – словом, предлагала читателю авторскую версию, не скрываясь за беспристрастностью. Её авторская стратегия строится не только на традиционных в поэтике книги-отчёта приёмах (компоновка материала по тематическим блокам, композиционная структура), но и на моделировании собственной концепции.

«Полдень» составлялся в течение года, непосредственно после описанных событий. Текст сохранил драматичное переживание автора, созвучное не только фигурантам дела, но и «шестидесятникам», пережившим крах «пражской весны»

как личную и коллективную трагедию. Твардовский записал тогда в дневнике: «29. VIII. 68. Пахра. Страшная десятидневка.

Что делать нам с тобой, моя присяга,

Где взять слова, чтоб рассказать о том,

Как в сорок пятом нас встречала Прага

И как встречает в шестьдесят восьмом –

<…> Встал в 4, в 5 слушал радио – в первый раз попробовал этот час (в столь раннее время Твардовский мог слушать только западные радиостанции, так как советское радио начинало работу в 6 часов утра – Е. С.). Слушал до 6, курил, плакал, прихлёбывая чай»[1]. Степень потрясения поэта чрезвычайно велика, она свидетельствует о глубоко драматичном переживании происходящего.

Очевидно, что событие не может быть травматичным изначально. Травма индивидуальная, а тем более коллективная – формируемый процесс. Жизненный опыт становится таковым в результате погружённости личности в культурный и социальный контекст. Он предполагает восприятие, осмысление и артикуляцию события в качестве коллективной травмы. Военное вторжение в Прагу травмирует поколение советской интеллигенции, поскольку входит в контекст пережитого в эпоху ярого тоталитаризма. То, что вчера казалось угрозой – сползание страны в неосталинизм, стало неотвратимой реальностью. Надежды на «пражскую весну» как реализацию собственных чаяний на возвращение социализму его подлинного, гуманистического наполнения расстреляны советскими танками. И так же, как в худшие, сталинские, времена, рядовые граждане не осознают значения случившегося, верят пропагандистской лжи о «братской помощи» чехам и словакам в подавлении контрреволюции.

На переживаемое потрясение диссиденты ответили реакцией аффектированной, но вполне предсказуемой в контексте предварительных акций. Демонстрация протеста виделась участникам вполне адекватной формой выражения идейного и нравственного сопротивления действию властей: «Я думала: что делать? Демонстрация представлялась мне единственно

[1] Твардовский А. Т. Новомирский дневник: в 2 т. Т. 2. С. 219-220.

осмысленным актом – единственно по-настоящему *демонстративным* (курсив автора – Е. С.). При этом я по природе не склонна к такому виду протеста <…>. Но тут я чувствовала, что ничем таким ("ничем таким", то есть составлением "Хроники" – Е. С.) не могу ограничиться. Демонстрация – и только. Но то же самое решили и мои друзья …»[1].

Осмысление и артикуляция случившегося потребовали от поколения нового понимания логики истории и роли личности. Вигдорова и Гинзбург воплощали типичную для интеллигенции начала 1960-х годов позицию: история движется поступательно, социальный прогресс неостановим. Реставрация сталинизма – очевидный всем здравомыслящим людям общественно-исторический регресс. Это явление временное, преодолимое волевым усилием масс и каждой отдельной личности. Сплотив силы передовой части населения, можно вернуться на путь прогресса. Ради этой исторической миссии стоит приносить любые жертвы, включая собственное благополучие, рисковать свободой, положить жизнь.

Такой позитивистский взгляд на историю не выдержал испытания. Он потребовал переоценки всех базовых позиций. Интеллигенция должна была ответить на вопросы: рационально или фатально движение истории, способна ли личность противостоять её разрушительным силам и есть ли в этом смысл.

Ответы Н. Е. Горбаневской выдержаны в духе экзистенциального мироощущения. Выход демонстрантов на Красную площадь – потребность гражданской и личной совести, диктующей действия не прагматичные, но морально-нравственные.

Демонстранты ясно осознавали обречённость и политическую неэффективность выбранной формы протеста. В воспоминаниях участников автор акцентирует краткосрочность акции: «несколько минут» (Н. Горбаневская), «15 минут» (Т. Баева), «22 минуты» (А. Самбор, очевидец). Однако действие, бессмысленное с точки зрения житейской прагматики, имеет

---

[1] Горбаневская Н. Е. Полдень: Дело о демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 года. М. : Новое изд-во, 2007. С. 9.

для демонстрантов иное, нравственно-этическое измерение. Оно самодостаточно и самоценно: «… если даже один человек не одобряет "братскую помощь", то одобрение перестаёт быть всенародным. Но, чтобы это стало ясно, нам было мало "не одобрять", сидя у себя на кухне. Надо было в той или иной форме заявить об этом открыто»[1]. Нравственность – сила духовно-практическая. Мораль, не подкреплённая поступком, лжива. Такая трактовка этики предполагает способность не только говорить правду открыто и недвусмысленно, но доказать возможность жить по совести поступком, социально значимым, граждански мотивированным.

Духовная свобода – основной критерий личности. Она реализуется в социальных действиях. Каждый ответственен за свою индивидуальность, сохранение личностного начала. Выходом на площадь демонстранты доказали свою личностную и историческую состоятельность.

Место проведения демонстрации семантически значимо. Красная площадь – символ российской государственности и сердце Москвы. Участники акции протеста расположились у подножия Лобного места лицом к Историческому музею, дав таким образом дополнительную оценку ситуации: они, как застрельщики истории, готовы принести себя в жертву ради искупления общенациональной вины.

Демонстрация осмыслена автором как экзистенциальный вызов обществу и государству, не способным его выдержать. Смысл своей акции участники выразили лозунгами «За вашу и нашу свободу», «Да здравствует свободная и независимая Чехословакия» (по-чешски), «Руки прочь от ЧССР». Реакция горожан свидетельствует о неподготовленности обыденного сознания к восприятию точки зрения, резко отличной от растиражированной в советской печати: «Стоящие вокруг больше молчали, иногда подавали неприязненные или недоумённые реплики. Два-три оратора <…> произносили пылкие филиппики, основанные на двух тезисах: "мы их освобождали" и "мы их кормим"; "их" – это чехов и словаков. Подходили новые любопытные, спрашивали: "Что здесь?" –

[1] Горбаневская Н. Е. Полдень. С. 7.

"Это сидячая демонстрация в знак протеста против оккупации Чехословакии", – объясняли мы. "Какой оккупации? " – искренне удивлялись некоторые. Всё те же два-три оратора опять кричали: "Мы их освобождали, 200 тысяч солдат погибло, а они контрреволюцию устраивают" <…> Я на слова "Как вам не стыдно! " сказала: "Да, мне стыдно – мне стыдно, что наши танки в Праге"»[1]. Участники акции протеста, действительно, предложили очевидцам непростой выбор: житейская логика или нравственная. При этом следует признать, что из предложенных лозунгов, призванных сыграть роль коммуникатора с неподготовленными очевидцами, лишь один – «Руки прочь от ЧССР» – мог быть понят без особых усилий. Восприятие лозунга «За вашу и нашу свободу», принадлежавшего польским повстанцам XIX века и взятого на вооружение русскими демократами, требует определённых гуманитарных знаний, а призыв на чешском языке едва ли вообще поддавался осмыслению и был явно адресован иностранным корреспондентам и мировой общественности. Погружённые в нравственно-этическое измерение действительности, герои и не продумывали реакцию горожан. Готовые к провокациям со стороны власти, они оказались не подготовлены к диалогу с обычным рядовым человеком. Их толкование поведения горожан поэтому полностью уложилось в привычный для среды нонконформистов тезис об идеологической одурманенности народа.

Это нисколько не умаляет нравственной значимости и экзистенциального звучания их поступка. Демонстрация была социальной провокацией, но особого свойства: герои руководствовались экзистенциальным осмыслением проблемы личной вины каждого за совершающиеся политические злодеяния. Общество не выдержало испытания экзистенциальным вызовом. Суд продемонстрировал неспособность к критической самооценке государства.

К концу 1960-х годов технология политических репрессий была сформирована и хорошо знакома диссидентам. Это нашло отражение в книге. Автор останавливается на подготовительной работе, проведённой фигурантами перед демонстрацией: адвокаты были заранее извещены о готовящийся акции,

[1] Горбаневская Н. Е. Полдень. С. 41.

самиздат из квартир ликвидирован на случай обыска, друзья, единомышленники и родственники предупреждены.

Композиция судебной хроники отразила новую расстановку сил: акцент в ней сделан на сцене заключительного выступления обвиняемых. Их последнее слово звучит как обвинительный приговор власти, очередная демонстрация гражданских прав личности. Л. И. Богораз: «Для меня промолчать – значило присоединиться к одобрению действий, которых я не одобряю. Промолчать – значило для меня солгать. Я не считаю свой образ действий единственно *правильным*, но для меня это было единственно *возможным* (курсив автора – Е. С.) решением. <…> Если бы я этого не сделала, я считала бы себя ответственной за эти действия правительства, точно так же, как на всех взрослых гражданах нашей страны лежит ответственность за все действия нашего правительства…»[1]. В том же духе высказываются остальные фигуранты. Их суждения соответствуют мыслям, прозвучавшим в речах А. Д. Синявского и Ю. М. Даниэля: они не враги советской власти, действия продиктованы тревогой за судьбу страны, ими двигало стремление отстоять универсальные общечеловеческие ценности – свободу, правду, совесть в качестве регуляторов социальной практики.

Поведение обвиняемых, как убеждает читателей автор, рождено уверенностью в невозможности исторического обновления без борьбы, в ходе которой преодолевается социально отжившее, политически обречённое. Н. Е. Горбаневская переосмысливает традиционное толкование героизма в экзистенциальном ключе: герой – это не исключительная личность, совершающая поступок, не допускающий аналогов, а обычный человек, осознавший ситуацию как лишённую альтернативы. Он вынужден стать героем, поскольку не желает мириться с победившим злом и стремится сохранить собственную личностную идентичность. Отвечая на вопрос журналистов 1990-х

[1] Горбаневская Н. Е. Полдень. С. 205.

годов, кто они – герои или безумцы, Н. Е. Горбаневская сказала: «Просто люди, пожелавшие поступить по совести»[1].

В заключительной части книги Горбаневская вновь вернулась к вопросу о целесообразности демонстрации. Либеральная интеллигенция не сразу сумела оценить подлинное значение действа. По аналогии со словом «самосожжение» (имелось в виду самоубийство чешского студента Яна Палаха) в ближайшем окружении демонстрантов возникло ироничное «самосажание», содержащее эмоциональную оценку их поступка. Но, в отличие от массового сознания, тяготеющего к консервации однажды найденных механизмов объяснения явления, и государства, подменившего рефлексию идеологией, интеллектуальное сознание продемонстрировало способность переоценить собственное ошибочное суждение, признать непреходящую нравственную ценность поступка восьмерых. И сегодня многие помнят тот урок гражданской отваги. А. Е. Гербер, президент фонда и сопредседатель центра «Холокост», призналась однажды: «Я тяжело пережила 1968 г., когда самые мужественные вышли на Красную площадь в поддержку Чехословакии. Меня, как и многих шестидесятников, там не было. Вот когда я поняла, что я не простая шестидесятница, а типичная советская шестидесятница. Я не знала тогда этих людей, но если бы и знала, то не уверена, что была бы рядом с ними»[2].

Главный вопрос книги, мучительно осмысливаемый автором, о возможной предрешённости хода советской истории получил разрешение. В атмосфере безвременья, исторического антракта определена и изначально задана логика поведения власти, но будущее страны не фатально, оно отвоёвывается гражданами в каждый момент текущей повседневной жизни. Личность, не полагаясь на общественную поддержку, вынуждена руководствоваться собственной совестью и личной ответственностью за происходящее. Акцент в книге сделан на способности человека к нравственному выбору, духовной свободе.

---

[1] Там же. С. 7.
[2] Гербер А. Е. Шестидесятничество – это прежде всего состояние души // Шестидесятники. М. : Фонд Либеральная миссия, 2008. С. 46.

Итак, запись суда над Бродским, «Белая книга», «Полдень» являют собой вариации одного жанра – судебной хроники, трансформированной в книгу-отчёт о суде над диссидентами, – и предлагают различные тактические методы в реализации общей авторской стратегии – защиты единомышленников. Ф. А. Вигдорова даёт юридическому прецеденту литературную обработку. А. И. Гинзбург выражает собственную позицию через композицию и подбор документов. Н. Е. Горбаневская предлагает читателю авторскую концепцию произошедшего. И во всех трёх случаях книги писателей – средство конструирования группового нонконформистского сознания, способ осуществления исторического самосознания и интерпретации личного исторического опыта авторов. Литераторы создали портрет поколения, расколотого на два лагеря. Разлом проходил по восприятию истории и собственного нравственного долга. Идейным противникам в равной степени была свойственна убеждённость в общественной и исторической значимости своей профессиональной и частной жизни. Однако составители-нонконформисты были уверены, что социальным и интеллектуально-нравственным поражением поколения и отдельной личности можно считать выпадение из истории. Себя и «фигурантов» процессов Ф. А. Вигдорова, А. И. Гинзбург и Н. Е. Горбаневская справедливо считали активными участниками истории. А значит, они не жертвы, не проигравшие. Их способность к самосознанию, выразившаяся в интеллектуальном, литературном и гражданском поступке, определила плодотворность и жизнестойкость в историческом процессе.

Подведём итог. Автобиография и книга-отчёт о суде над диссидентом – жанры, в которых авторы выражали не только личную, но и коллективную идентичность. Авторская позиция в тексте, способы интерпретации событий собственной жизни и единомышленников заданы принадлежностью к нонконформистскому сообществу. Писательские стратегии в различных жанрах неодинаковы: в первом случае задача стояла подчеркнуть уникальность жизненного пути диссидента, во втором – представить нонконформизм как

норму поведения свободолюбивой личности. Разные авторские задачи привели к неоднозначному образу диссидента как представителя общественного движения. В автобиографиях акцент сделан на его инаковости: ориентации на универсальную систему ценностей в противовес идеологическим догмам, образцы свободолюбивого поведения, а не верноподданнического, самоотверженность и жертвенность вместо стремления к социальному благополучию. Составители книг-отчётов о судах, руководствуясь необходимостью защитить друзей, напротив, акцентировали «советскость» их образа мыслей и жизненных устремлений: любовь к своей стране, преданность народу, потребность приносить пользу обществу. Нестандартное социальное поведение объясняется, как говорил о себе А. Д. Синявский, «стилистическими разногласиями» с советской властью. Рассогласованность в трактовках одного явления кажущаяся, объясняется внелитературными мотивами и социальными целями автора. Специфика диссидентского дискурса (представительство автора от лица всего сообщества, однотипность осмысления современной реальности, ограниченность тем и мотивов, обращение к определённому набору поэтических приёмов, ориентация на «своего» читателя) являлась результатом вынужденного социального обособления сообщества и имела следствием истощение тезауруса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы:

– Сущность концепта «нонконформизм» выявляется в совокупности мировоззренческих оснований, ценностных доминант, поведенческих и дискурсивных практик, трансформирующихся в соответствии с социокультурным контекстом. Степень оппозиционности, как главный конституирующий признак концепта, определяет самооценку и типологию поведения личности или сообщества, идентифицирующих себя по нонконформистскому типу. Вариативные показатели (степень оппозиционности, уровень социальной мобильности, открытость или герметичность сообщества, своеобразие дискурсивных практик, наличие собственного информационного поля и контркультурных институций) – наиболее динамичный компонент в структуре концепта. Специфика конкретного типа нонконформизма выявляется при анализе всех его свойств, осмысленных в процессе трансформаций;

– Аксиология советской интеллигенции 1960-70-х годов синтезировала универсальные ценности классической культуры (антропоцентризм, гуманизм, общечеловеческую мораль) и «советский» компонент (марксистскую философию и идеологию в качестве мировоззренческой основы). Официальная идеология не разрушала базисных оснований классической модели мира и человека: идеалом выступала целостная гармоническая личность, самоидентификация производилась с ориентацией на поведенческие образцы классической культуры и литературы, гражданское поведение строилось с учётом общечеловеческих нравственных принципов, ответственности перед историей, страной, народом. Эти базовые мировоззренческие основания имели различную семантику в трактовке консервативной части сообщества и «шестидесятников». Консервативно ориентированная интеллигенция осмысливала свою функцию в обществе как стабилизирующую, «шестидесятники» ориентировались на реформирование общественных отношений, демократизацию и либерализацию социальной жизни.

Нонконформизм как мировоззренческая позиция и поведенческая практика «шестидесятников» базировался на традициях гуманизма, свободолюбия и интеллектуально-нравственной независимости, воспринятых у культуры Нового времени.

– Этика в аксиологии поколения выступала в качестве базовой ценности, самоидентификация производилась с учётом приоритета общечеловеческих нравственных принципов над классовыми. Нонконформизм, или свободолюбие, осмысливался как общечеловеческая ценность, регулятор социального поведения. На уровне бытовой морали нонконформистов действовала норма «порядочный человек», определяющая внутригрупповую коммуникацию и правила гражданского поведения. Производя социокультурное самоосмысление в парадигме «я» как нравственная единица, «шестидесятники» идентифицировали себя как общественных деятелей, восстанавливающих гуманистическую природу социализма, расширяющих пространство творческой и интеллектуально-нравственной свободы.

– Историческое сознание составляло существенный компонент самосознания «шестидесятников». Самоидентификация производилась в категориях личной ответственности перед страной и народом. Необходимость осмыслить логику и закономерности прошлого, понять духовно-нравственный смысл произошедшего с народом и страной в XX веке сочеталась в «шестидесятниках» с потребностью произвести ревизию прошлого, способствовать историческому прогрессу. Восприятие себя как субъектов истории диктовало активную гражданскую позицию, борьбу с рецидивами сталинизма в общественной жизни.

– Самосознание «шестидесятников» оценено как динамичное, подверженное трансформациям. Социокультурные реалии середины 1960-70-х годов (смена руководства страны, усиление консервативных тенденций в общественной жизни, судебные преследования инакомыслящих и т. п.) провоцировали обострение противоречий с властью, с консервативной частью интеллигенции и вызывали неоднозначные идентификационные процессы. Одна часть «шестидесятников» искала способы сохранения духовной автономии при

адаптивной социальной практике. Такая позиция могла вызывать кризис идентичности, утрату субъектной целостности, выражавшуюся в рассогласовании нонконформистской самоидентификации и конформистских поведенческих практик, то есть подлинной и демонстрируемой идентичностей. Другая, наиболее динамичная и непримиримая часть нонконформистского сообщества произвела самоопределение в парадигме социального протеста и перешла к диссидентству.

В коллективной идентичности диссидентов возникло кризисное явление – отчуждение, захватившее все сферы самосознания (отношения с государством, страной, народом и проч.). Отчуждение повлекло изменения в аксиологии: этика из базовой ценности сместилась в инструментальную, социальное поведение наряду с общечеловеческими моральными принципами стали определять прагматизм, утилитаризм, нигилизм. В историческом сознании возникло ощущении бесперспективности попыток реформирования существующей социальной системы, эсхатологические прогнозы развития социализма, мифологические («почвеннические») или утопические («западнические») проекты будущего. Отчуждение от страны и народа сопровождалось герметизацией сообщества, смещением адресата с «рядовых» советских граждан на мировую общественность, истощением тезауруса. Выход из кризисного психологического состояния требовал восстановления субъектности во всех сферах деятельности, то есть осознанного и деятельного отношения человека к жизни, социуму и к себе. Диссиденты стремились разрушить отношения господства и подчинения между государством и гражданами, видели в изменении общественной основы, провоцирующей и углубляющей конфликт, главное условие преодоления социального отчуждения. На практике это означало продолжение противостояния, углубление отчуждения. Индивидуальные варианты сохранения личностной целостности избирались самостоятельно: А. С. Есенин-Вольпин, А. Д. Синявский, Ю. Ф. Орлов и др. продолжали в лагере и ссылке научную работу. Это давало ощущение профессиональной самотождественности, несмотря на социальную

маргинальность. «Отказники» боролись за право выезда из страны, считая эмиграцию единственным реальным способом разрешения конфликта с государством. Выбор поведенческой стратегии определялся в соответствии с личностной аксиологией.

– Чёткая иерархия ценностей помогала «шестидесятникам» производить самоопределение в условиях социального обновления (так были восприняты XX и XXII съезды партии) и формировала поведенческие модели. В начале «оттепели» поведение инакомыслящих в целом оставалось в пределах советской нормативности, в социальной практике доминировала модель «защитник», соответствующая идентификации себя как субъекта диалога с государством и хранителя вневременных традиций европейской и русской интеллигенции – гуманизма, антропоцентизма, свободолюбия. Советский компонент самосознания не идентифицировался как инородный культурным традициям Нового времени. Нонконформистские социальные акции (антисталинские выступления на партсобраниях, открытые письма в защиту осуждённых литераторов и проч.) не имели подрывного характера.

Оппозиционность нарастала в связи с очевидным нежеланием руководства последовательно проводить декларированные реформы. Диссиденты находили разнообразные методы и тактические приёмы выражения оппозиционных настроений (коллективные письма протеста, защита прав личности, составление книг-отчётов о судах над диссидентами, привлечение внимания зарубежных СМИ к положению инакомыслящих и прочее), ориентировались на инновацию и социальную мобильность. В самоидентификации утвердились поведенческие модели, отражающие конфронтационную позицию: «правозащитник», «борец с режимом», «демократ западного типа» и проч. При этом, позиционируя себя как индивидуумов, равных истории, нацеленных на пересоздание действительности во имя исторического прогресса, диссиденты воспроизводили антропологические представления, типичные для советской системы координат. Принципы ненасилия, гласности, апелляции к закону, идентифицированные как

оппозиционные, как и протестные формы активности, не разрушали советской идентичности.

– Идентичность нонконформистов оформлялась, рационализировалась и утверждалась в социальном поведении. Масштабные личности (А. И. Солженицын, А. Д. Сахаров, А. И. Гинзбург и др.), реализуя коллективные запросы сообщества, легитимировали модели поведения, осмысленные единомышленниками как нравственно ценные, и становились знаковыми фигурами нонконформизма. Образец избирался в соответствии с личностным потенциалом: «защитница» Вигдорова, «писатель-пророк» Солженицын, «либерал западного типа» Буковский, «правозащитник» Есенин-Вольпин и т. д. Поведенческие образцы и формы протестной активности усваивались сообществом и в процессе тиражирования становились нормой, корректировались в соответствии с новыми социокультурными реалиями и интенциями нонконформистов и проходили селекцию. Нормативное поведение закреплялось в сознании членов сообщества, продолжало внедряться в социальную практику и систему внутригрупповой коммуникации, определяло основные формы деятельности и взаимодействия членов сообщества, слагалось в системообразующее ядро контркультуры.

– Литературно-публицистическая деятельность нонконформистов входила в социальную практику как её инвариант наряду с другими формами самовыражения (демонстрациями, митингами, специальными комитетами и проч.). Самопрезентация автора согласовывалась с коллективной идентичностью: «шестидесятники» позиционировали себя борцами за свободу художественного и интеллектуального творчества, расширение эстетических границ, освобождение человека от диктата государства, диссиденты – выразителями протестных настроений. Этим объясняется специфика диссидентского дискурса: высокая степень идеологической заряженности, ограниченность тем и однозначность их трактовок, художественная неоднородность материалов.

– Специфика дискурса диссидентов определяла полифункциональность самиздатских текстов. Авторские задачи включали критику власти, моделирование альтернативных вариантов развития страны («почвеннического», либерально-демократического и др.), прогноз социально-политических перспектив, контрпропаганду, информирование читателей о целях и задачах оппозиционного движения, мобилизацию единомышленников. Задачи рождали авторские стратегии: защиту единомышленников, дискредитацию идейных противников, легитимацию диссидентской модели писательского и гражданского поведения. Так диссидентский текст приобретал преимущественно социальные полномочия, включался в протестные действия, являлся способом самопрезентации сообщества. Ограниченные пространством сам- и тамиздата, диссиденты не имели широкого доступа к соотечественникам, привыкали ориентироваться на узкий круг читателей, суживали тезаурус, интенсифицировали самоизоляцию.

– Автобиографии диссидентов и их отчёты о судах над инакомыслящими показательны для оценки самопрезентации сообщества. Автор стремился в эго-текстах подтвердить этическую и общественную значимость жизненного пути оппозиционера, укрепить социальный статус сообщества. В отчетах о судах над инакомыслящими – склонить общественность в пользу осуждённых, выявить нравственную и правовую несостоятельность обвинений в их адрес. Идентифицируя себя как представителя преследуемого сообщества, автор избирал адекватные поведенческие стратегии – конкуренцию с идейными противниками и защиту единомышленников;

– Автобиографии диссидентов показательны для характеристики индивидуально-личной идентичности. Авторы, повествуя историю своей жизни, воспроизводят типовые приёмы нарратива. Концептуально оформил жанровый канон автобиографии диссидента А. И. Солженицын в книге «Бодался теленок с дубом». Приёмы авторского дискурса: бинарность мировосприятия, избирательность фактов, способ интерпретации, соответствующий конфронтационной социальной позиции, автомифологизация, представительство

от лица сообщества – были адекватны самоидентификации диссидентов и тиражировались в эго-текстах Л. К. Чуковской, Ю. Ф. Орлова, В. К. Буковского и др. Отступление от жанрового канона было незначительным, что свидетельствует о стремлении автора не рассказать уникальную историю жизни, а легитимировать диссидентскую модель поведения в общественном сознании. Тиражирование жанровой модели, с присущим ей типом повествования, способствовало сплочению сообщества, укрепляло внутригрупповые связи.

– Материалы судов над инакомыслящими являются выражением не только индивидуально-авторской, но и групповой позиции диссидентов, выявляют характер коллективной идентичности. Конкурентная стратегия, обусловленная необходимостью представить контраргументы в информационном противостоянии, сочеталась в данном случае со стратегией защиты. Автор стремился смягчить участь осуждённых, склонить общественность в их пользу, выявить нравственную и правовую несостоятельность обвинений и предрешённость вынесенных приговоров. При этом от одного текста к другому (Ф. Вигдорова запись суда над Бродским, А. Гинзбург «Белая книга о деле Синявского и Даниэля», Н. Горбаневская «Полдень: Дело о демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 года») усиливается тема неизбежности противостояния нонконформистов власти, драматизируется трактовка основного события – суда. Динамика самосознания авторов судебных отчётов о судах над инакомыслящими отражает трансформацию коллективной идентичности членов сообщества: от диалогической позиции, свойственной «шестидесятникам», к монологической, типичной для диссидентов.

Проведённое исследование не исчерпывает проблемы идентичности советских нонконформистов. Перспективным направлением научной работы видится нам характеристика других типов идентичностей: этно-национальной, религиозной, гендерной и проч. Выявление их специфики способно расширить представление о характере идентичности советских нонконформистов.

Значимые результаты для выявления советской субъективности можно получить при анализе механизма, именуемого в культурной антропологии

спуском образца, то есть распространением идей, нормативно-ценностных ориентиров и моделей поведения от высокостатусных групп в массовое сознание. Л. Д. Гудков и Б. В. Дубин[1] расценили надежды советской интеллигенции на гуманизацию косного социального тела, возложенные на этот механизм общественного взаимодействия, как иллюзорные. Продолжая логику учёных, следует категорически отрицать возможность влияния диссидентов на массовое сознание. Дискредитированные официальной прессой, осуждённые по антисоветским статьям, они не имели массовой поддержки. Значит ли это, что их идеи, ценности и личностные образцы однозначно отторгались и совершенно не усваивались? Негативная оценка собственного влияния на умы современников была распространена среди диссидентов в поздний советский период. Мы думаем, что более детальный анализ процесса восприятия идей диссидентов «простыми советскими людьми» мог бы не только скорректировать суждение социологов, но и уточнить представление о механизмах социального взаимодействия и распространения оппозиционных настроений в обществе.

Дальнейшее изучение поведенческих практик нонконформистов может составить самостоятельное направление. Широкий спектр поведенческих стратегий, использованных в оппозиционной деятельности (игровые, симулятивные, радикальные и др.), предполагает дополнительный анализ, результаты которого могут быть значимы для понимания не только советского, но и современного типа нонконформизма.

Письменное наследие советских нонконформистов как целостное явление всё ещё изучено не достаточно полно. Архивы самиздата рассредоточены в России, Европе и Америке. Основными держателями текстов являются Научно-исторический и просветительский Центр «Мемориал» (Россия), архив «Открытое общество» при Центрально-Европейском Университете (Венгрия), центр «Карта» (Польша), Чехословацкий центр документации (Чехия), библиотека Института Кестон (Великобритания), Международный институт

[1] Гудков Л. Д., Дубин Б. В. Интеллигенция: Заметки о литературно-политических иллюзиях. СПб. : Изд-во Ивана Лимбаха, 2009. С. 3-4.

социальной истории (Нидерланды), Центр восточноевропейских исследований Бременского университета (Германия), Центр исследований современной истории (Германия), Общество Роберта Хавемана (Германия), библиотека университета Торонто (Канада). Многие собрания самиздата находятся в исследовательских центрах и частных коллекциях. Однако количество опубликованных и оцифрованных материалов весьма велико и настоятельно требует комплексного изучения. Самиздат справедливо осмысливается как феномен контркультуры, однако возвращение текстов и имён в единый художественный процесс способно дать новое понимание литературы советской поры, выявить не только очевидное различие мировоззренческих позиций и эстетических ориентиров авторов официальной и контркультуры, но и глубинную близость их интеллектуальных и творческих поисков.

Как видим, тема советского нонконформизма не только не исчерпана, но весьма продуктивна для дальнейшего научного изучения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абрам да Марья: в 2 ч. Ч. 1: док. фильм / реж. А. Столяров. – 2008. – URL: http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/28597 (дата обращения: 10.08.2018)
2. Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика Просвещения /Т. Адорно, М. Хоркхаймер. – Москва : Медиум, 1997. – 312 с.
3. Аймермахер К. От единства к многообразию. Разыскания в области «другого» искусства 1950-1980-х годов: сборник статей / К. Аймермахер. – Москва: Российский государственный гуманитарный университет, 2004. – 374 с.
4. Аксютин Ю. В. Хрущёвская оттепель и общественные настроения в СССР в 1953-1964 гг. / Ю. В. Аксютин. – Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Президентский центр Б. Н. Ельцина, 2010. – 622 с.
5. Актуализированные ценности современного российского общества: [монография] ИРТ [Электронный ресурс] / отв. ред. И. А. Халий. – Москва: Институт социологии РАН, 2015. – 273 с. URL: http://www.isras.ru/files/File/publ/Act_zennosti_sovr_obschestva.pdf (дата обращения 12.03.19)
6. Александр Гинзбург: русский роман / авт.-сост. В. И. Орлов ; вступ. ст. А. Ю. Даниэля. – Москва : Русский путь, 2017. – 792 с.
7. Александрова Л. П. Советский исторический роман и вопросы историзма / Л. П. Александрова. – Киев: Киевский университет. 1971. – 156 с.
8. Алексеева Л. М. Знаешь, почему я пошёл в аспирантуру? Потому что я прокурором был / Л. М. Алексеева // Шестидесятники: сборник. – Москва: Либеральная миссия, 2008. – С. 14-35.
9. Алексеева Л. М. История инакомыслия в СССР: новейший период / Л. М. Алексеева. – 3 изд. – Москва: Московская Хельсинская группа, 2012. – 384 с.

10. Алексеева Л. М. Кто такие шестидесятники? Беседа Л. М. Алексеевой с Я. М. Бергером и С. А. Ковалёвым / Л. М. Алексеева // Л. М. Алексеева, П. Голдберг. Поколение оттепели. – Москва: И. В. Захаров, 2006. – С. 335-361.
11. Алексеева Л. М. Поколение оттепели : пер. с англ. / Л. М. Алексеева, П. Голдерг. – Москва : Захаров, 2006. – 429 с.
12. Амальрик А. А. Записки диссидента / А. А. Амальрик. – Анн Арбор: Ардис, 1982. – 361 с.
13. Амальрик А. А. Нежеланное путешествие в Сибирь / А. А. Амальрик. – Нью-Йорк : Harcourt Brace Jovanovich, Inc. – 1970. – 294 с.
14. Амфитеатров А. В. Жизнь человека, неудобного для себя и для многих / А. В. Амфитеатров // в 2 т. – Москва : Новое литературное обозрение, 2004. – Т. 1. – 581 с.
15. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев. – Ленинград: Издательство Ленинградского государственного университета, 1968. – 339 с.
16. Андреева Г. М. Социальная психология / Г. М. Андреева. – Москва : Аспект Пресс, 1999 – 375 с.
17. Андреева Е. Ю. Угол несоответствия. Школы нонконформизма, Москва – Ленинград. 1946–1991 / Е. Ю. Андреева. – Москва : Искусство – XXI век, 2012. – 461 с.
18. Андрей и Зоя: в 4 ч. Ч. 2: док. фильм / реж. Анатолий Малкин. Россия «Культура», 2011. – URL: ttps://yandex.ru/video/search?filmId=70360872861493 0212&text=андрей и зоя документальный фильм смотретьонлайн&noreask =1&path=wizard (дата обращения: 04.08.2018)
19. Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950-е-1980-е: в 3 т. / под общ. ред. В. В. Игрунова; сост. М. Ш. Барбакадзе. – Москва: Международный институт гуманитарно-политических исследований, 2005.
20. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология : Учебник для вузов. / А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 591 с.

21. Аппарат ЦК КПСС и культура. 1965-1972: Документы / сост. Н. Томилина, Т. Конова, Ю. Муравьев и др. – Москва : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. – 1247 с.
22. Ардов М. В. Довески / М. В. Ардов // Новый мир. – 2010. –№ 8. – С. 84-142.
23. Архангельский Л. М. Лекции по марксистско-ленинской этике. Ч. 1. Методологические проблемы / Л. М. Архангельский. – Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1969. – 132 с.
24. Архангельский Л. М. Марксистская этика. Предмет, структура, основные направления / Л. М. Архангельский. – Москва : Мысль, 1985. – 239 с.
25. Архангельский Л. М., Джафарли Т. М. Этические категории / Л. М. Архангельский, Т. М. Джафарли // Предмет и система этики. Москва, София: Наука и искусство, 1973. – С. 152-178.
26. Асеева Е. Е. Послевоенное абстрактное искусство в России (1950–80 гг.) : дис. … канд. искусств. наук / Е. Е. Асеева. – Санкт-Петербург, 2002. – 170 с.
27. Батищев Г. С. Общественно-историческая, деятельная сущность человека / Г. С. Батищев // Вопросы философии. – 1967. – № 3. – С. 26.
28. Бахтин М. М. К философии поступка / М. М. Бахтин // Собрание сочинений : в 7 т. – Москва : Русские словари : Языки славянской культуры, 2003. – Т. 1: – С. 7-69.
29. Бахтин М. М. К философским основам гуманитарных наук / М. М. Бахтин // Собрание сочинений : в 7 т. – Москва : Русские словари : Языки славянской культуры, 1997. – Т. 5: – С. 7-10.
30. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского // Собр. соч. : в 7 т. М. : Русские словари : Языки славянской культуры, 2002. Т. 6. С. 7-300.
31. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса // Собр. соч. : в 7 т. М. : Русские словари : Языки славянской культуры, 2010. Т. 4 (2). С. 7-517.
32. Беглов А. Л. В поисках «безгрешных катакомб». Церковное подполье в СССР / А. Л. Беглов. – Москва : АРЕФА, 2008. – 349 с.

33. Безбородов А. Б. Материалы по истории диссидентского и правозащитного движения в СССР 50-х-80-х годов: учебное пособие для студентов по курсу отечественной истории новейшего времени / А. Б. Безбородов, М. М. Мейер, Е. И. Пивовар. – Москва: Историко-архивный институт; Giottingen: Max-Planck-Institutfiur Geschichte, 1984. – 151 с.
34. Безруков А. Н. Поэтика интертекстуальности: учебное пособие / А. Н. Безруков – Бирск: Бирская государственная социально-педагогическая академия, 2005. – 70 с.
35. Без цензуры: периодика «Самиздата» до и после распада СССР в фондах Российской национальной библиотеки: Каталог / сост.: А. С. Асватуров, М. А. Семенова. – Санкт-Петербург: Издательство Российской национальной библиотеки, 1999. – 59 с.
36. Белая книга о деле Синявского и Даниэля / сост. А. Гинзбург. – Москва, 1966. Франкфурт-на-Майне: Посев, 1967. – 430 с.
37. Бендзеладзе Г. Д. Актуальные проблемы марксистской этики. Сборник статей / Г. Д. Бендзеладзе. – Тбилиси : Издательство Тбилисского университета, 1967. – 495 с.
38. Бербешкина З. А. Проблема справедливости в марксистско-ленинской этике : учебное пособие / З. А. Бербешкина. – Москва : Высш. школа, 1974. – 160 с.
39. Берг М. Ю. Литературократия. Проблема присвоения и перераспределения власти в литературе / М. Ю. Берг. – Москва : Новое литературное обозрение, 2000. – 352 с.
40. Берг Р. Л. Суховей. Воспоминания генетика / Р. Л. Берг. – Москва: Памятники исторической мысли, 2003. – 527 с. – URL: http://modernproblems.org.ru/memo/119- (дата обращения 03. 08.2018)
41. Бернштам М. С. Проклятый вопрос о цене идей // Дружба народов. – 1992. – - №4. – С. 167-185.

42. Блюм А. В. Как это делалось в Ленинграде. Цензура в годы оттепели, застоя и перестройки. 1953-1991 / А. В. Блюм. – Санкт-Петербург: Академический проект, 2005. – 296 с.
43. Богораз Л. И. Из воспоминаний / Л. И. Богораз // Минувшее: Исторический альманах. Вып. 2. – Москва: Прогресс; Феникс, 1990. – С. 81-140.
44. Богораз Л. И. Об одной поездке / Л. И. Богораз // Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950-е-1980-е: в 3 т. – Москва: Международный институт гуманитарно-политических исследований, 2005. – Т. 2. – С. 256-264.
45. Богораз Л. И. Сны памяти / Л. И. Богораз // Харьковская правозащитная группа. – Харьков: Права людини, 2009. – 260 с.
46. Божович Л. И. Проблема развития мотивационной сферы ребенка // Божович Л. И. Проблемы формирования личности: Избр. психол. тр. / под ред. Д. И. Фельдштейна. – 3-е изд. – Москва : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2001. – С. 135-173.
47. Бойко С. С. «Лагерная проза» как этап формирования литературы нового типа / С. С. Бойко // Новый филологический вестник. – 2015. – № 3 (34). – С. 65-81.
48. Болларт Ш. Советская судьба французских экзистенциалистов: анализ восприятия переводов произведений Жан-Поля Сартра и Альбера Камю. – Гент : Издательство Гентского университета, 2014. – 77 с. – URL: https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/162/250/RUG01-0021622502014_0001_AC.pdf (дата обращения 20.12.2018)
49. Большая Советская Энциклопедия в 51 т. / гл. ред. Б. А. Введенский. – 2-е изд. – Москва : Большая Советская Энциклопедия, 1955. – Том 38. – 668 с.
50. Большая Советская Энциклопедия в 51 т. / гл. ред. Б. А. Введенский. – 2-е изд. – Москва : Большая Советская Энциклопедия, 1957. – Том 48. – 672 с.
51. Буббайер Ф. Совесть, диссидентство и реформы в Советской России / Ф. Буббайер. – Москва : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН) : Фонд Президентский центр Б.Н. Ельцина, 2010. – 364 с.

52. Буковский В. К. И возвращается ветер… / В. К. Буковский. – Санкт-Петербург : Захаров, 2007. – 339 с.
53. Буковский В. К. Париж стал скучным… / В. К. Буковский // Поэтка. Книга о памяти: Наталья Горбаневская. – Москва : АСТ, 2014. – С. 215-217.
54. Буковский В. К., Глузман С. Ф. Пособие по психиатрии для инакомыслящих / В. Буковский, С. Глузман // Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950-е-1980-е: в 3 т. – Москва: Международный институт гуманитарно-политических исследований, 2005. – Т. 3. – С. 147-160.
55. Буртин Ю. Г. Россия и конвергенция. Идеи А. Д. Сахарова вчера, сегодня, завтра / Ю. Г. Буртин // Октябрь. – 1998. –№ 1. – С. 145-167.
56. Бурштейн А. И. Реквием по шестидесятым, или под знаком Интеграла / А. И. Бурштейн // ЭКО: Экономика и организация промышленного производства. – 1992. – № 1. – С. 86-105.
57. В. Тарсис // Казнимые сумасшествием: Сборник документальных материалов о психиатрических преследованиях инакомыслящих в СССР. – Франкфурт-на-Майне: Посев, 1971. – С. 193-194.
58. Вайль П. Л., Генис А. А. 60-е. Мир советского человека / П. Л. Вайль, А. А. Генис. – Москва: Новое литературное обозрение, 2001. – 368 с.
59. Ванюков Д. А. Хрущевская оттепель / Д. А. Ванюков. – Москва: Мир книги, 2007. – 239 с.
60. Вессье С. За вашу и нашу свободу! Диссидентское движение в России / С. Вессье. – Москва: Новое литературное обозрение, 2015. – 576 с.
61. Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции / [вступ. ст. к. ф. н. А. Тесли]. – Москва : РИПОЛ классик, 2017. – 330 с.
62. Вигдорова Ф. А. Право записывать / сост. Е. И. Вигдорова, А. А. Раскина. – Москва: АСТ, 2017. – 416 с.
63. Вигдорова Ф. А. Судилище / Ф. А. Вигдорова // Право записывать / Ф. А. Вигдорова. – Москва: АСТ, 2017. – С. 210-248.

64. Виноградов М. Ю. Чем грозит «бунт интеллигенции» после ареста Серебренникова / М. Ю. Виноградов. – URL: https://newizv.ru/comment /mihail-vinogradov/25-08-2017/chem-grozit-bunt-intelligentsii-posle-aresta-serebrennikov a (дата обращения 01.08. 2018)
65. Власть и диссиденты: из документов КГБ и ЦК КПСС / публ.: А. А. Макаров ; подгот. текста и коммент.: А. А. Макаров, Н. В. Костенко, Г. В. Кузовкин. –Москва: Московская Хельсинская группа, 2006. – 282 с.
66. Водолазкин Е. Г. Добрый человек из Петербурга / Е. Г. Водолазкин // Дом и остров, или Инструмент языка / Е. Г. Водолазкин. – Москва: АСТ, 2014. – С. 133-138.
67. Вознесенский А. А. В непогоду / А .А. Вознесенский // Собр. соч. : в 5 т. / Вознесенский А. А. – Москва : Вагриус, 2000. – Т. 1. – С. 331.
68. Вознесенский А. А. Не надо околичностей / А. А. Вознесенский // Собр. соч. / Вознесенский А. А. – Москва : Вагриус. – Т. 6 : Не будь шестёркой, 2005. – С. 162-163
69. Вознесенский А. А. Я обвиняюсь / А. А. Вознесенский // Собр. соч. : в 5 т. / Вознесенский А. А. – Москва : Вагриус, 2001. – Т. 3. – С. 70
70. Волков С. М. Диалоги с Иосифом Бродским / С. М. Волков. – Москва: Эксмо, 2004. – 640 с.
71. Волченко Л. Б. Марксистско-ленинская этика : Курс лекций. Ч. 3. Система общих категорий этики / Л. Б. Волченко. – Москва: Издательство МГУ, 1978. – 71 с.
72. Воронель Н. А. Без прикрас. Воспоминания / Н. А. Воронель. – Москва: Захаров, 2003. – 432 с.
73. Воронков В. М. Проект «шестидесятников»: движение протеста в СССР / В. М. Воронков // Отцы и дети. Поколенческий анализ современной России. – Москва: Новое литературное обозрение, 2005. – С. 168-200.
74. Выготский Л. С. Мышление и речь : сборник / Л. С. Выготский. – Москва : АСТ : Хранитель, 2008. – 669 с.

75. Гайденко П. П. Экзистенциализм и проблема культуры: (Критика философии М. Хайдеггера) / П. П. Гайденко. – Москва: Высшая школа, 1963. – 119 с.
76. Гайденко П. П. Трагедия эстетизма: опыт характеристики миросозерцания Серена Киркегора / П. П. Гайденко. – Москва : Искусство-Санкт-Петербург, 1970. – 247 с.
77. Галич А. А. Я выбираю свободу / А. А. Галич // Глагол. – Литературно-художественный журнал. – 1991. – № 3. – С. 170-183.
78. Гербер А. Е. Шестидесятничество – это прежде всего состояние души / А. Е. Гербер // Шестидесятники. – Москва: Фонд Либеральная миссия, 2008. – С. 44-47.
79. Герман, сын Германа: в 5 ч. Ч. 4: док. фильм / реж. Н. Урвачёва. – 2005. – URL: http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/27716 (дата обращения: 10.08.2018)
80. Герштейн Э. Г. Мемуары / Э. Г. Герштейн. – Санкт-Петербург: ИНАПРЕСС, 1998. – 518 с.
81. Герцен А. И. С того берега / А. И. Герцен // Собрание сочинений: в 30 т. / А. И. Герцен. – Москва: Издательство АН СССР, 1955. – Т. 6. – С. 7-151.
82. Герцен А. И. Письма к противнику // А. И. Герцен // Собрание сочинений: в 30 т. / А. И. Герцен. – Москва: Издательство АН СССР, 1959. – Т. 18. – С. 274-293.
83. Гильбо К. Искусство нонконформизма / К. Гильбо ; пер. Е. А. Бакушева. – Минск : Попурри, 2012. – 208 с.
84. Голубев А. В. «Вторичная литература» А. Солженицына («Бодался телёнок с дубом») / А. В. Голубев // Типология литературного процесса и творческая индивидуальность писателя: межвузовский сборник научных трудов – Пермь: Пермский государственный университет, 1993. – С. 146-159.
85. Гольдин С. В. Стихи и формулы / С. В. Голдин. – Новосибирск: Параллель, 2009. – 509 с.

86. Горбаневская Н. Е. Бесплатная медицинская помощь / Н. Е. Горбаневская // Самиздат века. – Москва: Полифакт, 1999. – С. 201-214.
87. Горбаневская Н. Е. Ворованный воздух / Н. Е. Горбаневская // Поэтка. Книга о памяти: Наталья Горбаневская. – Москва: АСТ, 2014. – С. 267-268.
88. Горбаневская Н. Е. Полдень: Дело о демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 года / Н. Е. Горбаневская. – Москва: Новое издательство, 2007. – 304 с.
89. Горбачёв В. Г. Антропологический поворот в советской философии (1960-70-е годы) / В. Г. Горбачёв // Среднерусский вестник общественных наук. – 2012. – № 3. – С.7-14.
90. Гордеева И. А. Христианский нонконформизм в советской России, 1917-1991: Состояние исследований / И. А. Гордеева // Экономическая история. Обозрение. – Москва: Издательство МГУ, 2008. – Вып. 14. – С. 117–144.
91. Гордин Я. А. Дело Бродского / Я. А. Гордин // Нева. – 1989. – № 2. – С. 134-166.
92. Горяева Т. М. Политическая цензура в СССР. 1917-1991 гг. / Т. М. Горяева. – Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. – 407 с.
93. Гранин Д. А. Я помню…: в 4 ч. Ч. 2. : док. фильм / реж. Л. Гладкова. – 2003. – URL: http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/27649 (дата обращения: 10.08.2018)
94. Грекова И. Свет доброты / И. Грекова // Вигдорова Ф. Право записывать. – Москва: Издательство АСТ, 2017. – С. 13-27.
95. Григоренко П. Г. В подполье можно встретить только крыс… / П. Г. Григоренко. – Москва: Звенья, 1997. – 638 с.
96. Григоренко П. Г. Сокрытие исторической правды – преступление перед народом! Письмо в редакцию журнала «Вопросы истории КПСС» / П. Г. Григоренко // Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950-е-1980-е: в 3 т. – Москва: Международный институт гуманитарно-политических исследований, 2005. – Т. 2. – С. 107-120.

97. Гудков – новая звезда оппозиции? – URL: http:// bigsmi.com/news/32962-gudkov-novaya-zvezda-oppozitsii. html (дата обращения: 10. 08. 2018)
98. Гудков Л. Д. Социология Юрия Левады / Л. Д. Гудков // Левада Ю. Время перемен. Предмет и позиция исследователя. – Москва: Новое литературное обозрение, 2016. – С. 3-35.
99. Гудков Л. Д., Дубин Б. В. Европейский интеллектуал: попытка апологии субъективности / Л. Д. Гудков, Б. В. Дубин // Интеллигенция: Заметки о литературно-политических иллюзиях / Л. Д. Гудков, Б. В. Дубин. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург: Издательство Ивана Лимбаха, 2009. – С. 111-127.
100. Гудков Л. Д., Дубин Б. В. Интеллигенция: Заметки о литературно-политических иллюзиях / Л. Д. Гудков, Б. В. Дубин. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург: Издательство Ивана Лимбаха, 2009. – 304 с.
101. Гудков Л. Д., Дубин Б. В. Печать и изменения в системах ценностей постсоветского общества / Л. Д. Гудков, Б. В. Дубин. // Интеллигенция: Заметки о литературно-политических иллюзиях / Л. Д. Гудков, Б. В. Дубин. – Москва: ЭПИцентр; Харьков: Фолио, 1995. – С. 135-153.
102. Гуревич А. Я. История историка / А. Я. Гуревич. – Москва : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. – 288 с.
103. Гуревич А. Я. Об исторической закономерности / А. Я. Гуревич // Философские проблемы исторической науки. – Москва : Наука, 1969. – С. 51-80.
104. Гусейнов А. А. Этика и плюрализм / А. А. Гусейнов // Этическая мысль: Научно-публицистические чтения. 1991. – Москва : Республика, 1992. – 446 с.
105. Данилов А. А. История инакомыслия в России: советский период. 1917–1991: учебное пособие / А. А. Данилов. – Уфа : Издательство Восточный университет, 1995. – 102 с.

106. Даниэль А. Ю. Диссидентство: культура, ускользающая от определений? / А. Ю. Даниэль // Россия/Russia. – Вып. 1 [9]: «Семидесятые» как предмет истории русской культуры. – Москва : О.Г.И., 1998. – С. 111-124.
107. Данто А. Аналитическая философия истории / А. Данто. – Москва : Идея-Пресс, 2002 – 290 с.
108. Денисова Л., Жданов В. Модернизация и произвол в освещении прошлого / Л. Денисова, В. Жданов // Новый мир. – 1956. – № 8. – С. 237-249.
109. Джафарли Т. М. Быть человеком на земле / Т. М. Джафарли. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 176 с.
110. Довлатов С. Д. Ремесло / С. Д. Довлатов // Собрание сочинений : в 4 т. / С. Д. Довлатов. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2003. – Т. 3. – С. 7-179.
111. Документы свидетельствуют… Из фондов Центра хранения современной документации (ЦХСД). Смотрели за каждым… «Палата № 7» // Вопросы литературы. – 1996. – № 2. – С. 290-312.
112. Дробницкий О. Г. Моральная философия : избранные труды / О. Г. Дробницкий. – Москва : Гардарики, 2002. – 520 с.
113. Дробницкий О. Г. Понятие морали : Ист.-критич. очерк / О. Г. Дробницкий. – Москва : Наука, 1974. – 388 с.
114. Дробницкий О. Г. Проблемы нравственности / О. Г. Дробницкий. – Москва : Наука, 1977. – 333 с.
115. Дубин Б. В. Интеллигенция и профессионализация / Б. В. Дубин // Слово – письмо – литература : очерки по социологии современной культуры / Б. В. Дубин. – Москва : Новое литературное обозрение, 2001. – С. 59-62.
116. Думбадзе Н. В. Закон вечности : роман, рассказы / Н. В. Думбадзе. – Тбилиси : Мерани, 1979. – 368 с.
117. Дьяков В. А. Об историко-социологической концепции Александра Солженицына // Общественные науки и современность. – 1994. – №1. – С. 65-76.
118. Евтушенко Е. А. Братская ГЭС / Е. А. Евтушенко // Стихи и поэмы : в 3 т. / Е. А. Евтушенко. – Москва : Советская Россия, 1987. – Т. 1. – С. 447-519.

119. Евтушенко Е. А. Карьера / Е. А. Евтушенко // Стихи и поэмы : в 3 т. / Е. А. Евтушенко. – Москва : Советская Россия, 1987. – Т. 1. – С. 179.
120. Ениколопов С. Н., Цибульский Н. П. Изучение взаимосвязи лигитимизации насилия и склонности к агрессивным формам поведения // С. Н. Ениколопов, Н. П. Цибульский. – Психологическая наука и образование. – 2008. – №1. – С. 90-98.
121. Ермолаева В. Н., Толстых В. И. Социалистический реализм и штампы буржуазной эстетики. Полемика / В. Н. Ермолаева, В. И. Толстых. – Москва : Советский художник, 1967. – 150 с.
122. Есенин-Вольпин А. С. Свободный философский трактат // А. С. Есенин-Вольпин. Весенний лист. – Нью-Йорк: Фредерик А. Прегер, 1961. – С. 110-173.
123. Есенин-Вольпин А. С. Философия. Логика. Поэзия. Защита прав человека: Избранное / А. С. Есенин-Вольпин. – Москва: РГГУ, 1999. – 452 с.
124. Есенин-Вольпин А. С. Юридическая памятка / А. С. Есенин-Вольпин // Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950-е-1980-е : в 3 т. – Москва : Международный институт гуманитарно-политических исследований, 2005. – Т. 2. – С. 70-76.
125. Закс Л. А. Преодоление внутренней эмиграции в поэзии О. Мандельштама / Л. А. Закс // Филологический класс. – 2019. – №1 (55). – С. 34-43.
126. Записка КГБ при Совете Министров СССР в ЦК КПСС о процессе над И. Бродским // История советской политической цензуры. Документы и комментарии. – Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1997. – С. 142-144.
127. Записка КГБ СССР при Совете Министров СССР в ЦК КПСС о распространении «внецензурной литературы», или «самиздата» // История советской политической цензуры. Документы и комментарии. – Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1997. – С. 191-194.
128. Записка КГБ при Совете Министров СССР в ЦК КПСС об антисоветской деятельности творческой интеллигенции // История советской политической

цензуры. Документы и комментарии. – Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1997 – С. 147-153.

129. Записка КГБ при Совете Министров СССР Н. С. Хрущёву о настроениях советской интеллигенции // История советской политической цензуры. Документы и комментарии. – Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1997. – С. 132-135.
130. Записка Комитета по печати при Совете министров СССР в ЦК КПСС в связи со статьёй Виктора Данилова и Софьи Якубовской в журнале «Новый мир» от 18 февраля 1966 г. // История советской политической цензуры. Документы и комментарии. – Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1997 – С. 159-163.
131. Заступница: Адвокат С. В. Каллистратова: (1907-1989) / сост. Е. Печуро. – Москва: Звенья, 1997. – 351 с. – URL: https://www.bookol.ru/nauka_obrazovanie /istoriya/4314/fulltext.htm (дата обращения: 10.08.2018)
132. Зезина М. Р. Советская художественная интеллигенция и власть в 1950-60-е годы / М. Р. Зезина. – Москва: Диалог-МГУ, 1999. – 398 с.
133. Зернова Р. А. По праву друга / Р. А. Зернова // Юность. – 1955. – № 6. – С. 76-80.
134. Зиновьев А. А. Гомо советикус; Мой дом – моя чужбина / А. А. Зиновьев. – Москва: КОРИНФ, 1991. – 318 с.
135. Зиновьев А. А. Зияющие высоты: в 2 кн. / А. А. Зиновьев. – Москва: Независимое издательство ПИК, 1990. – Кн. 1. – 314 с.
136. Зиновьев А. А. Зияющие высоты: в 2 кн. / А. А. Зиновьев. – Москва: Независимое издательство ПИК, 1990. – Кн. 2. – 314 с.
137. Зиновьев А. А. Исповедь отщепенца / А. А. Зиновьев. – Москва: Вагриус, 2005. – 554 с.
138. Золотарёв О. В. Либеральная интеллигенция в современной России / О. В. Золотарёв // Интеллигенция и мир. Российский междисциплинарный журнал социально-гуманитарных наук. – 2016. – № 2. – С. 55-65.

139. Зорин А. Л. Лидия Гинзбург: опыт «примирения с действительностью» / А. Л. Зорин // Новое литературное обозрение. – 2010. – № 101. – С. 32-52.
140. Зубарев Д. Встречный бой / Д. Зубарев // Новое литературное обозрение. – 1998. – № 2 (30). – С. 135-165.
141. Зыкова Г. В., Пенская Е. Н. Семинар В. Н. Турбина в переписке его участников 1960-х годов / Г. В. Зыкова, Е. Н. Пенская // Новый мир. – 2019. – № 11. – С. 159-169.
142. Из истории общественно-литературной борьбы 60-х годов. Твардовский, Солженицын, «Новый мир» по документам Союза писателей СССР. 1967-1970 // Октябрь. – 1990. – № 8. – С. 174-199.
143. Из записки Отдела культуры ЦК КПСС о новой части книги Ильи Эренбурга «Люди. Годы. Жизнь» // История советской политической цензуры. Документы и комментарии. – Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1997. – С. 138-140.
144. Ильенков Э. В. Гегель и «отчуждение» – URL: http://caute.ru/ilyenkov/texts/phc/ hgentfr.html (дата обращения: 10.12.2018)
145. Ильенков Э. В. Об идолах и идеалах / Э. В. Ильенков. – Киев : «Час-Крок», 2006. – 312 с.
146. Ильенков Э. В. Откуда берется ум? // Э. В. Ильенков. Философия и культура. – Москва: Политиздат, 1991. – 464 с. – С. 30-43.
147. Ильин М. К. Нонконформизм в советском искусстве 1960-х годов / М. К. Ильин // Традиции художественной школы и педагогика искусства : сборник научных трудов. Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 – С. 141–149.
148. Ильина Н. И. Печальные страницы / Н. И. Ильина // Октябрь – 1990. – № 10. – С. 129-142.
149. Интервью с Игалом Халфиным и Йоханом Хелльбеком //Ab Imperio. – 2002. – № 3. – С. 217-260.

150. История русской литературной критики. Советская и постсоветская эпохи / под общей ред. Е. А. Добренко. – Москва: Новое литературное обозрение, 2011. – 189 с.
151. Кабаков А. А., Попов Е. А. Аксёнов / А. А. Кабаков, Е. А. Попов. – Москва : АСТ, 2011. – 115 с.,
152. Каган М. С. Человеческая деятельность: (опыт системного анализа) / М. С. Каган. – Москва: Политиздат, 1974. – 328 с.
153. Казак В. Лексикон русской литературы XX века / В. Казак. – Москва: РИК Культура, 1996. – 512 с.
154. Казакова Р. Ф. Мы молоды**.** У нас чулки со штопками… / Р. Ф. Казакова // Избранные произведения : в 2 т. / Р. Ф. Казакова. – Москва : Художественная литература, 1985. – С. 226-227
155. Казакова Р. Ф. К биографии поколения. – URL: http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=283350 (дата обращения: 10.12.2018)
156. Как это было: воспоминания и размышления / под ред. В. А. Лекторского. – Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – 646 с.
157. Как читать сталинизм. Интервью исследователя советской повседневности, сооснователя проекта «Прожито» Ильи Венявкина // Новая газета. – 2019. – № 39 – 10 апреля. – URL: https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/04/08/80142-kak-chitat-stalinizm (дата обращения 01.08. 2018)
158. Камю А. Человек бунтующий / А. Камю // Сочинения : в 5 т. / А. Камю. – Харьков: Фолио, 1998. – Т. 3. – С. 61-407.
159. Камю А. Миф о Сизифе / А. Камю // Сочинения : в 5 т. / А. Камю. – Харьков: Фолио, 1997. – Т. 2. – С. 98-113.
160. Кант И. К вечному миру. Философский проект / И. Кант // Собрание сочинений : в 8 т. / И. Кант. – Москва : Чоро, 1994. – Т. 7. – С. 5-57.
161. Кантор К. М. Из мюнхенских разговоров с Александром Зиновьевым / К. М. Кантор // Вопросы философии. – 2007. –№ 4. – С. 84-94.

162. Караулов Ю. Н. Роль прецедентных текстов в структуре и функционировании языковой личности / Ю. Н. Караулов // Научные традиции и новые направления в преподавании русского языка и литературы. – Москва : Искусство, 1986. – С. 98–107.
163. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Караулов. – Москва : ЛКИ, 2007. – 264 с.
164. Каспэ И. М. Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы / И. М. Каспэ. – Москва: Новое литературное обозрение, 2005. – 192 с.
165. Каспэ И. М. Мы живём в эпоху осмысления жизни: конструирование поколения «шестидесятников» в журнале «Юность» / И. М. Каспэ // Новое литературное обозрение – 2016. – №1(137). – С. 130-148.
166. Ким Ю. Ч. Иду на статью / Ю. Ч. Ким // Поэтка. Книга о памяти: Наталья Горбаневская. – Москва : АСТ, 2014. – С. 217-218.
167. Киреев Р. Т. Крупным планом. Валерий Попов / Р. Т. Киреев // Пятьдесят лет в раю : роман без масок / Р. Т. Киреев. – Москва : Время, 2008. – С. 568-573.
168. Ковалевич О. С., Лисанюк Е. Н. Принципы деонтической логики действий А. С. Есенина-Вольпина / О. С. Ковалевич, Е. Н. Лисанюк // Логико-философские штудии: электрон. научное периодическое издание. – 2015. – № 4 – URL: ojs.philosophy.spbu.ru › Главная › Том 12, № 4 (2015) › Ковалевич (дата обращения: 10.08.2018)
169. Козлов В. А. Крамола: инакомыслие в СССР при Хрущёве и Брежневе. 1953-1982 годы. По рассекреченным документам Верховного Суда и Прокуратуры СССР / В. А. Козлов // Отечественная история. – 2003. – № 4. – С. 93-111.
170. Козлов Д. Ю. Наследие оттепели: к вопросу об отношениях советской литературы и общества второй половины 1960-х годов / Д. Ю. Козлов // Новое литературное обозрение. – 2014 – № 1. – С. 183-204.

171. Козлова Н. Н. Советские люди. Сцены из истории / Н. Н. Козлова. – Москва: Издательство Европа, 2005. – 544 с.
172. Колесниченко Ю. В. Личность как бытие: концепция личности в ранних философских работах М. М. Бахтина / Ю. В. Колесниченко // Вестник ПСТГУ. I: Богословие. Философия. – 2011. – Вып. 4(36). – С. 65-79.
173. Коллективный портрет Александра Зиновьева. На вопросы анкеты отвечают: В. С. Стёпин, А. А. Гусейнов, В. А. Лекторский, В. М. Межуев, В. М. Толстых. Подготовил О. Г. Назаров // Вопросы философии. – 2013. – № 2. – С. 3-17.
174. Кон И. С. В поисках себя: личность и ее самосознание / И. С. Кон – Москва : Политиздат, 1984. – 151 с.
175. Кондратович А. И. Новомирский дневник (1967-1970) / А. И. Кондратович. – Москва: Советский писатель, 1991. – 528 с.
176. Кони А. Ф. Воспоминания о Вере Засулич / А. Ф. Кони // Избранные произведения : Воспоминания : в 2 т. / А. Кони. – Москва : Госюриздат, 1959. – Т. 2. – С. 7-248.
177. Контрреволюционные силы в венгерских октябрьских событиях : в 5 ч. / Информационное бюро Совета Министров Венгерской Народной Республики. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1957. – Ч. 3. – 155 с.
178. Копелев Л. З. Вера в слово. Выступления и письма 1962-1976 гг. / Л. З. Копелев. – Анн Арбор : Ардис, 1977. – 19 с.
179. Короленко В. Г. История моего современника / В. Короленко // Собрание сочинений : в 10 т. / В. Г. Короленко. – Москва : Гослитиздат. – Т. 6: – 1954. – 323 с.
180. Королёва Л. А., Королёв А. А. Диссидентство в СССР: историко-правовые аспекты (1950-1980-е гг.): учебное пособие / Л. А. Королёва, А. А. Королёв. – Москва : ИНФРА-М, 2017. – 276 с.
181. Корсун Л. Дожить до ста двадцати. Александр Есенин-Вольпин: «Фамилия только мешала» – URL:

ignews.com/news/interview/.../020206_131348_80209.ht ml (дата обращения: 10.08.2018)

182. Корюкина Н. В., Нестерова Н. Г. Сергей Довлатов : «этнический писатель» или «новый американец»? / Н. В. Корюкина, Н. Г. Нестерова // Twórczość Rosyjskiej Zagranicy – satyra I memuarystyka. – Olsztyn : Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej, 2018. – С. 57-71.
183. Кошкина О. Ю. «Знакомое неведомое». Творческое наследие художников группы «Эрмитаж» в контексте ленинградского нонконформизма / О. Ю. Кошкина // Новое искусствознание. История, теория и философия искусства. – 2019. – № 1. – С. 95-100.
184. Крамола. Инакомыслие в СССР при Хрущёве и Брежневе, 1953-1982 гг. Рассекреченные документы Верховного суда и Прокуратуры СССР / под ред. В. А. Козлова и С. В. Мироненко. – Москва : Материк, 2005. – 429 с.
185. Краткая запись речи К. Паустовского на обсуждении романа Дудинцева «Не хлебом единым» // Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950-е-1980-е: в 3 т. – Москва : Международный институт гуманитарно-политических исследований, 2005. – Т. 1. – С. 421-422.
186. Краткая Литературная Энциклопедия : в 9 т. / гл. ред. А. Сурков. – 3-е изд. – Москва : Советская Энциклопедия, 1966. – Т. 3. – 976 с.
187. Кречмар Д. Политика и культура при Брежневе, Андропове и Черненко. 1970-1985 гг. / Д. Кречмар. – Москва : АИРО-XX, 1997. – 316 с.
188. Кривицкий А. Ю.Факты и легенды / А. Кривицкий // Литературная газета. – 1966. – 19 марта.
189. Кристева Ю. Избранные труды; Разрушение поэтики / Ю. Кристева. – Москва : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. – 656 с.
190. Круглова Т. А. Советская художественность, или Нескромное обаяние соцреализма / Т. А. Круглова. – Екатеринбург : Гуманитарный университет, 2005. – 382 с.

191. Кузнецов И. С. Новосибирский Академгородок в 1968 году: «письмо сорока шести»: документальное исследование / И. Кузнецов. – Новосибирск : Офсет-ТМ, 2015. – 486 с. – URL: http://modernproblems.org.ru/hisrory/162 (дата обращения: 1.08.2018).
192. Кузнецов И. С. Общественные настроения учёных Новосибирского Академгородка в середине 1960-х годов / И. Кузнецов // Вестник Новосибирского госуниверситета. Серия: История, Филология. – Том 7. – 2008. – № 1. – С. 245-255.
193. Кузнецова Н. И. Философия в советском андеграунде: практики выживания / Н. И. Кузнецова // Высшее образование в России. – 2016. – № 5. – С. 80-91.
194. Куликова Т. Д. Публицистика А. И. Солженицына. Процесс коммуникации: от информационного бума до информационного вакуума (1960-1994 гг.): автореф. дис. ... канд. филол. наук / Т. Куликова. – Ростов-на-Дону, 2004. – 43 с. – URL: www.dslib.net › Филологические науки › Журналистика (дата обращения: 10.08.2018)
195. Курхинен П. Проблема сущности морали в этической концепции Олега Григорьевича Дробницкого: дис. ... канд. философ. наук / П. Курхинен. – Санкт-Петербург, 2015. – 195 с. – URL: https://disser.spbu.ru/files/disser2/698/disser/disser_Kurhinen.pdf (дата обращения: 15.12.2018)
196. Кьеркегор С. Гармоническое развитие в человеческой личности эстетических и этических начал / С. Кьеркегор // Наслаждение и долг. – Киев : AirLand, 1994. – С. 225-423.
197. Лакшин В. Я. Дневники и попутное / В. Я. Лакшин // В. Я. Лакшин. Солженицын и колесо истории. – Москва : Издательский дом Вече, АЗъ (Знатнов). – 2008. – С. 192-424.
198. Лакшин В. Я. Солженицын, Твардовский и «Новый мир» / В. Я. Лакшин // В. Я. Лакшин. Солженицын и колесо истории – Москва : Издательский дом Вече, АЗъ (Знатнов). – 2008. – С. 124-188.
199. Ларченко С. Подписанты / С. Ларченко // Морской проспект. – 2007. – 1 марта. – С. 2.

200. Лебина Н. Б., Чистиков А. Н. Обыватель и реформы: картины повседневной жизни горожан в годы нэпа и хрущёвского десятилетия / Н. Б. Лебина, А. Н. Чистиков. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2003. – 339 с.
201. Лебина Н. Б. Повседневность эпохи космоса и кукурузы. Деструкция большого стиля / Н. Б. Лебина. – Санкт-Петербург : Книга : Победа, 2015. – 484 с.
202. Левада Ю. А. Историческое сознание и научный метод Ю. Левада // Философские проблемы исторической науки. – Москва : Наука, 1969. – С. 186-225.
203. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. – Москва : Политиздат, 1975. – 304 с.
204. Леонтьев А. Н. Философия психологии: из научного наследия / под ред. А. Н. Леонтьева, Д. А. Леонтьева. – Москва : Издательство Московского университета, 1994. – 228 с.
205. Липовецкий М. Н. Трикстер и «закрытое» общество / М. Н. Липовецкий // Новое литературное обозрение. – 2009. – № 6. – URL: https://magazines.gorky.media/nlo/2009/6/trikster-i-zakrytoe-obshhestvo.html
206. Литвинов П. М. Поперёк линованной бумаги / П. М. Литвинов // Амальрик А. Записки диссидента. – Анн Арбор : Ардис, 1982. – С. 3-45.
207. Литвинов П. М. Характер, ставший судьбой / П. М. Литвинов // Поэтка. Книга о памяти: Наталья Горбаневская. – Москва : АСТ, 2014. – С. 275-276.
208. Лосев А. Ф. История эстетических категорий / А. Ф. Лосев. – Москва : Искусство, 1965. – 374 с.
209. Лотман Ю. М. Семиосфера / Ю. М. Лотман. – Санкт-Петербург : Искусство-СПБ, 2000. – 704 с.
210. Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века) / Ю. М. Лотман. Б. А. Успенский // Труды по русской и славянской филологии. – Тарту, 1977. – Т. 28. – С. 3-36.
211. Лукин Ю. Ф. Из истории сопротивления тоталитаризму в СССР (20-80-е гг.) / Ю. Ф. Лукин. – Москва: Издательство МГУ, 1992. – 203 с.

212. Лукьянова Л. В. Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни А. И. Солженицына как художественно-публицистический феномен : дис. ... канд. филол. наук / Л. В. Лукьянова. – Ростов-на-Дону, 2002. – 184 с. – URL: http://www.dissland.com/catalog/bodalsya_telenok_s_dubom_ocherki_literaturnoy_zhizni_a_i_solzhenitsina_kak_hudozhestvenno_publitsist.html (дата обращения : 5. 07. 2018)
213. Лурье Л. Я., Вензель Е. П., Савицкий С. А. Из архивов ленинградской контркультуры 1970-х гг. / Л. Я. Лурье, Е. П. Вензель, С. А. Савицкий // Россия-Russia. Вып.1[9] : «Семидесятые» как предмет истории русской культуры. – Москва : О.Г.И., 1998. – С 289-302.
214. Лурье Я. С. Александр Солженицын – эволюция его исторических взглядов // Звезда. – 1994. – № 6. – С.117-129.
215. Матузкова Е. П. Культурная идентичность: к определению понятия. Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Филология, педагогика, психология. – 2014. – Вып. 2. – С. 62-68.
216. Малышкина О. И. Писательская критика в жанровой структуре книги А. И. Солженицына «Бодался телёнок с дубом»: автореф. дис. … канд. филол. наук / О. И. Малышкина. – Тюмень, 2010. – 24 с.
217. Мамардашвили М. К. Категория социального бытия и метод его анализа в экзистенциализме Сартра / М. К. Мамардашвили // Современный экзистенциализм. Критические очерки. – Москва : Мысль. 1966. – С. 149-205.
218. Мангейм К. Проблема поколений / К. Мангейм // Новое литературное обозрение. – 1998. – № 30. – С. 7-47.
219. Мандельштам Н. Я. Воспоминания / Н. Я. Мандельштам. – Москва : Согласие, 1999. – Кн. 1. – 552 с.
220. Мандельштам Н. Я. Вторая книга / Н. Я. Мандельштам // Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950-е-1980-е. : в 3 т. – Москва : Международный институт гуманитарно-политических исследований, 2005. – Т. 2. – С. 155-170.

221. Мандельштам Н. Я. О Фриде Вигдоровой / Н. Я. Мандельштам // Вигдорова Ф. Право записывать. – Москва : Издательство АСТ, 2017. – С. 384-410.
222. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года / К. Маркс // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – 2-е изд. – Москва : Политиздат – 1974. – Т. 42. – С. 41–174.
223. Маркузе Г. Одномерный человек / Г. Маркузе. – Москва : REFL-book, 1994. – 368 с.
224. Марченко А. Т. Мои показания / А. Т. Марченко. – Москва : О.Г.И., 2005. – 304 с.
225. Мацкин А. П. По следам уходящего века / А. П. Мацкин. – Москва : Аслан, 1996. – 272 с.
226. Медведев Ж. А. Десять лет после «Одного дня Ивана Денисовича» / Ж. А. Медведев // Подъём. – 1991. – № 6. – С. 96-126.
227. Миановска Дж. От Киева до Парижа: Виктор Некрасов в воспоминаниях Виктора Кондырева / J. Mianowska // Szkice Slawistyczne. – Olsztyn : Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej, 2017. – С. 59-73.
228. Мильнер-Иринин Я. А. Этика, или принципы истинной человечности / Я. А. Мильнер-Иринин. – Москва : Наука, 1999. – 519 с.
229. Мининков Н. А. Концепция поколений Х. Ортеги-и-Гассета и история Дона XVII века / Н. А. Мининков // Логос. – 2004. – 5 (44). – С. 225-234. (методики истории в современности)
230. Митрохин Л. Н. О феномене А. А. Зиновьева / Л. Н. Митрохин // Вопросы философии. – 2007. – № 4. – С. 62-84.
231. Митрохин Н. А. Русская партия: Движение русских националистов в СССР. 1953-1985 годы / Н. А. Митрохин. – Москва : Новое литературное обозрение, 2003. – 624 с.
232. Монолог: в 4 ч. – Ч. 4: Геннадий Полока. док. фильм / реж. О. Высоцкая. – 2012 г. – URL: http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/28858/ (дата обращения: 20.08.2018)

233. Моральное сознание: элементы, формы, особенности : Сборник статей / под ред. Л. Б. Волченко. – Москва : Издательство Московского университета, 1974. – 139 с.
234. Мороз В. Ф. Репортаж из заповедника имени Берия / В. Ф. Мороз // Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950-е-1980-е: в 3 т. – Москва : Международный институт гуманитарно-политических исследований, 2005. – Т. 2. – 2005. – С. 265-282.
235. Мурав Х. Опасный универсализм: перечитывая «Двести лет вместе» Солженицына / Х. Мурав // Новое литературное обозрение. – 2010. – № 103. – С. 217-232.
236. «…Наша молодёжь совершит ещё много прекрасных дел во имя коммунизма»: Из речи Н. С. Хрущёва на совещании работников промышленности и строительства РСФСР 24 апреля 1963 года // Юность. – 1963. – № 5. –С. 2.
237. Наводворская В. И. А я в холодном мраморе немею… / В. И. Наводворская // Поэтка. Книга о памяти: Наталья Горбаневская. – Москва : АСТ, 2014. –С. 314-317.
238. Некрич А. М. Отрешись от страха. Воспоминания историка / А. М. Некрич // Нева. – 1995. – № 6 – С. 139-161.
239. Некрич А. М. 1941, 22 июня / А. М. Некрич – Москва : Памятники исторической мысли, 1995. – 336 с.
240. Нечкина М. В. Движение декабристов: в 2 т. / М. В. Нечкина. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1955. – тт. 1-2.
241. Нива Ж. Александр Солженицын: борец и писатель / Ж. Нива – Санкт-Петербург : Вита Нова, 2014. – 336 с.
242. Новая философская энциклопедия : в 4 т. / Ин-т философии Рос. акад. наук. – Москва : Мысль, 2000. – Т. 1. – 721 с.
243. Новгородцев П. И. Введение в философию права: Кризис современного правосознания. – URL:

http://dugward.ru/library/novgorodcev/novgorodcev_vve denie_v_filosofiu_prava. html (дата обращения: 20.12.2018)

244. Нора П. Поколение как место памяти / П. Нора // Новое литературное обозрение. – 1998. – № 30. – С. 48-73.
245. Нравственное воспитание : Пробл. теории и практики / Л. М. Архангельский, А. И. Афанасьева. – М. : Мысль, 1979. – 303 с.
246. Обращение московских учёных // Хроника защиты прав в СССР. – Нью-Йорк : Хроника. – 1975. – Вып. 15 (май-июнь). – С. 5.
247. Огрызко В. В. Советский литературный генералитет. Судьбы и книги / В. В. Огрызко. – Москва : Литературная Россия, 2018. – 898 с.
248. О культе личности и его последствиях: Доклад Первого секретаря ЦК КПСС тов. Хрущёва Н. С. XX съезду Коммунистической партии Советского Союза // Известия ЦК КПСС. – 1989. – № 3. – С. 128-170.
249. О массовых беспорядках с 1957 года: Записка В. Чебрикова 1988 г. // Источник. – 1995. – № 6. – С. 151.
250. Она написала себе роль: в 4 ч. Ч. 2: док. фильм / реж. А. Малкин. – 2012. – URL: http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/34206 (дата обращения: 10.08. 2018)
251. Орлов Ю. Ф. Опасные мысли. Мемуары из русской жизни / Ю. Ф. Орлов. – Москва : Захаров, 2008. – 368 с.
252. Орлова-Копелева Р. Д. Фрида Вигдорова / Р. Д. Орлова // Воспоминания о непрошедшем времени. – Харьков : Права людини, 2013. – С. 309-334.
253. Орлова Р. Д. Родину не выбирают. Я вернусь… Из дневников и писем 1964-1988 / Р. Д. Орлова // Вопросы литературы. – 2010. – № 5. – С. 261-302.
254. Орлова Р. Д., Копелев Л. З. Мы жили в Москве: 1956-1980 / Р. Д. Орлова, Л. З. Копелев. – Москва : Книга, 1990. – 447 с.
255. Ортега-и-Гассет Х. Метод поколений в истории / Х. Ортега-и-Гассет // Х. Ортега-и-Гассет. Вокруг Галилея. – URL: http://yakov.works/library/15_o/rt/ega _06.htm (дата обращения: 10.08.2018)
256. Освобождение [Бродский И. А.] // Звезда. – 2000. – № 5. – С. 67-75.

257. Памятка для не ожидающих допроса. Беседа с Александром Есениным-Вольпиным // Неприкосновенный запас. – 2002. – № 1(21). – С. 67-81.
258. Паперно И. А. Семиотика поведения: Николай Чернышевский – человек эпохи реализма / И. А. Паперно. – Москва : Новое литературное обозрение, 1996. – 207 с.
259. Паперно И. А. Советский опыт, автобиографическое письмо и историческое сознание : Гинзбург, Герцен, Гегель / И. А. Паперно // Новое литературное обозрение. – 2004. –№ 68. – С. 102-128.
260. Пенская Е. Н. «1968» в прессе 2008: российская журналистика 1960-х как образовательная среда // Вопросы образования. – 2009. – № 1. – С. 266-279.
261. Переписка Александра Солженицына с Корнеем Чуковским // Новый мир. – 2011. – № 10. – С. 134-154.
262. Петров Н. В., Эдельман О. В. Новое о советских героях / Н. В. Петров, О. В. Эдельман // Новый мир. – 1997. – № 6. – С. 140-152.
263. Пископпель А. А. Г. П. Щедровицкий – подвижник и мыслитель / А. А. Пископпель // Познающее мышление и социальное действие: наследие Г. П. Щедровицкого в контексте отечественной и мировой философской мысли. – Москва: Ф.А.С.-медиа, 2004. – С. 5-40.
264. Письмо Б. Л. Пастернака в Президиум Правления Союза писателей СССР в связи с общемосковским собранием писателей // «А за мною шум погони…» Борис Пастернак и власть. 1956-1972. : Документы. – Москва : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2001. – 432с.
265. Письмо писателя Костерина А. Е. писателю Шолохову М. А. // История советской политической цензуры. Документы и комментарии. – Москва : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1997. – С. 174-180.
266. Подрабинек А. П. Карательная медицина / под ред. Л. М. Алексеевой. – Нью-Йорк : Хроника, 1979. – 194 с.
267. Померанц Г. С. В 70 лет я снова начал пробиваться в жизнь / Г. С. Померанц // Г. С. Померанц. Записки гадкого утёнка. – Москва; Санкт-Петербург : Центр гуманитарных инициатив, 2011. – С. 452-462.

268. Померанц Г. С. Записки гадкого утёнка / Г. С. Померанц. – Москва; Санкт-Петербург : Центр гуманитарных инициатив, 2011. – 464 с.
269. Померанц Г. С. Человек ниоткуда / Г. С. Померанц // Самиздат века. – Москва : Полифакт, 1999. – С. 95-127.
270. Попов М. Е. Конфликты идентичностей в посттрадиционной России / М. Е. Попов Автореф. дис … доктора филос. наук. Ставрополь 2011. – 43 с.
271. Поспелов Г. Н. Теория литературы / Г. Н. Поспелов. – Москва : Высшая школа, 1978. – 352 с.
272. Поэтка. Книга о памяти: Наталья Горбаневская / авт.-сост. Л. Е. Улицкая. – Москва : АСТ, 2014. – 414 с.
273. Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки / В. Я. Пропп. – Ленинград : Издательство Ленинградского государственного университета, 1986. – 364 с.
274. Протокол № 11 заседания партийного бюро ИРЯ АН СССР совместно с месткомом от 16 апреля 1968 г. / Архив парторганизации Института русского языка АН СССР // Центральный архив общественно-политической истории Москвы. Ф. 2480. ОП. 3. Д. 8, ЛЛ. 136-139.
275. Протокол № 13 заседания партбюро ИРЯ АН СССР от 26 мая 1966 года / Архив парторганизации Института русского языка АН СССР // Центральный архив общественно-политической истории Москвы. Ф. 2480. ОП. 3. Д. 7. ЛЛ. 69-72.
276. Протокол № 13 заседания партийного бюро ИРЯ АН СССР совместно с Дирекцией от 7 мая 1968 г. / Архив парторганизации Института русского языка АН СССР // Центральный архив общественно-политической истории Москвы. Ф. 2480. ОП. 3. Д. 8, ЛЛ. 141-162.
277. Протокол № 6 закрытого партийного собрания ИРЯ АН СССР от 19 апреля 1968 г. / Архив парторганизации Института русского языка АН СССР // Центральный архив общественно-политической истории Москвы. Ф. 2480. ОП. 3. Д. 8, ЛЛ. 15-31.

278. Проффер К. Заметки к воспоминаниям об Иосифе Бродском / К. Проффер // К. Проффер. Без купюр – Москва : Издательство АСТ: CORPUS, 2017. – С. 193-283.
279. Проффер К. Литературные вдовы России: Надежда Мандельштам / К. Проффер // К. Проффер. Без купюр. – Москва : Издательство АСТ: CORPUS, 2017. – С. 23-129.
280. Процесс четырёх: Сборник материалов по делу Галанскова, Гинзбурга, Добровольского и Лашковой / сост. и коммент. П. Литвинов. – Амстердам : Фонд имени Герцена, 1971. – 634 с.
281. Пыжиков А. В. Хрущевская оттепель / А. В. Пыжиков. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 734 с.
282. Пятигорский А. М. Непрекращаемый разговор / А. М. Пятигорский. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 432 с.
283. Пятое декабря 1965 года: В воспоминаниях участников событий, материалах Самиздата, документах партийных и комсомольских организаций и в записках КГБ в ЦК КПСС / под ред. А. Ю. Даниэля и А. Б. Рогинского. – Москва : НИПЦ Мемориал, 1995. – 95 с. – URL: http://old.memo.ru/history/diss/books/5dec/ (дата обращения: 10.08.2018).
284. Раскина А. А. Фрида Вигдорова и дело Бродского: мифы и реальность / А. А. Раскина // Вигдорова Ф. Право записывать. – Москва : Издательство АСТ, 2017. – С. 258-280.
285. Рассадин Ст. Б. Время стихов и время поэтов / Ст. Б. Рассадин // Арион. – 1996. – № 4. – С. 18-47.
286. Рассадин Ст. Б. Самоубийцы. Повесть о том, как мы жили и что читали / Ст. Б. Рассадин. – Москва : Текст, 2002. – 478 с.
287. Рассадин Ст. Б. Шестидесятники (книги о молодом современнике) / Ст. Б. Рассадин // Юность. – 1960. – № 12. – С. 58-62.
288. Розенблюм О. М. Но от знания до поведения тоже есть ещё путь, и немалый : образ писателя-защитника в воспоминаниях о Фриде Вигдоровой (1965-1966) / О. М. Розенблюм // Семиотика поведения и литературные стратегии:

Лотмановские чтения – XXII. Выпуск 3. – Москва : РГГУ. – 2017. – С. 303-322. – URL: http://ivgi.rsuh.ru/article.html?id=2633286 (дата обращения: 20.11.2018).

289. Российское общество после президентских выборов – 2018. Информационно-аналитический доклад // Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук. – Москва, 2018. – 55 с. – URL: http://www.isras.ru/files/File/publ/Ros_obschestvo_posle_prezident_vyborov_2018.pdf (дата обращения: 20.07.2019).
290. Россия / Russia. Вып. 1 [9]: «Семидесятые» как предмет истории русской культуры / ред.-сост. К. Ю. Рогов. – Москва: О.Г.И., 1998. – 304 с.
291. Рожанский М. Я. Дневник советской девушки / М. Я. Рожанский // Интер. – 2007. – № 4. – С. 55-70.
292. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир / С. Л. Рубинштейн. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 512 с.
293. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 713 с.
294. Русина Ю. А. Самиздат в СССР: тексты и судьбы / Ю. А. Русина. – Санкт-Петербург : Алетейя; Екатеринбург : Издательство Урал. ун-та, 2019. – 204 с.
295. Савенко Е. Н. На пути к свободе слова: очерки истории самиздата Сибири / Е. Н. Савенко. – Новосибирск : Издательство ГПНТБ СО РАН, 2008. – 201 с.
296. Савкина И. Л. Теории и практики автобиографического письма / И. Л. Савкина // Новое литературное обозрение. – 2008. – № 92. – URL: ttp://www.gproxx.com/http: //magazines.russ.ru/nlo/2008/92. (дата обращения: 10.08.2018).
297. Самиздат века : сборник / сост. А. И. Стреляный и др. – Москва; Минск : Полифакт, 1998. – 1052 с.

298. Самиздат Ленинграда, 1950-е–1980-е: литературная энциклопедия / под общ. ред. Д. Я. Северюхина. – Москва : Новое литературное обозрение, 2003. – 624 с.

299. Сапожникова Ю. Л. Жанр автобиографии: понятие и особенности / Ю. Л. Сапожникова // Ученые записки Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета. – 2012. – №. 2. – С. 54-56.

300. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм / Ж.-П. Сартр. – URL: http:// scepsis.net/library/id_545/html (дата обращения: 9.12.2018).

301. Сахаров А. Д. Воспоминания: в 3 т. / А. Д. Сахаров // Собрание сочинений: в 8 т. / сост. Е. Г. Боннэр. – Москва : Время, 2006. – Т. 3. – 895 с.

302. Сахаров А. Д. Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе / А. Д. Сахаров // Собрание сочинений: в 8 т. / сост. Е. Г. Боннэр. – Москва : Время, 2006. – Т. 1: Тревога и надежда (статьи, письма, выступления, интервью). 1958-1986. – С. 65-128.

303. Сахаров А. Д., Турчин В. Ф., Медведев Р. А. Письмо руководителям партии и правительства / А. Д. Сахаров, В. Ф. Турчин, Р. А. Медведев // Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950-е-1980-е: в 3 т. – Москва: Международный институт гуманитарно-политических исследований, 2005. – Т. 2. – С. 324-333.

304. Светлов М. А. Советские старики / М. А. Светлов // Собрание сочинений: в 3-х т. / М. А. Светлов. – Москва : Художественная литература. – Т. 1 : Стихотворения и поэмы; Эпиграммы; Переводы. – 1974. – С. 598-599.

305. Свирский Г. Ц. На лобном месте. Литература нравственного сопротивления 1946-86 г. / Г. Ц. Свирский. – Лондон: OVERSEAS, 1979. – 123 с. – URL: www: http://members.rogers.com/gsvirsky/ (дата обращения: 10.08.2018).

306. Свободные люди : диссидентское движение в рассказах участников / сост. А. Н. Архангельский. – Москва : Время, 2018. – 352 с.

307. Семёнова В. В. Социальная динамика поколений: проблема и реальность / В. В. Семёнова. – Москва : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. – 271 с.

308. «Семидесятые» как предмет истории русской культуры / сост. К. Ю. Рогов. – Москва : Объединенное гуманитарное издательство (ОГИ), 1998. – 304 с.
309. Сибиряков И. В. Современная российская интеллигенция: феномен «фантомной боли» в условиях цивилизационного кризиса / И. В. Сибиряков // Интеллигенция и мир. Российский междисциплинарный журнал социально-гуманитарных наук. – 2016. – № 2. – С. 66-75.
310. Синявский А. Д. Что такое социалистический реализм / А. Д. Синявский // Цена метафоры, или преступление и наказание Синявского и Даниэля. – Москва : Книга, 1989. – С. 425-460.
311. Скиперских А. В. Неофициальное искусство в СССР: политическая история концептуализации / А. В. Скиперских // PolitBook. – 2019. – № 1. – С. 62-77.
312. Скиперских А. В. Официальное и неофициальное искусство в "молчащей" культуре: взгляд нонконформистов / А. В. Скиперских // Международный журнал исследований культуры. – 2018. – № 1 (30). – С. 189-197.
313. Скиперских А. В. Художник между властью и сопротивлением: проблемы идентификации / А. В. Скиперских // Вестник Пермского университета. Сер. Политология. – 2017. – № 2. – С. 47-59.
314. Скороспелова Е. Б. Русская проза XX века: от А. Белого («Петербург») до Б. Пастернака («Доктор Живаго») / Е. Б. Скороспелова. – Москва : ТЕИС, 2003. – 420 с.
315. Скэнлан Дж. П. Американский философ в Московском государственном университете, 1964/1965 гг. / Дж. П. Скэнлан // Как это было: воспоминания и размышления. – Москва : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С. 451-467.
316. Смысл жизни и судьба Вилена Эммануиловича Чудновского. Коллективная монография / ред. Н. Л. Карпова, Т. А. Попова, Г. А. Вайзер. – Москва : ПИ РАО, 2017. – 145 с.
317. Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. – Москва : Советская энциклопедия, 1981. – 1600 с.

318. Современный экзистенциализм. Критические очерки / ред. Т. И. Ойзерман. – Москва : Мысль. 1966. – 565 с.
319. Солдаткина Я. В. Мифопоэтика русской эпической прозы 1930-1950-х годов: генезис и основные художественные тенденции / Я. В. Солдаткина. – Москва : Экон-Информ, 2009. – 356 с.
320. Соловьев Э. Ю. Экзистенциализм и научное познание / Э. Ю. Соловьев. – Москва : Высшая школа, 1966. – 156 с.
321. Сологуб Г. Н. Политическая культура советского общества в контексте культурологического знания: автореф. дис. …. канд. культурологии / Г. Н. Сологуб. – Краснодар, 2009. – 22 с.
322. Солженицын А. И. Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни / А. И. Солженицын. – Собрание сочинений: в 30 т. – Москва : Время, 2018. – Т. 28. – 608 с.
323. Солженицын А. И. Выступление по английскому радио. Лондон, 26 февраля 1976 / А. И. Солженицын // Собрание сочинений: в 9 т./ А. И. Солженицын. – Москва : Терра-Книжный клуб, 2001. – Т. 7: В Советском Союзе. 1967-1974; На Западе. 1974-1989. – С. 186-199.
324. Солженицын А. И. Интервью с Бернаром Пиво для французского телевидения / А. И. Солженицын // Собрание сочинений: в 9 т. / А. И. Солженицын. – Москва : Терра-Книжный клуб, 2001. – Т. 7: В Советском Союзе. 1967-1974; На Западе. 1974-1989. – С. 348-370.
325. Солженицын А. И. На возврате дыхания и сознания / А. И. Солженицын // Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950-е-1980-е: в 3 т. – Москва : Международный институт гуманитарно-политических исследований, 2005. – Т. 3. – С. 230-237. Публицистика: собр. соч. в 30 т. - т. 22-25
326. Солженицын А. И. Образованщина / А. И. Солженицын // Собрание сочинений: в 9 / А. И. Солженицын. – Москва : Терра-Книжный клуб, 2001. – Т. 7: В Советском Союзе. 1967-1974; На Западе. 1974-1989. – С. 100-143.

327. Солженицын А. И. Письмо вождям Советского Союза / А. И. Солженицын // Собрание сочинений: в 9 / А. И. Солженицын. – Москва : Терра-Книжный клуб, 2001. – Т. 7: В Советском Союзе. 1967-1974; На Западе. 1974-1989. – С. 60-95.
328. Солженицын А. И. Письмо Президенту Рейгану / А. И. Солженицын // Собрание сочинений: в 9 / А. И. Солженицын. – Москва : Терра-Книжный клуб, 2001. – Т. 7: В Советском Союзе. 1967-1974; На Западе. 1974-1989. – С. 281-284.
329. Солженицын А. И. Письмо IV Всесоюзному съезду ССП / А. И. Солженицын // Собрание сочинений: в 9 / А. И. Солженицын. – Москва : Терра-Книжный клуб, 2001. – Т. 7: В Советском Союзе. 1967-1974; На Западе. 1974-1989. – С. 7-13
330. Солженицын А. И. Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни / А. И. Солженицын // Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950-е-1980-е: в 3 т. – Москва : Международный институт гуманитарно-политических исследований, 2005. – Т. 3. – С. 243-248.
331. Солженицын А. И. Радиоинтервью кампании Би-Би-Си / А. И. Солженицын // Собрание сочинений: в 9 / А. И. Солженицын. – Москва : Терра-Книжный клуб, 2001. – Т. 7: В Советском Союзе. 1967-1974; На Западе. 1974-1989. – С. 255-276.
332. Солженицын А. И. Речь в Гарварде на ассамблее выпускников университета (8 июня 1978) / А. И. Солженицын // Собрание сочинений: в 9 / А. И. Солженицын. – Москва : Терра-Книжный клуб, 2001. – Т. 7: В Советском Союзе. 1967-1974; На Западе. 1974-1989. – С. 237-255.
333. Солженицын А. И. С Варламом Шаламовым / А. И. Солженицын // Новый мир. – 1999. – № 4. – с. 163-170.
334. Солженицын А. И. Слово при получении премии «Фонда Свободы» / А. И. Солженицын // Собрание сочинений: в 9 / А. И. Солженицын. – Москва :

Терра-Книжный клуб, 2001. – Т. 7: В Советском Союзе. 1967-1974; На Западе. 1974-1989. – С. 230-233.

335. Солженицын А. И. Третьему Собору Зарубежной Русской Церкви / А. И. Солженицын // Собрание сочинений: в 9 / А. И. Солженицын. – Москва : Терра-Книжный клуб, 2001. – Т. 7: В Советском Союзе. 1967-1974; На Западе. 1974-1989. – С. 155-170.
336. Социологи о коллективном портрете современной российской интеллигенции. – URL: https://intelligentsia1.livejournal.com/466819.html (дата обращения 1.08. 2018).
337. Спиваковский П. Е. Постмодернистский миф о Пушкине. Версия Синявского / П. Е. Спиваковский // Новый мир. – 2010. – № 5. – С. 159-166.
338. Старшинов Н. К. Солдаты мы… / Н. К. Старшинов // Избранное : стихотворения и поэмы / Н. К. Старшинов. – Москва : Художественная литература, 1980. – С. 28.
339. Степанов Ю. С. Константы: словарь русской культуры / Ю. С. Степанов. – Москва : Академический проект, 2004. – 992 с.
340. Струве П. Б. За свободу и величие России / П. Б. Струве // Новый мир. – 1991. – № 4. – С. 213- 233
341. Сурков А. А. За дело! [По итогам июльского Пленума ЦК КПСС] / А. А. Сурков // Юность. – 1963. – № 7. – С. 4-6.
342. Суровцева Е. В. «Письмо Вождю» как эпистолярный жанр: его своеобразие и жанровые разновидности / Е. В. Суровцева // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота. – 2014. – № 9 (39) : в 2-х ч. Ч. II. – С. 162-165.
343. Тавризян Г. М. Проблема человека во французском экзистенциализме : Критический анализ / Г. М. Тавризян. – Москва : Наука, 1977. – 141 с.
344. Тарасова С. И. Русская авангардная поэзия 1960-70-х годов в оценке литературной критики : дис. … канд. филол. наук / С. И. Тарасова. – Москва, 2007. – 295 с.

345. Тарсис В. Палата № 7 / В. Тарсис. – Франкфурт-на-Майне: Посев, 1974. – 148 с.
346. Твардовский А. Т. Новомирский дневник : в 2 т. / А. Т. Твардовский. – Москва : ПРОЗАиК. – 2009. – Т.1 : 1961-1966 – 656 с.
347. Твардовский А. Т. Новомирский дневник : в 2 т. / А. Т. Твардовский. – Москва : ПРОЗАиК. – 2009. – Т. 2 : 1967-1970. – 640 с.
348. Титаренко А. И. Структуры нравственного сознания : Опыт историко-философского исследования / А. И. Титаренко. – Москва : Мысль, 1974. – 278 с.
349. Титов В. Ю. Фрида Вигдорова как персонификатор «оттепели» // Вестник Евразии. – 2006. – №3. – URL: https://cyberleninka.ru/article/v/frida-vigdorova-kak-personifikator-ottepeli (дата обращения: 15. 01. 2019)
350. Тищенко Н. В. Либеральный дискурс // Дискурс-Пи. – 2016. – № 3-4 (24-25). – С. 286-291.
351. Тищенко Н. В. Литературный текст как предмет культурологического анализа // Цивилизация – Общество – Человек. – 2015. – Т. 1. – № 1-1 (1). – С. 53-58.
352. Толстой Л. Н. О «Вехах» / Л. Н. Толстой // Полное собрание сочинений: в 90 т. / Л. Н. Толстой. – Москва : Художественная литература, 1936. – Т. 38: Произведения 1909-1910 гг. – С. 285-290.
353. Толстых В. И. Мы были. Советский человек как он есть / В. И. Толстых. – Москва : Культурная революция, 2008. – 768 с.
354. Топ-7 лидеров российской оппозиции – URL: https:// news.tut.by/world/270818. html (дата обращения: 10.08.2018).
355. Топоров В. Н. Пространство и текст / В. Н. Топоров // Из работ московского семиотического круга. – Москва : Языки славянской культуры, 1997. – С. 455-515.
356. Троицкий Н. А. Безумство храбрых. Русские революционеры и карательная политика царизма 1866-1882 гг. / Н. А. Троицкий. – Москва : Мысль, 1978. – 335 с.

357. Троцкий Л. Д. Их мораль и наша / Л. Д. Троцкий – URL: https://www.marxists.org/russkij/trotsky/1938/moral.htm (дата обращения: 10.12.2018).
358. Уваров И. П., Рогов К. Ю. Семидесятые: хроника культурной жизни / И. П. Уваров, К. Ю. Рогов // Россия/Russia.: Вып. 1 [9]: «Семидесятые» как предмет истории русской культуры. – Москва : О.Г.И., 1998. – С. 29-77.
359. УК РСФСР 1960 год. Выдержки и комментарии. – URL: http://www.memorial.krsk.ru/DOKUMENT/USSR/601027.htm (дата обращения: 10.12.2018).
360. Улицкая Л. Е. Красная площадь. Полдень / Л. Е. Улицкая // Поэтка. Книга о памяти: Наталья Горбаневская. – Москва : АСТ, 2014. – С. 286-287.
361. Уль К. Б. Сравнительный анализ концепций советской личности в англоязычных исследованиях периода холодной войны и современности / К. Б. Уль // Российские и славянские исследования: науч. сб. Вып. 6. – Минск БГУ, 2011. – С. 393-397.
362. Философская энциклопедия : в 5 т. / гл. ред. Ф. В. Константинов. – Москва : Советская энциклопедия. – Т. 4. – 1967. – 592 с.
363. Фирсов Б. М. История разномыслия в СССР. 1940-1960-е гг. / Б. М. Фирсов. – Санкт-Петербург : Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге : Европейский Дом, 2008. – 544 с.
364. Форрестер С. «Мать» Горького как источник повести Чуковской «Софья Петровна» / С. Форрестер // Вопросы литературы. – 2009. – № 5. – С. 241-262.
365. Фромм Э. Бегство от свободы / Э. Фромм. – Москва : Аст: Астрель, 2012. – 284 с.
366. Фромм Э. Иметь или быть? Ради любви к жизни / Э. Фромм. – Москва : Айрис-пресс, 2004. – 384 с.
367. Хелльбек Й. Революция от первого лица. Дневники сталинской эпохи / Й. Хелльбек. – Москва : Новое литературное обозрение, 2017. – 424 с.

368. Хархордин О. В. Обличать и лицемерить: генеалогия российской личности / О. В. Хархордин. – Санкт-Петербург : Европейский ун-т, 2016. – 507с.

369. Хмельницкий С. Из чрева китова // 22. 1986. № 48. URL: http: berkovich-zametki.com/Nomer44/SChmelnicky1.htm (дата обращения 15. 07.2019)

370. Художественная жизнь России 1970-х годов как системное целое / редкол. : Н. М. Зоркая и др. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2001. – 350 с.

371. Цветаева М. И. Искусство при свете совести / М. И. Цветаева // Собрание сочинений : в 7 т. / М. И. Цветаева. – Москва : Терра : Книжная лавка-РТР. – 1997. – Т. 5, кн. 2: Статьи. Эссе. Переводы. – С. 24-53.

372. Чудакова М. О. Заметки о поколениях в Советской России / М. О. Чудакова // Новое литературное обозрение. – 1998. – № 30. – С. 73-92.

373. Чудновский В.Э. О некоторых исследованиях конформизма в зарубежной психологии // Вопросы психологии. – 1971. – № 4. – С. 164-173.

374. Чуковская Л. К. Гнев народа / Л. К. Чуковская // Сочинения: в 2 т. / Л. К. Чуковская. – Москва : Гудьял-Пресс, 2000. – Т. 2. – С. 160-168.

375. Чуковская Л. К. Записки об Анне Ахматовой: в 3 т. / Л. К. Чуковская. – Москва : Время, 2013. – Т. 3. – 608 с.

376. Чуковская Л. К. Отрывки из дневника. Иосиф Бродский / Л. К. Чуковская. // Сочинения : в 2 т. / Л. К. Чуковская. – Москва : Гудьял-Пресс, 2000. – Т. 2. – С. 268-306.

377. Чуковская Л. К. Памяти Фриды / Л. К. Чуковская // Сочинения : в 2 т. / Л. К. Чуковская. – Москва : Гудьял-Пресс, 2000. – Т. 1. – С. 357-429.

378. Чуковская Л. К. Прорыв немоты / Л. К. Чуковская // Сочинения : в 2 т. / Л. К. Чуковская. – Москва : Гудьял-Пресс, 2000. – Т. 2. – С. 169-170.

379. Чуковская Л. К. Процесс исключения / Л. К. Чуковская // Сочинения : в 2 т. / Л. К. Чуковская. – Москва : Гудьял-Пресс, 2000. – Т. 2. – С. 5-147.

380. Чуковская Л. К., Оксман Ю. Г. «Так как вольность от нас не зависит, то остается покой…» Из переписки (1948-1970) / Л. К. Чуковская, Ю. Г. Оксман // Знамя. – 2009. – № 6. – С. 134-177.

381. Чуковский К. И. Дневник. 1901-1969: в 2 т. / К. И. Чуковский. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС Звёздный мир, 2003. – Т. 2. – 671 с.
382. Чуковский К. И. Маршак / К. И. Чуковский // «Я думал, чувствовал, я жил» – Москва : Советский писатель, 1971. – С. 97-116.
383. Чупринин С. И. Оттепель: События. Март 1953 - август 1968 года / С. И. Чупринин. – Москва : Новое литературное обозрение, 2020. – 1192 с.
384. Шаламов В. Т. Колымские рассказы / В. Т. Шаламов // Собрание сочинений: в 4 т. / В. Т. Шаламов. – Москва : Художественная литература: Вагриус, 1998. – Т. 1. – 619 с.
385. Шаламов В. Т. Четвёртая Вологда / В. Т. Шаламов // Собрание сочинений: в 4 т. / В. Т. Шаламов. – Москва : Художественная литература: Вагриус, 1998. – Т. 4. – С. 7-151.
386. Шаманькова А. И. Духовное в беспредметном: к истории нонконформизма в отечественном искусстве второй половины XX в. / А. И. Шаманькова // Научные труды. Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. – 2011. – № 19. – С. 146–159.
387. Шварц Е. Л. Превратности судьбы. Воспоминания об эпохе из дневников писателя / Е. Л. Шварц. – Москва : АСТ, 2013. – 512 с.
388. Шендарев Н. А. Интерпретация христианских сюжетов в неофициальном искусстве СССР / Н. А. Шендарев // Молодежный вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. – 2016. – № 1 (5). – С. 119-122.
389. Шишкин А. Ф. XX век и моральные ценности человечества / А. Ф. Шишкин, К. А. Шварцман. – Москва : Мысль, 1968. – 271 с.
390. Шишкин А. Ф. Из истории этических учений / А. Ф. Шишкин. – Москва : Госполитиздат, 1959. – 344 с.
391. Шкунаева И. Д. Современная французская литература / И. Д. Шкунаева. – Москва : Институт международных отношений, 1961. – 333 с.

392. Шрейдер Ю. А. Загадочная притягательность философии (субъективные заметки) / Ю. А. Шрейдер // Как это было : воспоминания и размышления. – Москва : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С. 547-579.

393. Шубин А. В. Диссиденты, неформалы и свобода в СССР / А. В. Шубин. – Москва : Вече, 2008. – 382 с.

394. Щедровицкий Г. П. Философия. Наука. Методология / Г. П. Щедровицкий. – Москва : Школа культурной политики, 1997. – 656 с.

395. Щедровицкий Г. П. На досках. Публичные лекции по философии Г. П. Щедровицкого / Г. П. Щедровицкий. – Москва : Школа культурной политики, 2004. – 195 с.

396. Эггелинг В. Политика и культура при Хрущеве и Брежневе. 1953-1970 гг. / В. Эггелинг. – Москва : АИРО-XX, 1999. – 310 с.

397. Эдельман О. В. Процесс Иосифа Бродского / О. В. Эдельман // Новый мир. – 2007. – № 1. – С. 152-168.

398. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Э. Эриксон. – Москва : Издательская группа Прогресс, 1996. – 344 с.

399. Эткинд А. М. «Одно время я колебался, не антихрист ли я»: субъективность, автобиография и горячая память революции / А. М. Эткинд // Новое литературное обозрение. – 2005. – № 73. – URL: http://www.zh-zal.ru/nlo/2005/ 73 (дата обращения: 10.12.2018).

400. Эткинд Е. Г. Записи суда над Иосифом Бродским, сделанные Ф. А. Вигдоровой / Е. Г. Эткинд // Самиздат века. – Москва : Полифакт, 1999. – С. 79-95.

401. Эткинд Е. Г. Процесс Иосифа Бродского / Е. Г. Эткинд. – Лондон : Overseas Publications Interchange Ltd, 1988. – 178 с.

402. Юрчак А. В. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение / А. В. Юрчак. – Москва : Новое литературное обозрение, 2016. – 664 с.

403. Alekseeva L. Soviet dissent: contemporary movements for national, religious, and human rights / L. Alekseeva. – Middletown, Conn.: Wesleyan University Press, 1985. – 521 p.
404. Assmann, J. Das kulturelle Gedachtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identitat in fruhen Hochkulturen. / J. Assmann. – Verlag Beck Munchen, 2000. – 344 S.
405. Baigell M. Soviet dissident artists: interviews after Perestroika / M. Baigell, R. Baigell. – New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1995. – 405 p.
406. Berglund K. The Vexing Case of Igor Shafarevich, a Russian Political Thinker / K. Berglund. – Basel: Birkhäuser, 2012. – P. 89-151.
407. Boobbyer P. Conscience, dissent and reform in Soviet Russia. London; New York: Routledge, 2005. – 282 p.
408. Bowlt J. E. Russian samizdat art: essays / J. E. Bowlt, C. Doria. – New York: Willis Locker & Owens Pub, 1986. – 210 p.
409. Brumberg A. In quest of justice: protest and dissent in the Soviet Union today / A. Brumberg. – New York: Praeger, 1970. – 477 p.
410. Burg D. Solzhenitsyn: A Biography / D. Burg, G. Feifer. – London: Hodder & Stoughton, 1972. – 444 p.
411. Cutler R. Soviet dissent under Khrushchev: an analytical study / R. Cutler // Comparative politics. – 1980. – Vol. 13. – P. 15-35.
412. Derbyshire I. Internal Opposition: Dissidence and Regionalism / I. Derbyshire // The politics in the Soviet Union: from Brezhnev to Gorbachev. – Edinburgh: Chambers, 1987. – P. 113-136.
413. Dewhirst M. Soviet Russian Literature and Literary Policy // The Soviet Union since the Fall of Khrushchev / ed. M. Kaser, A. Brown. London: Palgrave Macmillan, 1978. P. 181-195.
414. Dunham V. S. A mirror of soviet dissent / V. S. Dunham // Slavic review. – 1973. – Vol. 32, Is. 3. – P. 595-600.
415. Festinger L. A. Theory of social comparison processes / L. A. Festinger // Human Relations. – 1954. – № 7. – P. 117-140.

416. Fiene Donald M. Alexander Solzhenitsyn: an International Bibliography of Writings by and about Him, 1962-1973 / Donald M. Fiene. – Ann Arbor: Ardis, 1973. – 148 p.

417. Fireside H. The conceptualization of dissent: soviet behavior in comparative perspective / H. Fireside // Universal human rights. – 1980. – Vol. 2, Is. 1. – P. 31-45.

418. Fireside H. Dissent and Soviet Society / H. Fireside // Problems of communism. – 1986. – Vol. 35, Is. 4. – P. 93-98.

419. Fitzpatrick Sh. Everyday Stalinism Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s / Sh. Fitzpatrick. – New York, Oxford: O Oxford University Press, 1999. – 276 p.

420. Frederick C. Barghoorn Regime–Dissenter Relations after Khrushchev: Some Observations / C. Freserick // Pluralism in the Soviet Union / ed. Susan Gross Solomon. – London: Palgrave Macmillan, 1983. – P. 131-168.

421. Fürst J. Friends in Private, Friends in Public: The Phenomenon of the Kompaniia Among Soviet Youth in the 1950s and 1960s / J. Fürst // Borders of Socialism: Private Spheres of Soviet Russia / ed. Lewis H. Siegelbaum. – New York: Palgrave Macmillan, 2006. – P. 229-249.

422. Fürst J. The Arrival of Spring? Changes and Continuities in Soviet Youth Culture and Policy between Stalin and Khrushchev / J. Fürst // The Dilemmas of De-Stalinization: Negotiating Cultural and Social Change in the Khrushchev Era. – London; New York: Routledge, 2006. – P. 135-153.

423. Galanskov Y. Poet and man: in memory of Yuri Galanskov / Y. Galanskov. – Oslo: Bryne, 1973. – 81 p.

424. Gauer R. C. Soviet dissent: its sources and significance / Ralph C. Gauer // Air University Review. – 1973. – Vol. 25, Is. 1. – P. 45-53.

425. Glazov Yu. The Russian Mind Since Stalin's Death / Yu. Glazov. – Dordrecht: Springer, 1985. – 256 p.

426. Glazov Yu. The Soviet intelligentsia, dissidents and the West / Yu. Glazov // Studies in Soviet Thought. – 1979. – Vol. 19, Is. 4. – P. 321-344.

427. Gorlizki Y. Structures of Trust after Stalin / Y. Gorlizki // The Slavonic and East European Review. – 2013. – Vol. 91, Is. 1. – P. 119-146.
428. Grant S., Brown J. The Russian Empire and Soviet Union: A Guide to Manuscripts and Archival Materials in the United States / S. Grant, J. Brown. – Kennan Institute for Advanced Russian Studies, the Wilson Center. Boston, MA: G.K. Hall, 1981. – 632 p.
429. Grzybowski K. Freedom of expression and dissent in the Soviet Union; an essay / K. Grzybowski. – Chicago: American Bar Association Standing Committee on Education About Communism and Its Contrast With Liberty Under Law, 1972. – 40 p.
430. Haynes V. Workers against the Gulag: the new opposition in the Soviet Union / V. Haynes, O. Semyonova. – London: Pluto Press, 1979. – 129 p.
431. Hogg M. A. The social psychology of group cohesiveness: from attraction to social identity / M. A. Hogg. – Hemel Hempstead, England: Harvester Wheatsheaf, 1992. – 305 p.
432. Horvath R. The Dissident Roots of Glasnost / R. Horvath / Challenging Traditional Views of Russian History / ed. S. G. Wheatcroft. – London: Palgrave Macmillan, 2002. – P. 173-202.
433. Horvath R. The legacy of Soviet dissent: dissidents, democratisation and radical nationalism in Russia / R. Horvath. – London; New York: Routledge, 2012. – 293 c.
434. Jenkins R. Social Identity / R. Jenkins. – London New York: Routledge, 2008. – 246 p.
435. Jones L. Dissent in Ukraine: an underground journal from Soviet Ukraine / L. Jones, B. Yasen. – Baltimore: Smoloskyp Publishers, 1977. – 215 p.
436. Kovaly P. Problems of anti-humanism and humanism in the life and work of Alexander Solzhenitsyn / P. Kovaly // Studies in Soviet thought. – 1971. – Vol. 11, Is. 1. – P. 1-18.

437. Kowalewski D. Establishment Vigilantism and Political Dissent: A Soviet Case Study / D. Kowalewski // Armed forces and society. – 1982. – Vol. 9, Is. 1. – P. 83-97.

438. Kowalewski D. The multinationalization of soviet dissent / D. Kowalewski // Nationalities papers. – 1983. – Vol. 11, Is. 2. – P. 206-230.

439. Kozlov V. A. Mass uprisings in the USSR: protest and rebellion in the post-Stalin years / V. A. Kozlov, E. Mc Clarnand Mac Kinnon. – Armonk, New York: M.E. Sharpe, 2002. – 351 p.

440. Kulavig E. Dissent in the years of Khrushchev: nine stories about disobedient Russians / E. Kulavig. – New York: Palgrave Macmillan, 2002. – 178 p.

441. Liber G. Nonconformity and dissent in the Ukrainian SSR, 1955-1975: an annotated bibliography / G. Liber, A. Mostovych. – Cambridge, Mass.: Harvard Ukrainian Research Institute, 1978. – 245 p.

442. Mahoney Daniel J. Aleksandr Solzhenitsyn: The Ascent from Ideology / Daniel J. Mahoney. – Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, 2001. – 200 p.

443. Mayofis M. «Individual Approach» as a Moral Demand and a Literary Device: Frida Vigdorova's Pedagogical Novels / M. Mayofis // Partial Answers: Journal of Literature and the History of Ideas. – 2015. – Vol. 13, Is. 1. – P. 19–41.

444. Matsui Y. Obshchestvennost’ across Borders: Soviet Dissidents as a Hub of Transnational Agency / Y. Matsui // Obshchestvennost’ and Civic Agency in Late Imperial and Soviet Russia Interface between State and Society / ed. Y. Matsui. – London: Palgrave Macmillan, 2015. – P. 198-218.

445. Medvedev R. A. On Soviet dissent / R. A. Medvedev, P. Ostellino, et al. – New York: Columbia University Press, 1980. – 158 p.

446. Morrisey W. The Other Solzhenitsyn: Telling the Truth about a Misunderstood Writer and Thinker / W. Morrisey, Daniel J. Mahoney // Society. – 2015. – Vol. 52, Is. 2. – P. 185–188.

447. Nathans B. The Dictatorship of Reason: Aleksandr Vol'pin and the Idea of Rights under «Developed Socialism» /B. Nathans // Slavic Review. – 2007. – № 66 (4). – P. 630-663.

448. Parchomenko W. Reporting on soviet dissent: the forgotten people / W. Parchomenko // Reason. – 1981. – Vol. 12, Is. 9. – P. 45-47.

449. Parchomenko W. Soviet images of dissidents and nonconformists / W. Parchomenko. – New York: Praeger, 1986. – 251 p.

450. Pearce J. Solzhenitsyn: a Soul in Exile / J. Pearce. – London: HarperCollins, 1999. – 209 p.

451. Platt K. M. F. Sicialist in form, indeterminate in content: the ins and outs of late soviet culture / K. M. F. Platt, B. Nathans // Ab imperio. – 2011. – № 2. – С.301-324.

452. Popadiuk R. Soviet dissent: domestic and international aspects / R. Popadiuk // The Ukrainian quarterly. – 1981. – Vol. 37, Is. 1. – P. 42-59.

453. Priban J. Political Dissent, Human Rights, and Legal Transformations: Communist and Post-Communist Experiences / J. Priban // Eastern European politics and societies: EEPS. – 2005. – Vol. 19, Is. 4. – P. 553-572.

454. Reddaway P. Policy towards Dissent since Khrushchev / P. Reddaway // Authority, Power and Policy in the USSR: essays dedicated to Leonard Schapiro / ed. T. H. Rigby, Archie Brown, Peter Reddaway. – London: Palgrave Macmillan, London, 1980. – P. 158-192.

455. Reddaway P. The Development of Dissent and Opposition / P. Reddaway // The Soviet Union since the Fall of Khrushchev / ed. M. Kaser, A. Brown. – London: Palgrave Macmillan, 1978. – P. 121-156.

456. Reddaway P. Uncensored Russia: protest and dissent in the Soviet Union; the unofficial Moscow journal, a Chronicle of current events / edited, translated and with a commentary by Peter Reddaway. Foreword by Julius Telesin. – New York: American Heritage Press, 1972. – 499 p.

457. Reid R. S. Solzhenitsyn’s Christian Civilization Rhetoric: The Other «Prophetic» Speech 30 Years Later // And the Word Became Flesh: Studies in Scripture, Communication, and History in Memory of Michael W. Casey, Eds. Thomas H. Olbricht and David Fleer – Portland: Pickwick Publishers, 2009. – Pp. 231-246.

458. Rothberg A. Aleksandr Solzhenitsyn: The Major Novels / A. Rothberg. – Ithaca: New York: Cornell University Press, 1971. – 215 p.

459. Sandle M. A Triumph of Ideological Hairdressing? Intellectual Life in the Brezhnev Era Reconsidered / M. Sandle // Brezhnev Reconsidered / ed. E. Bacon, M. Sandle. – London: Palgrave Macmillan, 2002. – P. 135-164.

460. Scammell M. Russia's other writers; selections from Samizdat literature / M. Scammell. – New York: Praeger, 1971. – 216 p.

461. Scammell M. Solzhenitsyn: a Biography / M. Scammell. – London: Hutchinson, 1985. – 1051 p.

462. Sharlet R. Soviet dissent since Brezhnev / R. Sharlet // Current history. – 1986. – Vol. 85, Is. 513. – P. 321-324.

463. Shatz M. Soviet dissent in historical perspective / M. Shatz. – Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1980. – 214 p.

464. Sherif M. In common predicament: Social psychology of intergroup conflict and cooperation / M. Sherif. – Boston : Houghton Mifflin Company, 1966. – 165 p.

465. Smith G. B. Dissent: Political, Ethnic, and Religious / G. B. Smith // Soviet Politics: Continuity and Contradiction. – London: Palgrave, 1988. – P. 294-320.

466. Smith Th. C. Political Hospitalization: Conception, Conceptualization and Conduct / Th. C. Smith, Thomas A. Oleszczuk // No Asylum: State Psychiatric Repression in the Former USSR. – London: Palgrave Macmillan, 1996. – P. 1-43.

467. Solzhenitsyn in Exile: Critical Essays and Documentary Materials / ed. by John B. Dunlop, Richard S. Haugh, Michael Nicholson. – Stanford, Calif.: Hoover Institution Press, 1985. – 414 p.

468. Spechler D. Permitted dissent in the USSR: Novy mir and the Soviet regime / D. Spechler. – New York: Praeger, 1982. – 293 p.

469. Svirskii G. I. A history of post-war Soviet writing: the literature of moral opposition / G. I. Svirskii, R. Dessaix, et al. – Ann Arbor: Ardis, 1981. – 196 p.

470. Tajfel H., Turner J. The social identity theory of intergroup behaviour // Psychology of intergroup relations / Eds. S. Worchel & W. Austin. – Chicago: Nelson-Hall, 1986. – P. 7-24.

471. The Solzhenitsyn files: Secret Soviet Documents Reveal One Man's Fight against the Monolith / ed. and with an introduction by Michael Scammell; translated from Russian under the supervision of Catherine A. Fitzpatrick. – Chicago: Edition q, 1995. – 472 p.

472. Thomas Donald M. Alexander Solzhenitsyn: a Century in his Life / Donald M. Thomas. – New York: St. Martin's Press, 1998. – 583 p.

473. Tökés R. L. Dissent: The Politics for Change in the USSR / R. L. Tökés // Soviet politics and society in the 1970's / ed. H. W. Morton, R. L. Tökés and J. N. Hazard. – New York: The Free Press, 1974. – P. 3-59.

474. Tökés R. L. Dissent in the USSR: politics, ideology, and people / R. L. Tökés. – Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1975. – 453 p.

475. Understanding the Solzhenitsyn affair: dissent and its control in the USSR / edited by Ray S. Cline. – Washington: Center for Strategic and International Studies Georgetown University, 1974. – 44 p.

476. Van Voren R. Abuse of Psychiatry for Political Purposes in the USSR: A Case-Study and Personal Account of the Efforts to Bring Them to an End / R. Van Voren // Ethics in Psychiatry: European Contributions / ed. H. Helmchen, N. Sartorius. – Dordrecht: Springer, 2010. – P. 489-507.

477. Wessell N. H. The political and international implications of soviet dissent / N. H. Wessell // Orbis. – 1973. – Vol. 17, Is. 3. – P. 793-802.

478. Woll J. Soviet dissident literature: a critical guide / J. Woll, V. G. Treml. – Boston, Mass.: G.K. Hall, 1983. – 241 p.

479. Yakobson S. Aspects of intellectual ferment and dissent in the Soviet Union / S. Yakobson, R. V. Allen, et al. – Washington: U.S. Government Printing Office, 1968. – 81 p.